

18+



АНТОНИО ИТУРБЕ

Основано на реальной истории узницы Аушвица Диты Краус

REBEL

Антонио Итурбе

Хранительница книг из Аушвица

«Popcorn books»

2012

УДК 821.134.2
ББК 84(4Исп)-44

Итурбе А.

Хранительница книг из Аушвица / А. Итурбе — «Popcorn books»,
2012 — (REBEL)

ISBN 978-5-6042628-1-8

Четырнадцатилетнюю Диту забрали из гетто Терезина вместе с матерью и отцом, и теперь она выживает в лагере смерти Аушвиц в детском блоке. Старший по блоку, Фреди Хирш, рассказывает Дите о подпольной библиотеке и просит ее проследить за сохранностью восьми томов, которые узникам удалось пронести в лагерь. Дита соглашается и становится хранительницей этих книг.

УДК 821.134.2
ББК 84(4Исп)-44

ISBN 978-5-6042628-1-8

© Итурбе А., 2012
© Popcorn books, 2012

Содержание

1	7
2	14
3	27
4	34
5	41
6	50
7	55
8	64
9	70
10	78
11	85
12	91
13	102
14	108
15	119
16	127
17	135
18	145
19	151
20	156
21	161
22	171
23	180
24	189
25	195
26	202
27	211
28	218
29	224
30	230
31	235
32	239
Эпилог	243
Заключение	245

Антонио Итурбе

Хранительница книг из Аушвица

© Елена Горбова, перевод на русский язык, 2020

© Издание на русском языке, оформление. Popcorn Books, 2020

© Antonio G. Iturbe, 2012

© Editorial Planeta, S.A., 2012

Дите Краус посвящается

Дорогой читатель!

Мне бы хотелось рассказать, как возникла книга, которую ты держишь в руках. Несколько лет назад испанский писатель Антонио Итурбе искал тех, кто мог бы сообщить ему некоторые подробности в связи с задуманным им романом о детском блоке в концентрационном лагере Аушвиц-Биркенау.

Он нашел мой электронный адрес, и у нас завязалась переписка. Его письма были краткими, не более, чем вежливые вопросы, а мои – длинными, подробными ответами. А потом мы встретились в Праге, и в течение двух дней я водила его по тем местам, где росла, показывала, в какой песочнице играла, в какую школу ходила и какой дом мы с родителями покинули навсегда, когда нацистские оккупанты депортировали нас в гетто Терезина. На следующий день мы с ним отправились в тот самый Терезин. Перед нашей поездкой Тони сказал мне: «Всем известна самая большая в мире библиотека. Но я собираюсь написать книгу о самой маленькой библиотеке, а также о ее библиотекаре».

Именно эта книга сейчас перед тобой. Она, естественно, написана на испанском, а то, что ты видишь, – ее перевод. Многие из того, что я рассказывала, было использовано ее автором, хотя, конечно, у него были и другие источники, тщательная работа с которыми позволила ему собрать целую коллекцию данных. Но несмотря на историческую достоверность повествования, книга не является документальной. У этой истории два родителя – моя собственная жизнь и богатое воображение автора.

Спасибо тебе большое за то, что прочтешь книгу и поделишься ею с другими!

Твоя Дита Краус



Дита Краус (1929)

Автор фотографии неизвестен, семейный архив Диты Краус

На всем протяжении своего существования блок номер 31 концентрационного лагеря смерти Аушвиц служил пристанищем для более пятисот детей и нескольких взрослых заключенных, называемых «советниками». И, несмотря на установленный за ним тщательный контроль, располагал тайной детской библиотекой. Микроскопической: всего восемь книг, среди которых – «Очерки истории цивилизации» Герберта Уэллса, книжка на русском языке и учебник по аналитической геометрии [...]. Вечером книги, а также другие сокровища – лекарства и кое-какая снедь – поручались попечению одной из девочек постарше, чьей задачей было прятать все это на ночь – каждый день в новом месте.

Альберто Мангель.

«Ночная библиотека»

Воздействие литературы подобно эффекту спички, зажженной в ночи посреди поля. Одна спичка практически ничего не осветит, но она покажет нам, какая тьма царит вокруг.

Уильям Фолкнер

(цитируемый Хавьером Мариасом)

1

Аушвиц-Биркенау, январь 1944 года

Эти офицеры, облаченные в черные мундиры и вззирающие на смерть с невозмутимостью могильщиков, понятия не имеют о том, что здесь, на темной болотистой почве, в которую погружается все без разбору, Альфред Хирш возвел школу. Они этого не знают, и нужно, чтобы никогда и не узнали. В Аушвице жизнь человеческая не стоит ни гроша, не стоит ничего, даже меньше; ее стоимость столь ничтожна, что здесь никого не расстреливают: пуля дороже, чем жизнь человека. Для умерщвления используются сообщающиеся камеры, в которые запускают газ «Циклон». Тем самым снижаются затраты: одного баллона газа хватает на сотни человек. Смерть стала видом производственного процесса, рентабельного исключительно в том случае, когда он осуществляется в промышленных масштабах.

Классы в деревянном бараке – это всего лишь поставленные кружком табуретки. Стен нет, да и классной доски глазами не увидишь: учителя изображают в воздухе равнобедренные треугольники, значки циркумфлекса и даже расположение основных рек Европы жестами, движениями рук. Около двух десятков сбившихся островками детских головок, в центре каждого – учитель. При этом островки расположены так близко друг к другу, что учителя вынуждены говорить шепотом, дабы рассказ о десяти казнях египетских не смешивался с ритмичным напевом таблицы умножения.

Некоторые не верили в то, что такое вообще возможно, и считали Хирша то ли сумасшедшим, то ли наивным дурачком: как можно учить детей в жесточайшем лагере смерти, где все под запретом? А он только улыбался. Хирш всегда улыбался – с самым таинственным видом, как будто знал нечто такое, о чем окружающие не имели ни малейшего понятия.

Не так важно, сколько школ закрыли нацисты, говорил он в ответ. Каждый раз, когда взрослый останавливается на углу, чтобы о чем-то поведать, а вокруг – послушать его – усаживаются дети, открывается новая школа.

Дверь барака внезапно распаивается, и вбегает Якопек, дежурный по безопасности: он несет к каморке Хирша, старшего по блоку. С его деревянных сабо разлетаются капли уличной грязи; мыльный пузырь внутренней безмятежности блока 31 лопается.словно под гипнозом, взирает Дита Адлерова из своего уголка на капли грязи: казалось бы, такие маленькие, незначительные, но все вокруг заражают реальностью – так одна чернильная капля губит целый кувшин молока.

– Шесть, шесть, шестерка!

Это условный знак, сигнал; он означает, что к блоку 31 направляется патруль эсэсовцев. По всему барак прокатывается тревожный гул. В Аушвице-Биркенау, этой фабрике умерщвления, где день и ночь работают печи, топливом для которых служат человеческие тела, 31-й блок – нечто нетипичное, странное. Скорее аномалия. Достижение Фреди Хирша, который начинал простым тренером в юношеской спортивной секции, а теперь стал атлетом, одолевающим в Аушвице полосу препятствий в ходе самого грандиозного в истории человечества соревнования с катком, перемалывающим жизни. Ему удалось убедить немецкую администрацию концлагеря в том, что занять чем-нибудь детей в отдельном бараке – вещь полезная, потому что облегчит работу родителей в лагере ВІІb, «семейном» лагере, поскольку в остальных дети встречаются так же редко, как птицы. Птиц в Аушвице нет – они умирают на проволоке ограды, испепеленные электрическим током высокого напряжения.

Администрация концлагеря снизошла до создания детского барака. Быть может, по той причине, что это входило в ее намерения изначально. Однако при неукоснительно соблюдаемом условии: этот блок – исключительно игровая зона, обучение какой бы то ни было школьной дисциплине категорически запрещено.

Хирш выглядывает из двери своего кабинета старшего по блоку 31. Ему не приходится ничего говорить – ни своим ассистентам, ни учителям: все глаза и так устремлены на него. Один почти незаметный кивок. Его взгляд требует безусловного подчинения. Сам он всегда делает то, что должно. И этого же ожидает от остальных.

Уроки прерываются и тут же превращаются в обычные детские хороводы с немецкими песенками или в игру-отгадайку: в тот момент, когда на эту сцену обратятся холодные светлые взгляды арийских волков, возникнет видимость полного соответствия заведенному порядку. Обычно патруль – пара солдат – лишь переступает порог барака и несколько секунд наблюдает за детьми. Иногда солдаты даже аплодируют исполнителям песенки или гладят по головке какого-нибудь малыша и тут же покидают блок, продолжая обход.

Но на этот раз обычный сигнал тревоги Якопек дополняет словами:

– Инспекция! Проверка!

Проверка – совсем другое дело. Проводится построение, обыски, иногда охранники задают вопросы самым маленьким: пользуясь детской наивностью, легче вытянуть нужную информацию. Но ни один из ребят ни разу так и не проговорился. Малыши понимают все гораздо лучше, чем может показаться с первого взгляда, когда судишь о них по перемазанным соплями мордашкам.

Кто-то шепчет: «Пастор!...» Поднимается гул, в котором слышатся нотки отчаяния. Пастором зовут прапорщика СС (*обершарфюрера*) из-за его привычки засовывать руки в рукава кителя, словно священник в рукава сутаны, хотя единственная практикуемая им религия, как известно всем и каждому, это жестокость.

– Ну-ка, живей, давайте же! Худа, давай, запевай: «Вижу, вижу...»¹

– А что я «вижу», пан Штайн?

– Да что угодно, все равно что! Бога ради, сынок, что угодно!

Два учителя с ужасом переглядываются. У них в руках – нечто в Аушвице строго-настрого запрещенное; их обоих точно обрекут на смерть, если оно будет при них найдено. Это очень опасные вещи, настолько опасные, что обладание ими обрекает человека на применение к нему высшей меры наказания, хотя они не стреляют, не являются колющими, режущими или представляющими угрозу здоровью и жизни предметами. То, чего так боятся безжалостные служители Рейха, всего-навсего книги: старые, без переплетов, теряющие страницы, почти ни на что не годные. Но нацисты их преследуют, уничтожают, с маниакальной настойчивостью запрещают. На всем протяжении всемирной истории у всех диктаторов, всех тиранов и угнетателей, будь они арийцами, африканцами, азиатами, арабами или славянами, какого бы цвета ни была у них кожа, выступали ли они за народные революции или защищали привилегии высшего класса, действовали ли они именем Бога или подчиняясь воинской дисциплине, вне какой бы то ни было зависимости от принятой идеологии, у всех у них общим было одно: упорное преследование книг. Книги чрезвычайно опасны – они заставляют думать.

Группы детей остаются на своих местах; в ожидании появления патруля и начала проверки они продолжают распевать немецкие песенки. Но вдруг одна девочка, сорвавшись с места и вихрем кинувшись в обход табуреток, взрывает эту безмятежную гармонию барака, предназначенного служить местом для игр и развлечений.

– На пол! Ложись на пол!

– Ты что, рехнулась? – кричат ей.

Один из учителей протягивает руку, стараясь ее остановить, но той удастся уклониться, и – перебежками, меняя направление, – она несется дальше, а ведь нужно совсем другое:

¹ Песенка-игра в слова в диалоговой форме: поющий называет предмет, который он видит, но с ошибкой в первой букве, второй участник говорит, что нужное слово начинается с другой буквы, а с той, которая была употреблена в названии предмета ошибочно, начинаются другие слова. Вопрос мальчика вызван именно тем, что он хочет, чтобы ему назвали первый предмет, чтобы начать игру. – *Здесь и далее примеч. пер.*

застыть, окаменеть, чтобы тебя никто не заметил. Девочка забирается на проходящий вдоль всего барака дымоход – возвышение около метра высотой, разделяющее пространство на две половины, и – хлоп! – прыгает с другой стороны. Немного промахивается, опрокидывает пустой табурет – тот с грохотом катится по полу, и от этого грома на секунду замирают песенки и игры.

– Черт тебя подери! Ты ж нас всех с потрохами выдашь! – взвизгивает пани Кризкова, вспыхнув от негодования. За глаза дети называют ее «пани Лишайка». И учительница знать не знает, что этим своим прозвищем она обязана той самой девчонке, которой и адресованы ее гневные слова. – Затихни там в углу вместе с дежурными, ненормальная!

Но девчонка не слушает, она несется вперед, все дальше, не обращая ни малейшего внимания на осуждающие взгляды. Глаза многих детишек заворуженно следят за мельканием ее тонких ног, обтянутых шерстяными чулками в поперечную полоску. Девочка очень худая, но на вид не слабенькая; за ее спиной маятником раскачивается грива каштановых волос. Дита Адлерова движется среди сотен человеческих фигур, но бежит одна. Мы всегда бежим в одиночку.

Двигаясь зигзагами, она добирается до центра барака и с трудом вклинивается внутрь детской группы. Резко сдвигает одну из табуреток – сидящая на ней девочка кубарем летит на пол.

– Эй, ты что, совсем сбрендила! – кричит ей с пола упавшая.

Учительница из Брно вдруг с изумлением видит возникшую перед ней, задыхающуюся от бега юную библиотекаршу. Ничего не объясняя – не до того, – Дита выхватывает из ее рук книгу, и учительница чувствует моментальное облегчение. Когда через мгновение она приходит в себя и хочет поблагодарить Диту, та уже далеко – в нескольких метрах. До появления в бараке эсэсовцев осталось всего ничего.

Инженер Мароди, который видел маневр Диты, уже ждет ее за пределами круга детских голов. Он протягивает ей учебник по алгебре, и она выхватывает его на лету, словно эстафетную палочку. И вот уже Дита отчаянно летит к противоположной от входа стене барака, где – нарочито старательно – метут пол дежурные.

Она успевает одолеть только половину пути, когда замечает, что голоса детей в как бы игровых группах затихают, гаснут, словно пламя свечи от ворвавшегося в распахнутое окно ветра. И ей вовсе не нужно оборачиваться, чтобы понять: дверь барака открылась, входят эсэсовцы. Она резко пригибается, падает и оказывается на полу посреди группы одиннадцатилетних девчонок. Книги Дита засовывает под одежду и обнимает себя руками, удерживая томики на груди, чтобы не выпали. Девочки, оживившись, так и стреляют в нее глазами, а их учительница, не на шутку испугавшись, легким движением подбородка подает им сигнал: пойте, не останавливайтесь! У самого входа эсэсовцы несколько секунд оглядывают пространство барака, а потом выплевывают одно из самых своих любимых словечек:

– *Ахтунг!*

Воцаряется тишина. Смолкают песенки и «вижу, вижу». Все замирает. Но кое-что продолжает звучать: кто-то чисто высвистывает Пятую симфонию Бетховена. Уж на что сержант Пастор умеет наводить жуть, но и он, похоже, спокоен, потому что на этот раз рядом с ним стоит некто еще более ужасный, чем он сам.

– Да поможет нам Бог, – доносится до Диты шепот учительницы.

До войны мать Диты играла на фортепьяно, поэтому девочка хорошо знает Бетховена. Она думает, что ей уже приходилось слышать подобное весьма специфическое исполнение этого композитора – с точностью меломана свистом исполненную мелодию. И слышала она такое исполнение после трехдневного, без воды и еды, путешествия в наглухо закрытом и битком набитом людьми товарном вагоне, из гетто Терезина, в котором их семья прожила целый год и куда их депортировали, изгнав из Праги. В Аушвиц-Биркенау поезд прибыл ночью. Нико-

гда не забудет она дребезжанье и лязг открывающейся железной двери вагона. Никогда не забудет первый глоток морозного воздуха, смешанного со смрадом горелого мяса. Никогда не забудет сияния света, режущего глаза в ночи: перрон освещался не хуже операционной. И сразу же – приказы, грохочущие по стенам вагонов приклады, выстрелы, звуки свистков, визг. И среди всего этого гомона – безусловно, с абсолютным спокойствием высвистываемая симфония Бетховена, исполняемая неким гауптштурмфюрером, на которого даже эсэсовцы посматривали с явной опаской.

Тогда этот офицер прошел совсем рядом с Дитой, и она заметила и его безукоризненную форму, и белоснежные перчатки, и орден Железного креста на кителе – награду, которую можно получить только на поле боя. Он остановился перед кучкой женщин с детьми и затянутой в белую перчатку рукой дружески похлопал по плечу одного из малышей. И даже улыбнулся. Жестом указал на двух четырнадцатилетних братьев-близнецов – Зденека и Жирку, – и капрал поспешил вывести обоих из строя. Их мать уцепилась за полу кителя охранника, пала ниц и на коленях принялась умолять, чтобы сыновей не забирали. Офицер вмешался и с полной невозмутимостью заявил:

– Никто не удостоит их большим вниманием, чем дядюшка Йозеф.

В определенном смысле так оно и было. Никто во всем Аушвице и волоска не смел тронуть с головы близнецов, коллекцию которых – как материал для экспериментов – собирал доктор Йозеф Менгеле. Никто, кроме доктора Менгеле, не удостоит их большим вниманием в ходе ужасающих генетических экспериментов, цель которых – найти рецепт обеспечения рождаемости близнецов у немецких женщин и тем самым повышения численности истинных арийцев. Девочка помнит, как удалялся по перрону Менгеле, ведя за руку близнецов и по-прежнему беззаботно насвистывая.

Ту самую симфонию, которая звучит теперь в блоке номер 31.

Менгеле...

Дверь комнатки старшего по блоку с легким скрипом открывается, и *блокэльтестер* Хирш выходит из крошечной каморки, всем своим видом изображая радушие и удивление по поводу неожиданного визита эсэсовцев. Приветствуя офицера, он звонко щелкает каблуками; это не что иное, как принятый знак уважения к воинскому званию, но в то же время – способ продемонстрировать воинскую доблесть, ничем не подточенную, не сломенную. Менгеле едва достаивает его взглядом – он рассеян и, заложив руки за спину, по-прежнему высвистывает симфонию, словно все происходящее не имеет к нему ни малейшего отношения. Унтер-офицер, известный как Пастор, внимательно обводит барак своими белесыми, практически прозрачными глазами. Его опущенные руки все еще прячутся за обшлагами мундира, но в непосредственной близости от висящей на поясе кобуры с пистолетом.

Якопек не ошибся.

– Инспекция, – негромко произносит обершарфюрер.

Сопровождавшие его эсэсовцы повторяют приказ: он разрастается, усиливается, превратившись в гром, который обрушивается на барабанные перепонки узников. Диту, стоящую в центре девчачьего хоровода, пробирает дрожь. И она еще крепче обнимает себя руками, под которыми похрустывают прижатые к ребрам книжки. Если при ней найдут книги, это конец, это будет ее смертным приговором.

– Но это несправедливо... – еле слышно шепчут ее губы.

Ей же всего четырнадцать: жизнь только начинается, ей еще столько всего нужно успеть сделать! Она же ничего еще и начать толком не успела. И вспоминает мамины слова, которые та годами без устали повторяет всякий раз, когда девочка жалуется на судьбу: «Это война, Эдита... Это все война...»

Она так юна, что почти не помнит, каким был мир в те времена, когда войны еще не было. И точно так же, как здесь, в лагерном бараке, где у них уже отнято все, Дита под платьем прячет

книжки, в памяти ее спрятан альбом с фотографиями – образами прошлого. Она закрывает глаза и пытается вспомнить, какой была жизнь, когда не было страха.

Она видит саму себя, девятилетнюю, застывшую перед курантами на Ратушной площади Праги в начале 1939 года. Скосив взгляд, девочка разглядывает древний образ смерти – скелет: царящего над крышами стража, озирающего с высоты башни весь город своими темными, как черные кулаки, глазами.

В школе им рассказывали, что огромные куранты – всего лишь безобидный механический шедевр, созданный маэстро Ганушем более пяти веков назад. Но услышанное от бабушки старинное предание навевало грустные мысли: король повелел искусному мастеру Ганушу создать куранты, наступление каждого часа в которых сопровождалось бы появлением движущихся фигур, а потом приказал своим стражникам ослепить мастера, чтобы тот уже никогда не смог сотворить подобное чудо ни для какого другого монарха. Движимый жаждой мести, часовых дел мастер засунул свою руку в механизм курантов и остановил его. И когда огромные шестерни зажевали его руку, часовой механизм сломался, и починить его не удавалось в течение многих лет. Иногда по ночам Диту мучают кошмары, в которых оторванная рука маэстро вращается, зажата зубчатыми шестернями часового механизма, перемещаясь то вверх, то вниз. Скелет звонит в колокольчик, и начинается механическое представление: процессия автоматов, призванных напоминать горожанам, что минуты суетливо подталкивают друг друга, да и часы следуют один за другим, как те гигантские фигуры, что век за веком шествуют в раз и навсегда заведенном порядке, появляясь из невероятных размеров музыкальной шкатулки и исчезая в ней. И только теперь Дита, сердце которой сжалось от ужаса и тоски, догадывается о том, что все это еще за пределами понимания девятилетней девочки, которая думает, что время – это такая плотная очередь, такое неподвижное липкое море, в котором ничто никуда не движется. И поэтому в девятилетнем возрасте часы внушают страх только в том случае, если рядом с циферблатом изображен скелет.

Вцепившись руками в дряхлые книжки, вполне способные довести ее до газовой камеры, Дита с тоской глядит на ту счастливую девочку, которой была когда-то. Когда они вместе с мамой ходили за покупками в центр города, ей так нравилось останавливаться на Ратушной площади перед курантами, но не для того, чтобы увидеть процессию раскрашенных персонажей, – нужно признать, что скелет пугал ее гораздо больше, чем она сама готова была себе признаться. Останавливаться перед башенными часами ей нравилось потому, что ее забавляло осторожное – исподтишка – разглядывание прохожих, многие из которых оказались в столице проездом, нравилось наблюдать за выражениями их лиц, за их сосредоточенным ожиданием появления механического дефиле при бое курантов. Девочке едва удавалось сдерживать улыбку при виде изумления на лицах зрителей и их глуповатого хихиканья. Она тут же придумывала им прозвища. С ноткой грусти вспоминает Дита о том, что одним из ее любимых развлечений в те времена было придумывать прозвища всем встречным и поперечным, но в первую очередь – соседям и знакомым родителей. И без того долговязую пани Готтлиб, которая имела обыкновение вытягивать шею, чтобы прибавить себе важности, она назвала «пани Жирафа». А обойщика из расположенной на первом этаже лавки, тщедушного, с абсолютно лысой головой, она окрестила «пан Шароголовый». Она помнит, как бежала вслед за трамваем, названивавшим в свой колокольчик, когда состав изгибался на повороте, выезжая на Староместскую площадь, а потом терялся из виду, углубляясь в извилистые улочки квартала Йозефов, а Дита со всех ног пускалась бежать к лавке пана Орнеста, где мама покупала материал на зимнюю одежду для дочки – пальто и теплую юбку. Она до сих пор помнит, как нравилась ей эта лавка, входную дверь которой украшала светящаяся вывеска с разноцветными кругляшками: огоньки загорались по очереди – снизу вверх, а потом еще и еще раз, все с начала.

Если бы она не была просто маленькой девочкой, бегавшей по улицам, как в коконе, в счастливом детском неведении, она могла бы, проносясь мимо продавца газет, заметить

выстроившуюся перед его прилавком длинную очередь и обратить внимание на набранный огромными буквами заголовок передовицы стопками сложенной газеты «Лидове новины». Заголовок не оповещал, а просто кричал: «Правительство выступает за ввод германской армии в Прагу».

Дита на секунду приоткрывает глаза и видит эсэсовцев, что-то вынюхивающих в дальнем конце барака. Они даже приподнимают детские рисунки, пришпиленные к стенам самодельными кнопками – шипами колючей проволоки: проверяют, нет ли там чего-нибудь запрещенного. Никто не произносит ни слова, и шум рыскающих по всем углам охранников явственно слышится в огромном бараке – сыром, насквозь пропахшем плесенью. И страхом. Это и есть запах войны. Из того немногого, что хранит память Диты о детстве, всплывает запах мирного времени: мир для нее пахнет густым куриным супом, который варится на плите весь пятничный вечер. И как же забыть вкус хорошо прожаренного барашка, яичной лапши, грецких орехов... Длинные школьные дни, а вечером – игры в классики или в прятки вместе с Маргит и другими одноклассницами, образы которых уже стерлись в ее памяти... И так было, пока все не пришло в полный упадок.

Перемены были не резкими, постепенными. Хотя, нужно признать, был и конкретный день, когда детство ее вдруг захлопнуло двери, закрылось, словно пещера Али Бабы, и Дита осталась похороненной под толстым слоем песка. Этот день она запомнила очень отчетливо. Даты не знает, но это случилось 15 марта 1939 года. В тот день Прага встретила рассвет с содроганием.

Хрусталики на люстре в гостиной позвякивали, но Дита понимала, что это не из-за землетрясения, ведь никто никуда не бежал и не было никакого переполоха. Ее отец завтракал – пил свой чай и читал газету, стараясь изобразить на лице безразличие, словно ничего особенного не происходило.

Дита вышла из дома и отправилась в школу, куда ее, как всегда, повела мама, и тут город задрожал. Гул послышался, когда они свернули к площади Венсеслао, на подходе к которой земля вибрировала так сильно, что ступням стало щекотно. По мере того как они с мамой подходили ближе, глухой гул становился все громче, и Дита оказалась в высшей степени заинтригована этим странным феноменом. Дойдя до проспекта, они с мамой не смогли пересечь его: тротуары были забиты плотной толпой, и взгляды Диты и ее мамы уперлись в сплошную стену из облаченных в пальто спин, затылков и шляп.

Мама остановилась резко, как вкопанная. Лицо ее вдруг посуровело и сразу состарилось. Она взяла дочку за руку, чтобы пойти назад и попытаться обойти возникшее по пути в школу препятствие, но Дита не смогла сдержаться любопытства: непременно нужно было выяснить, в чем тут дело. Одним рывком выдернула она свою руку из маминой. Поскольку девочка была невысокой и худенькой, ей никакого труда не составило прошмыгнуть сквозь толпу, запрудившую тротуар, и пробраться в первый ряд – как раз туда, где полицейские образовали живой кордон, переплетая руки.

Стоял оглушительный шум: один за другим ехали серые мотоциклы с колясками, а на них – солдаты в блестящих кожаных куртках и с мотоциклетными очками, висящими на груди. Солдатские каски сверкали на солнце – новенькие, только что сошедшие с заводских конвейеров центральной Германии: ни царапины по свежей краске, ни единой вмятины от пули. За мотоциклами двигались боевые машины пехоты с установленными на броне огромными пулеметами, а за ними громыхали танки, продвигавшиеся по проспекту с грозной медлительностью слонов.

Дита вспоминает, что тогда ей показалось, будто участники этого парада – люди-автоматы, подобные фигурам на курантах с Ратушной площади, и что через несколько секунд дверца за ними захлопнется, и все исчезнет. И перестанет содрогаться земля. Однако на этот

раз механическая процессия была образована не автоматами, а людьми. В последующие годы она поймет, что разница между теми и другими не всегда заметна.

Ей было тогда всего девять лет, но сердце ее сжалось от страха. Не слышно было ни звуков духового оркестра, ни взрывов хохота, ни обычной болтовни, ни свиста... Это был безмолвный парад. Для чего здесь люди в военной форме? Почему никто не смеется? Внезапно ей пришла в голову мысль: молчаливый парад напоминает похоронный кортеж.

Железная рука матери нашла ее и волоком вытащила из-за спин людей. Они пошли в противоположную сторону, и Прага вновь предстала перед глазами Диты живым городом, каким всегда и была. Как будто девочка очнулась от кошмара и с облегчением увидела, что все по-старому, все вокруг на своем месте.

Но земля под ее ногами продолжала вибрировать. Город содрогался. Мать тоже дрожала. Она тянула дочку за руку, стремясь побыстрее оставить позади парад и спастись от когтистой лапы войны; она торопилась, постукивая каблучками модных лакированных туфелек. Дита вздыхает, все так же крепко прижимая к груди книжки. Она с грустью признает, что именно в тот день, а вовсе не в день первых месячных, рассталась со своим детством, потому что именно в тот день перестала бояться скелетов и стародавних историй о руках-призраках и начала бояться людей.

2

Практически не обращая внимания на узников, эсэсовцы приступили к обыску: их интересовали стены, пол и предметы. Немцы, они ведь такие, методичные: сначала – контейнер, потом – его содержимое. Доктор Менгеле обернулся с вопросом к Фреди Хиршу. Тот по-прежнему стоит навтыжку, не сдвинувшись ни на миллиметр. Спрашивается, о чем они там могут беседовать? О чем таком мог поведать своему собеседнику Хирш, чтобы офицер, которого боятся даже эсэсовцы, застыл возле него – ни жеста, ни реакции, но явная заинтересованность? Евреев, которые могут так уверенно разговаривать с человеком, называемым не иначе как Доктор Смерть, по пальцам перечесать; и уж совсем немного тех, у кого при этом не дрогнет голос, кто не выдаст себя каким-нибудь нервным жестом. Издалека Хирш выглядит вполне естественно – как любой из нас, кому случится остановиться на улице, чтобы поболтать с соседом.

Кое-кто поговаривает, что Хирш – это человек, которому страх неведом. Другие утверждают: все дело в том, что он нравится немцам, ведь Хирш сам немец. Есть и такие, кто намекает на какую-то грязь, скрытую за его безукоризненным обликом.

Пастор – именно он руководит обыском – делает жест, смысл которого Дите непонятен. Если это встать по стойке смирно, то как же ей удастся удержать книги?

Первая заповедь, которую слышит в лагере новичок от старожила, сводится к тому, что каждый узник должен ясно осознать свою цель: выжить. Проживешь еще несколько часов, и они сложатся в еще один день, а этот день, присоединившись к уже прожитым, станет еще одной неделей. И вот так потихонечку-полегонечку: не строить долгосрочных планов, никогда не придумывать себе великих целей, видеть только одну, самую скромную – жить каждую следующую секунду, прожить ее, выжить. Жить – глагол, имеющий формы исключительно настоящего времени.

И вот он – ее последний шанс: последняя возможность засунуть руку под одежду, вытащить книги и потихоньку подпихнуть их под пустую табуретку в метре от себя. Когда прозвучит команда и узники построятся, книги, конечно, будут найдены, но никто не сможет обвинить именно Диту: виновны будут все – и вместе с тем никто. Всех сразу в газовую камеру не отправят. Хотя, без всякого сомнения, блок 31 закроют. Дита задается вопросом: это действительно важно? Ей говорили, что поначалу некоторые учителя были против: какой смысл обучать детей, которые с большой долей вероятности живыми из Аушвица не выйдут? Какой смысл рассказывать им о белых медведях или заставлять учить таблицу умножения, не лучше ли поговорить с ними о трубах крематория, коптящих небо черным дымом сожженных человеческих тел в нескольких метрах от барака? Но Хирш скептиков убедил – своим авторитетом и своим энтузиазмом. Он сказал им, что в этой пустыне блок 31 станет оазисом для детей.

«Оазис или мираж?» – некоторые до сих пор задаются этим вопросом.

Самое логичное для нее – избавиться от книг в борьбе за собственную жизнь. Но она сомневается.

Унтер-офицер козыряет перед своим командиром и получает ряд четких распоряжений, которые незамедлительно и властно оглашает:

– Становись! Смирно!

И начинается всеобщее движение поднимающихся людей. Как раз тот самый миг суматохи, который нужен, чтобы спастись. Стоило ей только слегка ослабить руки, как книжки уже заскользили под блузкой вниз, под юбку, вот-вот окажутся на коленях. Но Дита успевает вновь обхватить себя, на этот раз в области живота, и делает это с такой силой, что раздается хруст, как будто на животе есть ребра. С каждой секундой промедления в решении избавиться от книг ее жизнь подвергается все большей и большей опасности.

Резкими отрывистыми командами эсэсовцы требуют полной тишины и абсолютной неподвижности – сходить с занимаемого места запрещено. Немцев больше всего на свете раздражает беспорядок. Беспорядок для них совершенно невыносим. В самом начале, как только был запущен процесс окончательного решения еврейского вопроса, массовые кровавые «акции» вызвали отторжение у многих офицеров СС. Им было трудно выносить груды мертвых тел вперемешку с еще агонизирующими, их утомляла необходимость добивать раненых, одного за другим, контрольными выстрелами, им претило кровавое месиво под сапогами, ступающими по поверженным телам, выводили из себя руки умирающих, вьюнками охватывающие голенища. Однако с того самого момента, когда был найден алгоритм, найден способ, позволяющий истреблять евреев эффективно и без прежнего хаоса в центрах, подобных Аушвицу, массовое истребление людей, приказ об осуществлении которого поступал из Берлина, проблемой быть перестало. Оно превратилось в рутину – в еще одно порожденное войной обыденное действие.

Девочки перед Дитой поднялись на ноги – теперь эсэсовцы ее не видят. Она просовывает правую руку под блузку и нащупывает учебник геометрии. Коснувшись книги, чувствует шероховатость страниц, проводит пальцем по бороздкам акациевой камеди под отошедшим корешком. И думает: книга без корешка как вспаханное поле.

Дита закрывает глаза и сильно-сильно прижимает к себе книги. И осознает то, о чем уже догадывалась с самого начала: не сделает она этого. Она – библиотекарьша, хранительница книг блока 31. Не может она подвести Фреди Хирша, ведь она сама просила его, почти требовала, чтобы он поверил в нее, доверил книги ее попечению. И он уступил ей – достал восемь подпольных книг и сказал: «Вот тебе твоя библиотека».

Наконец Дита с осторожностью поднимается. Одной рукой она крепко обхватывает грудь, удерживая книги, не давая им с грохотом посыпаться на пол. И встает в центр группы девочек. Они слегка прикрывают ее, но не совсем: Дита выше ростом, поэтому ее странная и подозрительная поза бросается в глаза.

Прежде чем начать осмотр узников, унтершарфюрер отдает несколько приказов, и двое эсэсовцев исчезают в кабинете старшего по блоку, *блокэльтестера*. Дита думает о других книгах – тех, что остались в камерке Хирша, и понимает, что *блокэльтестер* сильно рискует. Если эти книги найдут – для него все будет кончено. С другой стороны, тайник в его кабинете кажется ей надежным. В комнатке настелен дощатый пол, и одна из досок, в самом углу, вынимается и вновь кладется на место, прикрывая тайник. Под этой доской расположена внушительных размеров прямоугольная яма, достаточная для сокрытия небольшой библиотеки. Книги в тайнике прилегают друг к другу с миллиметровой точностью, полностью заполняя пространство, так что ни в том случае, если на эту доску наступишь, ни если постучишь по ней костяшками руки, характерного для полости звука не услышишь, а это значит, что ничто не может навести на мысль, что под доской расположен тайник.

Дита стала библиотекарем всего несколько дней назад, но самой ей кажется, что уже прошли недели или даже месяцы. В Аушвице время не бежит, а еле ползет. Стрелки часов поворачиваются с неизмеримо более низкой, по сравнению со всем остальным миром, скоростью. Всего несколько проведенных в Аушвице дней делают из новичка старожил лагеря. А еще они могут враз состарить юношу или превратить здоровяка в доходягу.

Все то время, пока эсэсовцы копаются в его комнатке, Хирш не сходит со своего места. Менгеле, сложив руки за спиной, отошел от него на несколько шагов и насвистывает Листа. Двое эсэсовцев ожидают окончания обыска в кабинете старшего по блоку перед дверью: они уже расслабились и лениво откинули головы назад. Хирш все так же напряжен и тянется вверх, словно древко знамени. Он и есть знамя. И чем более небрежны позы эсэсовцев, тем более тверд и неподвижен Хирш. Он не упустит ни одной, даже самой малой, возможности показать – позой или жестом, какими бы незначительными они ни были, – твердость еврея. Он убежден в том, что евреи гораздо сильнее и крепче нацистов, и как раз по этой причине нацисты их

боятся. По этой причине хотят их уничтожить. И одолели они евреев только потому, что нет сейчас у евреев собственной армии, но, по твердому убеждению Хирша, подобная ошибка больше никогда не повторится. У него нет ни малейшего сомнения: когда все это закончится, они создадут армию, и армия эта будет несокрушима.

Два эсэсовца выходят из его комнатки; у Пастора в руках листки бумаги. Кажется, больше ничего подозрительного обнаружено не было. Менгеле бросает на них взгляд и презрительным жестом возвращает унтер-офицеру, да так небрежно, что бумаги чуть не падают на пол. Это рапорты о функционировании блока 31, которые старший по блоку составляет и подает администрации лагеря. Менгеле и так хорошо с ними знаком, поскольку пишутся они как раз для него.

Пастор снова засовывает руки в несколько потрепанные рукава своего мундира. Приказы он отдает тихо, но охранники подскакивают, словно от толчка пружины, и вся свора охотников бросается на поиски добычи. Они резво направляются к узникам, на пути яростно расшвыривая табуретки. Детей и учителей-новичков охватывает ужас, прорываясь тоскливыми всхлипами и рыданием. Старожилы встревожены в меньшей степени. Хирш со своего места не сдвигается ни на миллиметр. Уединившись в углу барака, Менгеле издали наблюдает за действием.

Старожилы знают, что дело не во внезапном всплеске вандализма, что нацисты не сошли вдруг с ума и не станут сыпать автоматными очередями направо и налево. То, что происходит, – рутина войны – и пинать табуретки – просто часть процесса. Крики тоже. Даже удар-другой прикладом. Ничего личного. Попрание табуреток – всего лишь предупредительная мера, пролог к тому, что спустя мгновение с такой же легкостью могут быть попораны человеческие жизни. Убийство на войне тоже является рутинной.

Добежав до первой группы узников, дикая охота резко тормозит. Когда к патрульным-охотникам присоединяется старший по званию, сценарий проверки возобновляется, но теперь как бы в режиме замедленной съемки. На каждом шагу охранники останавливаются, внимательно осматривая узников, кое-кого обыскивают, поднимают головы то вверх, то вниз в поисках бог знает чего. Каждый узник старается смотреть прямо перед собой, но украдкой косится на того, кто рядом.

Одной из учительниц приказывают выйти вперед. Эта высокая женщина преподает рукоделие: именно ее стараниями дети творят маленькие чудеса из старых шнурков, щепочек, ломаных ложек и расползающихся кусочков ткани. Она не понимает, что ей говорят, не может расчленить фразы на слова, но солдаты кричат на нее, и один из них ее толкает. Скорей всего, без всякой на то причины. Кричать и толкать – это тоже часть процедуры. Высокая и худенькая учительница кажется тонкой тростинкой, которая того и гляди с сухим треском переломится. Наконец еще один толчок и еще один выкрик возвращают ее на место в шеренгу детей.

Охранники снова идут вперед. Рука Диты уже устала, но она еще крепче прижимает к себе книги. Эсэсовцы останавливаются возле соседней группы, в трех метрах от нее. Пастор задирает подбородок и приказывает мужчине из той группы выйти вперед.

Первый раз в жизни Дита вглядывается в профессора Моргенштерна, человека совершенно безобидного вида, который, судя по складкам кожи под подбородком, когда-то был весьма упитан. У него седые выющиеся волосы, одет он в донельзя заношенный костюм в тонкую полоску, болтающийся на нем, как на вешалке, на лице – круглые очки от близорукости. Дита не очень хорошо понимает адресованные профессору слова Пастора, но видит, как тот протягивает свои очки эсэсовцу. Обершарфюрер берет их в руки и внимательно разглядывает; никому из узников не разрешается иметь при себе личные вещи, но и никто нигде не прописал, что очки от близорукости являются предметом роскоши. При всем при этом эсэсовец вертит их так и этак, как будто не понимает, что оправа вовсе не золотая, что очки не обладают никакой ценностью за исключением той очевидной пользы, что позволяют старому архитектору хоть что-то вокруг себя разглядеть. Наконец Пастор протягивает очки их владельцу, но в тот

момент, когда профессор хочет их взять, роняет их, и очки разбиваются от удара о табуретку, даже не долетев до пола.

– Дурак криворукый! – орет на Моргенштерна унтер-офицер.

Доктор Моргенштерн покорно наклоняется, чтобы подобрать с пола разбитые очки. Когда он разгибается, у него из кармана вываливается пара листов мятой бумаги, и ему вновь приходится согнуться. Пастор с плохо скрываемым раздражением наблюдает за этими неловкими движениями. Потом звучно щелкает каблуками и возобновляет проверку.

Менгеле, все так же стоя позади всех, внимательно, не пропуская ни одной детали, наблюдает за происходящим. Эсэсовцы, увенчанные фуражками с черепом на околышах и попирающие своими сапогами все подряд, медленно продвигаются вперед, буравя узников глазами, в которых сверкает жажда насилия. Дита чувствует их приближение, но не решается взглянуть в их сторону даже искоса. К несчастью, патруль останавливается как раз возле ее группы, и Пастор оказывается шагах в четырех-пяти от нее. Дита замечает, что девочки перед ней дрожат, как травинки на ветру. У нее самой по спине течет холодный пот. Дита понимает, что теперь уже ничего не поделаешь: она возвышается над всеми девочками, к тому же она – единственная, кто не стоит по стойке смирно: с опущенными и прижатыми к телу руками. Ее странная поза – вполне очевидно, что рукой она что-то прижимает к телу, – выдает Диту с головой. Нет, у нее нет никакой возможности избежать безжалостного взгляда Пастора, одного из тех нацистов-трезвенников, опьяняет которых, по примеру Гитлера, только ненависть.

Дита смотрит прямо перед собой, но кожей чувствует, как ее пронзает взгляд Пастора. Страх сворачивается комком в горле, ей не хватает воздуха, она задыхается. Слышит мужской голос и уже готовится выйти из группы.

Все кончено...

Но нет, еще нет. Это не голос Пастора, отдающего приказ ей, это совсем другой голос – заискивающий, глухой. Это голос униженного профессора Моргенштерна.

– Извините, господин унтер-офицер, вы позволите мне вернуться на место? Если вы ничего не имеете против, конечно. В ином случае я, естественно, останусь здесь, пока не будет отдано распоряжение. Последнее, что бы мне хотелось, так это послужить причиной самого что ни на есть малейшего неудобства...

Пастор поворачивает голову и направляет свой разъяренный взгляд в сторону никчемного человечки, который осмелился обратиться к нему, не испросив на то позволения. Старый профессор снова водрузил на нос очки – теперь с треснувшим стеклом – и, стоя вне строя, обращает к эсэсовцам свое бесконечно доброе, простецкое лицо. Пастор несколькими шагами преодолевает разделяющее их расстояние и оказывается возле профессора, солдаты следуют за ним. В первый раз он срывается на крик.

– Идиот! Старая жидовская калоша! Если через три секунды ты не встанешь на свое место, я тебя пристрелю!

– Слушаюсь, как вам будет угодно, – кротко отвечает ему Моргенштерн. – Умоляю простить меня, я никоим образом не хотел вас беспокоить, я просто подумал, что лучше спросить, чем по незнанию каким-либо своим действием нарушить дисциплину, нарушить правила, поскольку мне совершенно не по вкусу поступать вопреки заведенному порядку и единственным моим желанием является угождать и служить вам неукоснительно...

– В строй, идиот!

– Есть, господин унтер-офицер. Я в полном вашем распоряжении, господин унтер-офицер. Покорнейше прошу прощения... В мои намерения отнюдь не входило прерывать вас, я всего лишь...

– Заткнись, иначе я сию же секунду пушу пулю тебе в башку! – орет на него эсэсовец, полностью выходя из себя.

Профессор отходит назад, удрученно качая головой, и встает в строй своей группы. Пастор же не заметил, что его собственные подчиненные сорвались с места вслед за ним, и когда он, будучи вне себя от ярости, резко разворачивается, то с треском сталкивается лоб в лоб со своими людьми. Разыгрывается сцена, достойная комедийного кинематографа: нацисты, стучающиеся друг о друга, как бильярдные шары. Кое-кто из малышей не может удержаться от смеха, и учителя, испугавшись хихиканья, движениями локтей призывают их к порядку.

Обершарфюрер, заметно выведенный из равновесия, украдкой смотрит на своего командира – мрачного капитана медицинской службы, который со скрещенными за спиной руками продолжает пребывать в темном углу у входа в барак. Пастор не может видеть его лица, но хорошо представляет себе разлитое по нему презрение. Ничто не вызывает в Менгеле большего неудовольствия, чем посредственность и некомпетентность.

Унтер-офицер яростным жестом отгоняет от себя солдат и возобновляет прерванную процедуру проверки. Он проходит перед группой Диты, и она еще крепче прижимает к себе затекшую руку. Сжимает зубы. Зажимает все, что только может. Если бы она была на это способна, то прижала бы даже уши. Но так как Пастор выведен из состояния равновесия и ему кажется, что он эту группу уже осмотрел, то он идет к следующей. Звучат еще крики, продолжают толчки и тычки, кого-то обыскивают... а потом весь патруль медленно покидает их сектор.

Библиотекарша медленно восстанавливает дыхание, хотя опасность еще не полностью миновала – пока патруль не уйдет из барака, риск остается. Это как клубок ядовитых гадюк – могут вернуться в любой момент, когда меньше всего этого ждешь. Дита плотнее стискивает книжки, вжимает их в тело и в очередной раз радуется, что грудь у нее не очень пышная. Ее полудетские грудки пока что позволяют незаметно прятать томики на себе. Рука, неподвижная и напряженная в течение долгого времени, затекла и болит. Она чувствует покалывание, но не решается ее пошевелить: а вдруг книги с грохотом упадут на землю? Чтобы не думать о боли в руке, Дита принимается вспоминать, какими путями привела ее судьба в блок номер 31.

Прибытие транспорта, с которым она приехала в Аушвиц, совпало по времени с последними приготовлениями к показу театральной постановки по сказке «Белоснежка и семь гномов». Спектаклями обычно отмечалась Ханука – древний праздник в ознаменование восстания ранее покорных грекам еврейских воинов-маккавеев. Перед утренней проверкой мать Диты случайно столкнулась со своей знакомой по гетто в Терезине, пани Турновской, владелицей фруктово-овощной лавки из Злина. Случайная маленькая радость посреди безбрежных страданий.

Именно эта приветливая женщина, овдовевшая в самом начале войны, и поведала им, что, как она слышала, в этом лагере есть детский блок – школа, куда принимают детей до тринадцати лет. Когда мать сказала, что Эдите уже четырнадцать, пани Турновская ответила, что директор школы был столь предусмотрителен, что убедил немецкую администрацию лагеря в том, что ему понадобятся несколько помощников-ассистентов, которые будут помогать поддерживать порядок в бараке. А в ассистенты он берет подростков от четырнадцати до шестнадцати лет.

– Там у них и построение проводится под крышей, так что дети не мокнут и не дрожат от холода по утрам. И рабочий день короче – не от зари до зари. Даже пайки чуть побольше.

Пани Турновская, владевшая информацией, казалось, обо всем и всех, знала также, что Мириам Эдельштейн должна занять место заместителя директора, Фреди Хирша.

– Мириам Эдельштейн живет в моем бараке, мы знакомы, идем поговорим.

Мириам встретила их по дороге: она быстро, чуть ли не бегом, шла по *лагерштрассе*, главному проспекту лагеря, рассекавшему его от края до края. Она явно торопилась и была в дурном расположении духа; дела у нее не ладились ровно с тех пор, как они с мужем покинули гетто в Терезине, где Якуб занимал пост президента Еврейского совета. А по приезде сюда

его отделили от группы и вместе с другими политзаключенными отправили в старый лагерь, Аушвиц I.

Пани Турновская тут же принялась расписывать Мириам все достоинства Диты, как будто имела дело с покупателем черешни. Но еще прежде чем та успела завершить свой гимн, Мириам Эдельштейн решительно ее остановила.

– Квота ассистентов полностью выбрана, кроме того, многие еще до вас просили меня о том же самом.

И поспешила прочь.

Но почти исчезнув в мутной перспективе бесконечной *лагерштрассе*, вдруг остановилась. И вернулась назад. Женщины, все три, были так ошеломлены решительным отказом, что ни на сантиметр не успели сдвинуться с места.

– Вы сказали, что эта девочка прекрасно говорит по-чешски и по-немецки и хорошо читает?

По воле случая именно в то утро внезапно скончался суфлер спектакля, премьеры которого должна была состояться вечером того же дня в блоке 31.

– Нам срочно нужно найти суфлера... Она сможет выступить в этой роли?

Все взгляды обратились к Дите.

Конечно же, она сможет!

В тот вечер Дита впервые переступила порог блока 31. На первый взгляд он был одним из тридцати двух одинаковых бараков сектора ВІІb, расположенных двумя рядами по шестнадцать строений в каждом, между которыми проходила главная улица, *лагерштрассе*, если слякотное болото под ногами позволительно считать улицей. То есть это была еще одна из ряда одинаковых прямоугольных конюшен, внутри которых из конца в конец над земляным полом проходила сложенная из кирпича продольная печка-труба, делившая пространство барака на две равные половины. Но Дите сразу же пришлось убедиться в том, что блок 31 имеет одно важное отличие от других бараков: вместо рядов трехэтажных нар, где спали узники, в этом бараке из мебели были только табуретки; а вместо подгнившей древесины стены покрывали рисунки, изображающие эскимосов и гномов – персонажей «Белоснежки».

Из табуреток был составлен импровизированный партер. В бараке царил энергичный хаос: туда и сюда сновали добровольные помощники с целью превратить жалкий барак в театр. Одни заканчивали расставлять табуретки, другие приносили и уносили разноцветные ткани, третьи проводили последнюю репетицию с детьми, повторявшими заученные наизусть тексты. В дальнем, противоположном от входа конце барака ассистенты прилагали усилия к сооружению из матрасов подобия небольшой сцены, а две женщины развешивали зеленую ткань, призванную изобразить лес. В ту минуту Дита припомнила содержание последней прочтенной ею до отъезда из Праги книги. Она называлась «Охотники за микробами», и ее автор, Поль де Крайф, рассказывал о жизни великих ученых, предметом исследования которых являлись бактерии и другие микроскопические организмы. И тут же Дита почувствовала себя в огромном бараке как какой-нибудь Кох, Грасси или Пастер, наблюдающий сквозь увеличительное стекло за хаотичными движениями малюсеньких существ, так оживленно снующих в рамках вселенной, размерами не превышающей каплю воды. Подобно крохотному пятнышку плесени, в этой дыре, вопреки всем разумным предположениям, жизнь была ключом.

Для нее была приготовлена суфлерская будка – маленький черный куб из папье-маше прямо перед сценой. Подошел режиссер спектакля Рубинек и предупредил, чтобы она с особым вниманием отнеслась к маленькой Саре, потому что когда Сара нервничает, то автоматически переходит на чешский – немецкие слова застревают у нее в горле. А одним из поставленных нацистами условий для разрешения спектакля был язык: постановка должна идти на немецком.

О том спектакле Дита запомнила вот что: как она нервничала перед началом, груз ответственности на ее плечах в набитом публикой бараке и внушающее опаску присутствие в первом ряду высших руководителей Аушвица П/Биркенау, – коменданта Шварцгубера и доктора Менгеле. Она видела их через дырочку в картоне суфлерской будки, и ее поразила их реакция – смеются и аплодируют. Такое впечатление, что зрители в восторге от представления. Неужели это те же люди, которые каждый день отправляют на смерть тысячи детей? Да, это они.

Из всех спектаклей, поставленных в блоке 31, именно «Белоснежка», сыгранная в декабре 1943 года, навсегда осталась в памяти тех, кто присутствовал в тот день на представлении, выжил и смог о нем рассказать.

В самом начале представления волшебное зеркало, которое должно было ответить на вопрос мачехи, кто же первая красавица во всем королевстве, вдруг стало заикаться:

– Самая красивая – э-э-э-это ты, моя ко-ро-ро-ро-ле-ле-ле-ва...

Партер засмеялся. Все подумали, что речь идет о шутке, придуманной постановщиком. Диту в картонной будке прошибло потом. Заиканье было обусловлено не сценарием, а волнением мальчика, озвучивавшего зеркало, но любой намек на юмор воспринимался и подхватывался с небывалым воодушевлением, потому что смех в Аушвице был еще более редок и ценен, чем хлеб. И людям отчаянно хотелось посмеяться.

Когда Белоснежка была заведена в лес и оставлена там, смех умолк. Роль Белоснежки играла девочка с грустными глазами; наложенные на ее лицо розоватые тени только подчеркивали ее печальный и незащищенный облик. Затерянная в лесу, она выглядела такой хрупкой, а тоненький голосок, которым она взывала о помощи, казался таким трогательным, что горло Диты перехватило от жалости к себе – она ведь и сама такая же беспомощная и незащищенная в этом богом забытом уголке Польши, она и сама потерялась во враждебном лесу, кишашем волками в военной форме.

Разрозненные смешки, звучавшие то по поводу каких-то оговорок, забытых и перепутанных реплик, то в связи с неловкостью охотника, который оставляет Белоснежку в лесу на произвол судьбы (Дита помнит, что горе-охотник чуть кубарем не скатился со сцены), мгновенно замерли, стоило только маленькой Белоснежке запеть. И в этот момент все те, кто до сих пор не мог взять в толк, почему, имея возможность выбирать на эту роль из нескольких дюжин девочек, остановились именно на такой неказистой и бледненькой, с личиком, как у старинной фарфоровой куклы, – все они получили ответ. Голос ее был настоящим чудом, и сладкие песенки Белоснежки, заимствованные из мультфильма Уолта Диснея, наполнились такой силой, причем без какого бы то ни было иного сопровождения, кроме голосовых связок этого ребенка, что у многих слушателей ослабили механизмы эмоциональной защиты. Когда люди, как скот, скучены, помечены клеймами и их массово забивают, то они и думают о себе, как о скотине. А когда смеются или плачут, то вспоминают, что они – все еще люди.

Наконец в сопровождении аплодисментов появился принц-освободитель – высоченный на фоне других актеров, широкоплечий, с влажно поблескивающими зачесанными назад волосами, словно скрепленными бриолином: Фреди Хирш собственной персоной. Белоснежка под воздействием самого древнего в мире лекарства очнулась ото сна, и под громкие овации зрителей спектакль завершился. Хлопал даже невозмутимый доктор Менгеле, хотя и, что верно, то верно, не снимая белоснежных перчаток.

Тот самый доктор Менгеле, который сейчас по-прежнему стоит в углу блока 31, следя за происходящим своим пронизывающим взором, сложив руки за спиной, как будто не имеет к этому действу никакого отношения. Пастор уводит свой мрачный кортеж охранников все дальше в глубь барака, расшвыривая табуретки, играя на нервах. И выдергивает из строя то одного, то другого заключенного, скорее чтобы поиздеваться, чем обыскать. К счастью, эсэсовцы уже далеко и уходят все дальше, да к тому же они не нашли ни единого предложения, чтобы кого-то задержать. По крайней мере пока.

Инспекция, реализуемая в блоке 31 нацистским патрулем, близится к завершению. Они дошли до противоположного конца барака. Унтер-офицер разворачивается к военному медику, но того в бараке уже нет, он исчез. По идее, охранники должны бы быть довольны: тщательный осмотр не выявил ни подземных туннелей, ни оружия, ни каких бы то ни было иных запрещенных их распоряжением предметов. Однако они в ярости – как раз потому, что не нашли повода для наказания. Эсэсовцы в качестве прощального салюта выкрикивают последние ругательства, яростно отшвыривают попавшего под руку паренька-ассистента, адресуют узникам угрозы стереть их с лица земли и выходят через заднюю дверь барака. На этот раз волчья стая ограничилась тем, что поковырялась носами в палой листве. Они ушли, но еще вернутся.

Когда дверь за ними захлопывается, по бараку проносится вздох облегчения. Фреди Хирш подносит к губам свисток, который все время висит у него на шее, и выдает резкую трель – сигнал к тому, что можно разойтись. Рука Диты онемела до такой степени, что ей едва-едва удается отлепить ее от груди. Болит она так сильно, что из глаз текут слезы, однако и облегчение от того, что все закончилось, настолько велико, что Дита плачет и смеется одновременно.

Людьми овладело какое-то нервное напряжение. Учителя горят желанием обменяться впечатлениями, рассказать о своих переживаниях, объяснить друг другу то, чему каждый из них только что был свидетелем. Дети пользуются возможностью побегать и дать выход пережитому страху. Дита видит, что прямо к ней направляется пани Кризкова. Учительница идет к ней строго по прямой, как носорог. При ходьбе у нее подрагивает висящая мешком, как у индюка, кожистая складка под подбородком. Учительница останавливается в сантиметре от Диты.

– У тебя что, детка, с головой не все в порядке? Ты что, не знаешь, что, как только звучит сигнал тревоги, тебе следует занять место среди ассистентов в глубине барака, а не начинать носиться, как угорелая? Не соображаешь, что ли, что тебя могут арестовать и убить? Не понимаешь, что нас всех могут убить?

– Я сделала то, что мне показалось наилучшим выходом...

– Тебе показалось... А кто ты такая, чтобы менять установленные нами правила? Ты что, думаешь, что все знаешь и понимаешь лучше других? – Лицо пани морщится, собирается в тысячу мелких складок.

– Мне правда очень жаль, пани Кризкова...

Дита сжимает руки в кулаки, стараясь удержаться от слез. Такого удовольствия – расплакаться у нее на глазах – Дита ей не доставит...

– Я напишу отчет о твоём поведении.

– В этом нет необходимости.

Мужской голос с сильным немецким акцентом произнес эти слова по-чешски – медленно, но весомо. Обернувшись, Дита увидела Хирша – чисто выбритого, идеально причесанного.

– Пани Кризкова, время занятий еще не закончилось. Будьте любезны вернуться в свою группу, ваши дети что-то слишком разошлись.

Пани учительница всегда ставила себе в заслугу то, что благодаря ее прямоте руководимая ею группа девочек – самая прилежная и дисциплинированная во всем 31-м блоке. Она не произносит ни слова, хотя и окидывает старшего по бараку негодующим взглядом. Разворачивается и, прямая, как палка, с высоко поднятой головой, величественно удаляется к своим девочкам, затаив в душе обиду. Дита облегченно вздыхает.

– Спасибо, пан Хирш.

– Зови меня Фреди...

– Я очень сожалею о том, что нарушила приказ.

Хирш отвечает ей улыбкой.

– Хорош тот солдат, который не ожидает приказа, а поступает по своему разумению, всегда помня о своем долге и исполняя его.

И прежде чем уйти, он на долю секунды оборачивается и окидывает взглядом книги у нее в руках.

– Я горжусь тобой, Дита. Благослови тебя Господь.

Глядя на Хирша, энергичными шагами удаляющегося от нее, Дита вновь вспоминает вечер постановки «Белоснежки». Пока ассистенты разбирали сцену, она вылезла из своего суфлерского убежища и направилась к выходу, гадая, удастся ли ей еще хоть раз оказаться в этом странном блоке 31, способном превращаться в театр. Но тут ее остановил голос, показавшийся ей смутно знакомым.

– Пстой, девочка...

Лицо Фреди Хирша все еще было в «гриме» – выбелено мелом. Диту очень удивило, что он о ней вспомнил. В еврейском гетто Терезина Хирш заведовал молодежным отделом, но Дита видела его всего пару раз, да и то мельком, когда помогала библиотекарю возить тележку с книгами по этому городу-тюрьме.

– Твое появление в лагере – это просто подарок судьбы! – сказал он тогда.

– Подарок судьбы?

– Именно так! – И он жестом пригласил ее последовать за собой в дальний конец барака, за сцену, где к тому моменту никого уже не осталось. Вблизи глаза Хирша поражали странной смесью мягкости и дерзости, а его чешская речь была отмечена явным немецким акцентом. – Для нашего детского блока мне срочно требуется библиотекарь.

Дита смутилась. Она всего лишь четырнадцатилетняя девчонка, привстающая на цыпочки, чтобы казаться старше.

– Прошу прощения, пан, но здесь, наверное, какое-то недоразумение. Библиотекарем была пани Ситтигова, а я только иногда помогала ей доставлять книги.

Ответственный за блок 31 улыбается своей загадочной улыбкой – доброжелательной и в то же время слегка снисходительной.

– Я уже давно тебя приметил. Это ведь ты толкала тележку с книгами.

– Да, потому что для пани Ситтиговой она была слишком тяжелой, да и колесики плохо катились по булыжнику. Но не более того.

– Ты возила тележку с книгами. А могла бы проводить вечера, лежа на койке в своей комнате, общаясь с подругами или занимаясь своими делами. Но вместо всего этого ты толкала тяжеленную тележку с книгами, чтобы люди могли читать.

Дита молчала и смотрела на него в изумлении, а слова Хирша никакого ответа и не требовали. Он командовал не бараком, он командовал армией. И точно так же, как предводитель народного восстания, поднявшегося с оружием в руках против войск оккупантов, указывает на крестьянина и говорит ему: «Ты будешь полковником», так и он тем вечером торжественно указал на Диту в темном бараке и сказал: «Ты будешь библиотекарем».

А еще прибавил:

– Но это опасно. Очень опасно. Иметь дело с книгами здесь – вовсе не игрушки. Если эсэсовцы схватят кого-нибудь с книгами в руках, такого человека ждет смерть.

Сказав это, он поднял большой палец и вытянул вперед указательный. И направил дуло этого импровизированного пистолета прямо в лоб девочки. Ей хотелось бы остаться невозмутимой, но ее явно взволновала такая ответственность.

– Можете на меня рассчитывать.

– Это большой риск.

– Мне все равно.

– Тебя могут убить.

– Все равно.

Дита приложила усилия к тому, чтобы ее слова прозвучали весомо и убедительно, но цели своей не достигла. Так же не удалось ей унять дрожь в коленях, которая заставляла вибрировать и всю ее тоненькую фигурку. Старший по блоку пристально наблюдал за мелкой дрожью, которую выбивали худенькие ножки Диты в шерстяных чулках.

– Чтобы заниматься библиотекой, требуется храбрец...

Дита залилась краской – ведь ноги так и не переставали дрожать. Чем больше она старалась унять эту дрожь, тем сильнее вибрировали ноги. Кроме того, теперь у нее дрожали еще и руки: отчасти по той причине, что в голове крутились мысли о нацистах, отчасти из-за страха, что Хирш решит, что она испугалась, и передумает. Страх перед страхом – это как нестись сломя голову с вершины холма.

– З-з-значит, вы меня не берете?

– Ну, я вполне уверен, что ты – очень храбрая девочка.

– Но я же вся дрожу! – в отчаянии пролепетала Дита.

В ответ Хирш улыбнулся – той своей особенной улыбкой, как будто бы он наблюдает за несовершенствами мира, с удобствами устроившись в мягком кресле.

– Вот поэтому ты и храбрая. Храбрецы – это не те, кто не боится. Такие люди – безрассудные, они не понимают, что такое риск, и потому подставляют, не осознавая опасности. Всякий, кто не может оценить грозящую ему опасность, заодно подвергает риску и окружающих его людей. Такие мне в нашей команде не нужны. А вот кто мне нужен – так это тот, кто боится, но не отступает. Тот, кто отдает себе отчет в том, что рискует, но при этом идет вперед.

Когда прозвучали эти слова, Дита заметила, что дрожь в ее ногах утихает.

– Храбрые – это те, кто способен свой страх преодолеть. И ты как раз из них. Как тебя зовут?

– Меня зовут Эдита Адлерова, пан Хирш.

– Добро пожаловать в блок 31, Эдита. И да поможет тебе Бог. Зови меня Фреди, пожалуйста.

Она очень хорошо помнит, как в тот вечер, когда играли «Белоснежку», они предусмотрительно дожидались, пока все не разошлись. И только после этого Дита вошла в кабинет Фреди Хирша – узкое прямоугольное помещение с койкой и парой старых стульев. Там было полным-полно открытых пакетов, пустых коробок, документов с официальными печатями, обрезков ткани, из которой изготавливались декорации «Белоснежки», помятых мисок, а также лежала его собственная одежда – запас невелик, но сложен аккуратно.

Когда Хирш обратился с просьбой об улучшении полугодного детского рациона, доктор Менгеле с неожиданным для него снисхождением приказал отправлять в детский 31-й блок посылки, присылаемые родственниками тем узникам, которых уже не было в живых. Перевод заключенных в госпитальный барак был делом чуть ли не каждодневным, а их гибель – рутинной. Из 5007 депортированных, доставленных в лагерь в сентябре, к декабрю умерло около тысячи. Кроме обычных простудных заболеваний, таких как бронхит и воспаление легких, в лагере свирепствовали рожа и желтуха, усугубляемые дистрофией и отсутствием минимальной гигиены. Осиротевшие посылки, пройдя через заграбущие лапы эсэсовцев, добирались до блока 31 до такой степени разграбленными, что порой их содержимым оказывались лишь крошки да пустая оберточная бумага. Но все же иногда удавалось обнаружить в них галеты, колбасу, кусочки сахара... И это было очень ценное дополнение к скудному рациону детей. Кроме того, на основе найденного в посылках получалось организовывать различные детские конкурсы и ярмарочные розыгрыши, призом в которых служили то половина луковицы, то кусочек шоколада, то щепотка манки.

Вначале Хирш сообщил Дите ошеломившую ее новость: блок 31 располагал «ходячей» библиотекой. Оказалось, что некоторые преподаватели, досконально знавшие какой-нибудь

художественный текст, становились живыми книгами. Они переходили из группы в группу и рассказывали детям истории, хранившиеся в их памяти.

– Магда – непревзойденный рассказчик «Чудесного путешествия Нильса с дикими гусями»: детям очень нравится представлять, как они летят по небу над Швецией, уцепившись за гусиные лапы. Шасехк прекрасно рассказывает истории об индейцах и о приключениях на Диком Западе. Коронный номер Дезо Ковака – подробнейшие пересказы преданий и легенд о библейских патриархах. У него так хорошо получается, что мы зовем его «говорящей Библией».

Но только этим Фреди Хирш не удовольствовался. Он рассказал Дите и о том, что разными подпольными путями в лагерь проникали в том числе и настоящие книги. Поляк Мие-тек, плотник по специальности, принес им три книги, а электрик из Словакии – еще две. Оба были представителями той группы заключенных, которые обладали чуть большей свободой, поскольку могли перемещаться между несколькими концлагерями, обеспечивая, в качестве специалистов, их функционирование. Из огромного склада под названием «Канада», куда отправлялись все реквизированные у вновь поступающих в Аушвиц заключенных вещи, им удалось вынести на себе несколько книг, за которые Хирш расплатился провизией из передаваемых в блок посылок.

Дите поручалось смотреть за тем, кому из учителей была выдана та или иная книга, а также собирать их после окончания занятий и в конце дня вновь убирать в тайник. Комнатка старшего по блоку изобиловала разными вещами, но там поддерживался порядок. Можно даже сказать, что если там и присутствовали черты хаоса, то они были тщательно продуманы самим Хиршем и призваны кое-что прятать от нескромных взоров. Старший по блоку направился в угол, где были свалены обрезки ткани, и очистил от них пол. Потом снял половую доску, и сразу показались корешки книг. Дита не могла сдержать восторга и захлопала в ладоши, как будто искусный иллюзионист только что показал ей фокус.

– Вот она, твоя библиотека. Не бог весть что, конечно, – и он искоса взглянул на девочку, чтобы понять, какое впечатление произвел на нее тайник.

Обширной эту библиотеку не назовешь. Честно говоря, в ней было всего восемь томов, причем некоторые – в довольно потрепанном виде. И все же это были книги. В этом сумрачном месте, где человечество достигло состояния собственной тени, присутствие книг являлось свидетельством существования менее мрачных и более благостных времен, когда слова звучали намного весомее, чем пулеметы. След ушедшей эпохи. Дита одну за другой брала в руки книги – бережно, словно мать, берущая на руки новорожденного.

Первый томик оказался растрепанным «Атласом Европы», в котором не хватало страниц и фигурировали уже давно не существующие страны и империи. Цветовая гамма политических карт атласа – целая мозаика ярких красок: пламенеющий алый, блистающая зелень, ярко-оранжевый – выступала кричащим контрастом по сравнению с окружающей Диту тоской: темно-коричневые пятна слякоти, вылинявшая охра стен бараков, пепельная серость низкого неба. Она начала перелистывать страницы атласа и словно взлетела над землей: вот она пересекает океаны, огибает мысы со сказочными именами – мыс Доброй Надежды, мыс Горн, мыс Тарифа; перелетает через горы; перепрыгивает через проливы, которые так узки, что два берега или два океана того и гляди коснутся друг друга, – Берингов пролив, Гибралтар, Панамский перешийек; ее палец скользит вниз по течению рек – Дуная, Волги, потом Нила. Поместить все эти миллионы квадратных километров морей, лесов, запихнуть все горные цепи планеты Земля, все ее реки, города и страны в такое крохотное пространство – да, на такие чудеса способна только книга!

Фреди Хирш молча смотрел на Диту, явно наслаждаясь выражением ее лица: сосредоточенным взглядом и приоткрывшимся ротиком, с которым она перелистывает страницы. Если у него и оставались какие бы то ни было сомнения по поводу решения возложить ответствен-

ность за библиотеку на плечи этой чешской девочки, то в тот момент они окончательно развеялись. Он увидел, что Эдита вложит в хранение книг и заботу о них себя целиком – без остатка. В ней явно была та самая связь, которая соединяет порой человека и книгу. Вид сообщества, который ему самому, слишком активному, чтобы затеряться среди стройных линий печатного текста на книжных страницах, был несвойственен. Фредди предпочитал активность, физические упражнения, песни, речи... Но он тотчас понял, что как раз в Дите живет эта тайная страсть – та, что кое для кого превращает стопку бумаги с напечатанными на ней буквами в огромный, созданный только для них мир.

В несколько лучшей сохранности были «Начала геометрии», являвшие на своих страницах собственную географию: пейзаж из равнобедренных треугольников, восьмигранников и цилиндров, стройных рядов цифр, упорядоченных в военном строе арифметики, сгруппированных так, что загадочная ячеистая структура делала их похожими сразу и на облака, и на параллелограммы.

Третья книга распахнула глаза Диты во всю ширь. Это были «Очерки истории цивилизации» Г. Дж. Уэллса. Книга, на страницах которой жили доисторические люди, египтяне, римляне, индейцы майя... Цивилизации, складывающиеся в империи, которые в свою очередь разрушались, освобождая место для идущих им на смену.

На обложке следующей книги значилось: «Грамматика русского языка». Дита не понимала здесь ничего, но ее завораживали загадочные буквы, словно специально созданные для того, чтобы ими записывались легенды. Теперь, когда Германия вступила в войну с Россией, все русские стали ее друзьями. Дите приходилось слышать, что в Аушвице много русских военнопленных и что нацисты обращаются с ними с особой жестокостью. И это было правдой.

Еще одна книга оказалась французским романом в довольно плачевном состоянии: с недостающими страницами, с пятнами сырости в некоторых местах. Дита французского не знала, но сразу же подумала, что обязательно найдет способ расшифровать этот текст и узнать рассказанную в нем историю. В библиотеке имелся также научный трактат под названием «Новые пути в психоанализе», принадлежащий перу некоего профессора по фамилии Фрейд. Был еще один роман – на русском; томик был без обложки. А восьмой книгой оказался роман на чешском. Он был в совершенно ужасном состоянии: ни дать ни взять стопка рассыпающейся бумаги, еле скрепленная несколькими стежками на корешке. Но Дита взять эту книгу в руки не успела – Фредди Хирш ее опередил. Она взглянула на него с досадой истинной хранительницы книг. Ей бы очень хотелось, чтобы в тот момент у нее на носу сидели очки в роговой оправе, и она бы поверх них взглянула на него, как делают обычно строгие библиотекари.

– Эта совсем рассыпалась. Она уже никуда не годится.

– Я приведу ее в порядок.

– Помимо всего прочего... это не та книга, которая рекомендована для детского чтения. Особенно для девочек.

Дита еще больше распахнула свои огромные глазищи, выражая степень охватившего ее раздражения.

– При всем уважении к вам, пан Хирш, но мне уже четырнадцать. Неужели вы действительно полагаете, что меня, каждый день наблюдающую за тем, как кастрюля с нашим завтраком встречается по дороге к барaku с повозкой, груженной трупами, что меня, после ежедневного же созерцания нескольких десятков людей, входящих в газовые камеры в дальнем конце лагеря, что после всего этого меня может чрезмерно впечатлить хоть что-нибудь, изображенное в романе?

Хирш с удивлением смотрит на девчонку. А его удивить нелегко. Он принимается объяснять, что речь идет о «Похождениях храброго солдата Швейка», о книге, написанной невоздержанным на язык алкоголиком по имени Ярослав Гашек, что роман содержит скандальные оценки и суждения о политике и религии, а также крайне сомнительные с точки зрения морали

эпизоды, плохо подходящие для ее возраста. Говоря все это, Хирш в какой-то момент осознаёт, что пытается убедить лишь самого себя, да и то без особого успеха, и что эта девчушка с пронизательным взглядом сине-зеленых глаз взирает на него весьма решительно. Хирш начинает массировать рукой подбородок, словно желая стереть с него проступившую за день щетину. Тяжело вздыхает. Еще раз откидывает волосы назад и в конце концов сдается. Протягивает Дите и эту разваливающуюся книжку.

Дита разглядывает книги, ласкает их. Они потрепанные и неровные, захватаны множеством рук, с розоватыми следами от сырости, у некоторых не хватает обложки или страниц... Но это сокровище. Их хрупкость придает им еще большую ценность. Она понимает, что с ними следует обращаться как со старичками, выжившими в страшной катастрофе. Причина – их непреходящая ценность: без них может быть утрачена мудрость, накопленная за несколько долгих веков цивилизации. Знания и умения географов, которые демонстрируют нам, каков он, этот мир; искусство литературы, которая позволяет читателю в десятки раз увеличить количество проживаемых жизней; прогресс науки, отраженный в математике; история, напоминающая нам, откуда мы родом, какой путь мы уже прошли, и, возможно, помогающая выбрать ту дорогу, по которой нам следует пойти; грамматика, прослеживающая нити речевого общения людей... С этого дня Дита стала не только библиотекарем – она превратилась в хранительницу и врачевательницу книг.

3

Дита старается глотать ежедневную похлебку из брюквы как можно медленнее – говорят, что так она лучше насыщает, хотя, даже если цедить ее сквозь зубы, голода этим никак не утолишь и даже не обманешь. Собравшиеся кружками учителя между отправляемыми в рот ложками похлебки обсуждают далеко не блестящее поведение легкомысленного профессора Моргенштерна.

– Он очень странный: то говорит так много, что не остановишь, то вдруг замолчит, и слова из него не вытянешь.

– Лучше бы молчал. Говорит какую-то абракадабру. Совсем из ума выжил.

– И как же противно было смотреть на него, когда он так покорно склонял голову перед Пастором.

– Да уж, про него никак не скажешь, что он герой Сопротивления.

– Ума не приложу, почему Хирш позволяет вести занятия с детьми человеку, у которого явно не все дома.

До Диты, пристроившейся в некотором отдалении, доносится весь обмен репликами. И она жалеет этого уже довольно пожилого человека, немного похожего на ее деда. Она видит его – вон он сидит на табурете в другом конце барака, ест свою похлебку в полном одиночестве и даже сам с собой разговаривает, церемонно поднося ложку к губам и отводя в сторону мизинец с такой утонченностью, которая в их конюшне явно неуместна. Как будто профессор обедает во дворце в обществе аристократов.

Вторая половина дня, как обычно, посвящена детским играм и спортивным занятиям, но Дита горячо желает только одного: чтобы день побыстрее закончился и была проведена вечерняя поверка, после которой ей можно будет побежать в другой барак, повидаться с родителями. В семейном лагере новости порхают из барака в барак и после многократных пересказов искажаются до неузнаваемости.

Как только предоставляется такая возможность, Дита торопится покинуть блок 31 и побежать к матери, чтобы ее успокоить. Она уже наверняка слышала об инспекции в блоке 31, и одному богу известно, что ей там об этом наговорили. Идя по *лагеритрассе*, Дита встречает свою подругу Маргит.

– Дитинка, говорят, у вас в 31 блоке сегодня была инспекция!

– Да, этот мерзавец Пастор.

– Ой, а тебе обязательно нужно употреблять ругательства? – спрашивает Маргит подругу, прыская от смеха.

– «Мерзавец» – это не ругательство, это правда. Он вызывает... отвращение! Разве что-то может быть правдой и в то же время ругательством?

– Ну и как, что-нибудь нашли? Кого-нибудь задержали?

– Абсолютно ничего, там ведь нет ничего такого, что можно найти. – И Дита слегка подмигивает подруге. – С ними еще Менгеле приходил.

– Доктор Менгеле? Боже мой! Значит, вам крупно повезло. Об этом человеке рассказывают страшные вещи. Он безумец. Пытался воздействовать на цвет глаз и, чтобы получить голубые, вколол в зрачки тридцати шести детям синие чернила. Какой ужас, Дитинка. Одни умерли от занесенной инфекции, другие ослепли...

Обе девочки умолкают. Маргит – лучшая подруга Диты, она знает о том, что Дита – библиотекарь подпольной библиотеки, но Дита попросила Маргит ничего не говорить об этом ее маме. Мама, конечно же, запретила бы ей соглашаться на эту роль, сказала бы, что это чересчур опасно, возможно, заплакала бы и пригрозила обо всем рассказать отцу. Мама не очень религиозна, но наверняка принялась бы взывать к Богу, что-то в этом духе. Нет, лучше ни о чем

ей не говорить. И отцу тоже, он и так уже довольно сильно подавлен. Чтобы сменить тему, Дита, улыбаясь и похихикивая, рассказывает Маргит о происшествии с профессором Моргенштерном.

– Ну и цирк он там устроил! Видела бы ты выражение лица Пастора, когда у профессора вываливались из карманов вещи – каждый раз, когда он наклонялся.

– Да-да, я его знаю – такой очень старый господин, носит костюм в полоску и склоняет голову каждый раз, когда навстречу попадает женщина... А женщин так много, что он похож на механического болванчика с пружинкой вместо шеи! Мне кажется, что у этого господина крыша слегка поехала.

– А у кого здесь она не поехала?

Добравшись до цели, Дита видит на улице своих родителей: они отдыхают под навесом, устроенным вдоль длинной стены барака. На улице холодно, но внутри слишком много народу. Судя по всему – устали, особенно отец.

Рабочий день длинный: их поднимают до рассвета, потом – нескончаемая поверка под открытым небом, после нее все работают в мастерских до вечера. Отец изготавливает специальные ленты для портупей, которые удерживают винтовку, поэтому руки его часто совсем черные, а пальцы покрыты волдырями из-за токсичных резины и клея. Мать трудится в мастерской по изготовлению фуражек, где работа не такая тяжелая. Конечно, очень много часов, да еще и при скудном питании, но все же они работают под крышей и сидя. Другим досталось кое-что похуже: собирать трупы и грузить их на специальную телегу, чистить отхожие места, копать дренажные канавы или работать на погрузке и разгрузке разных материалов.

Отец подмигивает дочке, а мама вскакивает со своего места, едва завидев ее.

– С тобой все в порядке, Эдита?

– Да-а-а-а!

– Ты меня не обманываешь?

– Конечно нет! Разве ты сама не видишь?

Тут появляется пан Томашек.

– Ханс, Лизль! Как у вас дела? Как я погляжу, ваша дочка по-прежнему является обладательницей самой красивой улыбки во всей Европе!

Дита, зардевшись, объявляет, что она пойдет с Маргит, и девочки оставляют взрослых беседовать.

– Какой же он любезный, этот пан Томашек!

– Ты и его знаешь, Маргит?

– Да, он часто навещает моих родителей. Многие здесь думают только о себе, но пан Томашек из тех, кто заботится о других. Спрашивает, как у них дела, интересуется их жизнью.

– И внимательно слушает...

– Хороший человек.

– Тем лучше – приятно знать, что не все еще сгнили в этом аду.

Маргит умолкает. Хотя она на два года старше Диты, ее немного напрягает та прямолинейность, с которой Дита выражает свои мысли, но она понимает, что подруга права. Ее соседки по нарам воруют чужие ложки, одежду и вообще все, что под руку попадется. Люди воруют хлеб у детей, чуть только мать отвлечется, за лишнюю ложку супа доносят *капо* друг на друга по поводу всяких мелочей. Аушвиц не только убивает невинных, он также убивает невинность.

– Слушай, Дита, на улице такой холод, а твои сидят здесь, на улице. Не кончится ли это воспалением легких?

– Просто моя мама предпочитает как можно меньше общаться со своей соседкой по матрасу. У той очень тяжелый характер... Хотя и у моей, надо признать, не лучше!

– В любом случае, вам повезло – спите на верхних нарах. А вот нас всех распределили на нижние.

– Да, должно быть, сырость от земли поднимается.

– Ах, Дитинка, Дитинка! Самое ужасное – не то, что поднимается снизу, а то, что может упасть сверху. Твою соседку сверху, например, затошнит, и вдруг ее вырвет прямо на тебя, потому что у нее не будет времени посмотреть, куда попадет блевота. А еще многие страдают дизентерией и ходят прямо под себя. Поверь, Дитинка, просто струями – вниз. Видела я такое, хоть и на других нарах.

Дита на мгновение останавливается и, невероятно серьезная, поворачивается лицом к Маргит.

– Маргит...

– Что?

– На свой день рождения ты можешь попросить, чтобы тебе подарили зонтик.

И подружке Диты, которая старше ее на целых два года, выше ростом, но при этом отличается детским личиком, только и остается, что отрицательно покачать головой. Права ее мать, когда говорит, что Дита – ужасный человек: она способна посмеяться над чем угодно!

– А как это вам удалось заполучить верхние нары? – спрашивает Маргит в ответ.

– Ну, ты же знаешь, какая в лагере поднялась заварушка, когда в декабре прибыл наш транспорт.

Обе девочки замолчали. Старожилы, прибывшие в лагерь в сентябре, были не только чехами, как и они, но и знакомыми, друзьями, порой даже родственниками всех тех, кого депортировали из гетто в Терезине позже, как их. Тем не менее, увидев вновь прибывших, никто не обрадовался. Заселение в лагерь еще пяти тысяч новых заключенных означало, что придется делиться тонкой струйкой воды из крана, что проверки под открытым небом станут нескончаемыми, что бараки будут переполнены.

– Когда мы с мамой пришли в барак, в который нас распределили, наша попытка поселиться на нарах со старожилами вылилась в полный дурдом.

У Маргит такое же впечатление. Она также хорошо помнит в своем бараке споры, крики и даже драки между женщинами, оспаривающими друг у друга тощее одеяло или замызганную подушку.

– В нашем бараке, – вспоминает Маргит, – была одна очень больная женщина, которая все время кашляла, и когда она пыталась сесть на своем матрасе, соседка по нарам выпихивала ее на пол. Тогда эта женщина заходила в кашле еще сильнее и, обессиленная, стонала, потому что не могла подняться с пола. «Идиотки! – кричала на них *капо*. – Вы что, думаете, что сами здоровы? Думаете, что есть разница: заразная соседка на одних с тобой нарах или на соседних?»

– В таком случае эта *капо* – вполне разумный человек.

– Куда там! Проорав это, она схватила палку и принялась дубасить всех направо и налево без разбора. Досталось и той женщине, что упала на пол, то есть той самой, в защиту которой *капо* вроде бы и выступила.

Дита вспоминает пережитый шквал криков, беготни, слез и продолжает:

– Моя мама предпочла, чтобы мы вышли из барака, пока все это не уляжется. На улице было холодно. Какая-то женщина сказала, что спальных мест не хватит, даже если каждой придется спать вместе с кем-то, и что кому-то точно достанется место на земляном полу.

– И что вы решили делать?

– Да ничего – так и мерзли снаружи. Ты же мою маму знаешь: ей не нравится привлекать к себе внимание. Если в один прекрасный день ее переедет трамвай, она и то не пикнет, чтобы не давать повода для разговоров. Ну а я так просто вся извелась от нервов. Поэтому я не стала

ее спрашивать. Все равно она мне бы не позволила. Так что я сорвалась с места и вбежала в барак быстрее, чем она успела хоть что-нибудь сказать. И кое-что я там заметила...

– Что?

– Что почти все верхние нары были заняты. И сделала вывод, что, скорее всего, они лучшие. В чем тут дело, я тогда не понимала, зато знала, что в таких местах нужно внимательно приглядываться к тому, как ведут себя старожилы.

– Знаю я одну старожилку: примет тебя в соседки на своих нарах, если ты ей можешь чем-то за это заплатить. Одной женщине удалось добиться, чтобы ее взяли на нары в обмен на яблоко.

– Яблоко – это целое состояние, – отзывается Дита. – Она, наверное, цен не знала. Даже за пол-яблока можно купить многие вещи. И много разных поблажек.

– Тебе тоже пришлось что-то заплатить?

– Ничего. Я оглядела старожилков и выделила тех, у кого не было соседок на нарах. На тех, где уже появились две подселенки, женщины сидели, свесив ноги, – это они свою территорию поместили. Женщины из нашего транспорта бегали по всему барaku в поисках места – наверху, внизу, где угодно, взывали к милосердию. Искали узниц помягче, чтобы те позволили им прилечь на их матрасе. Но все милосердные давно уже кого-то к себе пустили.

– С нами тоже так было, – говорит Маргит. – Нам еще повезло, что в конце концов мы увидели нашу соседку по комнате в Терезине, и она нас приютила – маму, сестру и меня.

– У меня знакомых там не было – никого. И к тому же мне нужно было два места, а не одно.

– И что, тебе удалось-таки найти сострадательную старожилку?

– Было уже слишком поздно. Остались только эгоистки и злюки. Знаешь, что я сделала?

– Нет, не знаю.

– Нашла самую мерзкую.

– Почему?

– Потому что отчаялась. Увидела эту старожилку – среднего возраста, с короткими, словно обкусанными волосами; она сидела на своем матрасе на верхних нарах. Выглядит отвратительно, нахальная. Через все лицо – черный шрам. Синяя наколка на руке – верный знак, что в тюрьме сидела. К ней подошла одна женщина и стала молить о месте – так та как заорет на нее! Криком прогнала. Даже попыталась пнуть ее своей грязнущей пяткой. Ну и ножищи у нее – огромные, кривые!

– И что ты тогда сделала?

– Встала перед ней, наглая такая, и как закричу: «Слушай, ты!»

– Ну и ну! Поверить не могу! Ты меня, наверное, просто за нос водишь! Что, ты смотришь на старожилку, по виду преступницу, совсем тебе не знакомую, и вот так спокойненько говоришь ей: «Слушай, ты!»?

– А кто тебе сказал, что спокойненько? Да я умирала со страху! Но к такой тетке, как она, ты не можешь подойти и сказать: «Добрый вечер, многоуважаемая пани, как вы полагаете, в этом году абрикосы успеют созреть?» Да она бы тебя вытолкала восвояси тычками и пинками! Чтoб она меня послушала, мне нужно было говорить с ней на ее языке.

– И она тебя выслушала?

– Ну, сначала она на меня посмотрела так, будто прирезать хочет. Я, наверное, побледнела как мел, но постаралась, чтобы она ни о чем не догадалась. И сказала ей, что дело кончится тем, что *капо* указательным пальцем распределит по нарам тех женщин, кому не удалось найти себе место: «За стенами барака еще два или три десятка узниц, и тебе может достаться любая из них. Среди них одна такая толстая, что раздавит тебя во сне, как котенка. Еще у одной изо рта воняет хуже, чем от ног. И несколько старух с несварением – будут портить воздух».

– Дита, ну ты даешь! И что она на это сказала?

– Смотрела на меня с кислой миной, и все. Хотя не кислую она изобразить явно не могла, даже если бы захотела. Во всяком случае, позволила мне продолжить: «Во мне меньше сорока пяти кило. Во всем этапе ты не найдешь никого, кто был бы тоньше меня. Я не храплю, умываюсь каждый день и знаю, когда лучше помолчать. Да ты во всем Биркенау не найдешь более выгодную соседку, чем я, даже если с лупой будешь ползать».

– И что она тогда сделала?

– Вытянула в мою сторону шею и стала сверлить меня глазами, как, знаешь, когда смотришь на муху и думаешь: прихлопнуть ее или пусть летит? Если бы у меня не так сильно дрожали ноги, я бы спаслась бегством.

– Ну ладно, а что она сделала-то?

– Заявила мне: «Заметано, остаешься со мной».

– Так значит, ты добилась своего!

– Нет, пока еще нет. Я ей дальше говорю: «Сама видишь: я очень выгодная соседка по нарам, но пойду я к тебе, только если ты поможешь мне получить еще одно место на верхних нарах для моей матери». Представить себе не можешь, как она взбеленилась! Ей, естественно, не понравилось, что какая-то дохлая соплячка рассказывает, что ей нужно делать. Но я-то заметила, с каким отвращением смотрит она на женщин, бродящих по бараку. Знаешь, что она меня спросила, причем на полном серьезе?

– Что?

– «А ты в постель не писаешься?» «Нет, пани, никогда», – был мой ответ. «Попробуй только», – говорит она своим хриплым от водки голосом. И поворачивается к соседним нарам, на которых тоже пока что была только одна женщина. «Слушай, Боскович, – заявляет она ей, – ты что, не знаешь, что было распоряжение об уплотнении?» А та прикидывается шлангом. «Это еще вилами по воде писано – твои аргументы меня не убеждают».

– И что сделала эта твоя старожилка?

– Ну, дополнительные аргументы у нее нашлись. Она порылась в соломенной начинке матраса и вытащила оттуда кусок загнутой проволоки с ладонь величиной, с заточенным концом. Оперлась рукой о койку соседки и приставила острие к ее шее. И этот аргумент, я полагаю, оказался вполне убедительным. Соседка изо всех сил согласно закивала. От страха глаза у нее так выкатились, что чуть не упали вниз с физиономии! – и Дита засмеялась.

– Меня это совсем не веселит. Такая ужасная женщина! Господь ее покарает.

– Ну, я как-то слышала от обойщика-христианина, чья лавка расположена на первом этаже нашего дома, что Господь пишет прямо, но кривыми строчками. Может, скривленные проволоки тоже годятся. Я ее поблагодарила и представилась: «Меня зовут Эдита Адлерова. Возможно, мы еще станем хорошими подругами».

– И что она тебе ответила?

– А ничего. Должно быть, она решила, что и так потратила на меня слишком много времени. Она просто отвернулась к стенке, оставив мне полоску матраса шириной в четыре пальца, чтобы я легла вальтом – головой к ее ногам.

– И больше ничего тебе не сказала?

– С тех самых пор она больше ни слова мне не сказала, Маргит. Веришь?

– Ах, Дитинка. Я теперь уже во что угодно могу поверить. Да поможет нам Бог.

Настало время ужина; девочки прощаются и расходятся по своим баракам. Уже полностью стемнело, и лагерь освещают только тусклые желтые фонари. Взгляд Диты останавливается на двух *капо*, беседующих возле двери барака. Отличать их она умеет – по лучшей, чем у остальных узников, одежде, по коричневому браслету спецзаключенного, по вышитому треугольнику, который показывает, что эти двое не евреи. Красный треугольник носят политзаключенные, большинство из которых либо коммунисты, либо социал-демократы. Коричневый – для цыган. Зеленый – для обыкновенных преступников и рецидивистов. Черный – знак

разного рода асоциальных элементов, которыми считаются умственно отсталые и лесбиянки. Гомосексуалы носят розовый треугольник. В Аушвице большой редкостью являются *капо* с розовыми или черными треугольниками, потому что их носители – низшая категория заключенных, почти что на уровне евреев. Но в секторе ВПb исключения являются правилом. Один из двоих беседующих *капо* – мужчины и женщины – носит на рукаве розовый, а другой – черный треугольник; по-видимому, здесь с ними больше никто разговаривать не желает.

Дита дотрагивается до желтой звезды и шагает к своему барaku, думая о куске хлеба, который ей дадут на ужин. Для нее этот хлеб – лакомство, единственная порция твердой пищи, ведь обеденная похлебка – вода водой, способная лишь на небольшой промежуток времени утолить жажду.

Темная тень, гуще и чернее, чем все остальные, тоже движется по *лагеритрассе*, но в противоположном направлении. Люди перед этой тенью расступаются, шарахаясь в сторону: хоть бы прошла мимо, не останавливаясь, не коснувшись их. Любой скажет, что это смерть. Так оно и есть. Сквозь темноту просачивается мелодия «Полета валькирий» Вагнера.

Доктор Менгеле.

Когда он поравнялся с Дитой, девочка опустила взгляд и собралась отпрянуть в сторону, как остальные. Но офицер останавливается и фокусирует взгляд именно на ней.

– Тебя-то я и ищу.

– Меня?

Менгеле медленно окидывает ее взглядом.

– Лиц я не забываю никогда.

Речь его отличается каким-то кладбищенским спокойствием. Если бы смерть могла говорить, то делала бы это именно в таком ледяном тоне и ритме. Дита вспоминает случившееся сегодня днем в блоке 31. Пастор не смог сосредоточиться на ней из-за той суматохи, которая последовала за выступлением полоумного профессора, и она решила, что все обошлось. Но не подумала о докторе Менгеле. Он стоял дальше, но, понятное дело, все видел. И не мог его цепкий взгляд исследователя не отметить, что она и стоит не на своем месте, и что одна ее рука поднята, и что она явно что-то прячет. Дита видит это в холоде его глаз, странным для арийца образом карих.

– Номер.

– 73305.

– Я буду следить за тобой. Когда ты меня не видишь – я за тобой наблюдаю. Ты думаешь, что я тебя не слышу, – но я тебя слушаю. Я знаю все и обо всем. И если ты хоть на миллиметр отступишь от правил пребывания в лагере, я об этом узнаю, и ты окажешься на моем столе. Вскрытие живого тела обычно выявляет очень много интересного.

И произнеся это, продолжает, как будто бы только для самого себя:

– Видишь, как доходят до желудка последние порции крови, выталкиваемые сердцем. Чрезвычайной красоты зрелище.

Менгеле полностью уходит в себя, размышляя о прекрасной патологоанатомической лаборатории с новейшим медицинским оборудованием, которую он создал при крематории номер 2. Для него в высшей степени притягательны и ее пол из красноватого цемента, и секционный стол со столешницей из полированного мрамора, с установленным по центру резервуаром для жидкостей, с его никелевым трубопроводом и кранами. Это его алтарь – алтарь, посвященный науке. Он им гордится. И вдруг вспоминает, что у него запланировано завершение эксперимента на черепах, проводимого на цыганских детях. И удаляется широкими шагами: заставлять детей ждать было бы с его стороны невежливо.

Оцепеневшая Дита остается на месте, застыв посреди лагеря. У нее дрожат ноги – тоненькие, не толще палки от швабры. Еще секунду назад на *лагеритрассе* было полно народу – и вот она одна. Все остальные вдруг исчезли, словно заглоченные канализацией. Никто не под-

ходит поинтересоваться, все ли с ней в порядке или же требуется помощь. На ней – метка доктора Менгеле. Некоторым узникам, остановившимся понаблюдать за сценой на исключаящем нескромность расстоянии, Диту жалко – она так испугана, так потеряна. Одна женщина даже знает ее в лицо, помня еще по гетто Терезина. Но все мгновенно принимают решение поспешить и как можно быстрее убраться с места происшествия. Прежде всего – выживание. Это заповедь Господня.

Наконец Дита вновь обретает способность двигаться и направляется к своему переулку. «Неужели и правда он будет следить за мной?» – возникает в голове вопрос. Ответом ей служит его ледяной взгляд. Пока она идет в барак, вопросы в голове все множатся и множатся. Что же ей теперь, начиная вот с этого момента, делать? Самым благоразумным будет отказаться от роли библиотекаря. Как она сможет продолжать управляться с библиотекой, если на пятки ей будет наступать доктор Менгеле? Есть в нем что-то такое, что внушает ужас, что-то ненормальное. За эти годы она перевидала многих нацистов, но в этом есть что-то совершенно особенное. Интуиция ей подсказывает, что этот человек обладает какой-то исключительной властью творить зло.

Торопливой, чтобы не выдать своей тревоги, скороговоркой девочка желает маме спокойной ночи и осторожно укладывается возле вонючих ног старожилки. Шепчет еще одно пожелание спокойной ночи, и оно теряется в потолочных трещинах.

Спать она не может, но не может и пошевелиться. Дита вынуждена обеспечивать телу полную неподвижность, несмотря на то что голова ее идет кругом. Менгеле предупредил ее. И очень может быть, что тем самым оказал ей любезность, поскольку других предупреждений уже не будет. В следующий раз он введет иглу для инъекций прямо в ее сердце. Она не может оставаться хранительницей книг в блоке 31. Но как же ей отказаться от библиотеки?

Если она это сделает, все решат, что она испугалась. Она, конечно, все объяснит, приведет аргументы, все очень здравые и взвешенные. Любой мало-мальски разумный человек, окажись он на ее месте, сделал бы то же самое. Но она хорошо знает, что новости в Аушвице распространяются от койки к койке быстрее блох. И если на первой койке будет сказано, что кто-то из мужчин выпил стакан вина, то, дойдя до последней, окажется, что он выпил целую бочку. И происходит так вовсе не со зла. Все, кто передает друг другу новости, – женщины, достойные всяческого уважения. Взять хоть пани Турновскую – славную женщину, которая так хорошо ладит с ее мамой, но и с ней то же самое: не язык, а просто динамит какой-то.

И Дите уже слышатся ее слова: «Ясное дело, девочку обуял страх...» И это будет сказано тем снисходительным, наигранно понимающим тоном, который так ее бесит. А хуже всего, что всегда найдется добрая душа, которая в ответ скажет: «Бедняжка, ее можно понять. Она испугалась. Она же еще ребенок».

Ребенок? Ничего подобного, дорогая пани! Чтобы быть ребенком, необходимо, чтобы у тебя было детство.

4

Детство...

В одну из бессонных ночей она придумала игру: превращать свои воспоминания в фотокарточки и размещать их в собственной голове – том единственном фотоальбоме, который никому не под силу у нее отнять. Вскоре после появления в Праге нацистов они вынуждены были переехать из квартиры в полностью электрифицированном доме. Ей очень нравилась их квартира, потому что этот дом был самым современным в городе – с прачечной на цокольном этаже и домофоном, который служил предметом зависти всех одноклассниц Диты. Она помнит, как однажды, вернувшись из школы, застала отца посреди гостиной. Облаченный в двубортный костюм, он, как и всегда, выглядел элегантно, но был необычайно серьезен. И объявил дочке, что из нынешней чудной квартиры они переезжают в другую: теперь они будут жить недалеко от замка, в районе Градчаны.

Та квартира – более светлая, сказал папа, не глядя ей в глаза. И даже не шутил, как имел обыкновение делать, когда нужно было замаскировать по-настоящему важные вещи. Мама молча листала иллюстрированный журнал.

– А я не собираюсь никуда отсюда уезжать! – заревела Дита.

Отец обреченно опустил голову, и вот тогда не кто иной, как мама, поднялась с кресла, подошла к дочке и отвесила ей такую звонкую пощечину, что мамины пальцы отпечатались у нее на щеке.

– Но, мама, – только и смогла выдавить Дита, скорее ошеломленная, чем оглушенная болью, потому что привыкла к тому, что мать даже голоса на нее не повышала, – ты же сама говорила, что эта квартира в доме с электричеством – воплощенная мечта всей твоей жизни...

И тогда Лизль обняла дочку.

– Эта война, Эдита. Это война.

Спустя год отец снова стоял посреди гостиной. Тот же самый серый двубортный костюм. К тому времени у него было уже гораздо меньше работы в социальном страховании, где он служил юристом, и довольно часто после обеда он оставался дома, уйдя с головой в изучение географических карт и медленно вращаемого настольного глобуса. Отец сказал, что они снова переезжают, на этот раз – в район Йозефов. В соответствии с распоряжением нацистского *рейсхротектора*, который командовал всей страной, евреи должны были сконцентрироваться в этом районе Праги. Дита с родителями и бабушка с дедушкой вынуждены были разместиться в крошечной обшарпанной квартирке на улице Элишки Красногорской, в непосредственной близости от той экстравагантной синагоги, которая была Дите хорошо известна, потому что отец, проходя мимо нее, не уставал рассказывать дочке о ее выдающейся испанской архитектуре. На этот раз вопросов Дита уже не задавала и сопротивляться не пыталась.

Это война, Эдита, это война.

И на этой вот горке, по которой неудержимо скользила вниз привычная жизнь, появилось однажды извещение Еврейского совета Праги, в котором всем им предписывался новый переезд, но на этот раз – за пределы города. Они должны были выехать в Терезин – маленький городок со старинными крепостными сооружениями, который оказался превращен в еврейское гетто. Гетто, которое по приезде туда показалось Дите ужасающим местом и по которому она теперь тоскует, потому что позже в своем падении в пропасть они спустились еще на один уровень ниже – когда упали в смешанную с пеплом грязь Аушвица. Больше ступеней вниз не осталось.

Или остались?..

После той зимы 39-го года, когда все началось с молчаливого парада нацистов, подобного вирусу гриппа, поразившему реальность, мир вокруг нее и не раскололся мгновенно, и

не пошел ко дну. Однако все вокруг стало разрушаться, сначала – очень медленно, а потом все быстрее и быстрее. Продуктовые карточки, запрет заходить в кафе, запрет отправляться за покупками в те часы, когда это делали остальные горожане, запрет иметь дома радиоприемник, запрет посещать театры и кинотеатры, запрет покупать яблоки... Потом настал черед изгнания еврейских детей из школ. Им даже было запрещено играть в парках. Словно задались целью лишить их детства.

Губы Диты тронула легкая улыбка... У них не получилось.

В фотоальбоме ее памяти оживает фотография. Двое детей, взявшись за руки, идут по старому еврейскому кладбищу Праги между надгробий, увенчанных маленькими камешками, под которыми лежат записочки – чтобы ветром не унесло. Нацисты не ввели ограничения на посещение кладбища, за которым евреи заботливо ухаживают, начиная с XV века. В своих методичных и вместе с тем безумных планах Гитлер предусмотрел сохранение синагоги с кладбищем и превращение их в музей, призванный рассказывать о некогда существовавшем еврейском народе. Антропологический музей, где евреи будут чем-то вроде вымерших динозавров, в который группы школьников – арийских детей, естественно, – будут приходить на экскурсии, удовлетворяющие их угасающее любопытство.

Еврейская ребятня города, которой было запрещено появляться в парках и школах, превратила старое кладбище в игровую площадку. Дети бегали и скакали между столетними могилами плит, поросшими мхом и привыкшими к вековому покою.

Под каштаном, позади которого склонялись друг к другу две массивные стелы, Дита указала своему однокласснику на имя, выбитое на огромной могильной плите: Йехуда Лев бен Бецалель. Эрик не знал, кто он такой, но ей было несложно восстановить этот пробел, ведь отец Диты пересказывал ей историю этого человека каждый раз, когда, надев кипу, отправлялся гулять с дочкой по кладбищу. Бен Бецалель был раввином еврейского гетто в Йозефове, еврейском квартале, где обязаны были жить все евреи Праги, как и сейчас. Изучая каббалу, он установил, как вдохнуть жизнь в глиняного человека.

– Это же невозможно! – Эрик прервал ее рассказ, не удержавшись от смеха.

И вот тогда – Дита до сих пор улыбается, вспоминая эту минуту, – она использовала трюк, которому научилась от отца: понизила голос до шепота, приблизила к Эрику голову и сказала ему на ухо страшным замогильным тоном:

– Голем.

Эрик побледнел. Кто из пражцев не слышал о гиганте Големе – огромном каменном монстре?

Дита, повторяя отцовский рассказ, поведала Эрику о том, что Леву удалось расшифровать священное слово, которым Яхве даровал жизнь. Он слепил из глины человеческую фигурку и вложил ей в рот записку со священным словом. И вылепленный человек стал расти и расти, пока не превратился в живого глиняного колосса. Но раввин Лев не знал, как его контролировать, и безмозглый каменный гигант принялся крушить в еврейском квартале все что ни попадя и сеять панику. Это был неистребимый титан, и казалось, что уничтожить его невозможно. Был только один способ: дожидаться, когда он заснет, набраться мужества и, воспользовавшись храпом гиганта, вынуть из его рта записку, вернув его тем самым в состояние безжизненного куска глины. Раввин порвал на тысячу кусочков записку с заветным словом и похоронил Голема.

– Где? – тут же спросил чрезвычайно заинтересованный Эрик.

Этого никто не знает – в тайном месте. А еще было сказано, что, когда еврейский народ окажется в беде, появится вдохновленный Богом раввин, который вновь расшифрует заветное слово, и Голем придет нас спасти.

Эрик восхищенно смотрел на Диту – она знает разные таинственные истории, как, например, историю Голема. Он ласково провел рукой по ее щеке и запечатлел на ней невинный поцелуй – под прикрытием высоких кладбищенских стен и таинственных разговоров.

Вспоминая об этом, она лукаво улыбается.

Первый поцелуй, каким бы мимолетным и невинным он ни был, не забывается никогда. Возможно потому, что проводит первую линию любви на странице, до тех пор девственно чистой. Ей приятно вспоминать о радостях того дня, и она сама дивится своей способности породить радость в пустыне войны. Взрослые впустую тратят свою жизнь в погоне за счастьем, которое вечно ускользает; а у детей, напротив, счастье рождается на голой ладошке просто из ничего.

С другой стороны, сейчас она уже ощущает себя женщиной и не позволит обращаться с собой как с маленькой девочкой. Она не отступит. Она пойдет вперед, потому что только это и следует делать. Как раз то, что сказал ей Хирш: ты жуешь свой страх и глотаешь его. А потом идешь дальше. Храбрецы питаются собственным страхом. Нет, она не оставит библиотеку.

Ни шагу назад...

Не доставит она им этого удовольствия: ни кумушкам с ядовитыми языками, ни этому порождению дьявола – доктору Менгеле. Если ему нужна ее душа, чтобы препарировать, так пусть сначала придет за ней.

И вслед за этим проблеском гордости в душе она открывает глаза во тьме барака, и сила ее внутреннего пламени превращается в огонек светильника. Кашель, храп, стоны какой-то женщины, быть может, умирающей. Может, она самой себе не хочет признаться: больше всего ее волнует не то, что скажут другие узники, будь то пани Турновская или кто-то еще. В действительности же ее беспокоит только то, что станет о ней думать Фреди Хирш.

Несколько дней назад она слышала слова Фреди, обращенные к взрослым – команде легкоатлетов, каждый день бегающих вокруг барака. Под снегом и под дождем, при холоде и при морозе. Хирш бежит вместе с ними – первым в группе.

«Самый сильный спортсмен – не тот, кто первым придет к финишу. Первый на финише – самый быстрый. Самый сильный тот, кто встает после падения. Тот, у которого болит спина, но он бежит. Тот, кто не сходит с дистанции, если цель далека. И вот когда такой бегун достигнет финиша, он и станет победителем. Порой ты не можешь стать самым быстрым, даже если очень этого хочешь, потому что твои ноги недостаточно длинны или твои легкие маловаты. Но ты всегда можешь стать самым сильным. Это зависит только от тебя, от твоей силы воли и от твоих усилий. Я не могу просить вас стать самыми быстрыми, но я буду от вас требовать, чтобы вы стали самыми сильными».

Дита более чем уверена: если она скажет ему, что оставляет библиотеку, он найдет для нее слова вежливые, в высшей степени учтивые, даже утешительные... Но не уверена, вынесет ли она сама его разочарованный взгляд. Дита думает о нем как о ком-то неистребимом, как о несравненном Големе из еврейской легенды, который однажды спасет их.

Фреди Хирш...

Она повторяет его имя на разные лады, чтобы в эту непроглядную ночь набраться мужества.

Среди хранимых в ее памяти образов отыскивается один – примерно двухлетней давности картинка, запечатленная среди мягких полей Страшнице, одного из пригородов Праги. Там евреям дозволялось немного подышать воздухом, отвлечься от строгих городских ограничений. Там же располагался спортивный клуб «Хагибор».

На этой картинке – летний день, жарко, и многие мальчики сняли футболки. На ней в центре целой толпы мальчиков и юношей Дита видит троих. Один – мальчик-инвалид лет двенадцати-тринадцати, на котором только очки и белые шорты. В центре – фокусник-иллюзионист, который театрально представляется как Борджини и кланяется. Он очень элегантен:

сорочка, сюртук, галстук в полоску. С другой стороны от него – молодой человек в сандалиях и шортах, оставляющих открытыми большую часть его худого, атлетически сложенного тела. В тот день Дита узнала, что имя этого человека – Фреди Хирш и что в Страшнице он руководит всем детско-юношеским спортом. Парень в очках держит конец веревки, в руках фокусника – ее середина, а Хирш сжимает второй конец. Дита очень хорошо помнит позу тренера: одна рука несколько манерно лежит на талии, другой он держит конец веревки. Хирш смотрит на фокусника и лукаво улыбается.

Тот физрук и спортивный тренер по работе с молодежью показался Дите очень красивым, но не это не позволяло ей отвести от него глаз. Причиной послужило не только его прямое угловатое лицо и атлетическое тело, но и элегантность каждого жеста, точность каждого слова, пронизательность взгляда, направленного прямо в глаза собеседника, и даже его привычка по очереди обводить взглядом каждого в толпе, никого не пропуская. В его резких движениях была и мужественность воина, и гармония классического танца. Говорил он с такой убежденностью, столь красноречиво и маняще описывал, какие увлекательные прогулки ждут их на Голанских высотах, внушал такую гордость по поводу принадлежности к еврейскому народу, что сопротивляться желанию вступить в его команду было очень трудно. Его слова не были словами раввина, они звучали и более страстно, и менее ортодоксально. Скорее, именно его подтянутая спортивная фигура заставляла видеть в нем не проповедника, а полковника, обращающегося с приветственной речью к своему юному войску, той армии, на которую он возлагал свои самые заветные надежды и чаяния, что проскальзывали в его словах.

Потом началось представление, и бесстрашный Борджини попытался противопоставить сметающему все на своем пути катку войны маленькие магические трюки: разноцветные шелковые платки в рукаве – против пушек, карточные пики – против истребителей-бомбардировщиков. И самым удивительным оказалось то, что в течение тех секунд, пока цвели глуповатые улыбки на лицах, победу праздновала магия.

Целеустремленного вида девица с пачкой листов в руках подошла к Дите и протянула ей один из них.

– Ты тоже можешь к нам присоединиться. Мы организуем летний лагерь в Безправии на реке Орлице, где будем заниматься спортом и укреплять еврейский дух. Вот, здесь ты прочтешь, чем там можно будет заняться.

Дитиному отцу такие вещи не особенно импонировали. Как-то раз, уже давно, ей привелось услышать разговор отца с дядей: он говорил, что не любит, когда смешивают спорт и религию. Речь шла о том, что некто Хирш организует для детей партизанские забавы: они там роют траншеи, из которых потом вроде как «стреляют». И он знакомит их с техникой ведения боя, словно ребята – крошечная армия под его командованием.

Но если командиром будет Хирш, то она готова залезть в любую траншею. Как бы там ни было, она завязла уже по самую шею. Они – евреи, то есть твердый орешек. Им ее не сломить, как не сломить Хирша. Не откажется она от библиотеки... Другое дело, что теперь ей нужно быть очень осмотрительной – слушать в четыре уха и смотреть в четыре глаза, внимательно всматриваться даже в тени вокруг Менгеле, чтобы самой в них не попасться. Она – четырнадцатилетняя девчонка, а они – самая могущественная в истории военная машина истребления, но она не будет молча следить за их парадом. На этот раз – нет. Она будет сопротивляться.

Чего бы ей это ни стоило.

Однако Дита – не единственный обитатель концлагеря, который перемешивает свои мысли в миксере бессонницы.

Фреди Хирш как ответственный за барак 31 пользуется привилегией спать в своей отдельной комнатке. Кроме того, эта комната расположена в бараке, где ночует он один. Поработав какое-то время над очередным рапортом, он выходит из нее и встречает безмолвие барака, в котором еще слышатся отголоски дневных шумов, дневной суматохи. Затихли голоса,

закрылись книги, допеты песни... После шумного исхода ребятни школа вновь становится всего лишь грубым деревянным ангаром.

– Они – лучшее, что у нас есть... – повторяет сам себе Хирш.

Закончился еще один день и еще одна инспекция. Каждый день – битва, в которой нужно одержать победу. И как будто кто-то вытащил затычку из надувного мяча, атлетическая грудь колесом опадает и прямые ключицы уходят в плечи. Внезапно он понимает, как сильно устал. Просто изможден, только никто не должен об этом знать... Он – лидер. У него нет права на уныние. Люди верят в него, и он не может обмануть их ожидания.

Если бы они только знали...

Он обманывает, обманывает их всех. Если бы они знали, кто он на самом деле, то те же, кто сейчас его обожает, его бы возненавидели.

Хирш чувствует себя усталым, выжатым как лимон. Именно поэтому он укладывается лицом вниз, упираясь руками в пол, и начинает отжиматься. Как тренер он неоднократно говорил своей команде: усталость преодолевается упражнением.

Вниз – вверх, вниз – вверх.

Свисток, никогда не снимаемый им с груди, ритмично бьется об утоптаный земляной пол. Скрывать и таить – это как день и ночь таскать за собой гирию, привязанную к ноге, но он знает, что делать это необходимо, как необходимо сжать зубы, когда сводит от боли мышца при очередном разгибании рук. Нужно продолжать – вверх и вниз, вверх и вниз. Ритмичный стук металлического свистка о землю стихать не должен. Сожми зубы.

Вверх – вниз.

«Слабость – грех», – шептывает он себе под нос практически без одышки.

Хирш думает, что правда делает людей сильными. Правда – престижна, говорить правду – удел мужественных людей. Но верно и то, что порой правда обездвигивает все, чего ни коснется. Поэтому он еще крепче сжимает зубы, начиная новую серию отжиманий. И пока пот струится по его спине, он размышляет о том, что оставить при себе, в своем сердце, эту грязную правду и страдать от ее жара одному, чтобы больше никого она не опалила, – это тоже своего рода проявление великодушия. Великодушия или трусости? Разве не боится он утратить уважение к себе, с таким трудом завоеванное? И решает больше не думать об этом, а продолжать считать количество отжимов и стискивать зубы.

Именно по этим причинам спорт всегда был для него не тяжелой обязанностью, а освобождением. В Аахене, немецком городке близ границы с Бельгией и Голландией, где в 1916 году родился Фреди Хирш, все дети ходили в школу пешком. Он же был единственным мальчишкой, который в школу бегал: с книжкой и тетрадкой, связанными за спиной веревкой. Уличные торговцы с нескрываемой насмешкой спрашивали, куда это парень так торопится, а он в ответ только вежливо здоровался, не сбавляя скорости. И не то чтобы он опасался куда-то опоздать или по какой-то причине очень спешил – нет, просто Фреди нравилось бегать. Когда кто-нибудь из взрослых обращался к мальчику с вопросом о том, почему он всегда и везде передвигается рысцой, он неизменно отвечал, что ходьба его очень утомляет, настолько, что он сразу же выбивается из сил, а вот бег – совсем другое дело.

Мальчик добегал до небольшой площади, на которую выходила школа, и, пользуясь тем, что в ранний час скамейка на ней еще была свободна от греющихся на солнышке стариков, использовал ускорение бега, чтобы одним махом перепрыгнуть через нее, словно преодолевал полосу препятствий. Его мечта – стать профессиональным легкоатлетом, о чем при каждом удобном случае он сообщал всем и каждому в классе.

В десятилетнем возрасте детство Фреди, сотканное из энергичных прыжков и футбольных матчей на ближайших пустырях, после смерти отца раскололось на тысячу осколков. Во время небольшой передышки на табурете посреди мрачного барака он пытается вызвать в памяти облик отца, но не выходит – в те времена память его была еще слишком мягким мате-

риалом. И теперь лучше всего вспоминается не что иное, как дыра, оставленная в его душе отцовским уходом. Возникшая в нем пустота проникла так глубоко, что так никогда и не заполнилась. До сих пор ощущает он в себе эту тревожную пустоту, это чувство одиночества, даже когда он – в окружении людей.

Тогда у него вдруг кончились силы – и чтобы бегать тоже. Бег внезапно ему разонравился. Он оказался выбит из привычной жизни. Мать после смерти отца была вынуждена проводить дни на работе, и, не имея желания оставлять сына дома одного и опасаясь возможных драк со старшим братом Фреди, она записала младшего в «Юдишер Пфадфиндербунд Дойчланд» (ЮПД), детско-юношескую организацию, созданную как германско-еврейский аналог бойскаутов, в которую входила в том числе и спортивная секция под названием «Маккаби Хат-цайр».

Когда мальчик в первый раз вошел в просторное и довольно обшарпанное помещение организации, к дверям которой кнопкой был приколот список правил поведения ее членов, в носшибанул резкий щелочной запах. Запах запомнился очень хорошо, как и тот факт, что пришлось глотать слезы, чтобы не разреветься на людях. Несмотря на это, постепенно маленький Фреди Хирш обрел в ЮПД то человеческое тепло, которого ему так не хватало в опустевшем доме, откуда навечно ушел отец и где почти никогда не было мамы. Здесь он нашел свое место: товарищество, чувство локтя, настольные игры, когда идет дождь, а также походы, в которых никогда не обходилось без гитары или трогательных историй о мучениках Израиля.

Футбол, баскетбол, бег в мешках и соревнования по легкой атлетике оказались для него тем спасительным кругом, за который мальчик смог уцепиться. Когда наступала суббота и дети оставались дома с родителями, только Фреди выходил в одиночку на спортплощадку побросать мяч в проржавевшее кольцо баскетбольной корзины или выполнить длиннющие серии упражнений для мышц живота, после которых футболка была хоть выжимай.

Тренировки до изнеможения стирали из души тоску и развеивали сомнения. Он сам ставил для себя цели: пробежать до угла и обратно пять раз быстрее чем за три минуты, отжаться десять раз и при последнем отжимании хлопнуть ладонями в воздухе, попасть с определенного расстояния мячом в четыре разные корзины за такое-то количество попыток... И пока Фреди был сосредоточен на достижении своих целей, он не думал ни о чем другом, он был счастлив и не вспоминал о том, что потерял отца как раз тогда, когда в наибольшей степени в нем нуждался.

Мать его снова вышла замуж, и всю свою юность Фреди гораздо уютнее чувствовал себя в ЮПД, чем в собственном доме. После уроков он напрямик направлялся туда, и у него всегда находилось для матери объяснение, почему до самого вечера он не возвращается домой: собрания юношеского совета, членом которого он к тому времени стал, организация экскурсий и походов, спортивных конкурсов и соревнований, поддержание чистоты и порядка в здании ЮПД... Вместе с тем, по мере того как Фреди вырос, его способность общаться с мальчиками и девочками своего возраста постепенно уменьшалась; многие из них не разделяли ни свойственный ему горячий сионистский мистицизм, заставлявший считать возвращение в Палестину миссией, ни его выходящую за рамки разумного страсть заниматься спортом все то время, когда не спишь. Его начали приглашать на вечеринки, где завязывались первые отношения и первые пары, но Фреди там было неловко, и, поскольку он без конца придумывал самого разного рода отговорки, звать его перестали.

Он открыл для себя, что больше всего ему нравится создавать команды и организовывать соревнования для самых маленьких, что у него всегда отлично получалось.

Страсть, которую вкладывал Фреди в создание и тренировку волейбольных и баскетбольных команд, передавалась и его подопечным, так что они заражались его энтузиазмом. Его команды всегда боролись до последнего.

– Давайте, давайте! Вперед! Подбавьте жару! – подбадривал Фреди своих мальчишек с тренерской скамейки. – Не бьешься за победу – не плачь, когда проиграешь!

Фреди Хирш не плачет. Никогда.

Вверх – вниз, вверх – вниз, вверх – вниз.

Слезы в виде капель пота катятся только по его напряженным мышцам, которые растягиваются и сжимаются автоматически, пока он не завершает свою бесконечную серию отжиманий. Он поднимается, довольный собой. Настолько, насколько может быть доволен собой человек, скрывающий правду.

5

Руди Розенберг прожил в Биркенау уже около двух лет, что само по себе подвиг. Все благодаря редкой удаче, которая превратила его в старожила лагеря девятнадцати лет от роду и усадила на место регистратора. Регистратор целыми днями делает записи в книгах учета заключенных – прибывших и выбывших – в таком месте, в котором круговорот людей является трагической константой. Работа регистраторов весьма высоко ценится нацистами в силу их скрупулезного отношения ко всему, в том числе и к истреблению. По этой причине Руди Розенберг не носит полосатую робу обычного заключенного. Он гордится своими затертыми брюками для верховой езды, которые при любых других обстоятельствах давно были бы отправлены на помойку, но не в Аушвице, где этот предмет одежды считается роскошью. Все заключенные, кроме *капо*, поваров и пользующихся особым доверием работников, в число которых входят регистраторы и старшие по блокам, носят грязные полосатые робы. За редким исключением. Обитатели семейного блока – как раз исключение.

Руди проходит пост карантинного лагеря, к которому приписан, адресуя охранникам вежливую улыбку образцового заключенного. И не встречает возражений в ответ на свое сообщение о необходимости по долгу службы пройти в лагерь ВІІd для составления списков.

Он шагает по хорошо утоптанному лагерному проспекту, соединяющему по внешнему периметру все части лагерного комплекса Биркенау, и видит вдали окраину леса – линию деревьев, которые в этот зимний вечер сливаются в темное пятно. Порыв ветра доносит до него сладкий запах влажной древесины, мха и грибов. На секунду, чтобы насладиться лесным ароматом, он закрывает глаза. Так – мокрым лесом – пахнет свобода.

Его пригласили на тайное собрание, на котором речь пойдет о загадочном семейном лагере. В голове юного регистратора всплывают некие смутные воспоминания о событиях, имевших место несколько месяцев назад, хотя здесь – в вырванном из реальности *лагере* – они кажутся древними, принадлежащими некоей непонятной эпохе. Часы в Аушвице сходят с ума – так теряют ориентацию ведьмы, слишком близко подлетевшие на метлах к Северному полюсу.

Это случилось одним сентябрьским утром. Руди ожидал обычную рутину: сморщенных людей в арестантских робах, наголо обритых, пока еще не отошедших от шокирующей встречи с миром Аушвица – ограниченного колючей проволокой пространства, насквозь пропахшего смрадом сжигаемой плоти. Ожидал увидеть одинаково ошарашенные лица: беспомощность – отличный уравниватель всего и вся. Но когда он поднял глаза, то из-за стола на него смотрела живая мордашка веснушчатой девчушки с двумя русыми косичками, прижимавшей к себе плюшевого мишку. Он растерялся. Девочка не отрывала от него глаз. Повидав столько жестокостей, словак Руди уже позабыл, что на мир можно смотреть и так: без страха, без ярости, без признаков сумасшествия. Девчонке было шесть лет, и она оставалась в Аушвице живой. Ему это показалось настоящим чудом.

Ни он, ни Сопротивление никак не могли взять в толк, по какой причине нацисты оставили в живых детей. Нечто похожее имело место только один раз, в концлагере для цыган: детей доктор Менгеле использовал для своих расовых экспериментов. Однако с еврейскими детьми такого раньше не случалось. В декабре прибыл еще один транспорт, и снова – из гетто в чешском Терезине.

Процедура встречи каждого вновь прибывающего транспорта одинакова. Сначала людей толчками и ударами выгоняют из вагонов. Мужчин отделяют от женщин – образуются две огромные группы. Прямо на перроне каждый из прибывших один за другим проходит перед медиком, который занимается сортировкой: кого-то отправляет направо, кого-то – налево. Здоровых, кого еще можно использовать в качестве рабочей силы, в одну сторону. Стариков, детей, беременных и больных – в другую. Этим не суждено даже ступить на территорию лагеря: прямо

с перрона их отведут в верхнюю часть Биркенау, где днем и ночью работают крематории. Там их ждут газовые камеры.

Когда Руди Розенберг приходит на место встречи – к заднему торцу одного из барачков лагеря ВІІd, его ожидают двое. Один из них – болезненно бледный, в поварском фартуке, представляется Лемом – без каких-либо дальнейших подробностей. Второй – Давид Шмулевский, начинавший в концлагере кровельщиком, а теперь занимающий должность ассистента *блок-эльтестера* барака 27 лагеря ВІІd. Он одет в гражданское: заношенные суконные брюки и свитер – не менее помятый и морщинистый, чем его лицо. Это лицо – гравюра всей его жизни.

У них уже есть основная информация о прибытии новой, декабрьской партии узников в семейный лагерь ВІІd; теперь им нужно, чтобы Розенберг сообщил как можно больше деталей. Словак подтверждает данные о прибытии в декабре пяти тысяч евреев из Терезина. Их привезли двумя составами с интервалом в три дня. Так же, как это было с прибывшими в сентябре, им позволили остаться в своей одежде. Более того, им не обрили головы и оставили детей.

Оба руководителя Сопротивления молча слушают Руди Розенберга. Обо всем этом они уже знают, но понять не могут: чтобы такая фабрика смерти, как Аушвиц-Биркенау, максимально использующая рабский труд узников, согласилась на совершенно нерентабельную затею – отдать один из своих лагерей под семейное размещение? Что-то здесь не вяжется.

– Нет, не понимаю... – бормочет себе под нос Шмулевский. – Нацисты, конечно, психопаты и преступники, но никак не дураки: на что в лагере рабского труда сдались им маленькие дети, если их нужно кормить, они занимают место и при этом не приносят никакой пользы?

– Может, это какой-то широкомасштабный эксперимент безумного доктора Менгеле?

Ответа ни у кого нет. В своем рассказе Розенберг доходит до самого интригующего. В сопроводительных бумагах к сентябрьскому транспорту была загадочная приписка: «*Зондер-бехандлинг* (особое обращение) по прошествии шести месяцев». Подтверждением чему служит шифр «SB6», набитый рядом с индивидуальным номером на татуировках людей этой партии.

– Удалось ли хоть что-то выяснить относительно этого «особого обращения»?

Вопрос повисает в воздухе – никто на него не откликается. Повар-поляк принимается отковыривать засохшую грязь с фартука, который весьма далек от того, чтобы называться белым. Отковыривание всяческих наслоений на фартуке стало для повара своего рода зависимостью, как для иных – курение. Шмулевский тихо проговаривает то, что крутится в голове у всех: здесь обращение с людьми настолько особое, что ведет к смерти.

– И все-таки: какой в этом смысл? – обращается к нему с вопросом Руди Розенберг. – Если от них хотят избавиться, то какой смысл тратить на питание в течение полугода? Здесь нет логики.

– Логика должна быть. Если, работая с ними, ты чему-то учишься, так только тому, что все и всегда имеет свою логику. Какую угодно – жуткую, бесчеловечную... но логика всегда найдется. Ничто не является случайным и не происходит просто так. Должно быть что-то еще. Немцы жить не могут вне какой бы то ни было логики.

– Предположим, что особое обращение – это отправка всех в газовую камеру... И что мы сможем сделать?

– На данный момент – не слишком много. У нас даже нет уверенности, что речь идет именно об этом.

В эту минуту к ним присоединился еще один – высокий, сильный и, судя по всему, очень расстроенный. Этот человек, как и собравшиеся, робу не носит, а щеголяет в свитере с высоким воротом – большая редкость в лагере. Руди собирается уйти, чтобы не мешать чужому разговору, но поляк движением руки просит его остаться.

– Спасибо, что пришел, Шломо. У нас очень мало информации о работе зондеркоманды.

– Я всего на минуту, Шмулевский.

Парень усиленно жестикулирует, когда говорит. Отталкиваясь от этой детали, Руди делает вывод, что этот человек – южанин, и попадает в точку, потому что Шломо родом из общины итальянских евреев греческого города Салоники.

– Нам мало что известно о том, что творится в газовых камерах.

– Сегодня утром только через второй крематорий пропустили еще три сотни. Почти все – женщины и дети. – Он останавливается и оглядывает собеседников. Обдумывает, действительно ли сможет объяснить необъяснимое. Яростно вскидывает руки и обращает лицо к небу, но оно затянуто низкими тучами. Сегодня ему пришлось помочь разуться маленькой девочке, потому что у матери на руках был грудничок, а в камеру нужно входить голыми. «Девчушка забавлялась, показывая мне язык, пока я стягивал с ее ножек сандалии, – ей еще и четырех не исполнилось».

– И они ни о чем не догадываются?

– Господи помилуй... Да они ж только что с поезда – три дня в пути в тесном вагоне, растеряны, испуганы. Эсэсовец с автоматом в руках объявляет, что сейчас всем следует пройти санобработку, принять душ, и ему верят. А что им еще остается? Их просят повесить одежду на вешалки и даже запомнить номерок, чтобы потом ничего не перепутать и забрать свои вещи – так их заставляют поверить в то, что они вернутся. А еще им велят связать ботинки шнурками – чтобы пара не растерялась. На самом деле это для того, чтобы потом было проще собрать обувь и отвезти в блок «Канада», где лучшие пары отберут и отправят в Германию. Немцы – они всему находят применение.

– А ты? Сам ты людей предупредить не можешь? – вступает в разговор Руди.

И в ту же секунду чувствует на себе суровый взгляд Шмулевского. У Руди здесь вообще-то права голоса нет – ни для вопроса, ни для голосования. Но грек-итальянец отвечает и делает это в свойственной ему тяжеловесной манере: моля Бога о прощении при каждом слове, которое срывается с его языка.

– Да простит меня Господь. Нет, я их не предупреждаю. Зачем? Что может сделать мать с двумя ребятишками? Восстать против вооруженных охранников? Ну, ее побьют у них на глазах, будут бить ногами. Это они и так делают. Если кто-то задаст вопрос – ему отвечают прикладом в зубы. Чтобы больше ничего не спрашивал и не вякал, и после этого никто уже ничего не спросит – все отворачиваются. Эсэсовцы следят за тем, чтобы ничто не препятствовало процессу. Однажды в партии была пожилая дама – очень хорошо одетая, осанистая такая, с внуком лет шести-семи. Она знала, что их убьют, откуда – без понятия, но она все знала. И бросилась в ноги одному эсэсовцу, встала перед ним на колени – молить, да не за себя, за внука: убейте меня, говорит, а его отпустите. Знаете, что он сделал? Расстегнул ширинку, вытащил член и стал на нее мочиться. Вот так. Униженная женщина вернулась на свое место. Сегодня тоже была одна – видно, что из хорошей семьи, такая элегантная. Очень стеснялась раздеваться при людях. Я встал перед ней, спиной, вроде ширмы. А потом ей было так неудобно стоять перед нами голой, что она дочкой прикрывалась, но меня все же поблагодарила улыбкой, милая такая улыбка... – На мгновение он остановился; слушатели его тоже молчали, даже головы повесили, как будто чтобы не смотреть на стыдливую обнаженную мать, прижимающую к себе дочку. – Обе вошли в камеру вместе со всеми... Прости, Господи. Их туда битком набивают, знаете? Стараются затолкнуть побольше, сколько влезет. Если в партии есть мужчины покрепче, то их оставляют напоследок, а потом загоняют туда ударами прикладов, чтобы те поднажали на толпу. Затем дверь помещения закрывают – а внутри действительно есть несколько душевых леек, чтобы люди ничего не подозревали и верили в то, что пришли мыться.

– А что потом? – спрашивает Шмулевский.

– Мы открываем специальную емкость, и эсэсовец вставляет туда баллон с газом «Циклон». Потом нужно выждать – минут пятнадцать, может, меньше... А затем – тишина.

– Они страдают?

Глубокий вздох, за ним – взгляд в небо.

– Да простит меня Господь... даже и представить страшно, что это такое. Когда потомходишь, то видишь клубок сплетенных тел. Понятно, что многие умирают от того, что их задавили, и задыхаются тоже. Когда поступает отравка, тело, должно быть, реагирует жутким образом – удушье, судороги. Трупы перепачканы экскрементами. Глаза вылезают из орбит, идет кровь. Как будто организм взрывается изнутри. Руки скрючены, переплетены с другими руками, словно в едином порыве отчаяния, шеи вытянуты вверх, того и гляди головы оторвутся.

– А в чем заключается твоя работа?

– Я должен отрезать волосы, прежде всего длинные, косы. Потом эти волосы грузят в кузов машины. Так как моя работа – из самых легких, иногда мне ее заменяют на работу других членов команды – выдирать золотые зубы. Или перетаскивать трупы на транспортер, который доставляет их из подвала наверх, в печь крематория. Переносить их просто ужас как трудно. Сначала тело нужно отделить от других, а ведь там настоящий клубок, склеенный кровью и другими жидкостями. Берешь за руки – а они мокрые. Скоро у тебя самого руки такие скользкие, что ты уже ничего не можешь ими ухватить. Под конец мы помогаем себе тростями умерших стариков, а трупы хватаем за головы, со стороны затылка, так лучше всего получается. Ну а наверху их сжигают.

– Мне приходилось слышать, что оружие тоже используется.

– Только для содержимого так называемого уборочного грузовика, это уже в самом конце. Он привозит с перрона тех, кто не может идти сам: инвалидов, больных, глубоких стариков. Так он останавливается напротив крематория, поднимает кузов и высыпает людей на землю, как гравий. Раздевать их и заносить в газовую камеру считается слишком трудоемким. Наша задача – поднять каждого, одного за другим, за ухо и руку, чтобы эсэсовец выстрелил человеку в голову. А потом, оставляя тело, нужно эту голову быстро опустить, потому что кровь хлещет фонтаном, а если брызнет на эсэсовца, то он рассердится и накажет, может даже пристрелить – там же, на месте.

– О скольких убийствах в день идет речь?

– Да кто же его знает. Мы работаем в две смены – дневную и ночную, крематорий никогда не останавливается. По меньшей мере двести-триста трупов за смену, и это только в нашем крематории. Иногда одна партия в день, иногда две. Бывает и так, что печь не справляется, и нам приказывают вывезти трупы в лес, на поляну. Мы грузим их в машину, а потом снова разгружаем.

– Вы их закапываете?

– Ну, для этого нужно слишком много рабочих рук! Немцы не хотят. Да простит меня Господь. Мы обливаем их бензином и поджигаем. Потом мы должны собрать лопатами пепел и закинуть в грузовик. Думаю, что пепел используют как удобрение. Некоторые кости слишком большие, не сгорают. Их приходится измельчать.

– Бог ты мой... – слышится шепот Руди.

– На всякий случай, если кто-то еще не понял, – сурово оглядывая всех, произносит Шмулевский, – это Аушвиц-Биркенау.

Во время этого мрачного разговора, на расстоянии двух лагерей от беседующих, Дита доходит до барака 22, расположенного рядом со вторым туалетным блоком. Она внимательно оглядывается по сторонам: нет ли поблизости охранника или чего-нибудь подозрительного. Ничего такого, но она все равно не может отделаться от липкого ощущения, что за ней наблюдают. И все-таки Дита входит в барак.

Тем утром, после проверки, внимание Диты привлекла одна пожилая женщина, которая выискивала что-то возле ограды из колючей проволоки, несмотря на запреты. Пани Турновская, которую Дита окрестила «Радио Биркенау», тут же пояснила матери Диты, что эта жен-

щина, вследствие попустительства охранников, пользуется некоторой свободой. Она портниха, и все зовут ее Дудинце, по названию ее родного города на юге Словакии. Возле ограды она подбирает отломанные кусочки проволоки, которые можно заострить при помощи камня и сделать себе примитивные иголки для шитья.

Дита приняла твердое решение: не уходить со своего поста библиотекаря, – но ей нужно придумать, каким образом сделать это занятие наименее для себя опасным. После вечерней поверки и до сигнала отбоя, после которого запрещено выходить из бараков, наступает время разного рода обменных операций. Дудинце принимает своих клиентов именно в это время. Она уверяет, что ее услуги – самые дешевые во всей Польше: укоротить жакет – половина хлебной пайки, привести в порядок пояс на брюках – две сигареты, сшить платье из материала заказчика – целая пайка хлеба.

Расположившись на нарах, словачка, к губе которой приклеена сигарета, отмеряет ткань портновским метром, собственноручно изготовленным – на глазок – из узкой полоски кожи. Подняв взгляд, чтобы узнать, кто это застит ей свет, она видит перед собой худую девчонку с растрепанной головой и решительным взглядом.

– У меня заказ: нужно, чтобы вы пришили два внутренних кармана на мою блузу, на уровне талии. Прочные.

Женщина берет пальцами остаток своей сигареты и делает глубокую затяжку.

– Ластовицы под одеждой, ясно. А для чего тебе понадобились эти потайные карманы?

– Я не говорила, что они потайные...

Дита старательно улыбается, пытаясь сойти за дурочку. Женщина смотрит на нее, подняв брови.

– Слушай, я ведь не вчера родилась.

Дита уже раскаивается, что пришла сюда. По лагерю ходят слухи об осведомителях, готовых продать своих соседей по бараку за половник похлебки или полпачки сигарет. А Дита уже отметила, как курит эта портниха – ни дать ни взять разорившаяся вампириша.

Баронесса Хабарик – наделяет прозвищем портниху Диту.

Но тут же ей в голову приходит мысль, что если бы у этой женщины были привилегии стукачки, то ей не нужно было бы вечер за вечером заниматься шитьем в тусклом свете барачных ламп. И в душе Диты рождается теплая волна сочувствия к ней.

Нет, лучше пусть будет княгиней Заплаткой.

– Ну хорошо, все так. Немного потайные. Дело в том, что я хочу носить при себе кое-какие вещицы моих покойных бабушек – память о них.

И Дита вновь напускает на себя вид наивной девчушки.

– Слушай, дам тебе один совет. Кроме всего прочего, даю его совершенно бесплатно. Если не умеешь врать, то с этого самого момента тебе лучше всегда говорить правду.

И женщина делает еще одну затяжку, да такую глубокую, что чуть не обжигает себе желтые от никотина пальцы. Дита краснеет и опускает голову. Теперь легкая улыбка трогает губы старой Дудинце, словно у бабушки при виде проделок внучки-непоседы.

– Послушай, девочка, мне вообще до лампочки, что ты будешь там хранить, хоть пистолет. Буду только рада, если он там и окажется и тебе удастся всадить пулю в кого-нибудь из этих мерзавцев. – Сказав это, она сплюнула на пол тягучую темную слюну. – Я задаю тебе эти вопросы только для того, чтобы понять, будешь ли ты носить в этих карманах что-то тяжелое, потому что если это так, то через блузу это будет видно. В таком случае лучше сделать от боковых швов специальные завязки, они помогут.

– Тяжелое будет. Но, боюсь, не пистолет.

– Ладно-ладно. Это меня не интересует. Меньше знаешь – крепче спишь. Ты материал принесла? Нет, конечно. Ничего, тетя Дудинце найдет какой-нибудь годный на это дело лоскут.

Работа будет тебе стоить полпайки хлеба и полагающийся к нему маргарин, а материал – еще четверть пайки.

– Хорошо, – сразу соглашается Дита.

Портниха воззрилась на нее с удивлением, причем даже с большим, чем в тот раз, когда решила, что Дита собирается носить на себе оружие.

– Ты что, не торгуешься?

– Ну да, не торгуюсь. Вы делаете работу, за нее положено вознаграждение.

Женщина смеется и тут же закашливается. Потом сплевывает в сторону.

– Эх, молодежь! Ничего не знают о жизни. Чему же вас учит молодой красавец директор?

Ладно, ничего нет плохого в том, что еще кое-что осталось от наивности. Слушай меня, я не возьму с тебя масло – я уже сыта по горло этой желтой замазкой. Только полпайки хлеба. Материала пойдет немного, я его тебе дарю.

Когда Дита покидает княгиню Заплатку и торопливо выходит из чужого барака, направляясь в свой, на улице уже совсем стемнело. В такое время неожиданные встречи ей совсем не нужны. Но вдруг чьи-то пальцы сжимают ее руку, и из горла Диты вырывается истерический визг.

– Да это же я, Маргит!

Горло отпустило, и к Дите возвращается способность дышать. Подруга с тревогой смотрит на Диту.

– Ну и вопль! Ты чего? Что-то ты сама не своя, Дита. С тобой что-то случилось?

Маргит – единственный человек, с кем Дита может поделиться.

– Все из-за этого проклятого доктора... – Она даже не может подобрать для него прозвище: голова перестает работать, как только возникает его образ. – Он мне угрожает.

– О ком ты говоришь?

– О докторе Менгеле.

Маргит в ужасе закрывает рот рукой. Как будто прозвучало имя дьявола. В общем-то, так оно и есть.

– Он пообещал не спускать с меня глаз. И что если он застанет меня за каким-нибудь странным занятием, то разрежет, как телушку на бойне.

– Боже мой, какой ужас! Тебе нужно беречься!

– И как ты хочешь, чтобы я береглась?

– Ты должна быть очень осторожной.

– Я и так очень осторожна.

– Вчера вечером у нас в бараке на нарах рассказывали такие ужасы!

– Какие?

– Я слышала, как подруга моей мамы говорила о том, что Менгеле поклоняется дьяволу: ходит в лес по ночам с черными свечами.

– Какая глупость!

– Правда-правда, об этом все говорят. Им *капо* рассказывала. И еще сказала, что среди высшего руководства нацистов дьявольский культ распространен и поощряется. А в Бога они не верят.

– Да, о чем только не болтают...

– Они язычники. И поклоняются Сатане...

– Ладно, а вот нас хранит Господь Бог. Более или менее.

– Не говори так, это нехорошо! Конечно же, Бог нас хранит.

– Ну, что касается меня, то я что-то не слишком чувствую его защиту.

– Он учит нас, что мы и сами должны о себе заботиться.

– Вот этим я и занимаюсь.

– Менгеле – не человек, а дьявол во плоти. Говорят, что он вскрывает животы беременным – скальпелем и без обезболивания, и зародышей тоже. Вводит тифозную палочку здоровым людям, а потом наблюдает за развитием болезни. Группе польских монахинь он сделал столько сеансов рентгеновского облучения подряд, что они сгорели. Рассказывают, что он принуждает спариваться близняшек женского пола с близнецами мужского, чтобы узнать, ведет ли это к рождению близнецов. Представляешь, какая мерзость? Еще он проводит пересадку кожи, а потом пациенты умирают от гангрены...

Девочки ненадолго замолкают, рисуя в своем воображении лабораторию ужасов доктора Менгеле.

– Тебе следует быть очень осмотрительной, Дита.

– Да я же тебе сказала, что уже стала осмотрительной!

– Еще больше.

– Мы в Аушвице. Что ты мне предлагаешь сделать? Прибегнуть к страхованию жизни?

– Ты должна очень серьезно относиться к угрозе Менгеле! Молись почаще, Дита.

– Маргит...

– Да?

– Ты говоришь точь-в-точь как моя мама.

– А это плохо?

– Не знаю...

Обе умолкают, пока Дита не решается продолжить разговор:

– Моя мама не должна об этом знать, Маргит. Ради всего святого. Она будет волноваться, не спать, и в конце концов ее тревога доконает и меня.

– А твой папа?

– С ним тоже все не очень хорошо, хотя он и уверяет, что прекрасно себя чувствует. Его я тоже не хочу беспокоить.

– Я ничего им не скажу.

– Знаю.

– Но я думаю, что ты сама должна рассказать об этом своей маме...

– Маргит!

– Ладно-ладно! Это твое дело.

И улыбнулась. Маргит – как старшая сестра, которой у Диты никогда не было.

Дита направляется в свой барак под звуковое сопровождение похрустывающего под подошвами ледка. А еще ее сопровождает странное ощущение вперившегося ей в спину взгляда, хотя, оглянувшись, она различает в темноте единственную пару глаз – красноватые огни крематория, издаലെка приобретающие черты то ли потусторонности, то ли кошмарного сна. В целости и сохранности добирается Дита до своего барака и, поцеловав маму, сжимается в комочек рядом с необыкновенно уродливыми ногами старожилки. Ей даже показалось, что та немного сдвинулась, чтобы девочка могла устроиться поудобнее, хотя женщина ничего не ответила, когда Дита вежливо пожелала ей спокойной ночи. Девочка знает, что уснуть ей будет нелегко, но упрямо закрывает глаза и изо всех сил сжимает веки, чтобы дать бой бессоннице. Переупрямить себя удается, и Дита засыпает.

После утренней поверки первое, что делает Дита, – раньше всех появляется перед комнатой *блокэльтестера*. Три медленных, с интервалами, стука в дверь, и Хирш знает, что за ней – библиотечарша. Он отпирает дверь и сразу же захлопывает ее за спиной девочки. Дита проворно открывает дверцу тайного книжного хранилища и вынимает из него заказанные на сегодня книги. Каждый день – не более четырех. Если заказов поступает больше, то просителю приходится подождать до завтра, потому что больше четырех в потайные карманы ее блузы не помещается.

Чтобы разместить книги по карманам, нужно на несколько пуговиц расстегнуть блузку. Взгляд Фреди обращен на нее, и секунду она медлит. Приличной девушке не следует находиться один на один в комнате мужчины. И уж тем более – расстегивать в его присутствии пуговицы. Если об этом узнает мама – разразится настоящая катастрофа. Но у нее нет времени, слишком опасно: в любой момент кто угодно может постучать в дверь старшего по блоку. Дита расстегивает блузку, и показывается одна из ее юных грудок. Тут и он понимает, в чем дело, и отводит глаза на дверь. Она заливается краской, но в то же время ее охватывает гордость. Теперь-то он поймет, что не может относиться к ней как к маленькой девочке.

Сквозь холстяные карманы на уровне живота пропущена полоска ткани – она скрепляет карманы между собой и не дает им болтаться, когда они нагружены. Четыре книги едва видны под этой широкой блузой, которую тело Диты заполнить никак не может. Старший по блоку сразу же одобрил идею Диты прятать книги под одеждой. На сегодня – всего два заказа, поданные вчера: учебник алгебры и «Очерки истории цивилизации».

И вот девочка выходит из комнатки *блокэльтестера* вроде бы такой, как и вошла: в руках ничего нет, оба томика надежно спрятаны под блузой. Никому, кто видел бы, как она входит и чуть позже выходит, не пришло бы в голову, что она вынесла оттуда книги. Пользуясь минутной суматохой, когда после утренней поверки шеренги рассыпаются и дети собираются в группы для занятий, Дита уходит в дальний конец барака. Прячется за сложенными там дровами и вынимает из-под одежды книги. Обитатели барака видят Диту с книгами в руках, но понятия не имеют, откуда эти книги взялись. Настоящий фокус, создающий вокруг нее со стороны ребятшек ореол восхищенного обожания, которым может похвастаться разве только иллюзионист.

Учебник по алгебре заказал для своей группы учитель Ави Офир, а это самый старший класс. Дита на их фоне выглядит одной из многих, ничем не выделяясь, что даже немного обидно: иногда ей хочется быть чуть повыше ростом и иметь чуть более округлые формы. Поэтому в самом начале своей работы библиотекарем Дита думала, что будет так: она подойдет к группе, протянет учителю книгу, и никто не обратит на это внимания. И тут же, как тень, она исчезнет среди наполняющих барак людей. Но Дита ошибалась.

Стоит ей подойти к группе, гремучая смесь инстинкта и любопытства заставляет всех, даже самых непоседливых – тех, что дергают друг друга за полы одежды или увлеченно обсуждают марки автомобилей, – бросить все свои занятия и внимательно следить за каждым ее жестом: вот Дита протягивает руку и отдает учителю книгу. Он берет книгу и медленно открывает обложку. Раскрытие книги здесь – особый ритуал.

Многие из этих детей раньше, в своих прежних школах, книги ненавидели. Книги – символы трудного ученья, бесконечных уроков, чтения под строгим учительским взглядом, домашних заданий, которые не дают пойти погулять. Здесь же книга подобна магниту: ребята не могут отвести от нее взгляд, а кое-кто даже встает с табуретки и тянется к Аби Офиру в неудержимом желании к ней прикоснуться. Эта жажда прикоснуться к книге порождает небольшое столпотворение, и учитель строгим голосом велит всем вернуться на свои места.

Глаза Диты останавливаются на Габриэле – усеянном веснушками шалопae. Габриэля никак нельзя не застать за одним из следующих занятий: воспроизведением посреди урока звуков, издаваемых разными животными, дерганьем за девчачьи косички или подготовкой очередной шалости. Но и он застыл, не сводя глаз с книги. Как и все вокруг.

В первые дни ей был непонятен этот внезапно проснувшийся интерес к книге, причем даже со стороны наименее прилежных учеников, но постепенно она поняла, что книги – это не только неразрывная связь с экзаменами, учебой и наименее приятными обстоятельствами школьной поры, это еще и символ самой жизни, жизни без колючей проволоки и страха. И даже те ученики, что никогда не открывали книгу иначе, чем со скрежетом зубным, признают теперь этот кусок прессованной бумажной массы своим союзником. Если нацисты запрещают книги, то это значит, что книги – их союзники.

Книга в руках приближает их на маленький шаг к нормальной жизни, а именно об этом они все и мечтают. Страстное желание, об исполнении которого, закрыв глаза, молятся здесь дети – это не желание получить дорогие игрушки и тому подобные излишества. Нет, они просят Бога сделать так, чтобы им можно было сыграть в прятки на городской площади и попить воды из фонтана.

Когда Дита отдает вторую книгу, она видит, что и другие учителя стараются привлечь ее внимание, показывая, что им тоже хотелось бы получить один из имеющихся в библиотеке экземпляров. Преподаватель соседней группы вытягивает по направлению к ней шею, заявляя о своей потребности, а потом – еще один. Встретившись с заместителем директора блока Лихтенштерном, Дита делится с ним своим удивлением.

– Даже не знаю, что и случилось. Внезапно посыпался шквал заказов на книги...

– Просто все увидели, что библиотечное обслуживание заработало.

Дита улыбается, немного смутившись от неожиданного комплимента и от груза ответственности. Теперь все учителя возлагают на нее большие надежды. Но она – всего лишь четырнадцатилетняя девочка, да еще и под прицелом свихнувшегося нациста, который никогда не забывает лиц!

Но это неважно.

– Пан Лихтенштерн, у меня есть предложение. Говорил ли вам пан Хирш о той системе сокрытия книг, которую я придумала?

– Да, и он всячески ее одобряет.

– Ну да, эта система облегчает жизнь при внезапной проверке. Но проверки случаются не часто. И вот что я придумала: можно, взяв за основу мои потайные карманы, изготовить еще пару таких же для еще одного добровольного библиотекаря. И тогда мы сможем держать все книги здесь в течение дня, для всех учителей сразу. И у нас будет действительно настоящая библиотека.

Лихтенштерн пристально на нее смотрит.

– Не знаю, правильно ли я тебя понял...

– Книги во время утренних уроков были бы у меня прямо здесь, на трубе отопления, и после каждого урока учителя могли бы сдавать одну и брать другую, можно было бы даже получать несколько, если все они понадобятся на уроках. А в случае проверки мы смогли бы спрятать книги, распахав их по нашим внутренним карманам.

– Ты хочешь, чтобы книги лежали на трубе? Нет, это неосторожно. Я против.

– И думаете, что пан Хирш тоже будет против?

Этот вопрос она задает с такой нескрываемой горячностью, что заместителя директора накрывает волна эмоций. Неужели эта соплячка хочет поставить под сомнение его авторитет? Похоже, что именно так, но лучше уж он сам доложит обо всем Хиршу – не хватало еще, чтобы вопрос подняла перед ним эта дерзкая девчонка.

– Я доложу пану директору, но тебе лучше об этом забыть. Хирша я знаю.

Вот в этом он ошибается. Никому не известны тщательно скрываемые тайны Хирша.

Никто ни о ком ничего не знает.

6

Лихтенштерн – единственный обладатель часов в лагере, и именно он звуком гонга – приспособленной под эти цели металлической миски с особенно тонкими стенками, которая при вибрации издает оглушительный грохот, – объявляет об окончании утренних занятий. Наступает время супа – пол-литровой порции горькой водички, в которой иногда плавают кусочки брюквы или, по большим праздникам, картошки. Несмотря на острое желание заглушить непреходящий голод, дети должны построиться и отправиться в туалетный блок, где кроме отхожих мест имеются также огромные, переделанные из поилок для скота металлические умывальники.

Дита идет в угол барака, где расположился профессор Моргенштерн, забрать у него книгу Герберта Уэллса, которая помогала ему рассказывать детям о падении Римской империи. Профессор похож на Санта-Клауса, только сильно потрепанного: с торчащей во все стороны белой шевелюрой, отросшей седой бородой и бровями, которые топорщатся белой проволокой. На плечах у него сильно поношенный пиджак с разошедшимися на плечах швами и оторванными пуговицами, но Моргенштерн разгуливает в нем с гордо поднятой головой и несколько церемонным чувством собственного достоинства. Его отличает старинная, несколько избыточная вежливость: ко всем без разбора он обращается со словами «пан» и «пани», в том числе к маленьким детям.

Книгу у него Дита принимает обеими руками – не хватало еще, чтобы упала, ведь профессор так неловок. С того выступления профессора во время последней проверки, оказавшегося очень для нее кстати, поскольку переключило на себя внимание Пастора, Дита заинтересовалась этим человеком и иногда в послеобеденные часы подходит к нему. Едва завидев ее, профессор Моргенштерн всегда поспешно вскакивает с табурета и по-версальски пышно раскланивается. А еще Дите нравится, что порой он с бухты-барахты, без всяких вступлений, начинает рассказывать о самых разных вещах.

– Ты понимаешь, насколько важно расстояние между глазами и бровями? – спрашивает он Диту, полностью захваченный этой проблемой. – Найти людей с точным расстоянием – чтобы ни больше ни меньше – дело нелегкое.

Его зажигательные речи, посвященные самым абсурдным темам, обычно извергаются бурным потоком, но иногда он внезапно умолкает с устремленным в какую-нибудь точку на потолке или вообще в никуда взглядом. И если кто-то пытается вывести его из этого ступора, он только машет рукой, требуя, чтобы его оставили в покое.

– Я слушаю... прислушиваюсь к тому, как крутятся шестеренки моих мозгов, – говорит он с самым серьезным видом.

В вечерних посиделках других преподавателей он не участвует. Да его бы там и не приняли. Большинство из них думает, что у профессора не все дома. В послеобеденные часы, когда его ученики играют с другими детьми в заднем конце барака, он обычно сидит один. Профессор Моргенштерн складывает самолетики – из немногочисленных, уже полностью исписанных и поэтому выброшенных за ненадобностью листов бумаги.

Завидев Диту, он откладывает в сторону наполовину сложенный листочек и поспешно встает, склоняя перед ней голову и окидывая девочку взглядом сквозь треснувшие стекла очков.

– Панна библиотекарша... Какая честь!

Ее немного смешит это приветствие, в общем-то лестное, потому что позволяет ей почувствовать себя взрослее. Мелькает мгновенный вопрос: а не смеется ли он над ней, но тут же она отбрасывает эту идею. У него добрые глаза. Профессор рассказывает ей о зданиях – «до войны я был архитектором». Когда она отвечает, что он и сейчас архитектор, что после войны

– времени, вычеркнутого из нормальной жизни, – он продолжит возводить здания, он добродушно смеется.

– Теперь у меня нет сил что-то возводить, я и себя-то не могу поднять с этой низкой скамеечки, не то что строение к небу.

Уже до Аушвица он, будучи евреем, несколько лет не мог работать архитектором и теперь жалуется Дите на то, что его начинает подводить память.

– Я уже не помню формул для расчета нагрузки, да и рука так дрожит, что не смогу сделать чертеж даже бассейна.

И, сказав это, снова улыбается.

Моргенштерн признается, что порой заказывает книгу, но так и не открывает ее на уроке, потому что слишком увлекается каким-то другим сюжетом.

– Так зачем же вы ее заказываете? – сердито вопрошает Дита. – Неужто не понимаете, что книг у нас очень мало и заказывать их из пустой прихоти нельзя?

– Вы совершенно правы, панна Адлерова, больше чем кто бы то ни было. Прошу меня извинить, старого эгоиста и ветреника.

Заявив это, он замолкает, и Дита не знает, что сказать в ответ. Моргенштерн выглядит искренне огорченным. И вдруг снова улыбается – сразу, без всяких там переходов. И шепотом, словно открывает секрет, сообщает ей, что лежащая на коленях книга в то время, когда он рассказывает историю Европы или исхода иудеев, позволяет ему ощущать себя настоящим преподавателем.

– Так дети лучше меня слушают и слушаются. На слова какого-то там выжившего из ума старикашки они бы и внимания не обратили, а вот если он повторяет слова книги... это уже другое дело. Книги на своих страницах хранят мудрость тех, кто их написал. К тому же книги никогда не теряют память.

И склоняет голову к Дите, чтобы поведать ей нечто в высшей степени секретное и таинственное. Она совсем близко видит его всклокоченную седую бороду и булавоочно-острые глаза.

– Панна Адлерова... книги – они знают все.

Дита оставляет профессора Моргенштерна, погруженного в складывание очередного творения из бумаги – на этот раз, похоже, тюленя. Ей думается, что у профессора совсем винтики за ролики зашли, но даже если и так... то, что он говорит, одновременно и абсурдно, и исполнено глубокого смысла. Вот и не может она решить, кто же он – безумец или мудрец.

Лихтенштерн, нервно жестикулируя, подзывает Диту к себе – поговорить. Лицо его выражает бесконечную тоску. Такое выражение обычно для него, когда кончаются сигареты.

– Директор сказал, что ему нравится твоя идея.

Замдиректора вглядывается в ее лицо, думая увидеть на нем выражение триумфатора, но Дита уже не ребенок: она умеет скрывать свои чувства. В действительности на ее лице – серьезность и сосредоточенность, в то время как Лихтенштерн являет миру кислую мину. Но это на поверхности, потому что внутри душа Диты скачет от радости, безумно подпрыгивая вверх и вниз, словно на батуте.

– Он сказал «да», и этого достаточно. Он – начальник, но при малейшем признаке приближающейся проверки все книги должны быть как можно быстрее спрятаны. Все это – твоя ответственность.

Она принимает эти условия.

– Есть еще одна деталь в этой истории, против которой я решительно воспротивился, – прибавляет он, слегка оживившись, как будто этот пункт разговора бальзамом лился на его ущемленное чувство собственного достоинства. – Хирш настаивал на том, что именно у него должны быть потайные карманы на случай проверки. Мне удалось убедить его, что это полный идиотизм. Он должен встречать патруль, должен стоять в шаге от охранников, а это невозможно с грузом под одеждой. Он заупрямился. Ну, ты знаешь – он ведь немец. А я чех. Он –

жесткий, а я – упругий. И моя взяла. Каждый день тебе будет помогать новый ассистент библиотекаря.

– Прекрасно, пан Лихтенштерн! Завтра открываем публичную библиотеку!

– Лично мне вся эта затея с библиотекой кажется полным безумием. – И, уже повернувшись уходить, тяжело вздыхает. – Но разве хоть что-то здесь не является таковым?

Дита выходит из барака, тоже взбудораженная, раздумывая, как бы лучше организовать работу библиотеки. Погрузившись в эти раздумья, неожиданно для себя она видит Маргит, которая ждет ее возле выхода из барака. А прямо напротив, в дверях другого барака, который иногда используется под госпиталь, девочки замечают выходящего мужчину, толкающего тележку с накрытым брезентом трупом. Транспортировка трупов – такое обычное дело, что уже никто, кажется, не обращает на них внимания. Девочки переглядываются, но ничего друг другу не говорят – об этом лучше молчать. И они молча идут рядом, пока навстречу им не попадается Рене. Это рыжеволосая девочка, с которой Маргит познакомилась в очереди за супом. Одежда Рене выпачкана в грязи, что совсем не удивительно после длинного рабочего дня, если твоя работа – рыть дренажные канавы. Круги под глазами делают Рене старше ее возраста.

– Как же тебе не повезло с работой, Рене!

– Невезенье ходит за мной по пятам... – произносит Рене с таким таинственным видом, что обе девочки расположены самым внимательным образом ее выслушать.

Рене делает им знак рукой, и все трое ныряют в переулок между двумя бараками. За задним концом барака девчонки отходят на несколько метров от группы мужчин, которые, судя по их тихому, почти шепотом, обсуждению и острым взглядам поверх голов, которыми они проинспектировали приближающихся девочек, ведут разговор о политике. Девочки усаживаются на корточки, поближе друг к другу, чтобы было теплее, и Рене начинает свой рассказ.

– Есть тут один охранник – он на меня смотрит.

Дита с Маргит обмениваются недоуменными взглядами. Маргит не знает, что сказать, а Дита насмешливо изрекает:

– Так охранникам как раз за это и платят, Рене. Чтобы они смотрели за заключенными.

– Он не так на меня смотрит, а по-другому, как-то очень... пристально. Ждет, пока я выйду из строя на утренней проверке, а потом следит за мной взглядом, я это чувствую. И на вечерней проверке то же самое.

Дита готова отпустить еще одну шуточку по данному поводу, упомянув кокетство Рене... но, видя, как та испугана, решает прикусить язычок.

– Сначала я не обращала на него внимания, но сегодня вечером, когда он делал обход лагеря, он отклонился от обычного маршрута по *лагеритрассе* и подошел к канаве, в которой мы работали. Я так и не решилась обернуться к нему, но почувствовала, что прошел он совсем рядом. А потом ушел.

– Может, он всего лишь инспектировал дренажные работы.

– Да, но потом он сразу же снова вернулся на *лагеритрассе*. Я наблюдала за ним: больше он никуда не отклонялся. Как будто только на меня зашел посмотреть.

– А ты уверена в том, что это всегда один и тот же эсэсовец?

– Да, низенький такой. Его очень легко узнать. – Сказав это, она закрыла лицо руками. – Мне так страшно.

Рене нужно проведать маму, и она, обеспокоенная, уходит, повесив голову.

– Девушка слишком заиклилась на этом охраннике, – с нотками презрения в голосе вынесла свой вердикт Дита.

– Ей страшно. Мне тоже. А тебе, Дита, разве тебе не бывает страшно? Ведь как раз тебя держат на особом контроле. Значит, именно ты должна бояться больше нас всех, но почему-то не боишься. Ты очень храбрая.

– Что за ерунда! Конечно, я боюсь. Но не собираюсь ходить и всем встречным-попечным об этом рассказывать.

– Порой человеку совершенно необходимо высказать то, что он носит на сердце.

Немного помолчав, девочки прощаются. Дита выходит обратно на *лагерштрассе* и поворачивает к своему барaku. Пошел снег, и люди спешно расходятся по баракам. Бараки – вонючие конюшни, но там чуть теплее, чем на улице. Еще издали Дита видит, что возле входа в барак номер 16, то есть в ее барак, нет обычных кружков людей – в первую очередь жен с мужьями, пользующимися оставшимся до отбоя часом, чтобы побыть вместе. Чуть погодя она понимает, в чем тут дело, почему никого нет. Мелодия из оперы Пуччини «Тоска» разносится в воздухе. Дита хорошо знает эту музыку – одну из любимых опер папы. Кто-то очень точно воспроизводит ее аккорды, и, присмотревшись, она различает мужскую фигуру, прислонившуюся к косяку входной двери. Голову мужчины венчает фуражка офицера СС.

– Бог ты мой...

Он, по всей видимости, кого-то ждет. Никто бы никогда не захотел оказаться этим «кем-то». Дита застывает посреди *лагерштрассе*; она пока не понимает, заметил ли ее этот человек. В эту самую секунду Диту обгоняют четыре женщины: они торопятся успеть в свой барак до отбоя, а по дороге оживленно обсуждают своих мужей. Дита делает два широких шага, догоняет четверку и пристраивается сразу за ними, чтобы они ее прикрыли. Как только они подходят к дверям барака, Дита, не поднимая головы, быстро проходит между ними вперед и почти бегом врывается в барак.

Как-то раз Дита прочла в книге об африканской фауне, что, если тебе случится оказаться перед львом, ни в коем случае нельзя убегать, а следует двигаться медленно и осторожно. Так что, возможно, побежав, она допустила непоправимую ошибку. Но тут же стала себя успокаивать тем, что, даже если эта книга дает верную информацию о том, как вести себя со львами, вряд ли она может советовать, как действовать, когда сталкиваешься с эсэсовцем-психопатом. Она переступает порог барака с опущенной головой, чтобы он ее не узнал, но все же искоса бросает взгляд на капитана медицинской службы. Однажды к ее отцу с визитом пришел ветеран Первой мировой войны. В результате осколочного ранения он потерял один глаз, и этот глаз был заменен стеклянным протезом. На всю жизнь запомнила Дита безжизненный взгляд этого стеклянного глаза, который на самом деле ничего и не видел, потому что был всего лишь куском мертвой материи. Точно таким был и взгляд доктора Менгеле – взгляд ледяных кристаллов, где нет ни жизни, ни эмоций.

Дита подумала, что голодный лев бросится за ней в погоню. Она уже добежала до своих нар и одним прыжком забирается на койку. В первый раз она рада тому, что старожилка со шрамом на лице лежит на своем месте, так что она может спрятаться, прижавшись к ее грязным ногам. Как будто, сжавшись в комочек, можно укрыться от всевидящего ока военного врача, который замечает все. Но она не слышит за собой ни торопливых шагов, ни отданных по-немецки приказов. Менгеле не бежит за ней, и осознание этого факта приносит ей моментальное облегчение.

Дита не знает, что никто и никогда не видел, чтобы он бегал. Бегать, с его точки зрения, неэлегантно. Для чего ему бегать? Заключение в лагере никуда не может спрятаться. Это как ловить рыбку в аквариуме.

Мама, увидев, как Дита вбежала в барак, принялась ее успокаивать, говоря, что волноваться не нужно: она не опоздала, до отбоя еще несколько минут. Дита кивает и даже находит в себе силы скрыть чувства и улыбнуться, как будто ничего не случилось.

Она желает спокойной ночи маме, а потом – грязным носкам старожилки, распространяющим вокруг себя запах перезревшего сыра. Ответа не получает. Но Дита его и не ждет. Она думает над вопросом: что делал Менгеле возле дверей ее барака? Если он ждал ее, если кто-то, столь могущественный, как он, считает, что она что-то скрывает от администрации лагеря...

то почему он ее до сих пор не арестовал? Она этого не знает. Менгеле вскрывает животы тысячам людей и рассматривает их внутренности своими жадными глазами, но никто не знает, что там у него в голове. Гаснет свет, и наконец она чувствует себя в безопасности. Но начинает размышлять и понимает, что ошиблась.

Когда Менгеле высказал ей свои угрозы, она сомневалась, должна ли сообщить об этом директору блока 31. Если она это сделает, ее освободят от всех обязанностей, чтобы она не рисковала. А если будет так, то все вокруг подумают, что она сама попросила освободить ее, потому что боится. Поэтому она решила, что пусть лучше все будет наоборот: пусть библиотека станет более доступной и более заметной. Она будет рисковать еще больше, чтобы ни у кого не оставалось ни малейшего сомнения в том, что Дита Адлерова не боится нацистов.

«А по какому праву?» – спрашивает она сама себя.

Если рискует она, то это значит, что и все остальные подвергаются риску. Если на ней найдут книги, то закроют весь блок 31. И для пяти сотен детишек умрет мечта хоть в какой-то степени вести нормальную жизнь. Честолюбивое кокетство – желание похвастаться – привело к тому, что она забыла об осторожности. На самом деле она всего лишь заменила один страх другим: страх за свое физическое тело – на страх того, что о ней подумают. Что ж, она, стало быть, решила, что очень храбрая – со своими книгами и своей библиотекой? Но что это за храбрость? Готова подвергнуть опасности целый блок только из-за боязни потерять лицо? Хирш как раз об этом и говорил – о тех, кто закрывает глаза на опасность и подставляет других. Труссы, сказал он. Такие ему не нужны. Они не годятся. Такие льют на себя бензин, прикуривая. Когда их бравада заканчивается благополучно, им дают медаль, и они ходят – грудь колесом. А когда приводит к беде – они увлекают за собой в бездну всех окружающих.

Дита открывает глаза. Во тьме на нее смотрят только замызганные носки. Не сможет она скрыть правду в холщовых карманах своей блузы. Правда тяжела, в конце концов она прорвет любую подкладку и с грохотом вывалится наружу, круша на своем пути все подряд. Она думает о Хирше. Он – кристально чистый человек, и она не имеет права скрывать от него правду из суетного желания почувствовать себя смелой.

Это означает только одно: играть краплеными картами. Фреди этого не заслуживает.

И Дита решает, что завтра поговорит с ним. Скажет ему, что доктор Менгеле установил за ней постоянный контроль и что, следуя за ней по пятам, он может добраться до библиотеки и обнаружить истинное предназначение блока 31. Хирш ее, конечно, освободит от роли библиотекаря. И уже никто не будет с восхищением на нее смотреть. Это ее немного печалит. Никто не хвалит тех, кто остается позади. Она думает, что легко измерять степень героизма при помощи медалей и почестей. Но как измерить мужество тех, кто сам сходит с дистанции?

7

Торопливо пройдя через семейный лагерь, Руди Розенберг приблизился к ограде карантинного, где располагался его офис. Регистратор Розенберг послал Хиршу записку с просьбой о встрече и разговоре, хотя бы через ограду. К деятельности директора детского блока номер 31 Розенберг относится с большим уважением. Не обходится, правда, без злых языков, без устали перетирающих тему энтузиазма, с которым Хирш взаимодействует с нацистской администрацией лагеря, но в целом он внушает скорее симпатию и производит впечатление человека, на которого можно положиться. Шмудевский сурово пророчески, что этот человек – «из наиболее надежных в Аушвице людей, насколько они вообще здесь возможны». Розенбергу уже приходилось вступать с ним в мимолетные контакты – при беглом обмене репликами на людях. Ко всему прочему при работе со списками заключенных он успел сделать Хиршу ряд мелких одолжений. И не только из личного к нему расположения. Это поручение Шмудевского: по возможности конфиденциально собрать о Хирше как можно больше сведений. Информация в Аушвице – дороже золота.

Чего Руди этим утром совсем не ожидал, так это того, что старший по блоку 31 придет на встречу в сопровождении молоденькой девушки, изящной, как газель, несмотря на облачение – испещренную пятнами длинную юбку и слишком широкий для ее фигурки шерстяной жакет.

Фреди говорит о проблемах снабжения блока и о своих попытках улучшить рацион детского питания.

– Говорят, – безразличным тоном, словно речь идет о чем-то незначительном, переводит разговор на другую тему Розенберг, – что театральная постановка 31-го блока на Хануку имела успех. Что офицеры СС долго аплодировали. И, судя по всему, комендант Шварцгубер неплохо провел время.

Хиршу известно, что Сопротивление доверяет ему не в полной мере. Он, со своей стороны, тоже не доверяет Сопротивлению.

– Да, все верно, они остались довольны. А я воспользовался хорошим настроением доктора Менгеле, чтобы обратиться к нему с просьбой передать в наше пользование склад, примыкающий к гардеробной. Хотим устроить там ясельную группу для малышей.

– Доктор Менгеле, да в хорошем настроении? – Розенберг широко раскрывает глаза, как будто ему кажется абсолютно невероятным, что некто, каждую неделю бесстрастно обрекающий на смерть сотни людей, может пребывать в состоянии, свойственном обычному человеку.

– Сегодня мне доставили приказ с его визой. Так что теперь наши малыши получают свое собственное помещение и не будут путаться под ногами у старших.

Розенберг кивает и улыбается.

И вот тут, совершенно случайно, он встречается взглядом с девушкой, которая пришла вместе с Хиршем и теперь скромно стоит в сторонке. И ведь мало того, что встретился взглядом, – не может отвести от нее глаз. Хирш, заметив это, представляет девушку регистратору: Алиса Мунк, одна из юных ассистентов, помогающих ему в блоке 31.

Руди пытается вернуться мыслями к тому, о чем говорил Хирш, но глаза его, подобно стеклянным шарикам из детской игрушки, неизменно обращаются к юной ассистентке, чьи свежие губки отвечают ему робкой улыбкой. И тут Хирш, способный застыть, как камень, не дрогнув ни единым мускулом, способный оставаться совершенно невозмутимым в присутствии целого батальона эсэсовцев, смущается, заметив признаки взаимного притяжения двух молодых людей. Для него самого любовь с ранней юности была лишь источником проблем. В те годы он прилагал максимальные усилия к тому, чтобы быть постоянно погруженным в соревнования и тренировки, одновременно организуя огромное количество мероприятий, чтобы голова постоянно была занята. Быть вовлеченным во все сразу позволяло ему, кроме всего прочего,

скрывать то обстоятельство, что, будучи таким популярным и таким востребованным, он всегда один.

В конце концов Хирш решает сообщить этим двоим, из чьих глаз сыплются искры, что у него есть неотложные дела. И деликатно удаляется, дабы не мешать им сплести тонкие нити любовной паутины, такие прозрачные и вместе с тем такие прочные. И ко всему прочему порой такие липкие, что, приблизившись, рискуешь застрять, сам того не замечая.

– Меня зовут Руди.

– Я знаю. А меня – Алиса.

Когда они остаются один на один, Розенберг пытается задействовать свой самый лучший репертуар соблазнителя. Весьма скудный, нужно признать, поскольку девушки у него никогда не было. Как и интимных отношений с женщиной. В Биркенау вообще-то можно купить и продать все, кроме свободы, в том числе и секс. Но он никогда не хотел – или не решался – обратиться за такого рода услугами на подпольный рынок плоти. Повисает секундная пауза, и он торопится заполнить ее, потому что неожиданно для себя понимает, что больше всего на свете ему хочется, чтобы эта стройная, как молодая косуля, девушка не уходила; что больше всего на свете он желает, чтобы она вечно стояла там, по ту сторону ограды, и улыбалась ему розовыми, слегка сморщенными от холода губами, которые так хочется согреть поцелуем.

– Ну и как работается в блоке 31?

– Неплохо. Мы, ассистенты, в основном следим за тем, чтобы все было на своих местах. Кто-то отвечает за печку – растапливает ее, когда есть дрова или уголь, что бывает далеко не всегда. Кто-то помогает кормить малышей. Еще мы подметаем полы. А еще я вхожу в группу карандашей.

– Карандашей?

– Ну, настоящих-то карандашей очень мало, и используются они редко, в особых случаях. А обычно мы делаем самодельные – примитивные, конечно, но вполне пригодные.

– И как вы их делаете?

– Сначала нужно заточить ложки, чтобы ими резать. Затачиваешь при помощи двух камней. Так получается нож, им мы заостряем щепочки, отколотые от уже никуда не годных кусков дерева. Потом – конечный этап, самый главный: обжечь один конец до черноты. Это и есть моя работа. Таким карандашом дети смогут написать только несколько слов. Так что заострять щепочки и обжигать их приходится каждый день.

– И для стольких детей! Посмотрим, может, мне удастся раздобыть для вас несколько карандашей...

– Правда? – У Алисы загорелись глаза, что очень понравилось Руди. – Но пронести их в наш лагерь будет очень непросто...

Это нравится ему еще больше – вот она, возможность показать себя.

– Да нет, не так сложно. Нужно только, чтобы по ту сторону ограды был надежный человек... например, ты.

Алиса с готовностью соглашается, довольная тем, что сможет оказаться еще в чем-то полезной Хиршу, которым она, как и все ассистенты блока 31, искренне восхищается.

Мгновение спустя в голове регистратора проносится вихрь сомнений. До сих пор его дела в Аушвице шли неплохо: выгодно разыграв свои карты, он занял довольно теплое местечко. Завоевал доверие влиятельных, занимавших немалые должности людей. Кроме того, ему хватало благоразумия если и рисковать, то только в известных пределах и в самых безотлагательных случаях, а также совершать обменные операции различными продуктами и услугами с малым риском и большой прибылью для себя самого и своего статуса. Раздобыть карандаши, за что ему придется чем-то заплатить, чтобы потом отдать их задарма в детский барак, – и невыгодно, и неосторожно. Но при виде улыбки и черных блестящих глаз девушки все остальное вмиг вылетает у него из головы.

– Через три дня. В этом же месте у ограды. И в это же время.

Алиса соглашается и тут же торопливо убегает, как будто у нее вдруг возникло срочное дело. Руди смотрит ей вслед, любуясь пышными волосами, которыми играет поднявшийся к ночи ветер. Теперь придется нарушить закон выживания, которому он так долго и неукоснительно следовал и который до сих пор оказывался весьма эффективен: никогда ничего не просить, если не можешь дать что-то взамен. А когда выгода от операции незначительна, это признак того, что близится провал. Находясь в Аушвице, ты не можешь позволить себе такую роскошь, как чего-то лишиться. С этой же девушкой обмен получился совсем никакой, но, сам не зная почему, он доволен. Возвращаясь к себе в барак, расположенный в лагере ВПа, Руди чувствовал странную слабость – ноги, будто ватные, подгибались. Никогда прежде не приходила ему в голову мысль, что влюбленность имеет те же симптомы, что и грипп.

Диту Адлерову ноги тоже сегодня подводят: подгибаются и дрожат. Коленки постукивают друг о друга, словно индейские маракасы. Дети и преподаватели уже в бараке и успели заметить, что библиотекаря стоит возле трубы отопления, а рядом с ней – около десятка томов. Похоже на то, что Дита готова разложить их на трубе, как на прилавке. Все эти люди давно, очень давно – несколько месяцев, с самого Терезина – не видели столько книг сразу. Преподаватели подходят поближе, читают названия на корешках, если, конечно, они читаемы. Их взгляды вопрошают: могу ли я взять книгу в руки, полистать? Дита разрешает. Но при этом глаз с них не сводит. Когда одна учительница слишком резким движением раскрывает книгу о психоанализе, Дита делает ей замечание, на словах умоляя о большей аккуратности. На самом деле – требуя, но при этом улыбаясь, и женщина в растерянности: получить выговор от четырнадцатилетней ассистентки – кто бы мог подумать?

– Дело в том, что они очень ветхие, – поясняет Дита, надев на лицо улыбку.

Книги нужно возвращать в библиотеку в конце каждого часа, чтобы они «обращались» – ходили от группы к группе, от урока к уроку. Все утро книги бродят по барaku. Дита не спускает с них глаз, даже с тех, которые оказались в самых дальних углах. В одном из них – учебник по геометрии; он в руках у учительницы, которая довольно активно жестикулирует. Недалеко от себя на табурете Дита видит атлас – самую большую по формату книгу, но и она помещается во внутренний карман ее блузы. Легко различает зеленую обложку русской грамматики, используемой в основном для того, чтобы показывать детям удивительную кириллицу с ее загадочными, словно тайные письма, буквами. Романы пользуются меньшим спросом. Кое-кто из взрослых берет их почитать, но ведь делать это можно только в блоке 31.

Дита должна поговорить с Лихтенштерном, попросить у него разрешения выдавать книги тем преподавателям, которые свободны от уроков во второй половине дня, когда дети играют или поют в хоре Ави Офира. Поют дети с удовольствием. Особенно хорошо у них выходит «Жаворонок», при исполнении которого звонкие детские голоса заполняют все пространство барака.

Ближе к обеду книги начинают возвращать. Дита принимает их с явным облегчением: так выглянувший в окно юноша наблюдает, как домой после кратковременной прогулки возвращаются, устало опираясь на палку, его престарелые родители. Неожиданно лицо Диты омрачается: она хмуро глядит на преподавателя, который возвращает ей книгу несколько более помятой, чем взял. За то время, что Дита выступает в роли хранительницы книг, она уже успела выучить каждую их морщинку, каждое повреждение, каждую вмятинку. И когда книги к ней возвращаются, каждую из них она осматривает внимательно, как строгая мать, ведущая учет новым царапинам на коленках сына, вернувшегося с улицы под крышу родного дома.

Фреди Хирш с бумагами в руке и, похоже, чем-то озабоченный идет мимо Диты, которая дежурит возле своего библиотечного пункта на отопительной трубе. Несмотря на занятость, он останавливается и окидывает взглядом мини-библиотеку. Фреди относится к тому типу людей, которые все время спешат, но при этом всегда имеют несколько минут в запасе.

– Ну и ну! Это уже настоящая библиотека!

– Рада, что вам нравится.

– Просто замечательно. Мы, евреи, всегда были самым культурным народом. – Сказав это, он широко улыбается Дите. – Если тебе нужна моя помощь – обращайся.

Хирш поворачивается и, шагая столь же широко, идет дальше.

– Фреди! – Дита все еще слегка смущается, обращаясь к директору так фамильярно, но он сам потребовал от нее этого. – Думаю, что да, что мне нужна помощь.

В его взгляде – вопрос.

– Достаньте для меня, пожалуйста, марлю, клей и ножницы. Этим бедняжкам нужно подлечиться.

Хирш кивает. И улыбается, направляясь к выходу из барака. Он никогда не устает повторять любому, кто согласен слушать: «Дети – лучшее, что у нас есть».

После обеда дождь кончился, и, несмотря на холод, малыши пользуются этим обстоятельством, чтобы поиграть под открытым небом в догонялки или в секреттики, пряча и отыскивая сокровища в вязкой слякотной почве. Дети постарше составили табуреты в широкий полукруг. Дита уже убрала все книги и подходит к ним поближе. В центре полукруга стоит Хирш и ведет рассказ на свою любимую тему. Это *алия* – возвращение на родину, в древнюю Палестину. Ребята слушают внимательно, не отвлекаясь. Более чем уязвимые, с вечно пустыми желудками и под вечной угрозой гибели, о которой не устает напоминать запах горелого мяса, приносимый со стороны крематориев ветром, они очарованы словами директора: он дает им возможность ощутить себя непобедимыми.

– *Алия* – это гораздо больше, чем просто эмиграция. Речь не об этом. Не о том, чтобы переехать в Палестину, как в любую другую страну, чтобы зарабатывать там себе на жизнь, и все. Нет-нет-нет. Дело не в этом. – И Хирш делает долгую паузу, в течение которой царит оглушительная тишина. – Это паломничество в земли, связанные с вашими предками кровными узами. Отправиться туда – это связать концы некогда порванной нити. Принять землю и сделать ее своей. Это не что иное, как *hagshama atzmit* – самореализация, самосовершенствование. Нечто гораздо более глубокое. Вы, наверное, об этом и не подозреваете, но внутри каждого из вас есть лампочка. Да-да, не смотрите на меня квадратными глазами, она есть – там, в глубине... И у тебя тоже, Маркета! Только она не горит. Кто-то, наверное, скажет: «Ну и что мне с того? Жил же я как-то до сих пор и неплохо жил». Конечно, вы и дальше можете жить, как жили до сих пор, но жизнь эта будет серой, бесцветной. Разница между жизнью с выключенной лампочкой и лампочкой зажженной подобна разнице между пещерой, освещаемой спичкой и прожектором. И если вы свершите *алию*, предпримете паломничество в страну своих предков, то, едва вы ступите на землю Израиля, лампочка загорится с невиданной прежде мощностью и озарит вас изнутри. И тогда вы все поймете. Поймете, кто вы на самом деле.

Мальчики, словно в забытии, смотрят на него, не отрываясь. Глаза их широко распахнуты, чьи-то руки непроизвольно поглаживают грудь, словно нащупывая невидимый выключатель, зажигающий внутреннюю лампочку, которая, по словам Хирша, спрятана в каждой груди.

– Вот посмотрим мы на нацистов – с их современным оружием, в блестящей форме. И думаем, что они могущественны, даже непобедимы. Но нет, вовсе нет. Не нужно обольщаться: под столь блестящей внешностью ничего нет. Это оболочка, каркас. Мы не такие, мы не гонимся за внешним блеском, мы стремимся светиться изнутри. И свет этот обеспечит победу нам. Наша сила – не в щегольской форме, а в вере, гордости и целеустремленности.

Фреди умолкает и обводит взглядом своих слушателей, глядящих на него во все глаза.

– Мы сильнее их, потому что у нас сердце сильнее. Мы лучше их, потому что наше сердце более мощное. Вот в чем причина того, что им не одолеть нас никогда. Мы вернемся в Палестину и восстанем. И больше никто не посмеет нас унижить. Потому что мы вооружимся – нашей гордостью, а также мечами... остро заточенными. Лгут те, кто говорит, что мы – народ

счетоводов. Мы – народ воинов, и мы сумеем вернуть долги нашим обидчикам, стократно их вернем – все удары, все нападки.

Дита молча слушает, потом тихо уходит. Слова Хирша никого не оставляют равнодушными. Ее тоже.

Она поговорит с ним, когда все разойдутся. Ей не хочется, чтобы во время их разговора, когда она будет рассказывать о Менгеле, вокруг роились люди. А сейчас в бараке еще остаются учителя и ассистенты, они собрались в кружок и о чем-то беседуют. Дита различает лица кое-кого из старших девочек, они смеются. И некоторых мальчиков, которые видятся ей надутыми индюками, как этот Милан, который считает себя красавцем. Ну да, ну ладно, он хорош собой, но пусть только попробует, дурак такой, с ней заигрывать, она пошлет его куда подальше. С другой стороны, это полная ерунда. Она уже хорошо усвоила, что Милан и не подумает обращать внимание на такую худышку, как она. Есть же девочки, которые даже на самом скудном рационе концлагеря могут похвастаться весьма заметными бедрами и вздымающейся грудью.

Дита принимает решение: подождать, пока все разойдутся, а уж потом поговорить с Хиршем. Она пробирается в закуток за сложенными дровами, где частенько в одиночестве проводит время старый Моргенштерн. Усаживается на стоящую там скамейку. Розовая бумажка – остроносая бумажная птичка, слегка помятая – легко касается ее руки. Ей снова хочется открыть фотоальбом своей памяти и вернуться в Прагу, вероятно, как раз потому, что при невозможности мечтать о будущем ты всегда можешь заменить его прошлым.

Перед глазами оживает яркая картинка: вот мама, она нашивает ужасную желтую звезду на Дитину чудесную блузку цвета морской волны. Но что больше всего впечатляет ее в этой сцене, так это выражение маминого лица, склонившегося над шитьем: полная концентрация на иголке с ниткой, оно такое обыденное, как будто мама поправляет шов на подоле какой-нибудь юбки. Дита вспоминает, что, когда она, злая, как фурия, спросила, что же такое творит мама с ее любимой блузкой, та ограничилась простой репликой: ничего страшного не случится, если ты будешь носить желтую звезду. И даже взгляда от шитья не подняла. Дита помнит, как у нее, красной от негодования, сжались кулаки, потому что эти желтые нашивки из грубой ткани совершенно отвратно будут выглядеть на синем шелке платья и еще хуже – на зеленой рубашке. И она никак не может взять в толк, как ее мама, такая элегантная женщина, которая говорит по-французски и читает красивые европейские журналы мод, обычно лежащие на столике в гостиной, может нашивать на ее одежду грубые заплатки. «Это война, Эдита, это война...» – шепчут мамины губы, а глаза по-прежнему не отрываются от работы. И Дита умолкает и принимает все это как нечто неизбежное, с чем ее мама и остальные взрослые уже смирились. Это война, ничего тут не поделаешь.

Дита съеживается в своем закутке и извлекает из памяти другой образ – свой день рождения, когда ей исполнялось двенадцать. Видит квартиру, родителей, бабушек и дедушек, дядей, тетей, кузин и кузенов. Она стоит посреди комнаты, чего-то ждет, а все родственники образуют вокруг нее хоровод. На ее лице – печальная улыбка, та, что появляется, когда она сбрасывает маску закаленной воительницы и проступает застенчивая Дита, обычно надежно спрятанная за внешней бесцеремонностью. Самое странное в этой картине то, что никто, кроме нее, не улыбается.

Она хорошо помнит тот день рождения – последний, на котором был вкусный, мамой испеченный пирог. С тех пор ничего подобного уже не было. Теперь-то праздник, если попадется кусочек картошки, плавающий в соленой водичке, называемой супом. Правду сказать, тот давний *штрудель*, при одном воспоминании о котором у Диты текут слюнки, был гораздо меньше, чем обычно делала мама, но Дита не стала жаловаться, потому что видела, как целую неделю до ее праздника мама обходила десятки магазинов, стараясь раздобыть побольше изюма и яблок. И все без толку. Каждый день она приходила за дочкой в школу с пустой авоськой и без малейшего признака досады на лице.

Такой была ее мама, мало расположенная обсуждать всякие проблемы, как будто рассказывать кому-то о своих тяготах – признак дурного тона. Дита вспоминает, что не раз ей хотелось сказать: мама, облегчи душу, Расскажи мне обо всем... Но нет, ее мама – человек другого времени, сделанный из иных материалов, как те керамические горшки, которые не пропускают сквозь стенки тепло и все держат внутри себя. Дита же, напротив, в свои двенадцать лет любила рассказывать всем обо всем: ей нравилось говорить и нравилось слушать, нравилось подпирать стенку и нравилось гнать волну. Она была счастливой девочкой, и, если хорошо подумать, то даже сейчас, в этом ужасном лагере, она не отказалась от этого состояния.

Нервно улыбаясь, с подарком в руках в гостиную вошла мама. Когда Дита поняла, что это коробка с обувью, у нее загорелись глаза: вот уже несколько месяцев она мечтает о новых туфельках. Ей нравятся туфли светлых тонов, с пряжкой, по возможности – с невысоким каблучком.

Она торопливо распахнула коробку, и ее глазам открылись повседневные туфли – закрытые, черные, наводящие тоску. Присмотревшись, она замечает, что туфли даже не новые: царапина на носке старательно замаскирована гуталином. Вокруг Диты воцарилась густая тишина. Бабушки с дедушками, родители, дяди с тетями – все смотрят на нее и ждут ее реакции. Она изобразила широкую улыбку и объявила, что подарок ей очень понравился. Подошла поцеловать маму, получив в ответ крепкое объятие, потом – папу, который не преминул пошутить, назвав ее самой везучей девочкой, поскольку этой осенью в Париже непременно будут носить как раз закрытые черные туфли.

Вспомнив об этом, Дита улыбнулась. Но у нее были и собственные планы, связанные с двенадцатилетием. Вечером, когда мама зашла пожелать дочке спокойной ночи, Дита попросила еще об одном подарке. И прежде чем мама начала протестовать, поторопилась сказать, что никаких дополнительных расходов он не потребует: ей уже исполнилось двенадцать, и она просит, чтобы ей дали прочитать какую-нибудь взрослую книгу. Мама на секунду задумалась, потом получше подоткнула одеяло и, ничего не сказав в ответ, вышла из комнаты.

Через какое-то время, когда Дита уже начала засыпать, послышался скрип осторожно открываемой двери и мамина рука положила на тумбочку книгу – «Цитадель» Арчибальда Джозефа Кронина. Как только мама вышла из комнаты, Дита поспешила заткнуть щель под дверью своим халатиком, чтобы никто не увидел, что у нее горит свет. В ту ночь она так и не заснула.

В конце одного октябрьского дня в 1924 году бедно одетый молодой человек с жадным вниманием глядел в окно вагона третьего класса в почти пустом поезде, медленно тащившемся из Суонси в Пеноуэльскую долину. Мэнсон, ехавший с севера, был в дороге целый день и два раза пересеживался – в Карлайле и в Шрусбери. Тем не менее и теперь, к концу утомительного путешествия в Южный Уэльс, его возбуждение не только не улеглось, но и еще усилилось, подогреваемое мыслями о начале его врачебной деятельности, о первом в его жизни месте врача в этой незнакомой и некрасивой части страны².

Она поудобнее устроилась в купе рядом с молодым доктором Мэнсоном и вместе с ним доехала до Дринеффи, маленького шахтерского поселка в Уэльских горах. Вот так она оказалась пассажиром поезда читателей. В ту ночь Дита испытала радость открытия: оказывается, не столь важно, сколько барьеров поставят перед ней хоть все рейхи планеты, потому что стоит ей открыть книгу, как все они окажутся преодолены.

² Первый абзац романа Арчибальда Джозефа Кронина «Цитадель» (1937) в переводе Марии Абкиной. Процитировано по изданию: Кронин А. Дж. Цитадель. Азбука-Классика, 2018.

Думая сейчас о «Цитадели», она улыбается с теплотой, даже с благодарностью. Книгу Дита прятала в школьной сумке и носила с собой, чтобы читать на переменах, а мама ни о чем не догадывалась. Это была первая книга, заставившая ее испытать чувство негодования.

Надо же, молодой доктор – идеалист, с талантом, свято веривший в силу науки, способную победить болезнь, и вот он женится на обожаемой всеми в Дринеффи Кристине и переезжает в город. А когда его принимают в высшем свете, начинает глупо гоняться за гонорарами и превращается в доктора для богатых матрон, единственная настоящая болезнь которых – скука.

Дита качает головой. Каким же глупцом оказался доктор Мэнсон, позволивший себе докатиться до состояния зануды-педанта и оставить Кристину!

А еще эта книга оказалась первой, над которой она плакала.

В том месте, когда доктор Мэнсон пришел наконец в себя (что случилось после гибели одного бедного пациента в результате халатности его нового коллеги из врачебной аристократии) и, встав на колени, попросил прощения у Кристины, Мэнсон решил порвать все связи с этим пустым светом, вновь стать настоящим врачом и помогать людям – всем, вне зависимости от того, есть ли у них деньги, чтобы заплатить ему за несколько минут его времени. И он снова сделался тем возвышенным человеком, каким и был в начале романа, а Кристина снова начала улыбаться. Как жаль, что вскоре, следуя законам жанра, эта славная женщина умерла.

Дита улыбается, вспоминая эти страницы. С тех самых пор, как они оказались прочитаны, она знает, что границы ее жизни раздвинулись. Ведь книги умножают жизнь, дают тебе возможность узнать таких людей, как Эндрю Мэнсон и, даже более того, таких, как Кристина – женщина, которая не дала ослепить себя ни высшему обществу, ни деньгам, которая ни разу не изменила своим идеалам, которая проявила характер и не отступила перед тем, что не считала справедливым.

С тех пор Дита мечтает стать такой, как пани Мэнсон. Она не поддастся этой войне, потому что роман Кронины показал ей, что если твердо держаться того, во что веришь, то в конце концов справедливость пробьется на поверхность, как бы глубоко ни была она погребена. Дита кивает, но с каждым разом все медленнее, и понемногу засыпает в тихом укромном уголке за поленницей дров.

Когда она открывает глаза, в бараке темно и тихо. На мгновение ее охватывает ужас при мысли, что она, наверное, проспала сигнал отбоя. Не вернуться вовремя в барак – это тяжелый проступок, как раз такой, которого ждет не дождется Менгеле, чтобы превратить ее в лабораторный материал. Но Дита прислушивается и слегка успокаивается: за стенами барака слышны обычные звуки. А еще звучат чьи-то голоса, совсем рядом, и Дита понимает, что именно они-то ее и разбудили. Разговор идет по-немецки.

Дита выглядывает из-за дров и видит, что дверь в комнату Хирша открыта и оттуда падает свет. Хирш сопровождает кого-то к выходу из барака и осторожно отворяет входную дверь.

– Подожди немного, здесь люди рядом.

– Вижу, ты побаиваешься, Фреди.

– Думаю, что Лихтенштерн о чем-то подозревает. Нужно сделать все возможное, чтобы ни он, ни кто бы то ни было другой из блока 31 ничего не узнал. Если узнают, то я пропал.

Его собеседник фыркает от смеха.

– Да ладно тебе, не волнуйся ты так! Ну и что они тебе сделают? Они ведь всего лишь еврейские узники концлагеря, расстрелять тебя они точно не смогут.

– Стоит им узнать, что я их обманываю, как у кого-нибудь точно появится желание сделать это...

Наконец собеседник Фреди переступает порог барака, и Дите удастся увидеть его, хотя и мельком. Это крепкий мужчина в широком черном плаще. А еще она видит, что на голову он накидывает капюшон, хотя дождя на улице нет, и это значит, что человек хочет остаться

неузнанным. Однако Дита может разглядеть его обувь – не деревянные сабо заключенных, а начищенные до блеска кожаные сапоги.

«Что здесь делает офицер СС, да еще инкогнито?» – возникает вопрос.

Свет из комнаты Хирша освещает его самого, идущего от входных дверей обратно. И в этом свете Дите видна его понуро опущенная голова. Никогда раньше не видела она его таким подавленным. Человек с обычно прямой спиной повесил голову.

Дита замерла в закутке за дровами. Она не может осознать то, чему только что была свидетелем. Вернее, она боится это осознать. Она хорошо слышала слова, произнесенные Хиршем: он их обманывает.

Но почему?

Дита чувствует, что земля уходит у нее из-под ног, и вновь опускается на скамейку. Ей было совестно, что она не сказала Хиршу всю правду... Но ведь это он тайно встречается здесь с эсэсовцами, которые под покровом ночи, в камуфляже, перемещаются по лагерю.

Бог ты мой...

Она вздыхает и поднимает руки к голове.

«Как я могу сказать правду тому, кто сам ее скрывает? И если нельзя верить Хиршу, то кому тогда можно?»

Она так ошарашена этими мыслями, что, встав на ноги, чувствует головокружение. Когда Хирш закрывает за собой дверь своей комнаты, она встает и бесшумно выходит из барака. Двери барачных устроены так же, как двери в клиниках для безумцев: не закрываются изнутри.

И в эту секунду раздается сирена – сигнал к отбою и комендантскому часу. Последние гуляки, бросившие вызов холодной ночи и ярости своих *капо*, бегом возвращаются в бараки. У Диты сил бежать не осталось. Слишком давят на нее возникшие вопросы, слишком путаются в ногах.

А если тот человек, с которым разговаривал Хирш, вовсе не эсэсовец, а боец Сопротивления? Но почему в таком случае Хирш так беспокоился, что об этом визите и разговоре могут узнать в блоке 31, ведь всем известно, что Сопротивление – на нашей стороне? Кроме того, много ли она встречала людей из Сопротивления, которые говорили бы с таким ярко выраженным берлинским акцентом?

Она шагает и по дороге качает головой. Нет, отрицать очевидное невозможно. Это был эсэсовец. Конечно, Хирш имеет с ними дело, это точно. Но этот визит не был официальным. Нацист маскировался, оделся так, чтобы его не узнали, да и говорил с Хиршем так обыденно, можно даже сказать по-приятельски... А потом этот его облик – облик человека, терзаемого угрызениями совести...

Бог ты мой...

Люди все время шепчутся по углам, что в лагере полно стукачей и нацистских шпионов, живущих среди узников. Нет, дрожь в ногах унять не удастся.

Нет, нет и нет.

Хирш – и стукач? Если бы кто-то сообщил ей такую новость пару часов назад, она бы выцарапала ему глаза! Но ведь ему нет никакого смысла быть информатором СС, если он сам надувает эсэсовцев, превратив блок 31 в настоящую школу. Нет, никакого смысла. И вдруг ей приходит в голову мысль, что он, быть может, просто играет перед нацистами роль информатора, а информация, которую он им передает, фальшивая или не соответствующая действительности, и тем самым он их успокаивает.

Это – да, это бы все объясняло!

Но тут же в памяти всплывает образ понурого, с поникшей головой Хирша, возвращавшегося к себе после прощания с гостем. Совсем не облик довольного собой человека, исполнившего свой долг. На него явно давил груз вины. Это читалось в его глазах.

Дита входит в свой барак, когда возле двери уже стоит *капо* с палкой в руке, призванной наказать опоздавших: тех, кто вошел после сигнала отбоя. Пытаясь защитить от палки голову, Дита прикрывает ее руками. Удар оказался нешуточный, но она почти не чувствует боли. Залезая на свои нары, Дита видит приподнявшуюся на соседней койке голову. Это мама.

– Ты сегодня очень поздно, Эдита. С тобой все в порядке?

– Да, мама.

– Правда? Ты не обманываешь?

– Не-е-ет, – нехотя тянет Дита.

Ее совсем не радует, что мать обращается с ней как с маленькой девочкой. И ее так и подмывает сказать в ответ, что да, конечно, она ее обманывает, потому что в Аушвице все всех обманывают. Но будет несправедливо, если она сорвет именно на маме ту ярость, что клокочет у нее внутри.

– Так значит, все хорошо?

– Да, мама.

– Да заткнитесь вы уже там, суки, или я вам сейчас глотки перережу! – доносится чей-то рык.

– Молчать всем! Тихо! – командует *капо*.

В бараке устанавливается тишина, но не умолкает в голове Диты эхо. Хирш не тот, за кого они его принимают? Кто же он в таком случае?

Она пытается собрать воедино все, что знает о нем, но скоро понимает, что информации не слишком много. После того случая, когда она мельком увидела его в первый раз в спортивном комплексе под Прагой, в следующий раз они столкнулись уже в Терезине.

В еврейском гетто Терезина...

8

Она явственно помнит отпечатанное на пишущей машинке письмо с печатью *рейхспротектора*, как оно лежит на кухонном столе, покрытом клеенкой в багряную клетку, в их малюсенькой квартирке в квартале Йозефов. Маленькая бумажка, изменившая все. Даже название городка Терезин, в шестидесяти километрах от Праги, набрано в письме на немецкий манер, да еще и жирными прописными буквами, словно во всю глотку кричащими: «ТЕРЕЗИЕН-ШТАДТ». А рядом с ним – слово «перемещение».

Терезин, который немцы упорно называли Терезиенштадтом, Гитлер от щедрот своих подарил евреям. Так говорила нацистская пропаганда. Появился даже документальный фильм, снятый режиссером-евреем по имени Курт Геррон, который показывал миру, как радостные люди дружно работают в мастерских, занимаются спортом, охотно ходят на лекции и другие собрания, а закадровый голос при этом убеждает зрителей в том, что евреи в Терезине живут счастливо. Фильм призван был показать, что слухи об интернировании и убийствах евреев ни на чем не основаны. Сразу после окончания работы над картиной нацисты отправили Курта Геррона в Аушвиц, где он погиб в 1944 году.

Дита вздыхает.

Терезинское гетто...

Еврейский совет Праги предложил *рейхспротектору* Рейнхарду Гейдриху несколько возможных вариантов для перемещения евреев из столицы. Но Гейдрих сразу выбрал Терезин и слышать ни о чем другом не хотел. Для этого выбора существовал бесспорный аргумент: Терезин – это крепость, окруженный стеной гарнизонный город.

Дита помнит тягучую печаль того утра, когда им пришлось упаковать всю свою жизнь в два чемодана и тащить их к пункту сбора интернируемых, в парк Стромовка. Эскорт чешской полиции провожал их до самого вокзала Прага-Бубны, чтобы удостовериться в том, что евреи сядут на поезд, отправляющийся в Терезин.

Из своей памяти Дита извлекает фотокарточку ноябрьского дня 1942 года. Папа помогает выйти из вагона на перрон дедушке, старому сенатору, на станции Богусовице. Поодаль стоит бабушка, внимательно наблюдая за происходящим. На лице самой Диты – сердитое выражение: ее раздражает биологическое дряхление, которому подвержены даже самые крепкие и здоровые люди. Дед когда-то был каменной крепостью, а теперь он – всего лишь песочный замок. На этом застывшем фото, в шаге от папы, видит она и маму – с тем свойственным ей упорно нейтральным взглядом, призванным показать, что ничего плохого не происходит. Маму, старающуюся не привлекать к себе внимание. Видит и саму себя – тринадцатилетнюю, совсем девочку, уморительно толстую. Мама велела ей надеть на себя несколько свитеров – один на другой. И не потому, что холодно, а потому, что им разрешено брать с собой только пятьдесят килограмм на человека, а то, что на себе, не считается. Папа стоит за ней. «Говорил же я тебе, Эдита, не ешь так много фазанов», – изрекает он с тем серьезным видом, с которым обычно шутит.

В фотоальбоме Терезина первым лежит фото, на котором запечатлен вид города, каким увидели его глаза Диты, как только она прошла пост охраны возле крепостных ворот под аркой с лозунгом “*Arbeit macht frei*” («Труд освобождает»). На этом фото – картинка суетливого города. Города с проспектами, заполненными людьми, больницей, пожарной частью, кухнями, мастерскими, детским садом. В Терезине есть даже своя собственная еврейская полиция, *геттовахе*: полицейские расхаживают в мундирах и темных фуражках, как обычные полицейские в любом другом городе мира. Но если присмотреться к этому людскому муравейнику повнимательнее, то тотчас обращаешь внимание на то, что у людей здесь – корзины без ручек, разорванные шали, часы без стрелок... И сразу думаешь: жизнь среди ломаных вещей – признак

сломанной жизни. Люди вроде бы торопливо движутся в разных направлениях – кто отсюда туда, кто оттуда сюда, – но Дита скоро понимает, что, как бы быстро ты ни шел, придешь все равно к одному и тому же – к городской стене. Все здесь мираж, обман, видимость.

Терезин – город, в котором улицы не ведут никуда.

Именно там она во второй раз увидела Фреди Хирша. Вернее, сначала даже не увидела, а слышала. Ритмичный топот стада бизонов, как в приключенческих романах Карла Мая, местом действия которых являются просторы североамериканского Дикого Запада. Это был один из ее первых дней в гетто, и Дита все еще пребывала в некотором шоке. Она возвращалась домой после работы, на которую ее определили, – с огородов за городской стеной, где выращивали овощи для стола гарнизона СС.

Дита шла по улице, направляясь в выделенную им каморку, когда услышала приближавшийся по перпендикулярно расположенной улице громкий галоп. И поторопилась прижаться к стене жилого дома, опасаясь попасть под копыта, потому что такой звук мог исходить только от табуна лошадей.

Однако из-за угла показались вовсе не лошади, а внушительных размеров группа бегущих юношей и девушек. Возглавлял ее атлетического вида молодой человек с безупречно зачесанными назад волосами. Он бежал эластично, упругими широкими шагами и, поравнявшись, легким кивком головы поприветствовал Диту. Это был Фреди Хирш. Неподражаемый Фреди Хирш, элегантный даже в шортах и майке.

После этой первой встречи довольно долго она его не видела. В следующий раз их свели книги.

Все началось с неожиданной находки – среди простыней, белья, носильных вещей и других пожитков, которыми мама набила чемоданы, обнаружилась книга, которую втайне от жены, потому что иначе был бы поднят крик до небес по поводу такого нерационального использования нормы провоза багажа, засунул туда папа. Когда в первый вечер по их приезде в Терезин мама разбирала чемодан, она была чрезвычайно удивлена, достав из него объемистый том, и тут же подняла на папу суровый взгляд.

– Вместо этого мы могли бы привезти не меньше трех пар обуви.

– На что бы нам понадобилось столько обуви, Лизль, если мы все равно не можем никуда отсюда уйти?

Мама ничего не ответила, но Дите показалось, что она специально опустила голову, чтобы никто не заметил ее улыбку. Мама не раз корила мужа за излишний романтизм, но в глубине души именно за это его и любила.

Папа оказался прав. Эта книга увела меня гораздо дальше, чем любая обувь.

Примостившись на краешке своих нар в Аушвице, Дита улыбается, вспоминая тот миг, когда она раскрыла роман под названием «Волшебная гора».

Начиная книгу, ты как будто садишься в поезд, увозящий тебя на каникулы.

История повествует о том, как Ганс Касторп отправляется из Гамбурга в Давос, в швейцарские Альпы, намереваясь навестить своего двоюродного брата Иоахима, проходящего курс лечения от туберкулеза в одном респектабельном горном санатории. В начале романа Дита не может выбрать, кто ей ближе: жизнерадостный Ганс Касторп, только что приехавший на курорт, чтобы провести подле кузена несколько свободных отпускных дней, или больной и аристократичный Иоахим.

– Да, вот мы сидим и смеемся, – начал он со страдальческим выражением лица – от сотрясений диафрагмы его речь то и дело прерывалась, – а даже сказать трудно, когда я отсюда выберусь; если Беренс говорит – еще полгода, он обычно называет наименьший срок, и нужно быть готовым к гораздо большему. Но ведь это жестоко, посуди сам, и для меня очень плохо. Ведь я уже кончал училище и мог бы в следующем месяце сдать экзамен на офицера.

Вместо этого я тут торчу без дела, с градусником во рту, считаю курьезы невежественной фрау Штёр, а драгоценное время уходит. В нашем возрасте год – это немало, там внизу жизнь приносит за год столько перемен, таких можно добиться успехов... А я тут должен протухать, как застоявшаяся вода в яме... бездельничать, как ленивый болван, – нет, это вовсе не грубое сравнение...³

Дита вспоминает, как она невольно согласно кивала, читая этот фрагмент, да и сейчас делает то же самое, мучаясь бессонницей на тощем матраце в Аушвице. Ей казалось, что персонажи романа понимают ее намного лучше, чем собственные родители. Когда она жаловалась на все несчастья, обрушившиеся на них в Терезине, – папа вынужден жить отдельно от них с мамой, в другом бараке, сельхозработы, клаустрофобия внутри запертых городских стен, однообразная скудная еда, – родители отвечали ей, что нужно набраться терпения, что все это скоро закончится. «Весьма вероятно, что в следующем году война уже закончится», – говорили они с таким видом, словно сообщают дочке замечательную новость. Для взрослых один год – ничто, долька апельсина. Мама с папой улыбались ей, а она кусала губы от злости: они же ничего не понимают! В юности один год – это практически вся жизнь.

Порой вечерами, когда родители Диты проводили время во дворе, беседуя с другими семейными парами, она ложилась на койку и, укрывшись одеялом, уподоблялась Иоахиму, принимавшему в шезлонге предписанные ему врачом санатория воздушные ванны в состоянии полного покоя. Или, скорее, представляла себя Гансом Касторпом, который решил немного отдохнуть в санатории и взять несколько сеансов полного покоя и расслабления, хотя и с менее строгим соблюдением предписаний – не как пациент, а как отдыхающий. И вот Касторп, приехавший на курорт провести три недели своего отпуска в компании кузена, заражается царящими здесь нравами, манерой измерять время, где наименьший срок – месяц, а более краткие промежутки времени не признаются; где теряется ощущение проходящих часов и дней, утопающих в рутине обедов, ужинов и лечебных воздушных ванн, следующих чередой, неизменных день за днем, без малейших различий.

Как и кузены, Дита в Терезине ожидала наступления ночи лежа, хотя ее ужин не шел ни в какое сравнение с ужином из пяти блюд, подававшимся в международном санатории «Берггоф». Ее ужином был кусочек хлеба с сыром.

С сыром! Теперь на нарах в Аушвице для нее это не более чем воспоминание. Какой же он на вкус, этот сыр, если я уже его и не помню? Это вкус блаженства!

А вот холод – это да: в Терезине Дита, даже натянув на себя все четыре свитера, чувствовала тот же холод, что и Иоахим, и другие пациенты, которые, завернувшись в пледы, лежали на балконах своих комнат и дышали сухим холодным воздухом гор, считавшимся целительным для легких. И, как и Иоахим, лежа с закрытыми глазами, она терзалась чувством, что ее молодость мимолетна, как взмах ресниц. Роман оказался длинным, так что несколько последующих месяцев она вместе с Иоахимом и его веселым кузеном Гансом Касторпом разделяла общее для всех заточение. Она проникла в секреты, пересуды и отношения с обслуживающим персонажем «Берггофа», погрузилась в неподвижное, густое, как кисель, статичное время болезни, была свидетелем бесед кузенов с другими пациентами санатория и неким таинственным образом к ним присоединялась. Тот барьер, отделявший ее от персонажей, который стоит между настоящей реальностью и реальностью читаемого, не в один вечер поглощения ею романа плавился в ее сознании, как нагреваемый шоколад. Реальность книги была для нее подчас гораздо более правдивой и постигаемой, чем та, что окружала ее в закрытом городе. Более правдоподобной, чем кошмар тока высокого напряжения в оградах и газовых камер ее нынешней реальности, реальности Аушвица.

³ Цитата из «Волшебной горы» Томаса Манна (1924) в переводе Веры Станевич и Валентины Куреллы. Цитируется по изданию: Томас Манн. Волшебная гора. М.: АСТ, 2015.

Заметив, что Дита постоянно читает, одна из ее соседок по общей комнате в гетто, что постоянно сновала туда и сюда, не привлекая к себе ее внимания, решила-таки в один прекрасный вечер обратиться к ней с вопросом: приходилось ли ей слышать о «Республике ШКИД» и мальчишках из блока L417? ⁴ Конечно же, она о них слышала!

И вот тогда Дита закрыла книгу и прочистила уши. Любопытство уже проклюнулось в ней, как росток в фасолине, помещенной в стакан с водой, и она попросила Ханку взять ее с собой и познакомить с этими ребятами... «Прямо сейчас!» Ханка, девушка с примесью немецкой крови, попыталась сказать, что сегодня уже поздновато, что, может, лучше завтра, но Дита решительно пресекла все возражения и выпалила фразу, воспоминания о которой до сих пор вызывают на ее лице улыбку:

– Нет у нас завтра, все должно быть сегодня!

Обе девушки быстрым шагом направились к блоку L417, блоку для мальчиков, вход в который представителям другого пола был разрешен до семи вечера. Ханка притормозила перед входом в блок и, повернувшись лицом к Дите, с чрезвычайно серьезным видом предупредила соседку по спальному месту:

– Ты там с Людеком поосторожнее... Он очень красивый! Но ты даже не пытайся с ним заигрывать – я первая на него глаз положила.

Дита торжественным клятвенным жестом подняла правую руку, и обе они, пересмеиваясь, побежали вверх по лестнице. Поднявшись, Ханка тут же заговорила с одним высоким парнем, а Дита, толком не зная, что ей делать, подошла к мальчику, который рисовал планету Земля, вид из космоса.

– А что это за странные горы на переднем плане? – задала она вопрос совершенно незнакомому для себя человеку.

– Это Луна.

Петр Гинц был главным редактором «Ведема», подпольно издаваемого журнала, тексты которого писались на отдельных листочках. Каждую пятницу материалы номера зачитывались вслух: в основном это были новости гетто, но также к публикации принимались различные эссе и комментарии, стихи и фантастика. Петр был страстным поклонником Жюль Верна; «От Земли до Луны» была одной из его любимейших книг. Лежа по ночам на своей койке, он раздумывал о том, как было бы здорово иметь в своем распоряжении такую пушку, как у господина Барбикена, и отправиться в выпущенном с ее помощью гигантском снаряде в космос. Петр на минуту отодвинул рисунок, поднял голову и внимательно посмотрел на девочку, которая так бесцеремонно отвлекла его от работы. Ему понравился живой блеск ее глаз, но все же для обращения к ней он избрал самый суровый тон.

– Мне кажется, что ты очень любопытна.

Дита залилась краской, в чем мгновенно проявилась вся ее природная застенчивость. Она тут же пожалела, что не смогла удержать язык за зубами. Но Петр уже изменил тон.

– А любопытство – главное качество хорошего журналиста. Меня зовут Петр Гинц. Добро пожаловать в «Ведем»!

Дита задается вопросом, какие хроники писал бы Петр о жизни блока 31, если бы он был здесь. Она спрашивает себя, что стало с этим худеньким и тонко чувствующим мальчиком, который рассказывал ей о том, что когда-нибудь родители научат его говорить на эсперанто –

⁴ В приюте для мальчиков номер 1 блока L417 осенью 1942 года было организовано самоуправление по образцу легендарной Республики ШКИД. Ребята из еврейских семей создали собственный герб, гимн, начали активно участвовать в организации собственной жизни и по инициативе 14-летнего Петра Гинца, поддержанной участниками движения Сопротивления в Терезине, учителями школы при лагере, издавать журнал «Vedem». Он выходил по пятницам почти два года. Более 100 из 115 юношей «Республики ШКИД» погибли в Аушвице, однако чудом сохранившиеся страницы журнала доносят до нас потрясающую историю обстоятельств лагерного существования этих юношей, а также их стихи и рассказы (по данным сайта <http://czechtoday.eu/istoriya/terezinskoj-respublike-shkid-ispolnilos-70-let.html>).

языке, созданном специально для того, чтобы все мужчины и женщины планеты Земля смогли наконец понять друг друга. Слишком благородная идея, чтобы она могла воплотиться в жизнь.

На следующий же день после их знакомства Дита вместе с Петром уже шла вдоль зданий, называемых «Дрезденскими блоками». Когда он спросил ее, не хочет ли она сопровождать его при проведении интервью для следующего выпуска журнала, ей потребовалась секунда – или даже меньше, – чтобы согласиться. Они собрались взять интервью у директора библиотеки.

Глаза Диты, которая успела заразиться энтузиазмом и живым интересом ко всему вокруг от этого мальчика, были широко открыты. Работа журналиста казалась ей очень увлекательной, и она испытывала гордость от того, что вместе с решительно настроенным Петром Гинцем переступает порог блока L304 – здания, в котором размещалась библиотека. Там они осведомились, сможет ли директор, доктор Утитц, принять двух репортеров из журнала «Ведем». Встретившая их женщина любезно улыбнулась в ответ и попросила подождать.

Через несколько минут появился и сам Эмиль Утитц, служивший до войны профессором на факультете философии и психологии Пражского Карлова университета, а также являвшийся автором колонок в целом ряде газет.

Он сообщил им, что библиотека Терезина насчитывает около шестидесяти тысяч томов и что это – остатки фондов сотен различных еврейских публичных и частных библиотек, разграбленных и уничтоженных нацистами. А еще он сказал, что библиотека на данный момент не располагает читальным залом, и поэтому она является мобильной: библиотекари ходят с книгами по жилым корпусам и предлагают их для прочтения. Петр спросил директора, правда ли то, что он – друг Франца Кафки. Он это подтвердил.

Шеф-редактор «Ведема» поинтересовался, не будет ли им позволено сопровождать одного из библиотекарей при мобильной выдаче книг, чтобы со знанием дела описать эту работу в публикации, и Утитц с искренним удовольствием дал на это свое разрешение.

Дита не видела меланхоличную улыбку директора, которой сопровождался их уход – таких довольных и счастливых. Доктор Утитц не мог выкинуть из головы нахлынувшие воспоминания о разговорах в кафе «Лувр», сожалея обо всем том, о чем не спросил тогда Кафку, обо всем том, о чем писатель не сказал ему тогда и что уже навсегда потеряно. И думал о том, что написал бы задумчивый Кафка теперь, если бы дожил до этих дней и увидел, что творится вокруг. Утитц не мог тогда знать, что две сестры Кафки, Элли и Валли, погибнут позже в газовых камерах лагеря смерти Хелмно, да и их младшая сестра, Оттла, не избежит той же участи и будет отравлена газом «Циклон» в Аушвице-Биркенау.

На самом деле автор «Превращения» раньше, чем кто-либо иной, знал, что именно произойдет: что люди вдруг, с сегодня на завтра, превратятся в настоящих монстров.

Библиотека Терезина была похожа на бумажного спрута, щупальца которого тянулись из здания L304 и распространялись по всему городу, доставляя книги читателям. Томики путешествовали по улицам на тележках, с помощью которых имели возможность дойти до каждого обитателя жилых блоков. Так люди получали библиотечные книги.

Утром Петр работал в поле, а вечером же того дня у него уже было запланировано участие в чтении стихов, так что сопровождать библиотекаря, панну Ситтигову, в ее путешествии по улицам Терезина с удовольствием согласилась Дита. После целого рабочего дня, проведенного в мастерских, на фабриках, на литейных дворах или в поле, предложение сбежать в другую реальность, приезжавшее на тележке из библиотеки, принималось особенно благосклонно. Хотя панна Ситтигова пожаловалась Дите на то, что книги иногда воровали, причем не всегда для чтения, а для использования в гигиенических целях или в качестве растопки для печки. Так или иначе, в том или другом качестве, но книги демонстрировали свою крайнюю необходимость.

Библиотекаряю вовсе не требовалось повышать голос, объявляя о своем появлении словами «Библиотечное обслуживание!». И стар, и млад на разные лады повторяли слова, которые

веселым эхом расходились во все стороны, на их зов торопливо выходили из дверей люди и принимались листать томики. Дите так понравилось развозить книги по всему городу, что с этого дня она сама начала толкать библиотечную тележку. После окончания своего рабочего дня, если ей не нужно было идти на урок рисования, она помогала библиотекаряше.

И именно тогда она вновь встретила с Фреди Хиршем.

Он жил в одном из зданий, расположенных вблизи центрального склада одежды. Застать его дома было очень трудно, потому что он все время был в движении: ходил туда-сюда, организовывал спортивные конкурсы и соревнования либо другие детские мероприятия гетто. В тех случаях, когда он приближался к тележке Диты, подходя к ней своей легкой энергичной походкой, безукоризненно одетый, приветствуя ее улыбкой – едва намеченной, но достаточно явственной, чтобы адресат ощутил свою значимость, – он искал сборники стихов или песен, которые были ему нужны для проведения пятничных собраний юношей и девушек, встречающих Шабат. На этих собраниях обычно поются песни, рассказываются предания, а Фреди неизменно говорил о грядущем возвращении в Израиль, куда, как только закончится война, они все отправятся. Однажды Фреди пригласил к ним присоединиться и юную Диту, но она, покраснев от смущения, сказала, что да, когда-нибудь, но ей было не очень удобно туда пойти, да и получить разрешение от родителей она не надеялась. Тем не менее в глубине души ей всегда хотелось стать одной из этих чуть более старших, чем она сама, девушек и парней, которые громко пели, дискутировали как взрослые и даже украдкой целовались. А потом Фреди уходил – быстро и энергично, как человек, шагающий навстречу своей цели.

Дита осознает, что знает Альфреда Хирша явно недостаточно. А при этом именно он держит в своих руках ее жизнь. Если он, к примеру, доложит немецкой администрации лагеря: «Заключенная Эдита Адлерова прячет под одеждой запрещенные книги», то при первой же проверке ее задержат с поличным. Да, но если бы он стремился ее выдать... почему до сих пор не сделал этого? Кроме того, выдав ее, Хирш выдаст себя: разве весь 31-й блок – не его идея? Нет, она не понимает. Нужно собрать побольше сведений, но и быть предельно осторожной. Возможно, Хирш помогает узникам, и не приведи ей господь все это погубить...

Да, наверное, так и есть.

Ей так хочется доверять Хиршу... Но почему же тогда старший по блоку, в котором она проводит дни, боится, что что-то откроется и его возненавидят? Хирш не может быть предателем, говорит она себе. Это невозможно. Хирш – человек, который всегда противостоял нацистам, он больше всех презирает их, он больше других гордится своим еврейством, он рискует головой – во имя того, чтобы у детей была школа.

Но почему же тогда он нас обманывает?

9

Карантинный лагерь битком набит только что доставленными русскими солдатами. От их воинского достоинства мало что осталось: головы обриты, одеты в полосатые арестантские робы. Теперь это армия нищих. Они ждут, двигаясь по кругу или сидя на земле; беседующих мало, преобладает молчание. Некоторые смотрят за ограду и видят чешских женщин из семейного лагеря с их нетронутыми волосами, а также ребяташек, бегающих по *лагеритрассе*.

Руди Розенберг как регистратор карантинного лагеря очень занят – работает над списками вновь поступивших. Руди говорит по-русски, по-польски и немного по-немецки. Его лингвистические познания существенно облегчают жизнь сверяющим списки эсэсовцам, и Руди это знает. Этим утром он уже позаботился о том, чтобы в его карманах навсегда исчезли три-четыре карандаша, которые были в его распоряжении, и теперь он обращается к своему знакомому молоденькому капралу, еще более юному, чем сам Руди, с которым они время от времени перешучиваются, в основном, по поводу девушек, прибывающих с женскими этапами.

– Капрал Латтек, народу сегодня у нас – под самую завязку. С работой вам всегда везет как утопленнику! – К немцам он всегда обращается на «вы», даже если это восемнадцатилетний мальчишка.

– Верно, ты тоже это заметил, Розенберг? Всю работу делаю я. Как будто других капралов в зоне нет. Но наш проклятуший старший сержант маниакально выбирает меня. Этот гребаный провинциал из Баварии терпеть не может берлинцев. Поглядим, не выпадет ли мне наконец перевод на фронт.

– Капрал, прошу прощения за беспокойство, но у меня кончились все карандаши.

– Сейчас pošлю рядового в караулку.

– А чтоб зря не ходил, раз уж ему все равно туда идти, может, прикажете ему принести коробку?

Эсэсовец пристально смотрит на регистратора, а потом криво усмехается.

– Коробку, Розенберг? А за каким чертом тебе понадобилось столько карандашей?

Руди понимает, что капрал не так глуп. Тогда он в ответ тоже лукаво, по-свойски, улыбается.

– Ну, здесь сегодня писанины – как никогда. К тому же... Понятное дело, если у тебя есть лишний карандашик, то ведь ребятам из каптерки он тоже пригодится, у них свой учет ведется, а карандаши – товар в лагере дефицитный. Ты им карандашики – а они тебе при случае пару новых носков подкинут.

– Или жидовскую шлюшку!

– Тоже может быть.

– Понятно...

Пристальный взгляд эсэсовца не обещает ничего хорошего. Если он доложит об этой ситуации – Руди пропал. Нужно срочно выкарабкиваться.

– В общем, речь только о том, чтобы быть с людьми любезным. Тогда они тебе платят тем же. Со мной обычно так и происходит – мне вот тут любезно сигарет подарили.

– Сигарет?

– Случается, что в карманах пиджаков, что поступают в прачечную, остаются пачки сигарет... Иногда и пачка светлого табака попадется.

– Светлого?

– Светлого. – И Руди достает из кармана гимнастерки сигарету. – Вот такого.

– Ты прохвост, Розенберг. Прохвост и проныра. – Капрал улыбается.

– Такие сигареты не очень-то достанешь, но мне, быть может, удастся раздобыть для вас несколько штучек.

- Люблю светлый табак. – При этих словах в глазах капрала проблескивает жадность.
- У светлого табака совсем другой вкус, это верно. Не такой, как у темного.
- Не такой...
- Светлый табак – как белокурая женщина... Другое качество.
- Да...

На следующий день Розенберг идет на свидание с Алисой, а в кармане у него – две коробки карандашей. Ему придется кое-кому заплатить, чтобы заполучить сигареты для капрала, но это его не слишком беспокоит. Он знает, как это сделать. Направляясь к перегороденной границе между лагерями, он в который раз задается вопросом о семейном. Никогда нацисты не позволяли евреям жить семьями. Какой цели служат дети и старики в лагере рабского труда и смерти? Среди десятков лагерных зон зона ВПb – единственное исключение. Зачем нацисты ее вообще открыли? Эта загадка не дает покоя участникам Сопротивления. Руди спрашивает себя, не знает ли Фреди Хирш об этом несколько больше того, о чем говорит. Нет ли у него припрятанного в рукаве козыря? А почему нет? Разве не так ведут себя здесь все и каждый? Он ведь и сам не рассказывает Шмулевскому о своих неплохих отношениях с некоторыми эсэсовцами, тех самых отношениях, что позволяют ему осуществлять небольшой взаимовыгодный обмен кое-какими вещами. Это, скорее всего, не будет встречено с энтузиазмом Сопротивлением, но ему самому приносит пользу. Очевидно, что и сам Шмулевский, такой внешне суровый и сдержанный, тоже никогда не раскрывает все карты. Разве сам он не пользуется преимуществами помощника *капо*, немца по национальности, в своем бараке? На какие соглашения должен был пойти бывший герой Интернациональных бригад, чтобы заполучить это теплое местечко? А сколько еще карт скрыто под глинистым игорным столом Аушвица?

Руди бродит кругами за бараками, пока не замечает Алису, и подходит к ограде. Если охранник на сторожевой вышке окажется сволочным парнем, то в любой момент может прозвучать его свисток – приказ отойти. Алиса стоит по ту сторону колючей проволоки, всего в нескольких метрах. Руди целых два дня представлял себе это мгновение, и теперь, когда он видит ее, его сердце омывает волна радости, заставляющая позабыть обо всех проблемах.

– Садись на землю.

– Но мне и на ногах неплохо. Грязно очень!

– Ты должна сесть: охранник тогда будет знать, что мы всего лишь разговариваем, а не замыслиаем возле ограды что-то запрещенное.

Она садится, юбка при этом колоколом вздымается вверх, приоткрывая на секунду необыкновенные для этой грязищи белые трусики. Руди словно пронзает разряд тока.

– Ну, как дела? – спрашивает Алиса.

– Теперь, когда я тебя вижу, все прекрасно.

Алиса смущенно отворачивается и довольно улыбается.

– Я достал карандаши.

Она не выражает крайнего изумления, чем несколько разочаровывает Руди. Он ожидал, что карандаши произведут фурор, что она хотя бы скажет о своих эмоциях, а то и в обморок упадет. Девушка, кажется, понятия не имеет, что заниматься в лагере обменными операциями не так-то просто и что ради этих карандашей ему пришлось затеять рискованную игру с эсэсовцем.

Руди совсем не знает женщин. На самом деле Алиса поражена, но, чтобы увидеть это, нужно заглянуть ей в глаза. А мужчины всегда ждут, что им обо всем расскажут.

– А как ты переправишь их в наш лагерь? С кем-нибудь?

– В наше время доверять никому нельзя.

– И как же тогда?

– Сейчас увидишь.

Краем глаза Руди наблюдает за фигурой охранника на вышке. Вышка довольно далеко от них, и он может разглядеть только голову и небольшую часть туловища, но поскольку у охранника через плечо надета винтовка, он может понять, когда охранник повернут к ним передом, а когда – спиной: когда он лицом к ним, дуло винтовки, поднимаясь над его правым плечом, направлено внутрь лагерной территории. А когда он поворачивается спиной, винтовка тоже поворачивается и нацелена уже за территорию лагеря. Благодаря этому своеобразному компасу Руди может видеть, как охранник через небольшие промежутки времени неспешно разворачивается. Увидев, что дуло винтовки повернулось к лагерным воротам, Руди делает несколько решительных шагов к ограде. Алиса в ужасе прикрывает рот рукой.

– Иди сюда, быстро!

Он вынимает из кармана руку с двумя пучками карандашей, накрепко перевязанных веревочками, осторожно обхватывает их пальцами и просовывает на другую сторону сквозь ячейки проволочной ограды с пропущенным электрическим током. Алиса торопливо поднимает пучки с земли. Никогда раньше не приходилось ей так близко подходить к этой ограде с тысячами вольт напряжения. Оба они отходят на несколько метров, и как раз в этот момент Руди видит, как дуло винтовки, отмечающее для него перемещения охранника, начинает поворачиваться в их сторону: теперь они в поле его зрения.

– Почему ты мне заранее не сказал, что карандаши мы передадим через ограду? – говорит она с гулко колотящимся в груди сердцем. – Я бы хоть немного подготовилась!

– Есть такие вещи, к которым лучше не готовиться. Иногда лучше действовать импульсивно.

– Я передам карандаши пану Хиршу. Мы тебе очень-очень благодарны.

– Теперь нам нужно уходить...

– Да.

– Алиса...

– Что?

– Мне бы очень хотелось еще с тобой встретиться.

Она улыбается. И ее улыбка – гораздо лучше, чем слова.

– Завтра в это же время? – спрашивает он.

Она кивает и начинает отходить от ограды, двигаясь по направлению к главной улице своего лагеря. Руди в знак прощания поднимает руку. А она своими пухлыми губками посылает ему воздушный поцелуй, он летит поверх торчащих колючек ограды, и Руди ловит его в воздухе. Никогда раньше он не думал, что один простой жест может сделать его таким счастливым.

Кое у кого в это утро в голове целый лабиринт мыслей. Дита внимательно следит за каждым жестом, за каждой бровью, что поднимается, за каждой парой челюстей, которые сжимаются, – она наблюдает за всем происходящим вокруг нее с сосредоточенностью и страстью охотников за микробами из одноименной книги Поля де Крайфа, с которыми они льнули взглядом к окуляру микроскопа. Как заправский детектив отслеживает она хоть что-то необычное, что можно обнаружить в поведении людей. Она хочет знать правду – ту правду, о которой не скажут слова. И надеется, что по тому, как человек смотрит, как он медлит с ответом или глотает слюну, она сможет выявить тех, кому есть что скрывать. Недоверчивость – такая чесотка, которая начинается исподволь и потихоньку, но когда ты сам себе в ней признаешься, то уже не можешь прекратить чесаться.

Но жизнь тем не менее не останавливается, да и Дите вовсе не хочется, чтобы хоть одна живая душа заметила ее тревогу. Поэтому она с раннего утра уже в библиотеке – сидит на скамеечке, прислонившись к горизонтальной дымовой трубе. Книги она разложила на другой скамеечке, прямо перед собой, бросая вызов всему миру. Лихтенштерн прикомандировал к ней одного из ассистентов блока, чтобы он помогал следить за оборотом книг в конце каждого часа,

и теперь рядом с Дитой сидит мальчик-подросток с очень белой кожей, настолько молчаливый, что она еще ни разу не слышала его голоса.

Первым появляется молодой преподаватель – обычно он дает уроки мальчикам недалеко от выбранного ею для библиотеки места – и здоровается молчаливым кивком. Говорят, что он – коммунист. А еще он хорошо образован, знает даже английский. В надежде понять, можно ли ему доверять, Дита вглядывается в его лицо, изучает жесты, но так и не может ни к чему склониться. За его напускным безразличием сквозит ум – это да, этого не отнимешь. Он обводит взглядом книги и, остановившись на Герберте Уэллсе, кивает, словно одобряя. Потом переводит взгляд на книгу Фрейда и отрицательно качает головой. Дита внимательно изучает его лицо, как будто опасается того, что он может сказать. Наконец он погружается в недолгое раздумье.

– Знай Герберт Уэллс, что окажется по соседству с Зигмундом Фрейдом, он бы на тебя осерчал.

Дита смотрит на него широко открытыми, круглыми, как блюдца, глазами, лицо заливаясь легким румянцем.

– Я вас не совсем понимаю...

– Да ерунда, не бери в голову. Просто меня немного шокирует близкое соседство такого рационально мыслящего социалиста, как Уэллс, и такого продавца фантазий, как Фрейд.

– Фрейд пишет фантастические истории?

– Нет-нет, вовсе нет. Фрейд – австрийский психиатр, родом из Моравии, еврей. В общем, он был одним из тех, кто старается заглянуть внутрь головы человека.

– И что он там увидел?

– Судя по тому, что он пишет, много всего. Даже слишком. В своих книгах он утверждает, что мозг – это что-то вроде чердака, где гниют самые разные воспоминания и сводят человека с ума. Он изобрел свой собственный способ лечения душевных болезней: уложить пациента на кушетку и разговорить его, да так, чтобы он припомнил и пересказал все воспоминания, до самого последнего. Так доктор получает возможность проникнуть в его самые потаенные мысли. Этот метод Фрейд назвал психоанализом.

– А что было потом?

– Он стал знаменитым. Благодаря этому ему все-таки удалось уехать из Вены в 1938-м. Нацисты ворвались в его консультацию, всё там разгромили, забрали полторы тысячи долларов. Когда ему об этом рассказали, он заметил, что сам никогда не брал такую сумму за один визит. Фрейд был знаком со многими влиятельными людьми. Но даже при этом ему не давали уехать в Лондон вместе с женой и дочерью, пока он не подписал бумагу, в которой говорилось, как хорошо обращались с ним нацистские власти и как чудесна жизнь в Третьем Рейхе. Он, однако, попросил позволения сделать приписку в конце этого документа, чтобы текст не выглядел таким лаконичным, и написал: «Живо рекомендую гестапо всем и каждому». Нацисты остались очень довольны.

– Они ничего не понимают в еврейском юморе.

– Смех с точки зрения немцев – это когда щекочут пятки.

– А уже в Англии?

– Фрейд умер на следующий год, в 1939-м. Он был очень стар и очень болен. – Преподаватель берет в руки томик Фрейда и листает его. – Книги Фрейда – одни из первых, что сгорели в кострах по приказу Гитлера еще в 1933 году. Этот томик – просто квинтэссенция риска: книга не только подпольная, но еще и запрещенная.

Диту пробирает озноб, и она решает сменить тему.

– А кем был Герберт Уэллс?

– Свободно мыслящий человек, социалист. Но в первую очередь он был великим писателем. Слыхала о человеке-невидимке?

– Да...

– Ну так вот, роман о человеке-невидимке написал он. А еще – «Войну миров», в которой на Земле высаживаются марсиане. И «Остров доктора Моро», историю о чокнутом профессоре, который скрещивает человека с животными. Доктору Менгеле наверняка бы понравилось. Но, по моему мнению, лучший его роман – «Машина времени». Путешествия во времени – в прошлое и в будущее... – Сказав это, он задумался. – Можешь себе представить? Понимаешь, что могла бы означать возможность залезть в такую машину и отправиться обратно в 1924 год, чтобы не дать Адольфу Гитлеру выйти из тюрьмы на свободу?

– Но все это – машина времени то есть – это ведь выдумки, да?

– К несчастью, да. Романы привносят в нашу жизнь то, чего ей не хватает.

– Ну ладно, если вам так больше нравится, я могу поместить пана Фрейда и пана Уэллса на разные концы лавки.

– Нет, не нужно. Оставь их так, как есть. Может, каждый из них кое-чему поучится от другого.

И говорит он так серьезно, что Дита теряется в догадках: шутит ли этот молодой, но так похожий на седого мудреца преподаватель или нет?

Когда он поворачивается и возвращается к группе своих мальчиков, Дита решает, что этот человек – ходячая энциклопедия. Ассистент, сидящий рядом с ней, за все это время даже не пикнул. Только когда преподаватель отошел от них подальше, он говорит детским, тонким как флейта голосом (и тогда Дита понимает, почему он старается как можно меньше говорить), что этого человека зовут Ота Келлер и он коммунист. Она кивает.

После обеда к Дите поступил заказ на живую книгу – «Чудесное путешествие Нильса Хольгерсона». Пани Магда – внешне хрупкая женщина с белоснежными волосами, маленькая, как воробышек. Но когда она начинает рассказывать историю, то словно становится выше ростом, голос ее наливается неожиданной силой, а руки роскошно имитируют взмахи крыльев гусей, которые несут на себе Нильса Хольгерсона. И над этой воображаемой стаей мощных птиц поднимается кучка разновозрастных мальчишек: не отводя от рассказчицы глаз с расширившимися зрачками, они сопровождают гусиный клин, летящий по небу Швеции.

Почти все дети уже слышали эту историю, причем не один раз, но наибольшее удовольствие получают как раз те, кто лучше всех ее знает. Они узнают ее целыми кусками и даже начинают смеяться заранее, до того, как прозвучит шутка, – они и сами уже часть приключений. Даже Габриэль – этот кошмар и ужас для всех преподавателей блока 31, мальчишка, который обычно и минуты не может провести в покое, – сейчас застыл как статуя.

Нильс – капризный ребенок, без конца задирающий и обижающий домашних животных на скотном дворе. Однажды, когда родители отправились на службу в церковь и Нильс остался дома один, перед ним появился гном, которому надоело заносчивое и глупое поведение мальчика. И гном делает Нильса маленьким – ростом с себя, лесного жителя. И вот, чтобы снять заклятие и вернуть себе свой прежний вид, Нильс хватается за шею одного из домашних гусей их птичника, и оба они присоединяются к стае диких гусей, кочующих над всей Швецией. И по мере того как дерзкий насмешник Нильс, вцепившийся в шею добряка-гуся Мартина, начинает уметь и понимать, что мир гораздо шире, чем его собственное «я» и эгоистичное поведение, слушатели истории тоже поднимаются над жестокой действительностью, в которой эгоизм отнюдь не редок. То кто-то без очереди за супом влезет, то у соседа ложку утащит.

Когда Дита идет на поиски пани Магды, чтобы сообщить ей, что в такое-то время у нее очередное чтение «Нильса Хольгерсона», женщина порой начинает сомневаться.

– Но ведь все они прослушали эту сказку раз десять! И как только поймут, что я собираюсь рассказать им то же самое, они встанут с табуреток и уйдут!

Но никто никогда не уходит. Вне зависимости от того, сколько раз уже дети слышали сказку, она им неизменно нравится. Более того, они каждый раз хотят слушать ее с самого

начала. Иногда пани учительница, опасаясь им наскучить, пробует подсократить рассказ, опустив тот или иной эпизод, но тут же в зрительном зале слышатся протесты.

– Не так! Не так! – возражают дети.

И она вынуждена идти на попятный и рассказывать все, ничего не пропуская. И чем большее количество раз слушают дети эту историю, тем более своей она для них становится.

Сказка рассказана, в соседних группах тоже заканчиваются занятия: игры в «угадалки» или самые скромные уроки рукоделия, какие только можно себе позволить при практическом отсутствии материалов. Группа девочек мастерила кукол-марионеток из старых носков и щепочек. После вечерней поверки, проведенной заместителем директора, дети покидают блок номер 31, расходясь по баракам, к своим родителям.

Ассистенты торопятся завершить свою работу. То, как они водят по земляному полу вересковыми метлами, скорее, ритуал или же способ оправдать свое присутствие в детском блоке, чем насущная необходимость. Так же быстро расставляются по местам табуреты и вычищаются от воображаемых остатков еды миски: никто в них ничего не оставляет и всё, до последней капельки, вылизывается языком. Крошка – это настоящее сокровище. Ассистенты покидают барак по мере того, как заканчивают уборку, и вскоре полная и оглушительная тишина и спокойствие воцаряются в блоке 31, в котором целый день кипел котел уроков, песенок и внушений самым озорным и непоседливым.

Учителя садятся на расставленные кружком табуретки и обсуждают события прошедшего дня. Дита остается в уголке за пирамидой поленьев, как она частенько делает, чтобы немного почитать, – ведь из блока 31 книги выносить нельзя. Официально книг в Аушвице нет. На глаза Диты попадает прислоненная к стене в углу палка со сплетенной из веревки небольшой сеткой на конце. Похоже на примитивный сачок для ловли бабочек, хотя веревочки так плохо связаны, что при попытке поймать этим устройством бабочку она непременно улетит через какую-нибудь дыру. Дита ломает голову, кто же мог сделать для себя такое бесполезное приспособление. В Аушвице нет бабочек. Еще чего захотела – бабочек!

Вдруг она замечает, что в щелку между досками стены что-то вставлено, вынимает это что-то и видит в своей руке малюсенький карандашик, один лишь черноносый заточенный кончик. Но карандаш есть карандаш – могущественный инструмент. Дита поднимает с пола смятую бумажную птичку профессора Моргенштерна и бережно ее разглаживает. Теперь у нее есть лист бумаги для рисования. Он, конечно, помятый, наполовину исчерканный, но это все-таки лист бумаги. А она так давно не рисовала... С самого Терезина.

Тамошний учитель рисования – очень добрый и вежливый, который давал уроки ребятам из гетто, не раз говорил, что рисовать – один из способов уйти, отправиться далеко-далеко. Он был таким образованным и таким темпераментным, что она ни разу не решилась ему возразить. Но ее саму рисование ни в какие дали не уносило и в вагон чужих жизней, как книги, не заводило, скорее наоборот. Рисование катапультировало ее внутрь самой себя. Художество оказывалось для нее не способом уйти, а способом войти внутрь. Именно поэтому ее картины, созданные в Терезине, были мрачными, резкими, с темными, набрякшими мокрой золой тучами, словно она уже тогда чувствовала, что именно такие, внутренние для нее небеса станут единственным небом, которое увидят ее глаза в Аушвице – небом, затянутым пепельными тучами. Рисовать – это был способ поговорить с самой собой в те нередкие вечера, когда она сникала под тяжестью отчаяния юности, которая, не успев начаться, уже закончилась.

На мятом листочке она рисует внутренность барака: архипелаги табуреток, кирпичный дымоход, протянувшийся каменной стрелой вдоль всего барака, и две скамейки: одна для нее, другая – для ее книг. Весь ее мир.

Отделаться от доносившегося до нее гула учительских голосов, особенно громких этим вечером, она не могла. Пани Лишайка звучно жаловалась на то, что абсолютно невозможно давать детям уроки географии, разъяряя различия между средиземноморским и континен-

тальным климатом, когда слышны крики, приказы и плач вновь доставленных в лагерь людей, проходящих в нескольких метрах от барака по пути в душевые или к смерти.

– Приходят эти поезда, но мы должны притворяться, что ничего не слышим, должны продолжать урок; дети вытягивают шеи, перешептываются, а мы – как будто бы и ничего не слышим, и ничего не знаем... Неужели не лучше будет играть в открытую, поговорить с детьми о концлагере, рассказать им, что здесь происходит? Тем более что они, скорее всего, и сами уже обо всем прекрасно знают.

Фреди Хирша среди них нет, по вечерам он обычно закрывается в своей каморке работать и все меньше принимает участие в общественной жизни. Там, в этом убежище, и находит его Дита, когда каждый вечер идет убирать книги в тайник. И каждый раз он погружен в работу: читает и пишет какие-то бумаги. Однажды он сказал ей, что работает над отчетом, который пойдет в Берлин, что там очень заинтересованы в результатах эксперимента, проводимого в блоке 31. Неужто в этих документах и сокрыта та тень, старательно оберегаемая Хиршем от окружающих? В отсутствие Фреди негибкую твердость по отношению к воинственно настроенной пани Кризковой проявляет Мириам Эдельштейн, напоминая ей о правилах, введенных администрацией.

– Неужто ты думаешь, что дети ничего не замечают, что они спокойны? – вступает в разговор другая учительница.

– Тем более, – отвечает Мириам Эдельштейн. – Какой смысл втягивать во все это детей? Зачем сыпать соль на рану? У нашей школы есть и еще одна миссия, помимо чисто образовательной: создать для них подобие нормальности, не дать им впасть в отчаяние, показать, что жизнь продолжается.

– Как долго? – звучит чей-то вопрос, и беседа оживляется. Слышатся доводы и пессимистов, и оптимистов, и самые разнообразные предположения и объяснения содержания загадочных татуировок на ручках детей, прибывших в лагерь с сентябрьским транспортом, предписывающих особое обращение по истечении шести месяцев. Это уже не диалог, а гвалт.

Дита, единственная из юных ассистентов, которым разрешается оставаться в бараке в это время, чувствует себя несколько неудобно, оказавшись свидетелем перепалки взрослых. Слово «смерть» звучит для ее ушей как нечто одновременно неприличное и греховное, нечто такое, что девочке слышать не пристало. Поэтому она уходит. Сегодня она вообще не видела Фреди Хирша. Наверное, он занят какими-то очень важными делами. Ему нужно подготовиться к запланированному визиту очень высокопоставленных военных чинов. Ключ от комнаты старшего по блоку у Мириам Эдельштейн, и она открывает Дите, чтобы та могла убрать книги на ночь в тайник. Секунду они смотрят друг другу в глаза. Девочка пытается разглядеть в лице заместителя директора некие признаки предательства или фальши, но уже не знает, на что смотреть и что думать. Все, что она видит на лице пани Эдельштейн, – бесконечная и бездонная печаль.

Задумавшись, Дита выходит из блока 31. Взвешивает за и против – не стоит ли поговорить обо всем с отцом, ведь он очень разумный человек. Вдруг вспоминает, что ей еще нужно остерегаться доктора Менгеле, и пару раз быстро оглядывается по сторонам, стараясь удостовериться в том, что никто за ней не идет. Стоило ветру улечься, как пошел снег, и *лагерштрассе* почти пуста: немногие заключенные торопливо идут к своим баракам, надеясь чуть-чуть согреться. Ни следа эсэсовцев не видно. Вместо них в одном из переулков – пространстве между двумя соседними бараками – она замечает кого-то, кто прыгает, бросая вызов морозу в расползающемся по швам пиджаке и повязанном на шее вместо шарфа платочке. Дита приглядывается: белая борода, всклокоченная шевелюра, круглые очки... Профессор Моргенштерн.

Он энергично машет – то вверх, то вниз – палкой, на конце которой видна сетка, и Дита понимает, что это – тот самый самодельный сачок для ловли бабочек, который она видела в

блоке 31. Теперь она знает, чей это сачок. Она несколько секунд не двигается, стараясь понять, что такое делает профессор, размахивая в воздухе этим приспособлением, пока до нее не доходит. Если бы не увидела своими глазами, ей ни за что не пришло бы в голову, что профессор Моргенштерн будет ловить сачком снежинки.

Он замечает Диту, которая от изумления застыла на месте, и дружески приветствует ее взмахом руки. И тут же возвращается к увлекательной ловле снежных бабочек. Стараясь подпрыгнуть и поймать особенно крупный комочек снега, он едва не поскальзывается и чуть-чуть не падает, но в конце концов ему удается поймать это снежное чудо, и профессор кладет его себе на ладонь и смотрит, как снег тает. Седая борода старого профессора сверкает льдинками, и Дите кажется, что издалека ей видна играющая на его лице счастливая улыбка.

10

Когда по вечерам Дита заходит в комнату Фреди Хирша с тем, чтобы уложить книги в тайник, она старается и уйти оттуда побыстрее, и взглядом с ним не встретиться. Не хочет увидеть в его глазах нечто, что разрушит ту хрупкую башню из тоненьких палочек, что зовется доверием. Она предпочитает верить в него безоглядно, верить с закрытыми глазами, как обыкновенно и происходит с самым святым для человека. Но Дита – упрямец и, как бы ни старалась, едкому щелоку веры не удастся вытравить из ее памяти сцену, свидетелем которой ей привелось однажды стать в блоке 31. И точно так же, как Нильс Хольгерсон ухватился за гусиную шею, отправляясь в далекое путешествие, она хватается за книги барачной библиотеки, чтобы те вытащили ее из топкого болота сомнений.

Любопытство, разбуженное учителем Ота Келлером, привело к тому, что теперь по вечерам, когда уроки уже закончены и ученики заняты или играми, или отгадыванием загадок, или рисованием невест откуда взявшимися карандашами, или театральной постановкой, Дита устраивается в своем уголке за дровами и читает Герберта Уэллса. Она бы предпочла, чтобы в их библиотеке был хотя бы один из тех замечательных романов, о которых говорил ей учитель, но и «Очерки истории цивилизации» – самая востребованная книга в ее библиотеке, потому что больше всего походит на школьный учебник. И правда, погружение в эти страницы как будто возвращает Диту в Прагу, в ее школу, и, подняв от страницы глаза, она ожидала бы увидеть перед собой темно-зеленую школьную доску и учительницу с перепачканными мелом руками.

История нашей цивилизации до сих пор известна нам недостаточно. Приблизительно двести лет назад люди едва ли имели сведения о последних трех тысячелетиях своей истории. То же, что имело место раньше, было предметом либо мифов, либо измышлений.

Уэллс скорее романист, чем историк. В своей книге он говорит о формировании Земли, используя довольно экстравагантные теории о происхождении Луны, популярные у ученых в начале XX века, а потом ведет своего читателя через геологические эпохи: азойскую, когда появились первые водоросли; палеозойскую, с шаловливыми трилобитами; каменноугольный период, когда поднимаются целые леса гигантских древовидных папоротников; пермский период, когда появились первые рептилии.

Измученная Дита проходит по беспокойной планете, сотрясаемой извержениями вулканов и последующими резкими изменениями климата, многочисленными перепадами от периодов жары и засухи до чрезвычайно холодных ледниковых. Ее внимание властно притянула к себе эпоха динозавров – необыкновенных размеров рептилий, которые в ту пору завладели всей планетой.

Этими различиями между миром рептилий и миром наших человеческих реакций и поведения не стоит пренебрегать. Мы не находим в самих себе ни той непосредственности и примитивизма инстинктивного поведения рептилий, ни их appetites, страхов и фобий. Мы не можем понять рептилий в их простоте по той причине, что наши собственные мотивации сложны; мы обдумываем и взвешиваем свои поступки, не ограничиваясь непосредственно возникающей реакцией.

Дита задается вопросом, что сказал бы Герберт Джордж Уэллс, если бы мог увидеть место, где они живут. Удалось бы ему различить здесь рептилий и людей?

Книга сопровождает ее в эти более чем беспокойные вечера в блоке 31, и с ней, как с пропуском в руке, Дита бродит по подземным лабиринтам величественных египетских пирамид, проходит через Вавилон с его висячими садами и через Ассирию в эпоху великих битв. Подробная карта владений персидского царя Дария I являет ей невообразимых размеров территорию, бо́льшую, чем любая из ныне существующих империй. Она замечает, что то, что пишет автор в главе «Священники и пророки Иудеи», не совпадает с теми рассказами, которые слышала она в детстве по поводу священной истории, и это ее несколько смущает.

По этой причине Дита предпочитает вернуться к страницам, посвященным Древнему Египту, которые переносят ее в мир фараонов с загадочными именами, позволяют подняться на палубу кораблей, плывущих по водам Нила. В конце концов, Г. Дж. Уэллс оказался прав в том, что машина времени на самом деле существует: машина времени – это книги.

В конце дня, до вечерней поверки, она обязана вернуть книги в библиотеку. После нескончаемой полуторачасовой пытки, во время которой в бараке сверяются списки, Дита, довольная ее завершением, выходит на улицу, направляясь на уроки, которые дает ей папа. Сегодня очередь географии.

Проходя мимо барака 14, она замечает возле его боковой стены сидящую Маргит, а рядом с ней – Рене. Судя по всему, у них только что закончилась поверка – гораздо более тяжелая, потому что на улице. Дита замечает их нахмуренные лица и подходит поздороваться.

– Что такое, девочки? Что-то случилось? Вы же здесь в ледышки превратитесь!

Маргит поворачивается лицом к Рене, которой, по-видимому, есть что рассказать. Рыже-волосая девушка поднимает со лба прядь волос, подносит ее ко рту и нервно прикусывает. Потом вздыхает, изо рта у нее вырывается облачко пара, рассеивающееся над головой.

– Этот нацист... он меня преследует.

– Он сделал тебе что-то плохое?

– Нет, пока нет. Но сегодня утром он опять подошел и встал прямо передо мной. Я знала, что это он, и не хотела поднимать голову. Но он не уходил. И наконец тронул меня за руку.

– А ты что?

– Я понимала, что если подниму голову и посмотрю на него, то мне уже никуда не деться. Поэтому я, не переставая копать, бросила лопату земли под ноги своей соседке, ну она и завопила как резаная. В общем, получился скандал, на крики сбежались другие патрульные. Он, ни слова не сказав, отошел назад. Но я знаю, что он приходил ко мне... Я не придумываю, Маргит его вчера видела.

– Да, правда. Вчера после поверки. Мы стояли вдвоем, разговаривали, перед тем как разойтись по баракам – проведать родителей. А он прошел мимо – буквально в двух шагах. И смотрел на Рене, это точно.

– И как он смотрел – со злостью? – поинтересовалась Дита.

– Нет. Но очень пристально. Как сказать... Таким грязным взглядом, каким смотрят мужчины.

– Грязным?

– Думаю, что он хочет Рене.

– Ты что, Маргит, с ума сошла?

– Я знаю, о чем говорю. Такое желание у мужчин по глазам видно, и рот у них приоткрывается, как будто они тебя голой видят. Козлы эдакие.

– Я боюсь... – шепчет Рене.

Дита обнимает ее и говорит, что они все боятся. И что они с Маргит будут рядом с ней, насколько это возможно.

Глаза у Рене явно на мокром месте, и она дрожит – то ли от холода, то ли от страха. У Маргит тоже такое лицо, что вот-вот либо заплачет, либо чихнет. Дита подбирает с земли щепочку и энергично начинает чертить на белом снегу квадраты.

– Что это ты делаешь? – в один голос спрашивают подруги.

– Классики рисую.

– Дитинка, помилуй! Нам же по шестнадцать! Мы не играем в классики, это только для маленьких.

Дита, не обращая на них внимания, словно не слыша, продолжает тщательно вычерчивать игровое поле. Закончив, поднимает на них глаза и встречается с вопросительным взглядом девушек.

– Да все уже по баракам разошлись, нас никто не увидит!

Рене и Маргит хмурят брови и отрицательно качают головой, пока Дита оглядывается по сторонам, ища подходящий предмет.

– Ладно, и щепка сойдет, – говорит она. И кидает ее в один из квадратов.

Дита прыгает в него, но чуть не падает.

– Какая же ты неуклюжая! – смеется Рене.

– Может, у тебя лучше получится, на снегу-то? – подначивает ее Дита, притворяясь обиженной.

Рене немного поддергивает вверх рукава и бросает щепку, готовясь точно приземлиться в нужный квадрат под громкие аплодисменты Маргит. Сама Маргит прыгает следующей. И оказывается самой неловкой – прыгая на одной ножке, неудачно приземляется и шумно падает в снег. А когда Дита хочет помочь ей подняться, то сама поскользывается на припорошенном снегом ледке и падает на спину.

Рене хохочет над обеими. Сидя на земле, Маргит и Дита лепят снежки, и сразу два летят в голову Рене, осыпав ее волосы белым.

И все втроем смеются.

Наконец-то смеются.

Дита, промокшая, но довольная, насколько может быстро убегает, потому что сегодня среда, а по средам у нее урок географии. По понедельникам у нее – математика, а по пятницам – латинский. Преподаватель – пан Адлер, ее отец. А тетрадь для записей – ее собственная голова.

Она все еще помнит тот день, когда впервые переступила порог их квартиры в квартале Йозефов, и отец, у которого теперь уже не было кабинета, сидел за единственным столом в доме, за тем, что стоял в столовой-гостиной, и вертел пальцем свой глобус. Дита вошла в комнату со школьным портфелем в руках и, как делала каждый вечер, подошла к отцу, чтобы он ее поцеловал. Иногда он усаживал ее на колени, и они играли в такую игру: один загадывал название какой-нибудь страны, а другой сильно раскручивал вокруг металлической оси земной шар, а потом должен был мгновенно его остановить, попав пальцем в загаданную страну. В тот день он был каким-то рассеянным. Он сказал ей, что из школы пришло известие: каникулы. Слово «каникулы» всегда звучит музыкой в ушах детей. Но тон, которым папа сообщил ей эту новость, а также внезапность наступления этих неуместных каникул способствовали тому, что музыка на этот раз прозвучала фальшиво. Она помнит, что от первоначальной радости быстро соскользнула к гнетущей тоске, как только стало понятно, что школа для нее закончилась навсегда. И вот тогда отец посадил ее к себе на колени.

– Ты будешь учиться дома. Твой дядя Эмиль, фармацевт, будет преподавать тебе химию, а твоя кузина Руфь будет учить тебя рисованию. Я с ними договорюсь, обещаю. А сам я буду давать тебе уроки математики и языков.

– А географии?

– Естественно. Ты еще устанешь по миру путешествовать!

Так все и было.

Это были их последние месяцы и недели в Праге – до депортации в Терезин в 1942 году. И, глядя из пропасти Аушвица, это было совсем не плохое время. Раньше папа работал так

много, что у него практически не было времени для дочки. Поэтому Дите даже понравилось, что он стал ее преподавателем и рассказывал ей о том, что самой высокой горой на свете является Эверест и что подземные источники пустыни образуют оазисы.

Уроки проходили по вечерам. По утрам отец в обычное время вставал, брился, надевал костюм, то есть повторял свой ритуал, особенно тщательно завязывая двойным узлом галстук. И прежде чем выйти из дома, направляясь на работу в бюро социального страхования, отец, вкусно пахнущий лосьоном после бритья, целовал свою дочку и ее маму.

Это случилось тем утром, когда Дита отправилась на прогулку и дошла до самого центра. Совершенно случайно она проходила мимо кафе «Континенталь» и через окно увидела внутри заведения своего отца. Потратив несколько часов на разглядывание витрин магазинов, в которые ей было запрещено заходить, она вновь оказалась возле «Континенталья» и вновь заметила внутри кафетерия своего отца. Он сидел все за тем же круглым столиком, перед той же пустой чашкой и с той же газетой перед глазами. И тогда ей стали понятны тихие, шепотом, разговоры родителей, которые немедленно прекращались при ее приближении. Отец ее уже давно был уволен, но не хотел, чтобы дочка об этом знала.

Она незаметно ушла оттуда и никогда не говорила папе о том, что ей известно, что вся его работа заключается в том, чтобы дойти до улицы Грабен и пить чай в кафе «Континенталь» – на протяжении всего утра, стараясь первым завладеть газетой из деревянной газетницы с представленным на ней штампом заведения, одного из последних в городе, хозяин которого, очень влиятельный еврей, все еще сохранял лицензию.

По дороге к бараку отца Дита пару раз оглядывается, проверяя, не идет ли за ней по пятам доктор Менгеле. Хотя в настоящий момент ее гораздо больше беспокоит другое: как ей следует вести себя по отношению к директору блока 31.

Отец ждет ее у боковой стены своего барака, как и каждый понедельник, среду и пятницу, если нет дождя. Там он расстилает дряхлое, в дырках, клетчатое одеяло – расстилает очень аккуратно, чтобы можно было сесть вдвоем. Такая теперь у нее школа. Ко времени ее прихода у отца на слякотной земле уже нарисована карта обоих полушарий. Когда Дита была маленькой, папа, чтобы она лучше запоминала разные места, говорил ей, что скандинавский полуостров – это голова гигантской змеи, а Италия – это сапог очень элегантной синьоры. Мир, нарисованный в грязи Аушвица, узнается плоховато.

– Сегодня, Эдита, мы будем знакомиться с морями нашей планеты.

Сосредоточиться на уроке Дита не может. Она думает о том, как обрадовался бы ее отец географическому атласу из библиотеки блока 31, но выносить книги из барака запрещено, а имея в виду угрозу Менгеле не спускать с нее глаз, ей и думать об этом нельзя. В этот вечер она слишком рассеянна, чтобы следить за объяснениями, к тому же на улице морозит и пошел снег.

Поэтому она только рада приходу мамы, которая появляется до конца урока.

– Слишком холодно. Заканчивайте на сегодня, а не то простудитесь.

Здесь, в лагере, где нет ни пенициллина, ни одеял, ни нужной пищи, простуда убивает.

Они встают, и отец закутывает Диту в одеяло, хотя дрожит не она, а он.

– Пошли по баракам, скоро дадут ужин.

– Называть ужином кусок черствого хлеба – чересчур оптимистично, мама.

– Это война, Эдита...

– Ну да, я уже знаю. Это война.

Мама не ответила, и Дита воспользовалась возникшей паузой, чтобы разузнать хоть что-нибудь окольными путями о том, что ее действительно волнует.

– Папа... вот если тебе здесь, в лагере, нужно было бы поделиться с кем-то своим секретом, кому бы ты полностью доверился?

– Тебе и твоей маме.

– Ну да, это и так понятно. Я имею в виду других людей.

– Пани Турновская – очень достойная женщина, можешь на нее рассчитывать, – вступает в разговор мама.

– Не сомневаюсь, что можно рассчитывать на то, что если ей что расскажешь, то очень скоро об этом будут знать даже в *коммандо* по уборке нужников. Эта женщина – просто радио какое-то, – отвечает папа.

– Я тоже так думаю, папа.

– Самый настоящий человек, которого мне привелось здесь узнать, это пан Томашек. Как раз недавно подходил к нам поздороваться. Он тот, кто беспокоится не только о том, чтобы первым встать в очередь за супом: ему интересны люди, он подбадривает, интересуется другими и их делами. Таких здесь совсем немного.

– То есть, если бы ты попросил его искренне о ком-то высказаться, то ему бы ты поверил?

– Конечно. А почему ты спрашиваешь?

– Да так, ничего особенного. Глупости всякие...

Дита берет слова отца на заметку. Нужно будет пойти поговорить с паном Томашеком – что он ей, интересно, скажет.

– Твоя бабушка, Дита, все время утверждала, – замечает мама, – что если кто и говорит правду, так это дети и безумцы.

Дети и безумцы... Дети могут знать о Хирше или самую малость, или ничего. И тут внезапно ее озаряет. Моргенштерн... Она не может подойти к первому попавшемуся взрослому с разговором о своих сомнениях в таком уважаемом человеке, как Хирш: ее либо выбранят, либо ославят на весь свет как предательницу или кто знает, в чем еще обвинят. А с Моргенштерном такой опасности нет. Если старикан и будет рассказывать о том, с чем она к нему обратилась, то она скажет, что ничего этого не было, что он в очередной раз бредит. Но вот знает ли он о Хирше хоть что-нибудь? Она думает, что стоит проверить.

Дита расстается с родителями под тем предлогом, что ей нужно увидеться с Маргит. Она знает, что старый архитектор обычно до самой раздачи супа сидит в блоке 31, частенько в том самом закутке за дровами, куда по вечерам забирается и она, чтобы листать книгу, прорезая себе в проволочной ограде с колючей проволокой окна в мир свободы.

Простые ассистенты не имеют права оставаться в бараке после занятий, но Дита – библиотекарь, у нее другой статус. Возможно, именно по этой причине другие парни и девушки косо на нее поглядывают, и ей не удалось подружиться ни с кем из сверстников. Впрочем, ее это не слишком беспокоит. В ее голове, как в бурлящем котле, и так много чего варится. И сердцу ой как неспокойно с тех пор, как в нем, словно раковая опухоль, поселилось сомнение, и она не знает теперь, кто он, Фреди – князь или грязь.

В бараке собрались в кружок преподаватели, они беседуют и не обращают на нее ни малейшего внимания. Она идет в дальний конец и заглядывает в закуток за дровами. Профессор Моргенштерн в очередной раз складывает из сильно потрепанного листка самолетик. Раздобыть листок исписанной бумаги – дело нелегкое: это очень желанный и востребованный материал – для разных целей, в том числе и применяемый вместо туалетной бумаги.

– Добрый день, профессор.

– А-а-а, панночка библиотекаря! Очень, очень рад!

Он встает и раскланивается.

– Могу ли быть чем-либо полезен?

– Да нет, ничего такого. Я тут просто гуляла...

– Очень правильно. Получасовая ежедневная прогулка на десять лет удлиняет жизнь. Один мой кузен, который гулял по три часа каждый день, прожил до ста сорока лет. И умер только потому, что однажды на прогулке оступился и упал в пропасть.

– Жаль, что в таком ужасном месте не очень-то погуляешь.

– Что ж, для того, чтобы размять ноги, годится и оно. Ноги ведь ничего не видят.

- Профессор Моргенштерн... А давно вы знаете пана Хирша?
- Мы познакомились в поезде, когда ехали сюда. Было это...
- В сентябре.
- Совершенно верно!
- И какое у вас о нем сложилось мнение?
- Как о достойном молодом человеке.
- И больше ничего?
- А вы полагаете, что этого мало? В нынешние времена не так-то легко встретить человека таких высоких достоинств. Воспитанность нынче не в ходу.
- Диту терзают сомнения, но не так часто выпадает случай поговорить с кем-то по душам.
- Профессор... А смогли бы вы утверждать, что Хирш что-то скрывает?
- Да, без малейшей доли сомнения.
- Что?
- Книги.
- Черт возьми! Это я прекрасно знаю!
- Ну-ну, панна Адлерова, не гневайтесь. Вы задали вопрос, я на него ответил.
- Да, конечно. Извините меня. На самом деле я хотела задать другой вопрос, который должен остаться между нами: думаете ли вы, что мы можем ему доверять?
- Вы задаете странные вопросы.
- Верно. Забудьте о них.
- Я не совсем понял, как понимать «можно ли ему доверять». Речь идет о компетенции Хирша как директора блока?
- Нет, не совсем. Я хотела спросить, думаете ли вы, что он в действительности тот человек, каким кажется.
- Профессор секунду раздумывает.
- Нет, не думаю.
- Он не такой, каким кажется?
- Нет, не такой. И я не такой, и вы тоже. Никто. Бог затем и сделал наши мысли беззвучными, чтобы только мы сами могли их слышать. Никто не должен знать, что мы думаем на самом деле. Каждый раз, когда я, например, говорю то, что думаю, люди на меня обижаются...
- Угу...
- Полагаю, что вы хотели спросить меня вот о чем: кому вообще можно доверять и довериться в такой дыре, как Аушвиц...
- Да, именно так!
- Что касается лично меня, то вынужден признаться, что довериться, именно что довериться, я могу только своему самому лучшему другу.
- Очень хорошо. И кто ваш лучший друг?
- Я сам. Я для себя – самый лучший друг.
- Дита не отрывает глаз от старика профессора, который сосредоточенно продолжает разглаживать сгибы бумажного самолетика. Она сдается. Больше ничего из этого человека выжать ей не удастся.

«Похоже, я схожу с ума», – думает она про себя.

Дита возвращается в свой барак – там все спокойно. Вот уже два дня доктор Менгеле на ее горизонте не появляется. И это хорошо. Но полностью доверять этому спокойствию она не может – у Менгеле везде есть глаза и уши. Устроившись спать на койке и стараясь не соскользнуть к центру гравитации – изгибу, очерченному мощной филейной частью соседки по матрасу, Дита думает, что можно было бы поговорить о Хирше с заместителем директора блока Мириам Эдельштейн. С другой стороны, а что, если и Мириам Эдельштейн замешана в том же, что и Хирш? Но ее муж Якуб был председателем Еврейского совета гетто в Терезине; более

того, нацисты почему-то отделили его от других чешских узников. Мириам очень тревожится, по ней это видно, а когда рядом с ней нет сына, она прикрывает глаза рукой. Не может она быть на стороне нацистов. Не превращается ли Дита в параноика?

С другой стороны, быть может, есть что-то кроме деления на нацистов и узников, возможно, есть и другие группы, а от нее эти оттенки ускользают. Она попробует поговорить с паном Томашеком. Все очень размыто, непонятно, но, когда Дита закрывает глаза, перед ними встает картинка, которую она навсегда сохранит в памяти как самый примечательный образ Аушвица: Маргит и она сама поскальзываются и падают на снег, прыгая в классики, Рене не отводит от них глаз, а потом все втроем начинают хохотать. И пока они хохочут – еще не все потеряно.

11

В конце октября 1944 года делегация во главе с Адольфом Эйхманом, оберштурмбанн-фюрером, руководителем департамента по еврейскому вопросу гестапо в 1941–1945 годах, и Дитером Нойхаусом, руководителем отдела по внешним связям немецкого отделения Красного Креста, посетила Аушвиц-Биркенау. В задачи делегации входило получение лично от исполнителя, *блокэльтестера* блока 31, доклада о функционировании этого экспериментального блока – единственного в Аушвице, в котором содержались дети.

Хирш дал Лихтенштерну четкие инструкции: все в блоке, как взрослые, так и дети, должны построиться и быть в полной готовности к инспекции. Старший по блоку 31 всегда с особой тщательностью относился к гигиене. Каждый день дети встают в семь утра и в сопровождении ассистентов организованно отправляются в душ. Там они моются под тоненькой струйкой воды, такой холодной, что она не столько оmyвает, сколько обжигает кожу. Температура воздуха в январе опускается до 25 градусов, в иные дни водопровод вообще замерзает. Но Хирш упорствует: чистота и личная гигиена превыше всего, даже если ребят от холода бьет дрожь. Полотенец у них мало, так что каждое приходится на двадцать-тридцать человек. Из душа все идет на поверку.

Когда утром появляется Хирш, тщательно причесанный и выбритый, все уже построены. По его более суровой, чем обычно выправке – командует резко, строго – чувствуется, что он напряжен. Снаружи время от времени доносятся свистки и грохочут по установленному вдоль барака дощатому настилу сапоги палачей. Вскоре появляются эсэсовцы, выстраиваются двумя шеренгами, а между ними движется группа офицеров, разукрашенных нашивками и знаками отличия.

Фреди Хирш проходит сквозь ряды узников и отдает честь, браво щелкая каблуками ботинок, далеко не таких практичных, зато гораздо более элегантных, чем обычные деревянные сабо. Испросив разрешения, он докладывает, что в блоке 31 дети проводят день и что таким образом они не препятствуют нормальному функционированию лагеря и их родители могут всецело посвятить себя работе в различных мастерских. Хирш гораздо лучше объясняется на своем родном языке; с чешским у него далеко не так хорошо.

Свиту возглавляют майор Рудольф Хёсс и Эйхман. Кроме этих двоих в нее входят еще несколько высших чинов СС, среди последних можно узнать Шварцгубера, коменданта лагеря Аушвиц-Биркенау. Позади них, на некотором отдалении, держится доктор Менгеле. Его воинское звание – капитан – ниже, чем у возглавляющих комиссию майоров и подполковников, и можно подумать, что это отдаление вызвано желанием подчеркнуть уважение к иерархии. Но Дита уже окинула его взглядом и почти уверена, что на лице у него написано такое безразличие, что любой сделает вывод, что ему просто скучно. Так оно и есть: Менгеле испытывает отвращение к этому параду высших чинов, которые решили провести утро в лагере, как обычно решают провести время на поле для гольфа.

Внезапно Менгеле поднимает голову и вглядывается в строй узников. Он смотрит на нее. Дита старательно делает вид, что ищет линию горизонта, при этом точно зная, что Менгеле разглядывает ее с тем отстраненным интересом, с которым врач осматривает пациента. Дита мечтает провалиться сквозь землю. Чего хочет от нее этот человек? Вряд ли секса, как в случае с Рене. Вот если бы здесь была Маргит, большой знаток по такого рода делам, интересно, разглядела бы она ту самую сальность, которая, по ее словам, сквозит во взгляде мужчин, когда они смотрят на юных девушек. Ей-то кажется, что ничего грязного во взгляде Менгеле нет. На его лице вообще нет никакого выражения. В его взгляде – пустота. И это ужасает.

Эйхман согласно кивает, и в этом скупом жесте сквозит нескрываемое снисхождение к словам Хирша; он дает понять, что оказывает ему огромную милость, слушая его слова. Ни

один из офицеров не приближается ближе чем на полметра к еврею-*блокэльтестеру*. Несмотря на его чистую рубашку и не слишком измятые брюки, Хирш выглядит крестьянином-бедняком в окружении богатых землевладельцев, щеголяющих отглаженной формой, начищенными до блеска сапогами и здоровым обликом. И тем не менее Дита смотрит на него и, несмотря на все свои сомнения, не может не чувствовать по отношению к нему безграничного уважения – восхищения безоружным человеком, вставшим перед зубастыми пастями акул и сумевшим не попасть к ним на обед. С явным презрением, но они его слушают. Хирш – факир, он умеет заговаривать самых ядовитых змей. Дита верит в него. Она отчаянно нуждается в этой вере.

Когда вся свита в высоких сапогах и с длинными тросточками удаляется, два ассистента втаскивают в барак котел с выделенным на барак полуденным супом, и жизнь возвращается в свою колею. Разбираются помятые миски и скрюченные ложки, и дети в душе возносят молитвы о том, чтобы в их мисочку попал при раздаче хотя бы один кусочек морковки. После еды – свободное время: дети вольны либо играть как захотят, либо вернуться к родителям. Вскоре барак пустеет. Только некоторые преподаватели устраиваются кружком на табуретах в дальнем конце барака, чтобы обсудить детали визита к ним такого количества нацистских пишек. Им хотелось бы знать, что об этом думает Хирш, но сразу после окончания визита шеф вновь исчез, как раз для того, чтобы никто ни о чем его не расспрашивал.

«Где же Хирш?» – задаются вопросом некоторые.

В офицерской столовой – праздничный обед. Томатный суп, курица, картофель, красная капуста, жаренная на решетке щука, ванильное мороженое, пиво. В роли официанток – заключенные из секты «Свидетели Иеговы»; в глазах Хёсса они – лучшие: никогда не жалуются, считают, что коль скоро их судьба есть воплощение воли Божией, то и принять ее следует с радостью.

– Глядите, – говорит он своим коллегам и поднимается из-за стола, даже не сняв с груди заправленную за воротничок салфетку.

Он жестом подзывает к себе одну из официанток с грязными тарелками в руках, а потом вынимает из кобуры свой «люгер». И приставляет дуло пистолета к ее виску. Все остальные офицеры прекращают есть суп и выжидающе наблюдают за сценой. Все затихло, в столовой повисло напряжение. Узница застыла: выражение лица не меняется, руки все так же удерживают грязные тарелки, взгляд не скопился ни на пистолет, ни на того, кто его держит. Смотрит она неизвестно куда, губы беззвучно шепчут молитвы. Ни жалобы, ни протеста, ни намек на страх.

– Это она воздаёт хвалу Господу! – похохатывая, комментирует Хёсс.

Все остальные слегка, из вежливости, усмеваются. Рудольфа Хёсса недавно сместили с поста главного коменданта Аушвица, поскольку подчиненные ему офицеры допустили определенного рода неточности, связанные со счетами концлагеря, и теперь высшее руководство гестапо относится к нему несколько прохладно. Эйхман не ждет возвращения Хёсса за стол и молча принимается за свой суп. Шутки такого рода, с его точки зрения, за обедом совершенно неуместны. Уничтожение евреев видится ему весьма серьезным делом. По этой причине в том же 1944 году, когда сам шеф СС, Генрих Гиммлер, попросит Эйхмана остановить окончательное решение еврейского вопроса ввиду неизбежного поражения, он продолжит отдавать приказы о массированном уничтожении евреев до последнего.

Новость, распространяемая пани Турновской, которую Дита небезосновательно назвала «Радио Биркенау», о том, что всем узникам в этот день дадут специальный обед с сосисками, оказалась уткой. Очередной.

Дита собиралась пойти к родителям, однако в том людском водовороте, который крутится снаружи в час отдыха перед возвращением взрослых в мастерские, она замечает впереди фигуру пана Томашека и решает, что это очень хороший момент, чтобы с ним поговорить. Вот этот человек все ей и прояснит, направит ее в нужную сторону. Он знает столько людей,

что, конечно же, сможет ей сказать, что Фредри Хирш – человек честный, ничем не запятанный. Дита идет за ним, но на *лагеритрассе* в этот час столько народу, что ей почти не удастся продвинуться вперед. Несколько раз она теряет его из виду, но затем снова замечает. Он идет в направлении блока 31 и госпитального барака, тех мест, где народу немного. Хотя пан Томашек – ровесник отца Диты, ноги он передвигает ловко, и ей никак не удастся его догнать. Она видит, что он проходит мимо блока 31 и идет дальше, в самый конец лагеря, где расположен барак-склад, которым заведует обычный немецкий уголовник, не еврей, в должности *капо*. Дита не знает, что он собирается там делать, потому что узникам запрещено входить в этот барак без специального разрешения. По-видимому, те старые тряпки, которые хранятся на складе, обладают для нацистов какой-то особой ценностью. Скорее всего, пан Томашек идет на склад, чтобы раздобыть кое-что из одежды для нуждающегося в ней узника. Родители Диты не раз говорили ей, что этот добрый человек помогает многим людям, в том числе одеждой.

Пан Томашек решительным шагом входит в барак – догнать его Дите так и не удалось, так что ей придется ждать, когда он оттуда выйдет. Она медленно прохаживается вокруг барака. За оградой семейной зоны проходит большая подъездная дорога, главный въезд на территорию Аушвица-Биркенау, с железнодорожными путями, которые как раз сейчас достраиваются: поезда будут прибывать прямо в самую сердцевину территории концлагеря, проходя под сторожевой вышкой главных ворот, доминирующей над всем лагерем. Дите совсем не хочется оставаться в том месте, где ее прекрасно могут видеть охранники на вышках главного входа, так что она поворачивает за угол, идет вдоль боковой стены барака-склада и вдруг замечает окно. Оно привлекает ее внимание, потому что у других бараков окон нет, к тому же это окно открыто, чтобы проветривать помещение с постоянно высокой влажностью. Дита подходит к окошку поближе и вдруг слышит доносящийся изнутри мягкий голос пана Томашека. Голос называет имена и номера бараков. Говорит по-немецки. Дита, заинтересовавшись, усаживается под окном. Подслушивать чужие разговоры не есть признак хорошего воспитания.

Травить людей ядовитым газом тоже к хорошему воспитанию никакого отношения не имеет...

Гневный голос прерывает перечень имен пана Томашека.

– Тысячу раз уже тебе говорили! Списки социалистов на пенсии нам не нужны! Нам нужны списки участников Сопротивления!

Дита узнает и этот голос, и эту холодную твердость интонации. Это Пастор.

– Не так это просто. Они скрываются. Но я стараюсь...

– Лучше старайся.

– Да, господин.

– А теперь убирайся отсюда.

– Да, господин.

Дита бегом бросается за угол, чтобы от входа в барак ее не было видно, и там падает на землю. Глаза у нее открыты так широко, что едва не вылезают из орбит.

Добряк пан Томашек... Вот так сукин сын!

Дита осторожно удаляется от склада, а в голове ее крутится вопрос: какого черта происходит в этом огражденном поле с правдой – она как будто тонет в болоте.

И что теперь – какому черту могу я доверять?

И в этот момент у нее в голове всплывают слова чокнутого профессора Моргенштерна: «Верь самой себе».

Да, в конце концов старый чудака оказался прав.

В эту историю она попала одна, и разрешить ее она должна одна.

Фредри Хирш – ее соратник, тоже оставшийся один в своем лабиринте. Возможно, именно потому, что годами пытается зашпаклевать трещины в стенах цементом лжи, рассыпающимся в прах, стоит только к ним прикоснуться.

Тренер сидел на стуле в своей комнатке, когда в дверь постучали. Вошла Мириам Эдельштейн и уселась на дощатый пол, прислонившись к стене, словно донельзя устала.

– Эйхман сказал тебе что-нибудь по поводу твоего доклада?

– Ничего.

– А для чего же он ему зандобился?

– Кто его знает...

– Шварцгубер из кожи вон лез, все время вокруг Эйхмана увивался, как комнатная собачонка.

– Или как доберман.

– Да, лицо у него смахивает на морду рыжего добермана. А о Менгеле что скажешь? Он словно бы не к месту пришелся.

– Он сам по себе.

Мириам на секунду замолкает. Ей бы никогда в жизни в голову не пришло говорить о Менгеле как о каком-нибудь хорошем знакомом.

– Не знаю, как ты можешь зняться с таким отвратным типом, как Менгеле!

– Это он отдал распоряжение передавать продуктовые посылки, пришедшие уже умершим заключенным, в блок 31. Я знаюсь с ним только потому, что это моя обязанность. Да, я в курсе: кое-кто поговаривает, что Менгеле – мой друг. Ничего они не знают. Если для облегчения участи наших детей понадобится, я готов буду зняться с самим дьяволом.

– Ты уже это делаешь, – улыбнулась она ему с выражением сочувствия на лице.

– Иметь дело с Менгеле – для нас преимущество. Он нас не ненавидит. Слишком умен для этого. Возможно, как раз по этой причине он – самый жуткий из всех нацистов.

– Если он не ненавидит нас, то почему сотрудничает с этими извращенцами?

– Потому что ему так удобно. Он не из тех нацистов, что считают нас, евреев, недоделанными низшими существами, выходцами из ада. Он сам мне говорил, что находит в евреях много замечательных свойств...

– Ну и почему в таком случае он нас уничтожает?

– Потому что мы, евреи, представляем опасность. Мы – та раса, которая может противостоять арийцам, может покончить с их гегемонией. Поэтому им нужно нас уничтожить. Он не привносит в это ничего личного, это вопрос сугубо практический. Крестьянин, который засеивает поле картофелем и при этом знает, что рядом водятся кабаны, ставит ловушки и капканы, чтобы извести кабанов. Они погибают в ловушках на острых гвоздях, жестокая смерть. Но крестьянин не ощущает к ним ни ненависти, ни ярости, и если случится увидеть, как кабаны трусят по лесной тропинке, то вполне могут показаться ему очень симпатичными животными. Менгеле ведет себя как этот крестьянин, только вместо картошки он культивирует превосходство арийской расы, поскольку сам к ней принадлежит. Этот человек вообще не знает ненависти... Ужасно другое – точно так же он не знает и жалости. Ничто и никто не может его разжалобить.

– Я не смогла бы иметь дела с подобными преступниками.

Сказав это, Мириам морщится, как от боли. Фреди встает со стула и подходит к ней. И мягко спрашивает:

– О Якубе что-нибудь слышно? Есть новости?

Когда полгода назад Мириам вместе с семьей приехала сюда из Терезина, два гестаповца задержали ее мужа и отправили в тюрьму для политзаключенных, расположенную в Аушвице I, в трех километрах от них. С тех пор мужа она больше не видела и никаких известий о нем не получала.

– Сегодня утром мне удалось подойти и на секунду привлечь внимание Эйхмана. Он знает меня еще по собраниям в Праге, хотя сначала и сделал вид, что не узнаёт. Подлец, как и все нацисты. Охранники уже хотели меня отдубасить, но он, по крайней мере, их остановил

и дал мне возможность спросить о Якубе. Он сказал, что мужа перевели в Германию, что он отлично себя чувствует и что скоро мы все встретимся. Потом развернулся на сто восемьдесят градусов и ушел, больше я ничего сказать не успела. У меня было письмо Якубу, но никакой возможности попросить его передать не представилось. Арий тоже там папе пару строчек написал...

– Попробую что-нибудь узнать.

– Спасибо, Фреди.

– Я ему должен, – добавил Хирш.

Мириам снова кивает. Она об этом знает, но тут такое дело, говорить о котором не принято. Фреди Хирш – Ахилл у евреев, он один мог бы взять целую Трою. А мог бы с грохотом низвергнуться в пропасть, потому что у него есть крайне уязвимая ахиллесова пята.

У мифов есть похожая проблема: не падают, а низвергаются. Эдита идет по *лагерштрассе*, полная решимости ниспровергнуть один из мифов семейного лагеря. Она не знает, будет это легко или трудно. В конце концов, речь идет об уважаемом человеке, вежливом, опрятном, таком очаровательном и со всеми любезном пане. А она – всего лишь тощая девчонка. Но она идет по его душу. Он внушает ей еще большее отвращение, чем сами эсэсовцы. Эти ходят в форме, и заранее понятно, кто они и чего хотят. Она их боится, презирует, даже ненавидит... Но никогда прежде не чувствовала Дита такой тошноты, какую вызывает в ней одна мысль об элегантной еврейской улыбочке пана Томашека.

И пока Дита спешит, почти летит на своих длинных ногах газели, она с той же скоростью пытается разработать план разоблачения Томашека, но в голову ничего не приходит. Единственное, чего она хочет, – сказать правду, хотя, судя по всему, правда не слишком-то вписывается в стиль Аушвица.

Она доходит до отцовского барака и видит, что перед ним, устроив на земле ковер из одеял, собралась целая толпа людей вокруг пана Томашека. И ее родители, естественно, тоже там. Какая-то женщина что-то рассказывает, и пан Томашек, центр кружка, полужакрыв глаза и улыбаясь своей самой доброй улыбкой, кивает ей, поощряя продолжать рассказ.

Дита, как танк, врывается в этот круг, наступая на расстеленные одеяла и пачкая их жидкой грязью.

– Но... что такое, девочка!..

Щеки Диты горят румянцем, голос дрожит. Но не дрогнула рука, которую она поднимает и нацеливает на самый центр кружка.

– Пан Томашек – предатель. Он – сексот ⁵ СС.

Тут же поднимается шум, встревоженные люди встают. Пан Томашек пытается сохранить на лице улыбку, но ему не совсем это удается. Улыбка съезжает набок.

Одной из первых поднимается Лизль.

– Эдита! Что происходит?

– Сейчас я вам скажу! – кричит одна из женщин. – Ваша дочь дурно воспитана! Как ей только в голову могло прийти влезть в чужой разговор, чтобы оскорбить такого уважаемого человека, как пан Томашек?

– Пани Адлерова, – говорит какой-то мужчина, – вам бы следовало отвесить дочери пощечину. И если этого не сделаете вы, то сделаю я.

– Мама, то, что я сказала, – правда, – говорит Дита, дрожа от напряжения, но уже не так уверенно. – Я слышала, как он разговаривал на складе с Пастором. Он – доносчик!

– Этого не может быть! – снова подает голос та же женщина, вся вне себя от возмущения.

– Или вы сейчас же вклейте девчонке затрещину, чтобы она заткнулась, или это сделаю я. – Мужчина собирается встать на ноги.

⁵ Секретный сотрудник.

– Если нужно кого-то наказать, накажите меня, – мягко произносит Лизль. – Я ее мать, и если моя дочь поступает неправильно, то именно мне вам следует дать пощечину.

Тогда на ноги поднимается Ханс Адлер.

– Никого здесь бить не нужно, – решительно заявляет он. – Эдита говорит правду. Я знаю. Поднимается хор изумленных возгласов.

– Конечно, я говорю правду! – тонким голосом восклицает Дита, на этот раз смелее и тверже. – Я слышала, как Пастор просил его собрать информацию о Соппротивлении. Поэтому он и ходит целыми днями из конца в конец, поэтому задает столько вопросов и охотно слушает, когда люди рассказывают о своих делах.

– Вы будете это отрицать, пан Томашек? – Ханс нацеливает взгляд в лицо пана Томашека.

Почти все уже встали, и головы людей повернуты к Томашеку, который все так же сидит и молчит, как статуя. Потом он медленно поднимается на ноги, сохраняя на лице все ту же полуулыбку. Это его обычное выражение лица, но теперь – несколько вымученное, как будто это выражение – единственное, что он может изобразить, и в случае, подобном сегодняшнему, он не способен ни на что иное, кроме как изо всех сил его сохранять.

– Я... – начинает он. Все собираются внимательно слушать, ведь пан Томашек прекрасно владеет словом, и, без всякого сомнения, все это – какое-то недоразумение, которое он сейчас с легкостью объяснит. – Я...

Но кроме «я» сказать он ничего не может. Опускает голову и больше не произносит ни слова. Выбирается из толпы и торопливо уходит по направлению к своему барaku. Оставшиеся растеряны, обмениваются взглядами, но чаще всего поглядывают на семью Адлеровых. Дита обнимает отца.

– Ханс, – обращается к мужу Лизль. – Откуда ты узнал, да еще и так уверенно говоришь, что то, что сказала Эдита, – правда? Это казалось совершенно невероятным...

– А я ничего и не знал... Просто это такой прием, трюк, который используют в судах. Блефуешь: делаешь вид, что о чем-то твердо знаешь, хотя на самом деле ничего не знаешь, ну и обвиняемого выдает его собственная неуверенность. Он думает, что разоблачен, и сдается.

– А если бы он не был осведомителем?

– Я бы извинился. Но, – отец подмигивает дочке, – я был уверен, что у меня на руках очень сильные карты.

Один из мужчин отделяется от группы, подходит к ним и дружески кладет руку на плечо отцу Диты.

– А я уже и забыл, что ты адвокат.

– Да и я забыл, – отвечает папа.

Женщина и мужчина, которые раньше показали себя такими воинственными, смешавшись, уходят.

Но чтобы положить конец сексотской деятельности пана Томашека, нужно предпринять еще кое-что: поговорить с «Радио Биркенау». Адлеровы втроем идут повидать пани Турновскую. Добрейшая женщина многожды поминает Господа Бога и еще столько же – библейских патриархов. После чего запускает свой там-там.

Сомнение – растение, которое очень легко пускает корни в болотистой почве Аушвица. Через сорок восемь часов все население лагеря оповещено, и пан Томашек терпит бедствие. Теперь уже нет желающих подсесть к нему во время обеда и что-нибудь рассказать. Фальшивый идол низвергнут.

12

Руди Розенберг заходит за заднюю часть барака карантинного лагеря и приближается к проволочной ограде с электрическим током. По ту сторону границы под напряжением его ждет Алиса Мунк. Каждый из них останавливается в трех шагах от ограды, затем оба делают еще шаг навстречу друг другу, словно забыв о тысячах вольт, змеями пробегающих по проволоке, и садятся на землю – медленно, чтобы умерить подозрительность наблюдающих за ними охранников на смотровых башнях.

Сегодня – один из тех бесчисленных вечеров, когда Руди приходит на краткое свидание с Алисой, чтобы поговорить о тысяче самых разных вещей. Алиса рассказывает ему о своей семье – семье богатых промышленников из северных районов Праги, и о том, как ей хочется вернуться домой. Розенберг говорит о своей мечте – когда-нибудь, когда этот кошмар войны и концлагеря закончится, уехать в Америку.

– Америка – земля возможностей. Бизнес там – святое. Единственное место в мире, где бедный человек может стать президентом всей страны.

Стоит мороз, земля покрыта инеем. Их слова вибрируют. На нем суконная куртка, а вот Алиса одета все в ту же драную кофту, только поверх наброшена еще старенькая шерстяная шаль. Руди замечает, что губы у нее посинели и зуб на зуб не попадает, и говорит, что ей лучше вернуться в барак, но она отказывается.

Ей в этот студеный вечер гораздо лучше здесь, на свидании, чем внутри женского барака, где пахнет потом и болезнью. И очень часто – злобой.

Когда больше нет мочи терпеть холод, они встают и, примеряясь к шагу друг друга, идут вдоль ограды по разные ее стороны. Охранники к ним уже привыкли. Некоторых Руди снабжает табаком или же помогает, выступая при случае переводчиком между охраной и чешскими или русскими солдатами, так что кратковременную толерантность к свиданиям у ограды с их стороны он себе обеспечил.

Руди рассказывает Алисе обо всех хоть сколь-нибудь забавных случаях из своей ежедневной деятельности регистратора. Он не хочет говорить ей о том, что видит в глазах, которые глядят на него с унылых лиц тех, кто встает по ту сторону стола регистратора сразу по прибытии в концлагерь. По этой причине частенько, чтобы истории вышли поинтереснее, он вынужден их придумывать. Когда Алиса спросила, правда ли, что сотни людей каждый день травят газом, он ответил, что только безнадежно больных, чтобы она не расстроилась, и тут же сменил тему. Руди знает, что правда в Аушвице – товар неходовой.

– Я тут подарок тебе принес...

Сует руку в карман, вынимает ее, разжимает кулак. То, что лежит у него на ладони, – это что-то крохотное, но она широко распахивает глаза, понимая высокую ценность этой крохи. Настоящая драгоценность. Зубчик чеснока.

Руди уже наострил в наблюдении краем глаза за охранником на вышке, и в тот момент, когда направление дула винтовки на его плече говорит ему, что солдат повернулся спиной и смотрит в другой конец концлагеря, он в два прыжка оказывается у самой ограды. Коснуться металла никак нельзя, но и на раздумья времени нет: если охранники его застукают, то сурового наказания не избежать. У него десять секунд до того момента, пока солдат на вышке не развернется в их сторону. Руди складывает пальцы щепоткой, зажимая в ней зубчик, и просовывает в заранее выбранную ячейку. Пять секунд. Пальцы разжимаются, зубчик падает на землю. Алиса протягивает руку и мгновенно хватается за него. Четыре секунды. Каждый из них отступает на два шага назад, и вот они оказываются на том самом месте, где стояли раньше, в нескольких метрах от ограды.

Алиса смотрит на него со смешанным выражением страха и восхищения. Руди очень нравится, что он вызывает в девушке подобного рода чувства. Что правда, то правда: мало кто в лагере решится просунуть пальцы сквозь ограду, которая убивает. Некоторые спекулянты перебрасывают свои товары из зоны в зону через ограду, но Руди считает, что такого рода движения видны с очень большого расстояния, а в концлагере слишком много глаз, слишком много языков.

– Ешь, Алиса, в чесноке много витаминов.

– Ну, тогда я не смогу тебя поцеловать...

– Давай, Алиса, это очень важно. Тебе нужно есть. Ты такая худенькая.

– Я тебе что, не нравлюсь? – кокетничает она.

Руди вздыхает.

– Ты же знаешь, что нравишься, ты мне безумно нравишься! И сегодня ты такая красивая с этой новой прической!

– Так ты заметил!

– Ну нет, ты должна съесть этот чеснок! Мне такого труда стоило его достать.

– И я тебе очень благодарна.

Но она зажала зубчик в кулаке и есть его не собирается. Руди тихонько чертыхается.

– То же было и в прошлый раз, когда я принес тебе веточку сельдерея.

И тогда она делает кокетливую гримаску и поднимает глаза вверх, словно на что-то указывая. Тут до Руди доходит, и он хлопает себя рукой по лбу.

– Алиса, да ты с ума сошла!

До этого момента он и не замечал, что волосы у нее на голове скреплены обручем. Обруч фиолетового цвета, возможно, чересчур детский для нее, но в концлагере эта вещица – предмет роскоши. И эта роскошь стоила ей веточки сельдерея. Она смеется.

– Не надо, Алиса, не делай так! Зима еще не кончилась, а у тебя даже теплой верхней одежды нет, тебе обязательно нужно питаться. Неужели ты не понимаешь? Каждое утро транспортная команда в твоём лагере забирает дюжину трупов: люди умирают от истощения, от дистрофии, от простого насморка. Здесь тебя может убить даже простуда, Алиса. Мы совсем слабые. Ты должна есть! – Интонация Руди все суровее. Он в первый раз так серьезно говорит с Алисой. – Я хочу, чтобы ты съела этот чеснок сейчас, на этом самом месте!

Чтобы раздобыть зубчик чеснока, ему пришлось втайне передать одному из работников кухни списки имен и званий русских офицеров, прибывших последним транспортом. Он не знает и даже не хочет знать, кому и зачем понадобились списки, но информация имеет свою цену, а у Соппротивления во многих местах есть свои люди, о которых ему ничего не известно. Передача такой информации может стоить ему жизни. А она не хочет есть столь дорого доставшийся ему чеснок.

Алиса смотрит на него так грустно, что даже слезы на глаза наворачиваются.

– Ты, Руди, не понимаешь.

И больше ни слова не произносит, молчит. Алиса вообще не очень разговорчива. Что касается его – ну да, ему этого точно не понять. Ему кажется глупым обмен такого питательного и очень дефицитного продукта, как сельдерей, на бесполезный кусок проволоки, вручную – на скорую руку, на живую нитку – обшитый бархатом в одной из мастерских лагеря. Он не понимает, что Алисе скоро исполнится семнадцать и никогда больше семнадцатилетней ей не быть. Срок их жизней истекает здесь с головокружительной скоростью, взросление и старение выделяются в Аушвице поразительные коленца. После того как свою раннюю юность она прожила, с головой погруженной в уродство войны, ощутить себя красавицей хотя бы даже на один вечер приносит мимолетное счастье. И это чувство питает ее намного лучше, чем смогла бы напитать целая плантация сельдерея.

Она всем своим видом просит у Руди прощения – он только пожимает плечами. Он по-прежнему ее не понимает, но сердиться на нее – выше его сил.

Руди этого не знает, но его чесноку уже придумано применение. После своего вечернего свидания Алиса бежит в 9-й барак и спрашивает там пана Ладу. Пан Лада – невысокого роста мужчина, работающий в транспортной команде, которая вывозит покойников. Ничего приятного в этой работе нет, но она позволяет ему перемещаться по лагерю. А перемещение – символ торговли. Алиса нюхает полученный от него кусочек мыла, и ей кажется, что он пахнет счастьем. Лада то же самое делает с чесноком. С его точки зрения, он тоже пахнет счастьем.

Алиса так рада своему приобретению, что оставшееся до отбоя время решает посвятить стирке. Она достает из-под подушки шерстяной, весь в дырах, свитер и очень старую клетчатую юбку. Эти вещи – единственное, что она может надеть на себя, когда раз в две недели стирает свое когда-то синее, а теперь – серое платье, нижнее белье и чулки.

Полтора часа проводит она в очереди к трем кранам, из которых тонкой струйкой льется вода. Вода не питьевая, она уже унесла в могилу несколько жизней то ли не поверивших в ее небезопасность, то ли очень уж терзаемых жаждой людей. Жажда особенно сильна к ночи, когда после полуденного супа проходит много часов.

От ледяной воды руки заходятся, теряют чувствительность, сморщиваются. Еще и минуты не прошло, а женщины в очереди уже ругаются, подгоняют ее, чтобы быстрее закончила. Некоторые сплетничают о ней – в полный голос, специально, чтобы Алиса слышала. В лагерной зоне секретов не бывает: слухи и сплетни проникают повсюду и пропитывают собой все, распространяясь, как пятно сырости, которое ползет по стенке вверх от земли и до самой крыши, пожирая что ни попадя.

О ее отношениях со словаком-регистратором всем известно, и некоторым узникам эти отношения не нравятся – в основном тем, кто очень огорчается, если с ближним случается что-то хорошее. Стремление выжить провоцирует у заключенных в концлагере такую моральную деградацию, что многие узники обращают свои страхи и боль в катапульту злобной ярости. Им кажется, что нападение на другого восстанавливает справедливость и облегчает их собственное страдание.

– Какая несправедливость: у бесстыдных шлюх, готовых раздвинуть ноги в угоду любому влиятельному мужику в лагере, мыло есть, а достойные женщины должны стирать одной мутной водичкой! – произносит одна.

Одобрительный гвалт замотанных в платки женских голов поддерживает высказанное мнение.

– Достоинство пропало, – говорит другая, – ни к чему уважения нет.

– Стыдоба, – вступает еще один голос, говоря достаточно громко, чтобы Алиса услышала.

Девушка яростно трет белье, как будто глицериновым мылом можно отстирать людскую злобу, и вскоре бросает работу, так и не достирав, не решаясь поднять голову, униженная, не в силах защищаться. Уходя, она оставляет кусок мыла на полочке. Сразу несколько женщин бросаются к мылу, и завязывается перебранка с толчками и руганью.

Алиса настолько пристыжена и расстроена, что не хочет видеть свою маму и решает пойти в блок 31. Двери барачков всегда должны быть открыты – таково правило. Когда Алиса входит, на пол падает металлическая плочка с винтиками. Дело рук Хирша – это он придумал такой способ узнавать о неожиданных визитах в барак в неурочное время. Старший по барачку выходит из своей комнаты и видит перед собой дрожащую Алису.

– Что с тобой, детка?

– Меня ненавидят, пан Хирш!

– Кто?

– Все эти женщины! Они оскорбляют меня за то, что я – подруга Руди Розенберга!

Хирш кладет руки ей на плечи, содрогающиеся от неудержимого плача.

– Эти женщины не тебя ненавидят, Алиса. Они тебя даже не знают.

– Нет, меня! Они мне наговорили таких ужасных вещей, а я даже не смогла ответить им так, как они того заслуживали.

– Ты все правильно сделала. Когда собака злобно лает на чужака или даже кусает, то делает это не из ненависти, а из-за страха. Если ты когда-нибудь окажешься перед таким злобным псом, ты не должна ни убегать, ни кричать, иначе только напугаешь его еще больше, и он тебя покусает. Ты должна оставаться невозмутимой и разговаривать с ним очень спокойно, чтобы он перестал бояться. Они напуганы, Алиса, они ялятся из-за того, что с нами делают.

Алиса понемногу успокаивается.

– Тебе бы нужно белье повесить сушиться.

Алиса кивает и собирается поблагодарить, но он рукой останавливает ее намерение. Не нужно ни за что благодарить. За своих людей отвечает он. Его ассистенты – его солдаты. А солдат никогда не говорит «спасибо». Он и честь отдает, и приветствует – по уставу. Больше ничего и не требуется.

Когда Алиса уходит, Хирш оглядывает безмолвные табуретки и увешанные детскими рисунками стены и снова уединяется в своей каморке. Но в действительности барак не пуст. Кое-кто был молчаливым свидетелем всей сцены, примостившись на корточках за поленицей в дальнем конце барака.

Отец уже несколько дней как простужен, его простуда никак не проходит, и мама настояла на том, чтобы уроки под открытым небом были отменены. Поэтому Дита несет теперь по вечерам вахту в своем тайнике – дальнем углу за поленицей. Она ждет следующего появления эсэсовца – тайного контакта Хирша, но до сих пор ее ожидание ни к чему не привело. Если она не может никому доверять, то секреты Хирша придется разоблачать ей самой. Несколько раз Хирш выходил из своей комнатки делать упражнения – наклоны, отжимания, серию для мышц живота. Или принимался поднимать табуретки, используя их вместо гантелей. И в это время ей приходилось сжиматься в комочек и сидеть в своем укрытии тихо-тихо. Как-то навестить Хирша пришла Мириам Эдельштейн, кроме этого – ничего. Дита скучает по своим разговорам с Маргит, которой, как ей известно, иногда удастся посидеть и поболтать с Рене.

Хирш, уверившись в том, что в бараке никого, кроме него, нет, выключает свет, и все погружается в темноту. Дита по-прежнему ежится, стараясь согреться. Дрожь, сотрясающая ее тело изнутри, вызывает в памяти образы тех легочных пациентов санатория «Берггоф», которые по ночам устраивались в шезлонгах лицом к Альпам, чтобы сухой холод горного воздуха изгнал из их пораженных туберкулезом легких лишнюю влагу. В последние недели в концлагере ей с трудом удавалось так же самозабвенно отдаваться чтению, как в Терезине, когда она читала «Волшебную гору». Книга эта оказала на нее такое влияние, что персонажи романа стали частью ее воспоминаний.

Ганс Касторп, приехавший повидать своего кузена и поначалу намеревавшийся провести в санатории всего пару дней, в итоге застрял там на несколько месяцев. И даже когда кузен Иохим решает, несмотря на возражения врачей, возвратиться домой и возобновить свою военную карьеру, Ганс покорно остается в этом специфическом микрокосмосе санатория с его отставными священниками, обильными обедами и незначительными ежедневными ритуалами, которым едва удается разнообразить дремотную рутину. Однако даже при этом внешне безобидном и вялом течении курортной жизни туберкулез не дремлет, то и дело оставляя пустыми стулья за обеденными столами и растекаясь смертельным холодком по коридорам.

Дите «Берггоф» напоминает гетто. Там жилось лучше, чем в Аушвице. То место было гораздо менее жестоким и жутким, чем фабрика страданий, в которой они теперь пытаются выжить. Хотя в действительности Терезин если и был санаторием, то таким, в котором никто не выздоравливал.

Касторп приехал на несколько дней, но провел там месяцы, а потом и годы. А когда он высказал наконец намерение покинуть санаторий, доктор Беренс обнаружил у него небольшой очаг в легких, и ему пришлось остаться. Когда Дита читала роман, она уже около года жила в Терезине и не имела ни малейшего понятия о том, когда сможет выйти за пределы этого города-тюрьмы. Хотя, учитывая слухи, доходившие из лежащего вокруг городских стен большого мира, – о том, что нацисты безжалостно идут по Европе войной, унесшей уже миллионы жизней, о концлагерях, куда свозят евреев в целях истребления, – в ее голову в конце концов пришла мысль, что стены Терезина, держа их взаперти, в то же время служат защитой от внешнего мира. Точно так же, как это происходило с Гансом Касторпом в санатории «Берггоф», который ему уже не хотелось покидать, чтобы не встретиться лицом к лицу с вызовами своей эпохи.

Ее работа в огородах за городскими стенами сменилась на более легкую – в пошивочной мастерской по производству военной формы. И по мере того как шло время и ее мама теряла свойственную ей энергию, а папа все реже и реже делал остроумные замечания, Дита все читала и читала. История Ганса Касторпа не отпускала, и она неотступно следовала за героем вплоть до кульминационного в его жизни момента: карнавальной ночи, когда он, воспользовавшись свободой, предоставляемой маской, решается заговорить с мадам Шоша, прелестной русской дамой, в которую герой отчаянно влюблен, хотя до той поры ему ни разу не случилось обменяться с ней ни словом, за исключением пошлых приветствий. В застойной и при этом в высшей степени церемонной атмосфере, царившей в «Берггофе», Ганс дерзнул-таки в шуме и сутолоке карнавала обратиться к ней на «ты» и назвать Клавдией. Дита прикрывает глаза и вновь переживает тот момент, когда он, и это так романтично, преклоняет перед ней колени, чтобы галантно и страстно признаться в своей пылкой любви.

Дите нравится мадам Шоша – в высшей степени элегантная дама с раскосыми глазами, имеющая обыкновение приходить в пышную столовую залу санатория последней и хлопать за собой дверью с такой силой, чтобы Ганс Касторп подпрыгивал на своем стуле; в первые дни – с раздражением от причиненного беспокойства, позже – с уже укоренившейся в нем зачарованностью ее азиатской красотой. В тот миг свободы от условностей – дар карнавала, когда тот, кто говорит, всего лишь маска, не скованная строгими нормами светской вежливости, мадам Шоша обращается к Касторпу: «Вы, немцы, свободе всегда предпочитаете порядок, об этом знает вся Европа».

И Дита, съездившаяся в своем закутке за дровами, совершенно с ней согласна.

Как же права мадам Шоша!

Дита думает о том, как бы ей хотелось быть такой, как мадам Шоша, – образованной, утонченной, независимой. И чтобы, когда она входит в зал, все молодые люди украдкой бы ее оглядывали. Однако после в определенной степени рискованных, но при этом утонченных ухаживаний молодого немца, которые явно не вызывают неудовольствия у мадам Шоша, происходит неожиданное. Она принимает решение уехать в Дагестан, а может, в Испанию, чтобы сменить обстановку.

Вот если бы Дита была Клавдией Шоша, то точно не смогла бы устоять перед благородством и очарованием такого кавалера, как Ганс Касторп. И вовсе не потому, что ей не хватило бы отваги отправиться в путешествие по всему миру. Когда закончится эта кошмарная война, она с огромным удовольствием съездит куда-нибудь с родителями. Кто знает, может, как раз в земли, называемые Палестиной, о которых так часто говорит Фреди Хирш.

И вот тут-то и раздается скрип открываемой двери барака. Осторожно высунув голову, Дита видит, что это именно та самая высокая мужская фигура: в сапогах и с капюшоном на голове, как и в прошлый раз. Сердце у нее в груди подпрыгивает.

Наступил долгожданный момент истины. Но действительно ли она хочет эту истину узнать? Каждый раз, когда открывается правда, что-то ломается. Поэтому она глубоко взды-

хает и думает о том, что самое лучшее – встать и тихонько выйти из барака прямо сейчас, пока еще такая возможность есть. В желудке у нее вовсе не бабочки порхают, а носится стадо бизонов; ее гложут и жгут сомнения. Правда может опалить... но ей она нужна. Потому что Дита знает, что, если прямо сейчас не откроет крышку этого котла, ложка швырнет ее в кипяток и будет томить на медленном огне, как куриную ножку в бульоне. Поэтому она останется здесь и вычерпает этот бульон, обнажив дно кастрюли.

В одном из номеров «Ридер'с Дайджест», которые Дита, когда родители выходили из комнаты, тайком таскала с журнального столика в гостиную, она прочла в статье о шпионах, что через стену можно подслушать чужой разговор, если приложить ухо к доньшку стакана. И вот она идет на цыпочках к стенке кабинета *блокэльтестера* со своей кружкой для завтрака. Это опасно. Если они застанут ее за подслушиванием, одному Богу известно, что с ней будет. Но если она останется со своими сомнениями, то ее разорвет изнутри.

Дита приставляет к стенке металлическую кружку, но сразу же обнаруживается, что все прекрасно слышно, даже если просто приблизить к фанерной стенке ухо. К тому же в ней есть отверстие от сучка, так что можно даже кое-что увидеть – как через глазок в двери.

Вот Хирш. Выражение лица довольно мрачное. Светловолосого мужчину, стоящего напротив, она видит со спины. На нем вовсе не форма эсэсовца, хотя и не обычная для узника одежда. Наконец Дита обращает внимание на коричневый браслет на его руке – отличительный знак *капо*.

– Этот раз будет последним, Людвиг.

– Почему?

– Не могу продолжать обманывать мой народ. – И поднимает руку вверх, проводит по волосам. – Они думают обо мне одно, а на самом деле я – совсем другое.

– И что же это – ужасное другое?

Он грустно улыбается.

– Ты сам прекрасно знаешь. Лучше, чем кто бы то ни было.

– Ну же, Фреди, осмелся, наконец, сказать это слово...

– Нечего больше говорить.

– Это еще почему? – Ирония вперемешку с обидой сквозят в словах собеседника Хирша. – Мужчина, не знающий страха, не решается сказать самому себе, кто он есть? Тебе не хватает мужества произнести это ужасное слово?

Блокэльтестер вздыхает, голос звучит мрачно:

– Я... извращенец...

– Черт возьми! Да скажи наконец то самое слово! Великий Фреди Хирш – гей!

Хирш вне себя бросается на своего гостя, хватает за лацкан. Потом яростно швыряет его о стену – на шее Хирша вздулись вены.

– Замолчи! Никогда больше не произноси при мне это слово!

– Да ладно... Неужто это так ужасно? Я тоже такой, но монстром себя по этой причине не считаю. Или ты считаешь меня монстром? Думаешь, что я заслужил, чтобы меня поместили как прокаженного? – При этих словах глаза его указывают на розовый треугольник, нашитый на рубашку.

Хирш отпускает его. Поднимает руку и начинает, прикрыв глаза, расчесывать пятерней волосы, постепенно успокаиваясь.

– Извини меня, Людвиг. Я не хотел причинять тебе вред.

– Но ты это сделал. – Он с тщательностью денди разглаживает измятый лацкан своего пиджака. – Говоришь, что не хочешь обманывать людей, которые идут за тобой. А что ты будешь делать, когда выйдешь отсюда? Подберешь себе девочку-евреечку, чтобы готовила тебе кошерные кушанья, и женишься на ней? Ее будешь обманывать?

– Никого я не хочу обманывать, Людвиг. Как раз поэтому мы с тобой должны перестать встречаться.

– Делай что хочешь. Прессуй меня, если тебе это поможет чувствовать себя лучше. Попробуй заняться любовью с какой-нибудь девушкой. Я уже пробовал – это как будто ешь суп, но без бульона. Но тоже неплохо. Но неужто ты думаешь, что тем самым тебе удастся покончить с обманом? Ты очень ошибаешься! Все равно останется кто-то, кого ты продолжишь нещадно обманывать: себя самого.

– Я уже сказал, Людвиг: с этим покончено.

Прозвучали слова, которые не предполагают ответной реплики. Оба с грустью смотрят друг на друга и молчат. *Капо* с розовым треугольником медленно кивает, признавая свое поражение. Подходит к Хиршу и целует его в губы. По щеке Людвига сползает слеза – такая же беззвучная, как капля дождя, стекающая по оконному стеклу.

По другую сторону фанерной стенки Дита едва может сдержать крик. Это уже слишком, уже за пределами того, что доступно для ее юного возраста. Она никогда не видела, чтобы целовались мужчины, и ей эта сцена кажется отвратительной. Тем более с участием Фреды Хирша. Ее Фреды Хирша. Дита торопливо, но очень осторожно выходит из барака, и даже холодная пощечина ночи не может заставить ее прийти в себя. Она так ошарашена, что забывает принять меры предосторожности на случай встречи с доктором Менгеле. Ослеплена снаружи и ощущает себя грязной внутри. В душе поднялась волна безграничной ярости по отношению к Фреды Хиршу. Она чувствует себя подло обманутой. Слезы гнева туманят ей взгляд.

Поэтому она сталкивается с человеком, идущим ей навстречу.

– Осторожнее, девочка!

– Сами виноваты – не смотрите, куда идете, черт побери! – грубит она в ответ.

Взглянув вверх, она видит белую бороду и лицо профессора Моргенштерна и осознает свою неловкость. Чуть не сбила с ног бедного старика.

– Извините меня, профессор. Я вас не узнала.

– Ах, это вы, панна Адлерова! – И вытягивает шею, приближая свои близорукие глаза к ее лицу. – Да вы плачете?

– Это мороз, у меня от него слезятся глаза, черт бы его побрал! – коротко отвечает она.

– Могу я вам чем-нибудь помочь?

– Нет, и никто не может.

Профессор упирает руки в боки.

– Ты уверена?

– Я не могу ничего вам рассказать. Это секрет.

– Тогда не нужно рассказывать. Секреты существуют ровно для того, чтобы их хранить.

Профессор, склонив голову, идет к своему бараку, не сказав больше ни слова. Дита остается в еще большем смятении, чем раньше. Может, она сама виновата? Наверное, Моргенштерн прав, и ей не следовало совать нос в чужие дела и раскрывать чужие секреты. Дита задается вопросом, с кем бы поговорить на эту тему, и интуитивно находит ответ. Есть по крайней мере один человек, который хорошо знает Фреды Хирша: Мириам Эдельштейн. Она единственная, кто навещает его после окончания рабочего дня, когда он встречается только с теми, кому доверяет.

Мириам вместе с ее сыном Арием она находит в бараке 28. До отбоя остается уже совсем немного. Не лучшее время, чтобы ходить в гости, но, когда замдиректора видит, что к ней пришла библиотечарша, вконец расстроенная, и умоляет уделить ей для разговора наедине пару минут, отказать она не может.

Обе выходят на улицу. Темень и холод не располагают к длительным беседам, но Дита рассказывает все с самого начала: об угрозе Менгеле, о том, как она случайно оказалась свидетелем первой встречи Хирша с неким человеком, о зародившихся у нее сомнениях и о том,

как она пыталась их разрешить, отыскав правду. Мириам слушает не перебивая, не выразив никакого удивления в том месте, когда Дита дошла до рассказа о тайных любовных шашнях Хирша с мужчинами, и даже помолчала еще немного, когда все уже было сказано.

– Ну так что? – нетерпеливо вопрошает Дита.

– Что ж, теперь у тебя есть твоя правда, ты ее добились, – отвечает Мириам. – И должна быть довольна.

В тоне ее голоса Дита слышит упрек.

– Что вы хотите этим сказать?

– Тебе нужна была правда, но правда по твоим меркам. Ты хотела, чтобы Фреди Хирш был мужественным, результативным, неподкупным, харизматичным, безупречным... И чувствуешь себя обманутой, потому что он оказался гомосексуалом. Могла бы порадоваться, удостоверившись в том, что он вовсе не сексот СС и что он на самом деле один из наших, один из лучших. Ты же, наоборот, обиделась, раз он не в точности такой, каким бы тебе хотелось его видеть.

– Нет, не нужно так. Ясное дело, у меня камень с души свалился, когда я поняла, что он не с ними! Я только... не могла о нем такого даже подумать!

– Эдита... ты говоришь так, как будто бы речь шла о преступлении. Но единственное различие заключается в том, что вместо женщин ему нравятся мужчины. Не думаю, что это такой уж страшный грех.

– В школе нам говорили, что это болезнь.

– Нетерпимость – вот настоящая болезнь.

Секунду обе молчат.

– Вы знали об этом, ведь так, пани Эдельштейн?

Она кивает.

– Называй меня Мириам, пожалуйста. Теперь мы с тобой обе делим один секрет. Но он не наш, и поэтому мы не имеем никакого права его разглашать.

– Вы ведь хорошо знаете Хирша, верно?

– Он мне кое о чем рассказывал, о другом я узнала сама...

– Кто он, Фреди Хирш?

Мириам жестом приглашает Диту пройти вокруг барака. У нее начинают мерзнуть ноги.

– Фреди Хирш очень рано потерял отца. И очень тосковал. Как раз в то время его записали в ЮПД, немецкую организацию, объединявшую в ту пору многих молодых евреев. В ней он вырос, там он нашел свой дом. Спорт стал для него смыслом жизни. Довольно быстро там заметили его талант тренера и организатора.

Дита берет под руку Мириам Эдельштейн, чтобы им стало теплее. Слова Мириам смешиваются со стуком деревянных подошв их сабо по подмерзшей, покрытой инеем почве.

– Его авторитет и вес как тренера в ЮПД рос и рос. Но подъем нацистской партии все пустил под откос. Фреди говорил мне, что сторонники Адольфа Гитлера были кучкой жалких дебоширов из пивной, бросивших вызов законам Германской Республики. А потом они переписали эти законы под себя.

Хирш рассказывал ей, что никогда не сможет забыть тот вечер, когда он пришел к зданию, в котором размещался ЮПД, и увидел на стене надпись: «Евреи – предатели». Он задумался над тем, что или кого именно они предали, но ответа найти не смог. Иногда по вечерам в окна здания летели камни – во время занятий в гончарной мастерской или во время репетиций хора. С каждым разбитым стеклом у Фреди в душе тоже что-то взрывалось.

Однажды мать попросила его сразу после уроков прийти домой, потому что нужно поговорить об очень серьезных вещах. У Фреди были свои дела, но он сразу же послушался, без всяких возражений, потому что одним из уроков, усвоенных им в ЮПД, было безусловное

уважение к иерархии и рангам; в некотором смысле ЮПД был армией, только без оружия, но со своей формой, знаками различия и собственными званиями.

Весь клан был в сборе; серьезность на лицах была явно необычной для этой семьи. Мать сообщила, что их отчим потерял работу: его уволили по той причине, что он – еврей. Да и вообще ситуация становится все более опасной. Так что они приняли решение уехать в Южную Америку, в Боливию, и там начать все сначала.

– Уехать в Боливию? Ты, наверное, хотела сказать – сбежать! – такой была реакция Фреди, который встретил новость в штыки.

Отчим, которому ни разу не удалось сломить волю Фреди, стиснул зубы и собирался уже встать из-за стола и разобраться с пасынком один на один. Однако не он, а старший брат, Пауль, сказал Фреди, чтобы тот заткнулся.

Фреди вышел из-за стола ошеломленный, с тем ощущением падения в пропасть, которое влекут за собой неожиданно полученные плохие новости. И его, полностью потерянного, ноги по инерции привели в то единственное место, где все совершалось упорядоченно и взаимозависимо: штаб-квартиру ЮПД. Там он наткнулся на одного из заместителей директора, который инспектировал фляжки перед очередным походом. Фреди не имел обыкновения говорить о своих личных проблемах, но на этот раз заговорил. Дело было серьезнее, чем досада парня, которого родные вынуждают покинуть свою страну: он не мог вынести трусости – склонить голову, потому что – еврей, и сбежать.

Координатор активных мероприятий на свежем воздухе был блондин, хотя уже и седеющий. Фреди вырос здесь на его глазах. Он внимательно посмотрел на Фреди и сказал: «Если хочешь остаться, место для тебя в ЮПД найдется».

Ему было только семнадцать, но он уже обладал той уверенностью в себе, которая будет с ним всегда. Его семья уехала, он остался один. Но не совсем один – с ним был ЮПД. В 1935 году его послали организатором юношеского спорта в филиал в Дюссельдорфе. Позже он расскажет Мириам, что поначалу чувствовал себя на седьмом небе, получив работу в таком активном городе, но его энтузиазм мгновенно развеялся, стоило ему увидеть, какая враждебная по отношению к евреям атмосфера царит в этом месте. Обращаться к стекольщику уже прекратили – град камней сыпался в окна постоянно. С улицы выкрикивали оскорбления. С каждым днем детей приходило все меньше. Выпадали и такие дни, когда утром в баскетбольной команде у Фреди был только один игрок.

Однажды вечером Фреди увидел из окна, как кто-то желтой краской малюет у них на дверях крест, и бегом спустился вниз. Пацан с кистью взглянул на него с явной издевкой и спокойно продолжил свое дело. Фреди бросился к нему и с такой силой схватил за грудки, что горе-художник выронил банку с краской.

– Почему ты делаешь это? – спросил его Фреди, глядя на браслет со свастикой на руке парня, в смешанном чувстве растерянности и гнева от того, что происходит в его собственной стране.

– Вы, евреи, – угроза для цивилизации! – прокричал тот с явным презрением в голосе.

– Цивилизации? Это вы будете учить меня цивилизации – те, кто целыми днями избивает стариков и швыряет камни в окна? Да что ты знаешь о цивилизации... Пока вы, арии, жили в шалашах на севере Европы, одевались в звериные шкуры и жарили мясо над костром на двух палках, мы, евреи, возводили целые города.

Несколько человек, видевшие, что Фреди взял за грудки юного нациста, стали подходить ближе.

– Тут еврей бьет бедного мальчика! – прокричал женский голос.

Продавец из овощного магазина прибежал с палкой для закрывания жалюзи, и еще добрая дюжина мужчин приближалась с разных сторон. Чья-то рука крепко схватила за плечо Фреди и дернула к себе.

– Пошли отсюда! – крикнул ему директор.

Они едва успели войти в дом и закрыть за собой дверь, прежде чем на нее навалилась целая толпа горожан, кипящих от ярости, показавшейся Фреди коллективным сумасшествием. Злобствующий политик с карикатурными усиками добился своего. Люди превратились в автоматы ненависти.

На следующий день филиал ЮПД в Дюссельдорфе был закрыт, а Фреди перевели в Чехию. Там он продолжил работать для «Маккаби Хатцайр» в организации, развивающий детско-юношеский спорт в Остраве, Брно и, наконец, в Праге.

Чешская столица не особенно ему понравилась. Характер чехов, более беззаботный и менее формальный, чем у немцев, несколько расхолаживал. Но в окрестностях города, в «Клубе Хагибор», он нашел исключительно удобное место для спортивных мероприятий. Фреди назначили ответственным за команду мальчишек двенадцати-четырнадцати лет. Идея заключалась в том, чтобы вывезти мальчишек из Чехии и, избрав маршрутом следования нейтральные страны, доставить их в Израиль. От мальчишек требовалось быть в хорошей физической форме, но не только. Они должны были знать историю еврейского народа, историю его противостояния своим врагам, чтобы гордиться принадлежностью к этому народу и иметь желание вернуться на родину предков.

Хирш взялся за работу со свойственными ему полной отдачей и желанием отлично выполнить порученное дело. Характерное сочетание эффективности и магнетизма, притягивающего к нему мальчишек, оказалось таким удачным, что отвечающие за работу с молодежью члены Еврейского совета Праги решили поручить этому ответственному и упорному в достижении целей молодому человеку организацию новых детских групп, поскольку ребята частенько прибывали в Прагу несколько потерянными.

Фреди никогда не забывал, как трудно было воодушевить тех ребят. В отличие от детей, приезжавших из Израиля в период арабского восстания в Палестине и реализации принципа сдержанности (хавлага), родители которых отличались осознанием своего еврейства и сионистской направленностью, а сами дети в большинстве своем были полны энтузиазма, новая группа состояла из замкнутых, печальных и апатичных мальчишек и девочек. Казалось, что ни одна игра не способна их увлечь, ни одна из его занимательных историй не может зажечь улыбку, никакой вид спорта не интересен. Одного из мальчишек звали Зденек, ему было двенадцать. Его ресницы были самыми длинными из всех, что когда-либо в жизни видел Фреди. А глаза – самыми грустными.

Под конец первого вечера, когда Фреди, стремясь узнать побольше о ребятах, предложил им игру – сказать, где они хотели бы оказаться в тот момент сентябрьского дня 1939 года, Зденек совершенно серьезно ответил, что ему бы хотелось оказаться на небе, чтобы повидать своих родителей. Их арестовало гестапо, а бабушка сказала ему, что он никогда их больше не увидит. Зденек сел и больше не вымолвил ни слова. Кое-кто из мальчишек, до тех пор совершенно серьезных, расхохотался с внезапной бестактностью, порой столь свойственной детям. Посмеяться над другими – это для них что-то вроде бальзама, врачующего собственные страхи.

Однажды вечером ответственный за работу с молодежью Еврейского совета Праги вызвал Хирша к себе. Вице-президент Совета с полной серьезностью сказал ему, что нацистские тиски сжимаются, границы закрываются на замок и вскоре никого уже эвакуировать из Праги не удастся. Поэтому первая группа, группа «хавлага», должна отправиться в путь немедленно, через двадцать четыре часа, самое позднее – через сорок восемь. И задал Хиршу вопрос: хочет ли он, как первый инструктор этой группы, сопровождать детей в Израиль.

Это было самое лучшее предложение, которое когда-либо поступало Хиршу. Он мог уехать с этой группой, оставить позади ужасы войны и оказаться в Израиле, куда всегда мечтал попасть. С другой стороны, уехать в тот момент означало оставить те группы, с которыми он

начал работать в «Хагиборе», бросить дело, которое, совершенно очевидно, было очень важно для ребят, измученных в Праге запретами, лишениями и унижением со стороны Рейха. Уехать – значило оставить Зденека и всех остальных. В ту минуту он вспомнил о том, чем стал для него ЮПД в Аахене после того, как он потерял отца и ощутил потерянным себя: именно там он нашел свое место в жизни.

– Кто угодно на его месте сказал бы, что поедет, – продолжала свой рассказ Мириам. – Но Хирш не хотел стать кем угодно. Поэтому он сказал, что нет, что он останется в «Хагиборе».

Ответственный за работу с молодежью Совета в знак согласия кивнул, и оба долго молчали, словно взвешивая последствия этого решения. Но это оказалось невозможно – измерить это было нельзя. Будущее не поддается замерам.

– Хирш мог бы уехать, но он остался. Мне сказал об этом один из сотрудников пражского Еврейского совета.

– После всего что произошло... я чувствую себя виноватой – в том, что сомневалась в нем.

Мириам вздыхает, и выдыхаемый ею воздух становится белым облачком. И в этот миг звучит сирена – сигнал того, что все должны разойтись по своим баракам.

– Эдита...

– Да?

– Обязательно скажи завтра Хиршу о докторе Менгеле. Он придумает, что лучше предпринять. Об остальном...

– Это наш секрет.

Мириам кивает, и Дита бегом пускается к своему барaku, почти летя над покрытой инеем землей. Она все еще чувствует острую боль в самых глубоких слоях своих самых интимных переживаний, в которые мы и сами не очень хотим заглядывать и там копать. Но Хирш – с ними. И хотя ей очень больно от того, что она лишилась принца, она должна признать облегчение – от обретения лидера.

13

На некотором расстоянии, через несколько барачков от места беседы Диты и Мириам, в блоке 31 происходит другой разговор. Фреди Хирш беседует с табуретками.

– Ну вот, я сделал это. Сделал то, что должен был.

Его собственный голос, гулко звучащий в темном бараке, кажется незнакомым.

Тому красавцу из Берлина он сказал, что не вернется. И должен был бы ощущать гордость за свой поступок, даже счастье: сила воли одолела инстинкты. Но нет ни гордости, ни счастья. Он бы предпочел, чтобы ему нравились женщины, как любому нормальному мужчине, но что-то в его внутреннем механизме не так.

Должно быть, какая-то деталь встала не тем боком или что-то еще в этом роде...

Хирш выходит из барака и грустно озирает замерзшую слякоть, бараки, вышки. Горящие фонари позволяют различить вдали две фигуры, стоящие друг напротив друга, каждая по свою сторону провололочной ограды. Это Алиса Мунк и регистратор из карантинного лагеря. Температура воздуха близка к нулю, но этим двоим не холодно; а даже если и холодно, то они делят холод на двоих, чтобы стало легче.

Возможно, любовь – это оно и есть: делить холод на двоих.

Барак номер 31 кажется узким и шумным, когда его наполняют дети, но он становится огромным и бездушным, когда они уходят. Без детей он перестает быть школой. И превращается в огромное пустое стойло, в которое заползает холод.

Чтобы согреться, Хирш укладывается на полу животом вверх с упором на локти и начинает рисовать ногами в воздухе кресты, мучая мышцы брюшного пресса. Чтобы укротить тело, его нужно утомить. Для него с ранней юности любовь была не чем иным, как постоянным источником проблем. Его природа упрямо сопротивлялась тому, что пытался диктовать телу разум. При его любви к дисциплине и применению ее буквально во всем Хирш чувствует глубочайшее разочарование по тому поводу, что ему не хватает силы воли для того, чтобы совладать со своими самыми потаенными желаниями.

Один, два, три, четыре, пять...

Во время организуемых ЮПД походов ему нравилось втиснуться со своим спальным мешком между других мальчишек, всегда готовых и посмеяться, и пригреть его. После смерти отца он чувствовал себя рядом с пацанами и защищенным, и счастливым... Ничто не могло сравниться с этим чувством локтя, с этим товариществом. Футбольная команда была не футбольной командой, для него она была семьей...

Восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один...

Он рос и взрослел, а удовольствие от близости мальчишеских тел никуда не исчезало. В отношениях с девочками всегда была немалая дистанция, с ними он не чувствовал того братства, которое возникало в мужском коллективе. Девочки пугали его: они отталкивают от себя мальчишек, смеются над ними. Вольготно ему было только в футбольной команде или с товарищами по походу или какой-нибудь спортивной игре. И когда Фреди стал взрослым, привязанность к мальчикам никуда не делась. А потом из Аахена он уехал в Дюссельдорф.

Есть такой возраст, когда тело само решает, решает за тебя. Начались тайные встречи. Часто в полутемных общественных туалетах с вечно мокрым полом и ржавыми потеками на чашах умывальников. И тем не менее даже в таких условиях имели место и нежный взгляд, и далеко не механическая ласка, и мгновения полноты чувств, устоять перед которыми было невозможно. Любовь превратилась в ковер стеклянных осколков.

Тридцать восемь, тридцать девять, сорок...

В эти годы он старался быть постоянно занятым соревнованиями и тренировками, организовывая несколько мероприятий за раз – для того чтобы голова была преисполнена забо-

тами, а тело – усталостью. Только так может он противостоять порывам, сводящим на нет силу воли, ту самую силу воли, с помощью которой он сделал себя; порывам, которые в случае единственной оплошности камня на камне не оставят от его имиджа всеми уважаемого человека, который зарабатывался годами. Кроме того, погруженность в круговорот забот позволяла ему скрывать то обстоятельство, что он, будучи таким популярным и таким востребованным всеми и каждым, в конце концов всегда оставался один.

Пятьдесят семь, пятьдесят восемь, пятьдесят девять...

Поэтому он продолжает скрещивать ноги, как ножницы, задерживая к тому же дыхание, чтобы больше заболели мышцы брюшного пресса. В наказание самому себе за то, что он не тот, кем хотел бы быть или кем хотели бы его видеть другие.

Шестьдесят три, шестьдесят четыре, шестьдесят пять...

Лужица пота свидетельствует о его упорстве, его способности к самопожертвованию... О его триумфе. Он садится на пол, и теперь, когда напряжение уже немного спало, слетаются воспоминания, заполняя собой пустоту ночи.

И воспоминания приводят его в Терезин.

Как простого чеха его депортировали в терезинское гетто в мае 1942 года. Он стал одним из первых переселенцев. В ту группу нацисты включили ремесленников, врачей, членов Еврейского совета Праги, а также культмассовых работников и спортивных тренеров. Готовилось прибытие основной массы перемещаемых евреев.

По прибытии он увидел расчерченный, словно по линейке, город. Реализацию того дизайна городской планировки, который явным образом родился в голове военного: улицы, явившиеся на свет с помощью линейки и угломера, геометрически правильные здания, прямоугольные газоны и куртины, очевидно, расцветающие весной... Столь рациональный город, прозвучавший в унисон с его собственной любовью к дисциплине, пришелся ему по вкусу. Он даже подумал тогда, что, возможно, здесь начнется новый, лучший этап в жизни евреев, и он станет тем первым шагом, что приведет их к возвращению в Палестину.

Когда он остановился, чтобы в первый раз взглянуть на Терезин, порыв ветра растрепал его прическу, и он откинул свои прямые волосы назад. Он вовсе не собирался допустить того, чтобы что-либо заставило его потерять лицо, не собирался позволить ветру истории отбросить его назад, даже если в данный момент этот самый ветер приобрел энергию опустошительного урагана. Он принадлежал к народу, за плечами которого – миллион лет истории, к народу избранному.

В Праге он очень интенсивно занимался детскими и юношескими командами и здесь также намеревался организовывать спортивные мероприятия и пятничные собрания для молодежи с целью укрепления еврейского духа. Легко ему не будет: придется столкнуться с противостоянием не только нацистов, но и одного из членов Еврейского совета – тот был осведомлен о позорном пятне, которое он так старался скрыть, и не собирался закрывать на это глаза. К счастью, он всегда мог рассчитывать на поддержку Якуба Эдельштейна, председателя Совета.

Ему удалось создать группы легкоатлетов, секции бокса и японских боевых искусств джиу-джитсу, организовать чемпионат по баскетболу и футбольную лигу из нескольких команд. Ему даже удалось уговорить нацистов собрать футбольную команду из охранников для игры против команды охраняемых.

Он вспоминает моменты настоящего торжества: оглушительный рев толпы зрителей, плотно облепившей не только периметр площадки, но и все окна и двери жилых домов, выходящих фасадами во внутренний двор квартала, который и был использован в качестве игрового поля.

Но вспоминаются также моменты потерь и поражений, которых было немало.

Особенно ярко видится ему одна игра, организованная им встреча между футбольными командами охранников СС и евреев, которую он сам и судил. Болельщики не помещались

в окнах и дверях домов, выходивших фасадами на поле, и на каждой лестничной площадке светились сотни глаз, напряженно следивших за ходом противостояния. Это был футбольный матч, но для очень многих – гораздо более, чем игра в футбол. В особенности для него. Он неделями готовил свою команду к этой встрече, просчитывал тактику, настраивал игроков, разработал для них специальные комплексы упражнений, просил выделить для членов команды добавочные порции молока.

До конца игры оставалось всего две минуты, когда форвард команды эсэсовцев перехватил мяч в центральной зоне поля. Он по прямой бросился к воротам, и ему удалось пройти растерявшихся от неожиданности центровых еврейской команды. Оставался всего один защитник, который мог остановить его. Эсэсовец побежал прямо на него, но как раз в тот момент, когда они должны были встретиться, еврейский защитник потихоньку убрал ногу и пропустил его. Форвард по прямой и с близкого расстояния пробил по воротам и забил победный гол. Хирш не забыл яростного торжества на лицах арийцев. Они разгромили евреев. В том числе и на футбольном поле.

Хирш дал финальный свисток, не пытаясь продлить матч и безукоризненно соблюдая беспристрастность, и подошел поздравить нападающего, забившего решающий гол. Он крепко пожал тому руку, и эсэсовец улыбнулся, показав щербатые зубы, как будто по ним пришелся удар прикладом. Хирш направился к импровизированным раздевалкам с напускным безразличием на лице, но по дороге остановился, как будто бы завязать шнурок на ботинке, и пропустил вперед всех игроков, пока не увидел того, кто был ему нужен. Молниеносным движением, которого никто не заметил, он толкнул защитника в кладовку и прижал к черенкам швабр.

– В чем дело? – спросил его ошеломленный игрок.

– Это ты мне скажи. С какой стати ты позволил этому нацисту забить нам гол и победить?

– Слушай, Хирш, я его знаю, этот капрал – настоящая сволочь, да и садист к тому же. Видел, что зубы у него поломаны? Так он же ими консервы открывает. Настоящая бестия. И я должен был подставить ему ножку, рискуя собственной головой? Это же всего-навсего игра!

Фреди в точности помнит каждое свое слово, которое он тогда сказал, и глубочайшее презрение, которое породил в его душе тот жалкий субъект.

– Ты глубоко ошибаешься. Это не просто игра. Здесь были сотни болельщиков, а мы их разочаровали. Десятки детей. Что они подумают? Как смогут они почувствовать гордость за свое еврейство, если мы ползаем по земле, как червяки? Твой долг – жизнь вкладывать в каждый шаг на поле.

– Мне кажется, ты преувеличиваешь...

Хирш приблизился, его лицо оказалось менее чем в пяти миллиметрах от лица игрока, в чьих глазах он увидел страх, но отступать в кладовку было все равно некуда.

– А теперь слушай меня внимательно. Больше повторять не стану. Если в следующий раз, когда ты будешь играть против эсэсовцев, ты не выставишь ногу, я тебе ее отпилю.

Мужчине, белому, как лист бумаги, удалось сжаться, проскользнуть мимо и спастись из кладовки бегством.

По прошествии времени этот эпизод мог бы восприниматься уже и с долей юмора, но Фреди до сих пор, вспоминая тот случай, вздыхает с досадой.

Этот тип – пустое место. Взрослые – уже порченный материал. Именно поэтому так важна молодежь. Из них еще можно вылепить то, что хочешь, их можно улучшить.

24 августа 1943 года в Терезин из Белостока прибыла партия детей в 1260 человек. В еврейском гетто этого польского города было сконцентрировано более пятидесяти тысяч евреев. За лето эсэсовцы планомерно уничтожили почти всех взрослых.

Детей из Белостока разместили в обособленной зоне гетто: в нескольких блоках в восточной части города-гетто Терезин, отделенных колючей проволокой. Эсэсовцы не спускали с них глаз. Строгие и недвусмысленные распоряжения гауптштурмфюрера Терезина, доведенные до

сведения Совета старейшин, формулировали категорический запрет устанавливать какие бы то ни были контакты с этим контингентом, находившимся в Терезине проездом и следовавшим по маршруту, конечная точка которого держалась в секрете. Доступ к этим детям был разрешен лишь ограниченному кругу лиц в количестве 53 человек, в число которых входил медицинский персонал. Их задачей являлось недопущение проблем инфекционного характера, грозивших перерасти в ту или иную эпидемию. Нарушителей отданных распоряжений ждали самые суровые меры.

Нацисты не разрешали контакты с польскими детьми, свидетелями и в то же самое время жертвами совершенного в Белостоке массового истребления евреев, опасаясь, как бы отголоски их преступления не достигли слуха оглушенной войной Европы.

Приближалось время ужина, и воздух в Терезине уже свежел. Фреди Хирш, потный и задумчивый, выступал в роли арбитра игры в мини-футбол на поле двадцать на тридцать метров. Но на самом деле гораздо больше внимания он уделял арке в конце двора – выходу на улицу, чем движениям ног преследующих мяч игроков.

Несмотря на то что было подано уже несколько письменных прошений, добиться для Молодежного отдела разрешения оказать содействие польским детям ему так и не удалось. По этой причине, увидев группу санитаров, вышедших из запретных блоков, куда поместили детей из Белостока, он передал судейский свисток ближайшему к себе мальчишке и поспешил санитарам навстречу.

Отряд медработников топтал тротуар грязными сапогами и взирал на мир бесконечно усталыми глазами. Фреди встал у них на дороге и начал расспрашивать о состоянии детей, но те в угрюмом молчании, не останавливаясь, проходили мимо. Им был предписан режим строжайшей конфиденциальности. Сзади всех шла отставшая от группы медсестра. Она шла одна, медленно, то ли в растерянности, то ли в недоумении. Женщина на секунду остановилась, и Фреди разглядел в ее глазах усталое негодование.

Она ему ответила. Сказала, что дети очень напуганы и что у большинства из них – крайняя степень истощения: «Когда охранники собрались отвести их в душ, началась истерика. Они отбивались руками и ногами и кричали, что не хотят идти под газ. Пришлось тащить их силой. Один мальчик, пока я дезинфицировала ему рану, сказал, что перед самой погрузкой в поезд узнал, что его отец, мать и старшие братья и сестры убиты. Изо всех сил вцепившись в мою руку, он в ужасе повторял, что не хочет идти в душевую – там газ».

Медсестра, к тому времени уже всякого повидавшая в госпитале Терезина, не могла тем не менее не прийти в замешательство от дрожи сирот, оставшихся под присмотром тех самых палачей, которые только что расправились с их родителями. Она сказала Фреди Хиршу, что дети цеплялись за ее ноги и притворно жаловались на недомогания и болезни. Но на самом деле нуждались они не в лекарствах, а в любви, защите и ласке, которая бы уменьшила их страхи.

На следующий день ремонтники, кухонные работники и медики проходили контроль на входе в огражденную восточную зону гетто, где содержались эвакуированные из Белостока польские ребята. Эсэсовцы службы охраны со скучающими лицами наблюдали за перемещением обслуживающего персонала.

Бригада рабочих переносила строительный материал, предназначенный для ремонта в одном из зданий зоны. У одного из них не было видно лица, потому что оно было скрыто за уложенным на плечо бревном. Он отличался прямыми скулами и мускулистыми руками, столь обычными для строителей. Но это был не каменщик, а спортивный тренер. Фреди Хиршу удалось проникнуть в запретную зону, взвалив на плечо бревно и пристроившись в хвост ремонтной бригады.

Оказавшись внутри, он уже мог свободно передвигаться и легким шагом направился к ближайшему зданию. Сердце его екнуло, когда прямо перед собой он увидел двух эсэсовцев, но страх удалось подавить и превратить его в развязность. И вместо того чтобы свернуть в сторону,

Фреди еще более решительно зашагал прямо на них. Пройдя мимо, охранники не обратили на него ни малейшего внимания: в этой зоне не было недостатка в одетых в гражданское евреях, занятых различными работами.

Хирш вошел в здание, построенное по тому же проекту, что и остальные дома в Терезине: входная дверь вела в вестибюль, по обеим сторонам которого располагались взбегающие наверх лестницы, а прямо напротив – выход в просторный внутренний двор квадратной формы. Хирш наугад выбрал одну из лестниц, при подъеме ему попались два электрика с катушками кабеля в руках, которые вежливо с ним поздоровались. Поднявшись на этаж, он сразу же увидел нескольких ребят, которые сидели на двухъярусных нарах, свесив ноги.

На лестничной площадке ему встретился капрал, которого Фреди поприветствовал легким кивком. Эсэсовец прошел дальше. Фреди с тревогой отметил про себя, что здесь, в доме, где так много детей, как-то слишком тихо. Слишком они спокойные. И как раз в этот момент услышал, как сзади его окликают по имени.

– Господин Хирш?

В первую секунду он подумал, что это какой-то знакомый из гетто, но, обернувшись, увидел перед собой того эсэсовца, с которым только что разминулся на лестнице, причем тот вежливо поздоровался и приветливо улыбнулся. Улыбка капрала была щербатой, и Хирш вспомнил футболиста из команды охранников. Хирш спокойно улыбнулся ему в ответ, но нацист тут же погасил улыбку – скомкал ее, словно бумажку. До него дошло, что это здание – не то место, где должен находиться физкультурник. Капрал требовательно поднял руку и, выставив палец, указал на ступеньку лестницы, чтобы тот встал перед ним, как обычно поступают с задержанным. Хирш, избрав спокойный и любезный тон, призванный лишить происшествие значимости, попытался изобрести оправдание своему присутствию в здании, но эсэсовец был непреклонен:

– В караульное отделение! Немедленно!

Когда Хирша под конвоем препроводили к оберштурмфюреру СС, он вытянулся перед эсэсовцем по стойке смирно и даже звонко прищелкнул каблуками. Офицер потребовал, чтобы тот предъявил ему документ, дающий право на нахождение в охранной зоне. Документа не оказалось. Эсэсовец почти вплотную приблизил свое лицо к лицу Хирша и гневно спросил, какого черта в таком случае он там делал. Хирш, не отводя взгляда и, судя по всему, нимало не смутившись, ответил со своей обычной вежливостью:

– Я всего лишь пытался наилучшим образом выполнить свои обязанности координатора по работе с детьми, пребывающими в Терезине, господин офицер.

– А тебе что, неизвестно, что всякие контакты с этим контингентом запрещены?

– Известно, господин офицер. Но я полагал, что я являюсь частью медико-санитарного персонала, обслуживающего этих детей, поскольку Отделом по делам молодежи на меня возложены соответствующие полномочия.

Спокойствие Хирша несколько притушило ярость лейтенанта и заставило его усомниться. Он сказал, что составит о данном происшествии рапорт и подаст его наверх, а о принятом решении Хирша оповестят.

– Не исключен и трибунал.

Хирша тут же поместили на гауптвахту, примыкавшую к караульному отделению, и сказали, что выйдет оттуда он только после того, как будут собраны все его личные данные, необходимые для составления рапорта. И вот Фреди меряет энергичными шагами пустую собачью конуру, в которой его заперли, досадуя по тому поводу, что ему так и не удалось повидать детей, но сохраняя при этом полное спокойствие. Никто не отдаст его под трибунал, он слишком хорошо известен нацистской Администрации гетто. По крайней мере, он так думал.

По другую сторону ограды мимо по улице проходил раввин Мурмельштейн, член triumvirata руководителей Еврейского совета гетто. Он был очень неприятно поражен, увидев

одного из руководителей Отдела по работе с молодежью, посаженного под замок. Было очевидно, что Хирш нарушил запрет не приближаться к охраняемой зоне, куда поместили детей из Белостока, и теперь находится в малодостойном положении – под арестом, как какой-нибудь преступник. Суровый руководитель подошел к оgrade, и их взгляды встретились.

– Пан Хирш, – укоризненно проговорил он, – что вы делаете там, внутри?

– Ах, это вы, доктор Мурмельштейн... А что вы делаете там, снаружи?

Не было ни трибунала, ни какого-либо в открытую объявленного наказания. Однако однажды вечером Павел по прозвищу Кости, официальный посланник Совета гетто, – ноги у него выглядели как две тонкие бамбуковые палки, но он был самым быстрым скороходом во всем Терезине, – прервал своим появлением тренировку по прыжкам в длину, чтобы сообщить Хиршу, что этим вечером он обязательно должен явиться в дом Магдебурга, где размещалась администрация еврейского управления города.

Новость ему сообщил сам Якуб Эдельштейн, председатель Еврейского совета: немецкое командование включило его имя в списки тех, кто должен был со следующим транспортом отправиться в Польшу, а точнее – в концлагерь Аушвиц, расположенный возле городка Освенцим.

Об этом лагере рассказывали ужасные вещи: массовые убийства, рабский труд, доводивший узников до смерти от истощения, разного рода лишения и истязания, люди, доведенные голодом до состояния ходячих скелетов, эпидемии тифа, который никто и не думал лечить... Но это были всего лишь слухи. Никто, кто бы испытал все это на собственном опыте, не мог их подтвердить; с другой стороны, никто оттуда и не вернулся, чтобы их опровергнуть. А еще Эдельштейн сказал Фреди, что командование СС просит о том, чтобы по приезде в Аушвиц он доложил о своем прибытии командованию лагеря, потому что там заинтересованы в том, чтобы он продолжил свою обычную работу с детьми и молодежью. Лицо Фреди снова просветлело.

– То есть я снова буду работать с ребятами, а значит, ничего не изменится.

Тут круглое доброе лицо Эдельштейна, на носу которого сидели очки в черепаховой оправе, очень похожее на лицо школьного учителя, нахмурилось.

– Там будет тяжело, очень тяжело. И даже хуже, чем просто тяжело, Фреди. Многие уехали в Аушвиц, но оттуда никто не возвращался. Но при всем при этом мы должны продолжать бороться.

Хирш слово в слово запомнил то, что напоследок сказал ему в тот вечер председатель Совета:

– Нам нельзя терять надежду, Фреди. Не дай задуть эту свечу.

Тот раз был последним, когда Хирш его видел: на ногах, руки сложены за спиной, взгляд теряется за окном. Наверняка он уже тогда знал, что и сам очень скоро отправится той же дорогой – в лагерь смерти. Он только что получил приказ о сложении полномочий председателя Еврейского совета. На нем, как самом высокопоставленном руководителе Терезина, лежала ответственность за всех обитателей еврейского гетто. Контроль эсэсовцев на городских воротах не был слишком тщательным, и некоторым евреям удавалось сбежать. А Эдельштейн не подавал рапорты, прикрывая беглецов, пока наконец эта утечка людей не стала слишком заметной и командование СС не обнаружило вдруг, что из гетто исчезло как минимум 55 евреев.

Участь Эдельштейна была решена. Этой участью стала смерть. Именно поэтому сразу по прибытии в лагерь его отправили не в семейный лагерь Аушвиц-Биркенау, а напрямую в тюрьму Аушвица I. Фреди не говорил об этом Мириам, но он знает, что там жестоко пытаются, применяя такие зверские методы, которые человечество до сих пор не видало.

Что же произошло с Якубом Эдельштейном? И что будет со всеми нами?

14

Когда детей уже нет, и в бараке осталось только несколько преподавателей, увлеченных беседой, Дита закрывает библиотеку. Возможно, она делает это в последний раз, потому что сегодня она должна сказать правду: на ней метка доктора Менгеле. Именно поэтому, прежде чем отнести книги в тайник, она достает из своего потайного кармана моточек пластыря и устраняет надрыв на одной из страниц русской грамматики. Потом вынимает пузырек клея и еще у двух книг подклеивает отставшие корешки. В книге Уэллса одна страница загнута, и Дита ее аккуратно разглаживает. Заодно ласкает и поглаживает атлас, а затем и каждый оставшийся томик, даже этот роман без обложки, о котором Хирш сделал столько критических замечаний. Не упускает случая и тоненькой полоской пластыря подклеивает в книге надорванную страницу. Потом бережно помещает томики в полотняные карманы, которые сделала ей тетюшка Дудинце, и устраивает их на своем теле поудобнее, словно нянечка, укладывающая новорожденных в колыбельки. И только потом направляется к комнате *блокэльтестера* и стучит в дверь костяшками пальцев.

Хирш у себя, сидит на стуле и что-то пишет – то ли очередной рапорт, то ли расписывает план проведения соревнований по волейболу. Дита спрашивает, может ли он уделить ей несколько минут, и он оборачивает к ней спокойное лицо, на котором играет его обычная улыбка, исполненная никому не ведомого смысла.

– Слушаю тебя, Эдита.

– Вам следует это знать. Доктор Менгеле в чем-то меня подозревает, возможно, в связи с библиотекой. Это случилось после инспекции. Он остановил меня на *лагерштрассе*. Каким-то образом он понял, что я что-то прятала. И пригрозил мне, что будет следить за мной. В общем, у меня такое чувство, что он за мной наблюдает.

Хирш встает со стула и с задумчивым видом секунд тридцать расхаживает по комнате. Наконец останавливается перед Дитой и, глядя ей в глаза, говорит:

– Менгеле следит за всеми.

– Он сказал, что положит меня на стол для вскрытий и выпотрошит.

– Вскрытия он обожает, просто наслаждается процессом. – После этих слов воцаряется неловкое молчание.

– Вы ведь отстраните меня от библиотеки, так? Понятно, что для моего же блага...

– Ты больше не хочешь этим заниматься?

Глаза Фреди блестят. В нем вдруг загорается та лампочка, которая, по его же словам, есть внутри каждого. И в Дите загорается ее собственная, ведь электричество Фреди заразительно.

– Об этом и речи быть не может!

Фреди Хирш кивает, словно говоря: «Я так и думал».

– В таком случае ты останешься в должности библиотекаря. Конечно, это рискованно, но ведь мы на войне, хотя здесь об этом некоторые уже подзабыли. Мы солдаты, Эдита. Не верь этим воронам, которые утверждают, что мы в тылу, и опускают руки. Это неправда. Идет война, и у каждого из нас своя собственная передовая. Здесь – наша, и мы должны сражаться до конца.

– А как насчет Менгеле?

– Хорошему солдату нужно соблюдать осторожность. С Менгеле нам следует быть очень осмотрительными, никто и никогда не может знать, что у него на уме. Порой он тебе улыбается и даже кажется, что с симпатией, но через мгновение снова серьезен, и в его взгляде проступает такой холод, что промораживает тебя насквозь. Если бы его подозрение относительно тебя было сколько-нибудь обоснованным, тебя бы уже в живых не было. Но что он там себе думает, никогда не знаешь. Так что будет гораздо лучше, если он тебя и не увидит, и не услышит, и

запаха твоего не почует. Ты должна избегать какого бы то ни было контакта с ним. Видишь, что он идет по одной стороне улицы, – переходи на другую. Идет навстречу – незаметно отвернись. Лучше бы он вообще забыл о твоём существовании.

– Я постараюсь.

– Хорошо. Значит, решили.

– Фреди... Спасибо!

– Я прошу тебя остаться на первой линии огня, рискуя жизнью, а ты мне за это спасибо говоришь?

На самом деле она хотела сказать другое: мне очень жаль, что я в тебе сомневалась. Но не знает, как это можно выразить.

– Ну, я хотела поблагодарить за то, что вы здесь.

Хирш улыбается.

– За это благодарить не нужно. Я там, где должен быть.

Дита выходит на улицу. Снег покрыл землю, и заснеженный Биркенау кажется менее жутким и более сонным. Очень холодно, но порой холод на улице имеет преимущества перед горячечными спорами в бараках.

Навстречу ей попадается Габриэль, чемпион по получению замечаний и наказаний от учителей, неистовый рыжий пацан десяти лет, одетый в слишком широкие для него брюки, подвязанные веревкой, и такую же, на несколько размеров больше, чем нужно, рубашку, густо покрытую грязными пятнами. Он возглавляет команду полудюжины мальчишек примерно одного с ним возраста.

«Он что-то задумал, и вряд ли это что-то хорошее», – размышляет про себя Дита.

За ними, отстав на несколько метров, идут, взявшись за руки, несколько мальчиков четырех-пяти лет. Одежка на них старенькая, личики грязные, а глаза, наоборот, снежно-белые, как только что выпавший снег.

Габриэль – один из идолов ребятни в блоке 31 по причине своей раскованности и неистощимости воображения в деле придумывания всяческих шалостей. Дите уже не раз случалось наблюдать, как малышня садится ему на хвост, когда предчувствует одну из его фирменных выходок. Не далее как этим утром, например, он выпустил кузнечика на голову одной невзрачной девочки по имени Мария Ковач, и ее истеричные вопли парализовали весь барак. Да и сам Габриэль остолбенел перед неистовством реакции девочки, в припадке ярости подскочившей к нему и залепившей такую звонкую пощечину, что у него чуть веснушки с лица не посыпались. В полном соответствии с наваянным Талмудом отношением к справедливости учитель Габриэля рассудил, что возмездие свершилось, и урок возобновился без какого бы то ни было дополнительного наказания для мальчика, кроме уж понесенного им от карающей девчачьей руки.

Когда малышня увязывается за Габриэлем в надежде насладиться очередной придуманной им штукой, он старается оторваться или распугать мелких криками, и кому-то из них, не успевшему удрать, всегда достается звонкая затрещина. Поэтому Диту изумляет, что ловкач Габриэль терпит прилепившуюся за ним стайку малышек, настоящую свиту, и она решает пойти за ними, но на отдалении, словно играя в охотника, отслеживающего добычу по следам на снегу. Дита хочет разобраться в том, что могло послужить причиной столь резкой смены стратегии Габриэля, которая, принимая во внимание, о ком идет речь, не может не преследовать некую цель, связанную с задуманной им проделкой.

Дита видит, как ребята пересекают весь лагерь, направляясь к выходу, и тогда она понимает, куда они идут: в кухню. Примечает, что сопровождающие Габриэля мальчишки предусмотрительно останавливаются перед входом в кухонный блок – одно из запретных мест в лагере, но сам он, не сбавляя шага, подходит к двери и, несмотря на запрет, спокойно заходит внутрь. То, что открывается глазам Диты вслед за этим, напоминает комическую интермедию:

на улицу выбегает Габриэль, а за ним – злющая кухарка по имени Беата: она, как мельница лопастями, во все стороны машет руками и распугивает ребятню, словно стайку птичек.

Дита понимает, что они, должно быть, пришли просить у кухарки картофельные очистки – любимейшее лакомство ребятшек, но женщина, по всей видимости, уже устала от попрошайек и решила безжалостно их прогнать. Однако десятилетние мальчишки не идут восвояси, а всего лишь отходят назад на несколько метров, образуя коридор, по которому движутся Габриэль и разозленная кухарка. Мальчишка делает резкое движение в сторону, кухарка, следуя за ним, наступает на застывшую лужу и чуть не падает. Восстановив равновесие, она видит стоящих перед собой пятилеток, которые как раз в этот момент добежали до кухни. Малыши держатся за руки, из ротиков поднимается пар – они запыхались, стараясь догнать старших, которые шли быстрым шагом. Беата не может не упереться взглядом в мордашки вечно голодных детей. И, ошеломленная, она тут же прекращает размахивать руками и упирается ими в боки, оказавшись перед целым стадом облепленных грязью и снегом ангелочков с умоляющими глазами.

Дита не может слышать ее слова, но этого и не нужно. У кухарки характер жесткий, руки грубые, а сердце – мягкое. Хранительница книг улыбается, думая о хитроумии Габриэля, который привел за собой малышню, чтобы раздобыть кухарку. Беата, должно быть, сурово говорит им, что ей строго-настрого запрещено давать кому бы то ни было остатки еды без разрешения свыше, что, если *капо* застучает ее саму или какого-нибудь поваренка, они потеряют место и будут очень жестоко наказаны, что, если то и если се... А дети не сводят с нее своих умоляющих глаз, так что на этот раз она, ну хорошо, сделает для них исключение, но если им придет в голову еще раз здесь появиться, она все кости им палкой переломает, и кое-кто из ребятни кивает, соглашаясь с ней, чтобы окончательно задобрить.

Женщина скрывается в кухне и вскоре появляется вновь, неся в руках металлическое ведро, полное картофельных очисток. Предвидя давку, она останавливает детей своей громадной ручищей, похожей на железный тупиковый стопор на железнодорожной станции, перед которым замирает состав. Выстраивает их в очередь – сначала маленьких, потом старших, и вскоре все они возвращаются в блок 31, жуя ленточки картофельной кожуры.

Дита в приподнятом настроении возвращается на *лагеритрассе*, но на полдороге встречает маму. Волосы у нее растрепаны – странно для ее мамы, которая даже в Аушвице умудрилась раздобыть кусочек расчески и делает себе приличную прическу.

И Дита понимает: что-то случилось. Она бежит навстречу маме, та с необычной горячностью обнимает дочку: после работы она пошла встретить мужа на выходе из его мастерской, но там его не оказалось. Один знакомый, пан Бреди, сказал ей, что отец не вышел на работу, потому что этим утром не смог подняться с нар.

– Он говорит, что у отца жар, но *капо* решил, что в госпиталь его лучше не отправлять.

Женщина в растерянности, она не знает, что предпринять.

– Может, мне нужно пойти к *капо* и настоять на госпитале...

– Папа говорит, что *капо* в его бараке – не еврей, а немец, социал-демократ – несколько отстраненный, но справедливый. Так что вполне может быть, что перевод в госпиталь – это и на самом деле не очень хорошая идея. Госпиталь у нас как раз перед глазами, напротив блока 31...

Здесь она умолкает, не говорит матери о том, что видит, как больные, которые входят туда, хоть и ковыляя, но на своих ногах, покидают госпиталь, как правило, в тележке для мертвецов, которую толкают пан Лада и несколько его помощников. Но смерть упоминать она не может: обязательно нужно не накакать, не назвать ее по имени, удержать подальше от отца.

– А мы даже не можем увидеть его, – жалуется мама. – Нам запрещено входить в мужской барак. Я попросила одного папиного знакомого, любезный такой пан, из Братиславы, чтобы он сделал милость, сходил взглянуть на него и потом сообщил бы мне, а я подожду у входа. – Ей приходится сделать паузу, чтобы совладать с эмоциями. Дита берет маму за руку. – И он

сказал мне, что отец выглядит так же, как утром: почти без сознания от жара. Что выглядит плохо. Эдита, все-таки твоему папе, наверное, нужно лечь в госпиталь.

– Мы пойдем к нему.

– Что ты такое говоришь? Мы не сможем войти в барак! Это запрещено!

– Запрещено также лишать людей свободы и убивать их, но что-то я не вижу, чтобы они прекратили это делать. Жди меня у входа в папин барак.

Дита бежит искать Милана, одного из ассистентов блока 31. Раньше ей случалось видеть его сидящим возле боковой стены 23-го барака. Это красивый парень, хотя ей он не слишком симпатичен. С другой стороны, не внушать никому симпатию может и она сама, поскольку практически не общается с другими ассистентами блока, предпочитая посвящать свободные минуты чтению книг, болтовне с Маргит или общению с родителями. Ее смущает и кокетничанье девочек, и бравлада парней ее возраста.

Она действительно находит Милана возле 23-го барака. Вечер неуютный, опять этот вечный и безжалостный польский холод, но Милан и еще двое парней сидят на земле, прислонившись к деревянной стене барака. Молодые люди убивают время, разглядывая проходящих мимо узников и отпуская сомнительные комплименты девушкам. Дите совершенно не улыбается появиться перед этими парнями: они старше, чем она, с пробивающимися усиками над губой и самых разных размеров прыщиками, рассеянными по их лицам, да и ведут себя как молодые петушки. Оказаться рядом с ними ей просто страшно. Она думает, что они начнут потешаться над ее ногами-палочками и даже над надетыми на них почти детскими шерстяными чулками. Но она встает прямо перед ними, потому что знает, что сегодня не может позволить себе такую роскошь, как страх.

– Ну и дела! – спешит выступить Милан собственной персоной, чтобы никто не сомневался в том, кто здесь главный. – Кого это мы здесь видим? Это же библиотекарьша...

– На эту тему за стенами блока 31 говорить нельзя, – решительно прерывает его Дита. И тут же раскаивается в своей суровости – о том, что ее упрек достиг цели, свидетельствует его внезапный румянец. Ему не понравилось, что какая-то девчонка, да еще и младше него, ставит его в неловкое положение перед приятелями. А ведь Дита как раз пришла просить его об одолжении. – Слушай, Милан, я хотела кое о чем тебя попросить...

Приятели Милана обмениваются плохо скрываемыми взаимными толчками локтями, и на их лицах расцветают лукавые улыбочки. Милан также приободряется и явно наглеет.

– Ну, девочки обычно просят меня о многом, – самодовольно произносит он, краем глаза поглядывая на двоих приятелей, чтобы отследить произведенный эффект, – те начинают гоготать, показывая довольно сильно попорченные зубы.

– Мне нужно, чтобы ты одолжил мне на время свою куртку.

Лицо Милана застывает в изумлении, его улыбочка моментально тускнеет. Его куртку? Она просит его куртку? То, что при распределении одежды ему досталась эта куртка, – большая удача, это одна из лучших курток в зоне ВІІb. За нее ему предлагали пайки хлеба, картошку и даже плитку шоколада, но он не намерен расстаться с ней ни за что на свете. Как он без этой куртки будет выносить зимние вечера при нулевой температуре? Кроме того, она ему к лицу: в этой куртке он больше нравится девочкам.

– У тебя что, не все дома? Моей куртки и пальцем никто не коснется. Никто значит никто, соображаешь?

– Но это только на какое-то время, ненадолго...

– Не говори глупостей! Ни на какое-то время, ни на никакое время! Ты что думаешь, я дурак? Я дам тебе куртку, ты ее тут же продашь, и я больше никогда ее не увижу. Лучше бы тебе смотреть отсюда по-быстрому, пока я на самом деле не разозлился! – Сказав это, он поднялся на ноги, и тут же стало очевидно, что он сантиметров на двадцать выше Диты.

– Мне твоя куртка нужна только на время. Ты можешь пойти со мной, чтобы быть уверенным, что она не исчезнет. Я тебе заплачу – моя пайка хлеба от ужина.

Дита произнесла волшебные слова: еда. Лишняя пайка хлеба для растущего мальчишки, который уже не помнит, когда в последний раз ему удавалось обмануть вечное чувство голода, – это могущественные слова. Желудок урчит постоянно, желание поесть превратилось в наваждение, и единственная вещь, которая приводит в большее возбуждение, чем мечты о девчачьей ножке, – это ножка куриная.

– Целая пайка хлеба... – повторяет он, взвешивая сделанное предложение, уже представляя себе будущий банкет. Даже можно будет оставить приличный кусок на другой день, чтобы съесть его с той бурдой, что дают на завтрак. – Говоришь, что наденешь куртку только на время, а я буду рядом с тобой, и потом ты мне ее вернешь?

– Да, именно так. Мы работаем с тобой в одном бараке, так что я не смогу тебя обмануть. Если я тебя обману, ты обо всем расскажешь, и меня выгонят с моего места в блоке 31. А уходить оттуда никто из нас не хочет.

– Ну ладно... Мне нужно подумать.

Он приглашает приятелей посоветоваться, и они встают плотным кружком, их головы сближаются, над ними гудением пчелиного роя поднимается шепот обсуждения, из которого прорываются отдельные смешки. Наконец улыбающийся Милан поднимает голову с выражением триумфатора.

– Идет. Я на время уступаю тебе куртку в обмен на пайку хлеба... а еще ты нам дашь потрогать свои сиськи! – Он на секунду скашивает взгляд на своих приятелей и видит, что они подтверждают это решение с энтузиазмом – кивают так яростно, как будто у них не шеи, а пружины.

– Не будь идиотом. Да ведь у меня почти и нет...

Она видит, что все трое начинают хохотать, как если бы они отлично приколотись или же пытаются этим гоголом скрыть нервы и неудобство, с которыми для них связаны разговоры на подобные темы. Дита тяжело вздыхает. Если бы они не возвышались над ней на целую голову, она бы отвесила каждому по пощечине.

За то, что козлы. Или идиоты.

Но у нее нет другого выхода.

В конце концов, какая разница?

– Ладно, согласна. А теперь дайте мне примерить эту дурацкую куртку.

Милан вздрагивает от холода, оставшись в одной рубашке, застегнутой на три пуговицы. Дита надевает на себя этот тулуп, он ей страшно велик – как она и хотела. Куртка обладает одной особенностью, которая в этот момент делает ее для Диты особо ценной и которой отмечены очень немногие носильные вещи в лагере, – у нее есть капюшон. И она тут же пускается в путь, за ней по пятам следует Милан.

– Куда идем?

– В барак номер пятнадцать.

– А сиськи?

– Потом.

– Говоришь, в пятнадцатый? Но это же мужской барак...

– Ну да... – и Дита набрасывает на голову капюшон, который скрывает ее практически целиком.

Милан останавливается.

– Погоди-ка, погоди-ка... Уж не собралась ли ты туда войти? Женщинам это запрещено. Я с тобой не пойду – если тебя поймают, то накажут и меня. Ты, наверное, немного не в себе.

– Я войду туда. С тобой или без тебя.

Парень от удивления выкатывает глаза и еще больше трясется от холода.

– Если хочешь, можешь подождать меня у входа.

Милан вынужден ускорить шаг, потому что Дита идет очень решительно. За несколько метров она замечает, что мама бродит возле барака отца, но даже не останавливается, чтобы ее окликнуть. Лизль Адлерова так расстроена, что не узнаёт свою дочку в мужской куртке. Дита без малейшего колебания входит в барак, никто не обращает на нее внимания. Милан остается на улице, чертыхаясь и мучаясь сомнениями, не обвела ли эта девка его вокруг пальца и увидит ли он еще хоть когда-нибудь свою драгоценную куртку.

Дита идет между рядов нар. Кто-то из мужчин сидит верхом на горизонтальной печной трубе, пока печка не топится, другие устроились на нарах. Хотя до отбоя лежать на них запрещается, некоторые все же лежат; это говорит о том, что здешний *капо*, скорее всего, добросердечен. Запах здесь очень резкий, воняет даже сильнее, чем в женском бараке: горький смрад застарелого пота, от которого кружится голова. Она не сняла капюшон, и никто на нее не смотрит.

В глубине барака она видит отца. Он лежит на соломенном тюфяке нижней полки. Дита наклоняется к его лицу и снимает капюшон.

– Это я... – шепчет она папе.

Глаза его наполовину закрыты, но он приоткрывает их, услышав голос дочки. Дита кладет руку ему на лоб и чувствует, что лоб горит. Она не уверена в том, что папа узнал ее, но все равно берет его руку в свои и продолжает шептать ему. Не очень легко говорить с человеком, когда ты не знаешь, слышит ли он тебя, но слова слетают с ее губ неожиданно легко – те слова, которые никогда раньше не говорились, потому что всегда казалось, что еще будет время, что еще успеется.

– Ты помнишь, как дома учил меня географии? Я вот очень хорошо помню... Ты столько всего знаешь! Я всегда так гордилась тобой, папа. Всегда.

И она говорит и говорит: о счастливых днях своего детства в Праге, о хороших днях в гетто Терезина, о том, как сильно она сама и мама его любят. Она повторяет это по многу раз, чтобы ее слова просочились сквозь пелену жара. И ей кажется, что он слегка пошевелился. Может, он и слышит ее – там, внутри.

Ханс Адлер борется с бактериями пневмонии, практически не имея в своем распоряжении никакого оружия: он один, истощенный и измотанный военным лихолетьем, против целой армии пышущих энергией вирусов. Дита вспоминает, что в книге «Охотники за микробами» Поля де Крайфа эти твари выглядели под микроскопом в точности как свора хищников в миниатюре.

Слишком сильны армии, с которыми нужно сражаться.

Дита опускает руку отца, укладывает ее под грязную простыню и целует его в лоб. Снова накрывает голову капюшоном и собирается уходить. И тут в нескольких шагах позади себя видит Милана. Думает, что он, должно быть, страшно злится, но юноша смотрит на нее с неожиданной для него нежностью.

– Твой отец? – спрашивает он.

Она молча кивает. Дита шарит у себя за пазухой и вынимает свой кусок хлеба, выданный на ужин. Протягивает ему эту пайку, но парень не вынимает руки из карманов и отрицательно качает головой. Уже на выходе из барака Дита снимает куртку, и мама, узнав дочку, оторопело смотрит на нее.

– Дашь ее на минутку моей маме? – Дита даже не ждет ответа. – Надень ее и входи.

– Но, Дита...

– Тебя в ней не узнают! Давай! Он в самом конце барака, справа. Без сознания, но мне кажется, что он нас слышит.

Женщина расправляет на голове капюшон и, закрыв лицо, входит в барак. Милан по-прежнему стоит рядом с Дитой и молчит, не зная, что сказать или что сделать.

– Спасибо, Милан.

Парень молча кивает, все еще не решаясь хоть что-то сказать, словно подбирает слова.

– А что касается... ну, сам знаешь, – говорит ему Дита, показывая взглядом себе на грудь, почти мальчишечью.

– Забудь об этом, пожалуйста! – Он, покраснев, отчаянно машет руками. – Мне пора идти, куртку отдашь завтра.

Разворачивается и быстро, почти бегом, уходит.

По дороге он обдумывает, как объяснить своим приятелям, что возвращается и без куртки, и без девчонки. Они ведь наверняка подумают, что он дурак какой-то. Он мог бы сказать им, что хлеб съел еще по дороге и что грудь у нее уже потрогал, причем за них всех, на что он имеет полное право, потому что куртка-то его. Но тут же отрицательно качает головой. Они сразу же догадаются, что это брехня. Он скажет им правду. Они, ясное дело, начнут над ним прикалываться, скажут, что он остолоп. Но он знает, как с этим справиться. Между мальчишками взаимопонимание достигается просто: первому, кто хоть слово ему поперек скажет, он отвесит такую плюху, что тот свои зубы будет собирать с лупой. И все дела – опять дружба до гроба.

Пока Дита ждет возвращения мамы, рядом с ней появляется Маргит. По огорченному выражению ее лица Дита понимает, что Маргит знает о ее отце. Новости в Аушвице, особенно плохие, подобны масляному пятну на бумаге. Маргит подходит к подруге и заключает ее в объятия.

– Как твой папа?

Дита понимает, что за этим вопросом скрывается другой: он выживет?

– Он плох, температура высокая, и хрипы слышны при дыхании.

– Нужно сохранять веру, Дита. Твой отец много всего пережил.

– Даже слишком.

– Он сильный мужчина. Он выстоит.

– Был сильным, Маргит. Но последние годы очень его состарили. Я-то всегда была оптимисткой, но теперь уж и не знаю, что и думать. Не знаю, выстоим ли мы.

– Конечно, выстоим.

– Почему ты так уверена?

В поисках ответа подруга Диты несколько секунд молчит, покусывая нижнюю губу.

– Потому что я хочу в это верить.

Обе погружаются в молчание, не произнося больше ни слова. Они уже почти вышли из того возраста, когда думаешь, что стоит только пожелать, и задуманное исполнится. Когда ты маленький, мечты – как меню в ресторане: выбирай, что хочешь, и будущее принесет твой заказ на серебряном блюде. А потом детство остается позади, и жизнь подкидывает тебе нечто такое, о чем ты даже никогда и не думал. Официант подходит к твоему столику и объявляет, что кухня закрыта.

Гудит сирена – сигнал комендантского часа, и мама Диты, как призрак, шаркающий по грязи, выходит из барака.

– Нам нужно поторопиться, – говорит Маргит.

– Давай, беги, – отзывается Дита. – Мы пойдем чуть помедленнее.

Маргит прощается с ними, и мать с дочерью остаются одни. Взгляд у мамы потерянный.

– Как папа?

– Немного лучше, – отвечает Лизль. Но голос у нее такой хриплый, что поверить ей невозможно. Кроме того, Дита хорошо ее знает: эта женщина всю свою жизнь прилагала все усилия к тому, чтобы все было хорошо, чтобы ничто не нарушило заведенный порядок вещей.

– Он тебя узнал?

– Да, конечно.

– Значит, он что-то тебе сказал?

– Нет... он немного устал. Завтра ему будет лучше.

Больше они до самого барака не обменялись ни словом.

Завтра ему будет лучше.

Ее мама произнесла эти слова с не допускающей ни малейшего сомнения уверенностью, а мамы кое-что в таких делах понимают. Ведь это они не спят у постели больных детей, когда у них жар. Это они кладут ладонь на лобик, точно зная, что нужно сделать, чтобы ребенок поправился. Дита берет маму за руку, и обе они ускоряют шаг, опасаясь попасть на глаза охраннику, который может задержать только за то, что ты на улице в неурочный час – после сигнала.

Когда они входят в барак, почти все женщины уже лежат на нарах. Лицом к лицу они сталкиваются с *капо*, венгеркой с оранжевым знаком на рукаве – знаком обыкновенной преступницы, знаком высшего среди узников статуса. Воровка, мошенница или убийца... любая из них стоит выше, чем еврейка. Она только что обошла барак, проверяя, чтобы на месте стояли емкости, используемые для отправления естественных надобностей по ночам, и, увидев, что эти двое опоздали, поднимает руку с зажатой в ней палкой, угрожая ударить.

– Извините, *капо*, но мой отец...

– Заткни пасть и полезай на свою койку, идиотка.

– Да, пани.

Дита дергает маму за руку, и они идут к своим нарам. Лизль медленно залезает и, прежде чем улечься, на мгновение поворачивается к дочке. Ее губы ничего не говорят, но глаза выражают страдание.

– Не волнуйся, мама, – старается подбодрить ее дочка. – Если папа и завтра будет чувствовать себя так же, мы поговорим с его *капо*, попросим, чтобы его показали врачу. Если нужно, я поговорю со своим директором, из блока 31. Пан Хирш, конечно же, сможет нам помочь.

– Завтра ему будет лучше.

Свет гаснет, Дита желает спокойной ночи своей соседке по койке, в ответ не получая ни звука. На нее навалилась такая тоска, что даже глаза не закрываются. Она перебирает встающие в памяти образы отца, стараясь отобрать лучшие. Есть одно воспоминание-картинка, которое нравится ей больше всего: папа и мама сидят за роялем. Оба элегантные, красивые. Отец в белой рубашке с расстегнутыми и подвернутыми манжетами, темный галстук, подтяжки; мама в узкой блузке, выгодно подчеркивающей талию. Они смеются: по-видимому, им не удастся скоординировать свои движения, чтобы сыграть в четыре руки. Самое замечательное в этом образе то, что они счастливы: они пока молоды и полны сил, и будущее их еще живо.

Последняя картинка, закрывающая в ее памяти этап нормальной жизни, закончившейся с отъездом из Праги, это вид их квартиры в квартале Йозефов в тот самый момент, когда они вышли на лестницу и опустили чемоданы на площадку, чтобы запереть за собой дверь. И придется ли им когда-нибудь снова ее открыть, им неизвестно. Папа на секунду вернулся в квартиру, а они смотрели на него с лестницы. А он подошел к стоящему в гостиной на бюро глобусе и в последний раз его крутанул.

Теперь Дита наконец уснула.

Но сон ее неспокоен, что-то ее тревожит. На рассвете она внезапно просыпается с явственным ощущением, что кто-то ее зовет. Дита в тревоге открывает глаза, сердце громко стучит. У лица – ноги соседки по койке, вокруг – тишина, прерываемая только храпом и монотонным бормотанием спящих женщин. Всего лишь кошмар... но у Диты дурное предчувствие. В голове мысль: позвал ее папа.

С самого раннего утра в преддверии проверки территория концлагеря полнится охранниками и *капо*. Два часа проверки, которые становятся для Диты самыми длинными в жизни. Они с мамой все время переглядываются. Разговаривать запрещено, и в данном случае это даже

во благо. Когда построение закончилось и люди расходятся, вставая в очереди за едой, Дита с мамой используют отпущенное на завтрак время, чтобы добежать до барака 15. Как только они подходят к бараку, из очереди им навстречу направляется пан Бреди. На его согбленных плечах лежит груз плохих новостей.

– Пани...

– Мой муж? – спрашивает мама дрогнувшим голосом. – Ему стало хуже?

– Он умер.

Как двумя такими короткими словами может быть перечеркнута целая жизнь? Как может уместиться в эти немногочисленные буквы целая пропасть отчаяния?

– Мы можем пройти к нему? – спрашивает Лизль.

– Мне жаль, но его уже увезли.

Им бы следовало это знать. Покойников забирают ранним утром, наваливают тела кучей на тележку и отвозят в крематорий.

Мама Диты как будто на мгновение застывает, а потом чуть не падает. На самом деле известие о смерти ее не ошарашило – возможно, она поняла все с первой минуты, увидев мужа распростертым на нарах. Но невозможность даже проститься с ним – оглушительный удар.

Тем не менее Лизль преодолевает себя, вновь обретает лицо, которое в течение нескольких секунд чуть было не потеряла, и кладет руки на плечи дочери, утешая ее.

– По крайней мере, твой отец не страдал.

Диту, которая чувствует, как кровь буквально вскипает у нее в жилах, эти мамины слова, призванные успокоить дочку, как маленькую девочку, раздражают еще сильнее.

– Говоришь, не страдал? – восклицает она в ответ, резко вырываясь из маминого объятия. – У него отняли работу, дом, честь, здоровье... А под конец оставили подыхать, как собаку, на кишаших блохами нарах. Этого мало для страдания? – На последних словах она уже кричит в голос.

– Такова воля Божия, Эдита. Мы должны смириться.

Девочка отрицательно мотает головой. Нет и нет.

– Но я не желаю смиряться! – визжит она, стоя посреди *лагеритрассе*. Хотя сейчас время завтрака, очень немногие обращают на нее внимание. – Явись передо мной Бог, я бы сказала, что думаю о нем и о его извращенном милосердии!

Ей и так дурно, а еще хуже оттого, что Дита понимает, что ведет себя слишком резко с мамой, которая как раз сейчас в наибольшей степени нуждается в ее поддержке и опоре, но она просто не может скрыть: такая покорность приводит ее в ярость. Некоторое облегчение приносит ей появление пани Турновской. Она, представ перед ними закутанной в свой огромный платок, уже, должно быть, в курсе того, что здесь происходит. Сильно, но нежно она сжимает руку Диты и тепло обнимает Лизль. Бедная женщина бросается в объятия своей подруги с неожиданной эмоциональной силой. Это как раз то, что должна была бы сделать она сама, говорит себе Дита: обнять маму. Но она не в силах, не может она никого обнимать, когда в ней клокочет ярость, она хочет только кусаться и крушить все вокруг – так же, как сокрушили ее.

Рядом появляются еще три женщины, которых Дита едва знает, разве что в лицо. И начинают громко рыдать. Дита, чьи глаза совершенно сухи, с изумлением смотрит на них. Они стремятся подойти поближе к ее матери, но пани Турновская опережает их.

– Вон отсюда! Убирайтесь!

– Мы всего лишь хотели выразить пани свое сочувствие.

– Если вы не уберетесь отсюда в десять секунд, я вышвырну вас пинками!

Лизль в таком шоке, что не может адекватно реагировать, а Дита не чувствует в себе сил, чтобы просить женщин извинить их и остаться.

– Что это вы такое делаете, пани Турновская? Что ж это такое, все вокруг с ума посходили?

– Это падальщицы. Они знают, что родные умерших теряют от горя аппетит, и слетаются пролить несколько крокодиловых слезинок, чтобы заполучить ваши пайки.

Дита ошеломлена; в этот миг она возненавидела весь мир. Она просит пани Турновскую, чтобы та присмотрела за мамой, а сама уходит. Ей просто необходимо куда-то пойти, но пойти некуда. Не то, что ей тяжело примириться с мыслью, что возле нее никогда больше не будет ее отца, но она просто не желает мириться с этой мыслью. Не хочет она принять эту мысль – ни сейчас, ни позже. Она идет, сжав руки в кулаки. Костяшки пальцев побелели. Ярость сжигает ее изнутри.

Никогда больше не вернется он с работы в своем двубортном пиджаке и мягкой фетровой шляпе, не приложит ухо к радиоприемнику, подняв глаза в потолок, никогда не посадит ее на колени, чтобы показывать на глобусе страны мира, никогда мягко не упрекнет за не очень разборчивый почерк.

А она даже не может плакать, в глазах ее совершенно сухо. И это еще больше ее злит. Поскольку идти ей некуда, ноги сами приводят ее в блок 31. Дети заняты своим завтраком, а она, не задерживаясь, идет в дальний угол барака, стремясь найти убежище за поленницей. И почти что подскакивает от неожиданности, заметив в этом уголке одинокую фигуру, примостившуюся на скамеечке.

Профессор Моргенштерн, как всегда, приветствует ее с безукоризненной вежливостью, но на этот раз Дита не улыбается, и профессор спешно сворачивает свои театральные поклоны.

– Мой отец...

Произнеся эти слова, Дита осознает, что ее кровь – текущий по венам бензин, к которому поднесли искру, и теперь внутри ее струится пламя. И одно-единственное слово слетает с ее губ порождением желчной ярости:

– Убийцы!

Она пробует это слово на вкус, пережевывает, повторяет пять, десять, пятьдесят раз:

– Убийцы, убийцы, убийцы, убийцы!..

Она пинает табуретку, а потом хватается за нее и поднимает над головой, как дубину. Ей хочется что-нибудь разбить, вот только она не знает что. Хочется кого-нибудь поколотить, но не знает кого. Глаза у нее широко раскрыты, она задыхается от ярости. Профессор Моргенштерн поднимается на ноги с неожиданной для него, старика весьма уязвимого вида, ловкостью и вынимает из рук Диты табуретку сильно, но мягко.

– Я их убью! – в гнев кричит она. – Достану пистолет и убью их!

– Нет, Дита, нет, – очень медленно и спокойно произносит профессор. – Наша ненависть – это их победа.

Дита дрожит. Профессор обнимает ее, и она кладет голову ему на грудь, прячась в объятиях старика. За поленницу заглядывают головы нескольких преподавателей, встревоженных грохотом, за ними – целый батальон любопытствующих мальчишек и девчонок, но профессор подносит палец к губам, требуя тишины, а затем кивками показывает, что всем лучше уйти. Пораженные непривычно серьезным видом профессора Моргенштерна, ему подчиняются и оставляют их одних.

Дита признается ему, что ненавидит себя за то, что сбежала, и за то, что не может плакать; за то, что подвела отца, за то, что не смогла спасти его. Ненавидит себя за все это. Старый профессор в ответ говорит ей, что слезы придут, как только ее сердце покинет ярость.

– Как же мне без ярости? Мой отец никогда никому не сделал ничего дурного, никогда и ни к кому не проявил неуважения... Его лишили всего, что у него было, а теперь, в этой вонючей дыре, его лишили жизни.

– Послушай меня, внимательно послушай, Эдита: те, кто ушел, уже не страдают.

– Те, кто ушел, уже не страдают... – шепчет она еще и еще раз, словно эти слова – бальзам, который нужно наложить на рану несколько раз, чтобы она затянулась. – Те, кто ушел, уже не страдают, те, кто ушел, уже не страдают...

Моргенштерн знает, что это утешение – скудное, древнее, истертое, одна из формул стариков. Но в Аушвице оно – то лекарство, которое помогает утолить горе по ушедшим. Дита перестает выкручивать себе пальцы, кивает и медленно садится на скамейку. Профессор Моргенштерн засовывает руку себе в карман и вынимает оттуда слегка помятый и несколько пожелтевший бумажный самолетик. И протягивает его Дите.

Девочка смотрит на потрепанный бумажный самолетик – такой же уязвимый, как ее папа в его последние часы. Такой же хрупкий, как этот старый полоумный профессор с его разбитыми очками... Они все такие хрупкие... И вот тут она начинает чувствовать, что сама она – такая незначительная, такая неожиданно слабая. Бетон ярости, сковывающий нас и делающий такими крепкими в подобные моменты, рассыпается, и из ее глаз наконец брызжут слезы и гасят пожар, пожиривший все подряд.

Бывший архитектор утвердительно кивает, и она выплакивает свое горе на плече в узкую полоску старого Моргенштерна.

– Те, кто ушел, уже не страдают...

Никто не знает, сколько страданий предстоит претерпеть еще тем, кто остается.

Дита поднимает голову и утирает рукавом слезы. Благодарит профессора и говорит ему, что до окончания завтрака ей нужно сделать еще одно важное дело. И со всех ног бросается в свой барак. Она нужна своей маме. Вернее, ей нужна ее мама.

Не все ли равно...

Мама в компании пани Турновской сидит на пересекающей весь барак дымовой трубе погасшей печи. Дита подходит к обеим женщинам и видит, что Лизль сидит неподвижно, погрузившись в себя. У ног пани Турновской стоит ее миска, пустая, и та пьет утренний чай из кружки Лизль, размачивая в ней вечернюю пайку хлеба, которую внезапно ставшая вдовой женщина не съела, должно быть, на ужин.

Торговка фруктами застывает, увидев перед собой Диту, взгляд которой не отрывается от миски ее мамы.

– Твоя мать не хотела есть, – говорит она Дите, ошарашенная ее внезапным появлением, которое застало ее на месте преступления. – Я долго ее уговаривала. А так как совсем скоро мы уже должны быть в мастерской, нам пришлось бы все это выкинуть...

Они молча смотрят друг на друга. Мать Диты мыслями где-то далеко, должно быть, затерялась в стране своих воспоминаний. Пани Турновская протягивает девочке миску, чтобы она допила последние глотки оставшейся там жидкости, но Дита качает головой. В ее взгляде не осуждение, а какая-то смесь понимания и грусти.

– Доедайте, пожалуйста. Нам обеим нужно, чтобы у вас было достаточно сил, поскольку маме понадобится ваша помощь.

На лице матери Диты – безмятежность восковой фигуры. Дита опускается перед ней на корточки, и женщина реагирует движением глаз. Взгляд ее сосредоточивается на дочке, и безжизненное спокойствие разрушается. Дита заключает мать в крепкие объятия, стискивает ее. И из глаз ее мамы наконец-то начинают литься слезы.

15

Виктор Пестек – уроженец Бессарабии, территории, которая испокон веков принадлежала Молдавии, но в XIX веке отошла к Румынии, стране, которая с самого начала поддерживала нацистов. Его форма эсэсовца, пистолет на поясе и ефрейторские ⁶ лычки делают из него в Аушвице весьма значительную фигуру. Высшее существо – у его ног простираются тысячи людей, которые даже обратиться к нему не могут без разрешения. Тысячи человек, вынужденных делать то, что он велит, решение о смерти которых он примет, не моргнув глазом.

Каждый при виде Пестека, шагающего с прямой спиной и яростным выражением лица, в надвинутой на лоб высокой фуражке и сложенными за спиной руками, подумал бы, что он неуязвим. В Аушвице почти никто не есть то, чем он кажется. Узники об этом не знают, но СС тоже не монолит, там есть трещины. Вот уже несколько недель он не может выкинуть из головы одну женщину.

На самом деле это не женщина, а девушка – совсем юная, и он с ней даже парой слов не смог обменяться, даже имени ее не знает. Впервые он увидел ее, когда в один прекрасный день ему выпало надзирать за земляными работами. С первого взгляда она была совсем обыкновенной еврейкой: драная одежда, платок на голове, худое лицо. Но вдруг один ее жест, внешне совсем ничемный, его зачаровал: взяв пальцами один из упавших ей на глаза светлых локонов, она вытянула его до губ и прикусила. Ничего не значащий жест, произвольное и не осознаваемое ею движение, но оно делало ее уникальной, единственной в своем роде. Виктор Пестек влюбился в этот жест.

Он присмотрелся к ней: миловидное лицо, золотистые волосы, хрупкость щегла в клетке. И уже не мог оторвать от нее глаз все то время, что возглавлял охранников, надзирающих за работой. Предпринял пару попыток приблизиться к ней, но заговорить не решился. Она, по всей видимости, его боялась. Это не удивляло.

Когда он вступал в румынскую «Железную гвардию», ему казалось, что перед ним открываются блестящие перспективы: ему выдали щегольскую светло-коричневую форму, его вывозили за город распевать патриотические песни, ему дали возможность почувствовать себя значительным. Вначале крушить грязные кибитки цыган, кочующих по округе, казалось ему даже очень веселым делом.

Потом все стало усложняться. От рукопашных столкновений перешли к использованию цепей в разного рода стычках. Затем появились пистолеты. Среди его знакомых имелось и несколько цыган, но, что самое главное, он водил дружбу с некоторыми евреями. Например, среди них – братья Ладислаусы. Он не раз после школы заходил к ним домой делать уроки, они вместе бегали в лес за каштанами. Но однажды, совершенно не понимая, как так получилось, он уже стоял у дома Ладислаусов с факелом поджигателя в руке.

Он мог бы отказаться, уйти, но этого не сделал. Платили в СС хорошо. Люди одобрительно похлопывали его по плечу, семья в первый раз в жизни им гордилась – когда он приехал домой на побывку, они отправились к фотографу и заказали его портрет в военной форме, который позже занял почетное место на буфете в гостиной.

Настал день, когда его откомандировали в Аушвиц.

Теперь он уже не уверен в том, что домашние испытывали бы гордость, если бы узнали, что его работа – принуждать людей трудиться до изнеможения, до смерти, сопровождать детей в газовые камеры, бить их матерей, если сопротивляются. Ему кажется, что все это какая-то глупая ошибка, и время от времени его охватывает ужас, что по нему это станет заметно. Пару раз он уже получал замечания от офицеров, что ему следует быть с узниками поосторожнее.

⁶ Ефрейтор – второе в порядке старшинства звание солдата.

Распоряжения отправиться в семейный лагерь ему не давали, пребывание там эсэсовцев, когда они не несут службу, командованием не допускается, но сержант на контрольном пункте – его друг. Он проходит без каких бы то ни было затруднений, караульные ему козыряют. Это ему нравится.

Заканчивается вечерняя поверка. Он знает, в какой отряд входит чешская девушка, и, когда строй рассыпается, вылавливает ее взглядом из растекающейся во все стороны толпы женщин. Идет за ней, но она замечает его и ускоряет шаг. Он тоже. Теперь другого выхода, кроме как крепко ухватить ее за руку, чтобы остановить, у него уже не остается. Косточки у нее тонкие, кожа шероховатая, но то, что девушка оказалась к нему так близко, наполняет его какой-то странной эйфорией. Она наконец поднимает к нему лицо и в первый раз смотрит ему в глаза. У нее синие, очень блестящие глаза, а в них – испуг. Он видит, что другие узницы тоже остановились, в некотором отдалении от них. Эсэсовец с грозным видом оборачивается в их сторону, и стайка любопытных мгновенно рассеивается. Вызывать страх у других – очень удобно, привыкание к этому делу возникает быстро.

– Меня зовут Виктор.

Она молчит, он торопливо отпускает ее запястье.

– Извини, я не хотел тебя напугать. Я только... хотел узнать твое имя.

Девушка мелко дрожит, в горле у нее стоит ком, словам едва-едва удается выйти наружу.

– Меня зовут Рене Науман, господин, – отвечает она. – Я что-то нарушила? Вы меня накажете?

– Нет, нет, ничего подобного! Я всего лишь обратил на тебя внимание... – Эсэсовец остановился, подыскивая слова. – Я хочу быть тебе другом.

Рене с изумлением смотрит на него.

Другом? Эсэсовцу можно подчиняться, перед ним можно заискивать или быть его осведомителем в обмен на какие-то поблажки, можно даже стать его любовницей. Но разве можно быть эсэсовцу другом? Можно ли быть другом собственного палача?

Поскольку она продолжает взирать на него с выражением величайшего изумления, Пестек опускает голову и тихо произносит:

– Я знаю, о чем ты думаешь. Думаешь, что я один из этих отмороженных эсэсовцев. Да, это так. Но я не настолько безумен. Мне вовсе не нравится все то, что делают с вами. У меня это вызывает омерзение.

Рене по-прежнему не раскрывает рта. Она растеряна, она не понимает, во что все это может вылиться. Ей слишком часто приходилось слышать об эсэсовцах, которые притворяются, кроют Рейх последними словами, стремясь втереться в доверие к узникам, завязать с ними дружеские отношения и вытянуть из них информацию о Сопротивлении. Ей страшно.

Младший офицер вынимает из кармана небольшой предмет и протягивает его девушке. Нечто квадратное, из лакированного дерева. Он пытается вложить коробочку в руку Рене, но она делает шаг назад.

– Бери, это тебе. Подарок.

Она недоверчиво смотрит на желтую коробочку, он ее открывает. Раздается металлического тембра песенка.

– Это музыкальная шкатулка, – гордо объявляет он.

Рене несколько мгновений разглядывает предмет, который ей протягивают, но не проявляет ни малейшего желания взять его. Он, широко улыбаясь, кивает, предвкушая ее радость.

Рене не выражает никакой радости. Ее губы твердо сжаты. Глаза ни о чем не говорят.

– Что такое? Она тебе не нравится? – смешавшись, спрашивает он.

– Это не едят, – роняет она в ответ. Ее голос царапает сильнее, чем шершавый февральский ветер, пронзающий все вокруг.

Пестек погружается в смятение, осознав собственную глупость. Целую неделю он искал на черном рынке музыкальную шкатулку. Бегал туда-сюда, общался с самыми разными коллегами-охранниками и евреями-коммерсантами, пока не нашел то, что искал. Давал на лапу, выпрашивал, запугивал. Искал, рыл носом землю, наконец раздобыл. И только теперь до него дошло, что подарок этот абсолютно бесполезен. В том месте, где люди страдают от голода и холода, единственное, что пришло ему в голову, – подарить девушке идиотскую музыкальную шкатулку.

Это не едят...

Он сжимает пальцы в кулак с такой силой, что раздается треск музыкальной коробочки, которую он раздавил, словно воробья.

– Прости меня, – говорит он, искренне огорченный. – Я полный дурак. Ничего не сообщаяю.

У Рене создается впечатление, что эсэсовец по-настоящему расстроен, что его огорчение непритворно и что ему действительно не безразлично, что она о нем думает.

– Чего бы тебе хотелось, что тебе принести?

Она молчит. Ей прекрасно известно, что есть девушки, продающие себя за пайку хлеба. На ее лице читается такое явное негодование, что Пестек понимает, что снова дал маху.

– Ты неправильно поняла мои слова. Я ничего от тебя не хочу. Только сделать что-нибудь хорошее посреди всего того ужаса, что мы творим здесь каждый божий день.

Рене по-прежнему молчит. Эсэсовец понимает, что завоевать ее доверие будет непросто. Девушка берет в руку свой локон и несет его к губам тем самым жестом, который его пленил.

– Хочешь, чтобы я пришел повидать тебя еще раз?

Она не отвечает. Взгляд девушки продолжает полировать застывшую грязь под ногами. Он эсэсовец, он может делать что хочет, ему не нужно просить у нее разрешение, чтобы поговорить с ней. Или чтобы сделать все что угодно. Она ни на что не соглашается, ни к чему не дает повода, но Пестек так воодушевлен, что принимает ее молчание за робкое согласие.

В конце концов, она ведь не сказала «нет».

Он радостно улыбается и прощается неловким движением руки.

– До скорого... Рене.

Она смотрит вслед этому странному эсэсовцу и еще долго стоит, не двигаясь с места, настолько сбита с толку всем происшествием, что не знает, что и подумать. На черной грязи остаются лежать разлетевшиеся серебристые шестеренки, пружинки и золотого оттенка щепочки.

Дите очень нелегко. Осознание того, что отца больше нет, давит невыносимо тяжелым грузом. Она перемещается по лагерю с медлительностью человека, к лодыжке которого невидимой цепью прикована пудовая гиря. Как можно ощущать физическую тяжесть того, чего уже нет? Как может давить пустота?

Но она давит.

Этим утром девочка едва смогла спуститься с нар. И сделала это так медленно, что вывела из себя монструозную соседку по соломенному тюфяку. Оказавшись перед препятствием в виде какого-то ленивца, слезавшего со второго этажа нар в темпе замедленной съемки, та разразилась проклятиями и ругательствами, да такими грязными, которых Дита никогда в жизни не слышала. В других обстоятельствах она бы оторопела от изливавшейся бурным потоком ярости старожилки, но у нее не хватало сил даже на испуг. Она только повернула на звуки голову и уставила на соседку такой пристальный и настолько безразличный взгляд, что та внезапно заткнулась и больше ни слова не произнесла, пока Дита медленно, очень медленно не спустилась.

После завершившего вечернюю поверку приказа разойтись дети 31-го блока шумно выбегают на улицу – играть или к своим родителям. Дита с медлительностью растения соби-

рает книги и, нога за ногу, добирается до комнатки *блокэльтестера*, чтобы уложить книжки в тайник. Фреды у себя, он перебирает отданные им посылки, попавшие в его руки уже наполовину выпотрошенными, но все же там еще есть возможность найти что-нибудь съестное, что сможет украсить обед в бараке в Шабат.

– Я тут для тебя кое-что припас, – говорит ей Хирш. – Пригодится для ремонта книг.

И протягивает ей изящные школьные ножнички синего цвета с закругленными концами. Ему наверняка пришлось приложить немало усилий, чтобы раздобыть такой исключительный для концлагеря предмет. И заведующий блоком сразу же выходит, чтобы она не успела его поблагодарить.

Дита решает воспользоваться этой возможностью, чтобы подрезать нити расползающегося переплета старой чешской книги. Она предпочитает найти себе какое угодно занятие в блоке 31 и задержаться здесь подольше, ведь рядом с мамой – пани Турновская и другие знакомые по Терезину, а ей сейчас не хочется никого видеть. Девочка уже убрала все книги, кроме этой, совсем растрепанной. Она достает из тайника бархатный мешочек, перевязанный веревочкой, где хранится библиотечная аптечка. Когда-то мешочек содержал четыре засахаренных миндаля, использованных в качестве приза в напряженнейшем турнире по разгадыванию кроссвордов и вызвавших у победителей беспрецедентное ликование. Время от времени Дита подносит мешочек к носу и вдыхает чудесный запах засахаренных орешков.

Она уходит в свой уголок за дровами и прилежно принимается за работу. Сначала обрезает лишние нитки своими новыми ножницами. Потом, словно накладывая швы на рану, примитивной иглой с продетой в нее ниткой вшивает страницы, которые того и гляди выпадут. Результат трудов выглядит не слишком эстетично, но листы теперь держатся крепко. Идет в дело и лейкопластырь, которым подклеиваются надорванные страницы, и книга перестает быть тем, что вот-вот развалится на части.

Дита стремится уйти от омерзительной реальности концлагеря, убившей ее отца. Она знает, что книга – это дверца, что ведет на секретный, полный чудес чердак: открой ее и войди. И мир вокруг тебя изменится.

Мгновение она раздумывает: стоит или не стоит читать эту теряющую страницы, не подходящую, по мнению Хирша, для юных барышень, книжку, на обложке которой видно название: «Похождения храброго солдата Швейка». Но сомнения ее кончаются еще быстрее, чем половник полуденного супа.

В конце концов, кто сказал, что она хочет стать барышней?

В любом случае, ей бы хотелось быть микробиологом или летчицей, а вовсе не куклой, одетой в платье с воланами и связанные резиночкой гольфы.

Автор помещает действие романа в Прагу времен Первой мировой войны, а главного героя изображает толстяком-балагуром, которого, уже однажды освобожденного от призыва в действующую армию – «не годен по причине слабоумия», снова вызывают в призывную комиссию, и он, предположительно страдая от ревматических болей в коленях, является туда в инвалидном кресле. Эдакий плут, любящий поесть от пуза, заглотить всю выпивку в пределах досягаемости и как можно меньше работать. Его зовут Швейк. На жизнь он зарабатывает, отлавливая на улице бродячих собак и продавая их как породистых. Он со всеми очень вежлив: и в его движениях, и во взгляде миру является безграничная его доброта. По поводу каждого предъявляемого ему требования, всего, что его затрагивает, у него неизменно находится что рассказать: историю или анекдот, служащие иллюстрацией к данному случаю, хотя очень часто рассказы эти оказываются ни к месту и не находят благодарных слушателей. Но самое поразительная его черта, вводящая в ступор изумления любого: когда кто-то на него нападает, кричит или оскорбляет, он, вместо того чтобы ответить тем же, встает на сторону своего обидчика. Таким способом он добивается того, что, убедившись в его полном и окончательном идиотизме, его оставляют в покое.

– Вы совершеннейший идиот!

– Да, сударь, вы говорите истинную правду, – отвечает он самым мягким и обезоруживающим тоном.

Дита скучает по доктору Мэнсону, которого она, глотая страницы книги, сопровождала в поездках по шахтерским городкам Уэльских гор, или даже по Гансу Касторпу, безмятежно раскинувшемуся лицом к Альпам в своем шезлонге. Эта же книга хочет вернуть ее в Чехию, да еще и к войне. Глаза ее отрываются от страниц романа, она не очень хорошо понимает, что ей хочет сказать этот чешский автор, о котором она никогда прежде не слышала. Потерявший тормоза офицер разносит в пух и прах главного героя, пузатого недотепу, грязного и обшарпанного, по-детски наивного, почти патологически глупого. Ей это не нравится, все выглядит каким-то декадансом. Ей по нраву книги, которые возвеличивают жизнь, а не те, что ее унижают.

Но есть в этом персонаже что-то такое, что кажется ей очень близким. Да и в любом случае мир там, за стенами барака, гораздо хуже, так что она предпочитает, погрузившись в чтение, сидеть на своем табурете, сжавшись в комочек, чтобы преподаватели, занятые разговорами, не слишком обращали на нее внимание.

Дальше по ходу развития сюжета она встречает Швейка, обряженного в солдатскую форму и выступающего под знаменем Австро-Венгерской империи, несмотря на отсутствие у чехов, по крайней мере у простого народа, желания подчиняться приказам высокомерных германцев в дни Первой мировой войны.

«И как же они были правы», – думает про себя Дита.

Швейк служит денщиком поручика Лукаша, который орет на него, обзывает скотиной и отвешивает затрещины при каждом удобном случае, то есть тогда, когда денщик выводит его из себя. Верно и то, что Швейк обладает удивительной способностью создавать проблемы: терять доверенные ему документы, выполнять приказы с точностью до наоборот, ставить своего поручика в смешное положение. И все это несмотря на то, что бравый солдат, на первый взгляд, всегда исполняет все поручения с самыми добрыми намерениями и усердием, однако явно недостаточно раскидывает мозгами. В этой точке развития сюжета Дита еще не может понять: Швейк только прикидывается дурачком или же он действительно глуп как пробка.

Ей трудно понять, что же хочет сказать автор. Чудной солдат на вопросы и распоряжения своего офицера отвечает так обстоятельно и с такими подробностями, что ответы удлиняются до бесконечности, переходят в побочные сюжеты и небольшие истории из жизни родственников или соседей, которые солдат вводит в свои рассуждения со всей серьезностью, но самым абсурдным образом: «Знавал я некоего Пароубека, он кабак в Либени держал. У него в кабаке перепился раз можжевельниковой один телеграфист, и вместо того чтобы передать по телеграфу тексты с соболезнованиями по случаю кончины одного несчастного пана, он отправил родственникам покойного преysкуранта цен на алкогольные напитки, что лежал на барной стойке. Вышел страшный скандал. В первую очередь из-за того, что до этого момента никто этого преysкуранта не читал, а добрейший Пароубек, судя по всему, всегда брал за рюмку на несколько геллеров больше, хотя позже он и отговаривался тем, что эти деньги шли на благотворительность...»⁷

Истории, иллюстрирующие суждения Швейка, оказываются такие многословными и сюрреалистичными, что поручик не выдерживает и начинает орать: «Сгинь с глаз моих, чертова скотина!»

И вот Дита удивляет сама себя: вообразив выражение лица поручика, она смеется. И тут же начинает себя ругать. Как же так, как мог насмешить ее такой безмозглый герой? Она даже

⁷ Перевод выполнен по тексту романа А. Итурбе.

думает о том, правильно ли ей вообще смеяться после всего того, что с ней произошло и среди всего того, что продолжает происходить.

Как можно смеяться, когда умирают любимые люди?

На мгновение она вспоминает о Хирше и о вечно загадочной улыбке на его лице. И вдруг на нее нисходит откровение: улыбка Хирша – это его победа. Его улыбка призвана сказать тому, кто окажется перед ним: со мной тебе не совладать. В таком месте, как Аушвиц, где все создано с одной целью – заставить плакать, улыбка и смех – акт неповиновения.

Дита идет дальше за пройдохой Швейком, следя за его проделками. Именно в этот, один из самых мрачных моментов ее жизни, когда девочка не знает, куда ей деться от горя, она хватается за руку плута, и он вытягивает ее из пропасти отчаяния, давая силы жить.

В свой барак Дита возвращается, когда уже стемнело и ледяной февральский ветер швыряет в лицо снег с дождем. Несмотря на это, она чувствует себя лучше, у нее больше душевных сил. Хотя радость в Аушвице, как взмах ресниц, длится не дольше мгновения. Некто, кто идет ей навстречу, насвистывает музыкальные фразы Пуччини.

– Бог ты мой, – шепчет Дита.

До своего барака она не дошла, до него – еще несколько других, в этом месте лагеря середина улицы освещается плохо, так что Дита бросается в первый же барак, надеясь, что тот не успел ее заметить. Она врывается в конюшню с такой силой, что чуть не сбивает с ног стоящих у входа женщин, и громко хлопает за собой дверью.

– Что это ты влетаешь как сумасшедшая?

Широко распахнув от ужаса глаза, Дита показывает назад.

– Менгеле...

Тогда женщины от раздражения переходят к панике.

– Доктор Менгеле! – шепчут голоса.

Эти слова передаются от койки к койке, как зараза, и разговоры быстро стихают.

– Доктор Менгеле...

Кто-то начинает молиться. Другие призывают к тишине, чтобы было слышно, что делается снаружи. Сквозь шелест дождя пробивается мелодия.

Одна из женщин рассказывает о маниакальном интересе доктора к цвету глаз.

– Говорят, один доктор-еврей, заключенный по имени Векслер Янку, видел в кабинете Менгеле в цыганской зоне целый деревянный стол с образцами глаз.

– А я слышала, что он булавками прикрепляет к пробковой стене глазные яблоки, будто коллекцию бабочек.

– А мне рассказывали, что он сшил боками двух мальчишек. Они так и пришли к себе в барак, пришитые друг к другу. Парни кричали от боли, и от них разлило гниющим от гангрены мясом. Умерли той же ночью.

– А я слышала, что он изучал, как стерилизовать евреек, чтобы они больше не рожали детей. Воздействовал радиацией на яичники, а потом вырезал их, чтобы узнать о результатах. И даже не использовал обезболивание, сучий сын. От криков этих женщин оглохнуть было можно.

Чей-то голос призывает к тишине. Насвистываемая мелодия, кажется, удаляется.

Слышится приказ, который передается из уст в уста, эстафетой обегая лагерь ВІІб: «Близнецов – в блок 32!» Заключенные, находящиеся на улице, подчиняются приказу голосом повторять услышанное распоряжение. Если они этого не сделают, то их ожидает суровое наказание: казнь в Аушвице – одна из наиболее часто реализуемых возможностей. Где бы они ни были, братья-близнецы Зденек и Жирка и сестры-близняшки Ирене и Рене должны немедленно явиться в больничный барак.

Йозеф Менгеле получил медицинское образование в Мюнхенском университете. С 1931 года он состоял в организации, весьма близкой к партии нацистов. Менгеле был учеником

доктора Эрнста Рудина, главного защитника идеи насильственного прерывания бесполезных жизней и одного из авторов подписанных Гитлером в 1933 году законов об обязательной стерилизации людей с физическими отклонениями, психическими диагнозами, депрессией или алкоголизмом. Менгеле добился своего командирования в Аушвиц, где человеческий материал для генетических экспериментов оказался в полном его распоряжении.

Мать мальчиков провожает их к госпитальному блоку. Она не может выкинуть из головы кровавые истории о докторе Менгеле. Стараясь не заплакать, она закусилла нижнюю губу, а мальчишки шагают весело, прыгая от лужи к луже, и у матери не хватает духу сказать им, чтобы прекратили брызгаться грязью. Из губы сочится кровь.

На контрольном пункте прохода в лагерь сыновей у нее забирает эсэсовец, и она видит, как они входят в металлическую дверь, ведущую в лабораторию медика-нациста. И думает, что, быть может, видит их в последний раз в жизни, или же в следующий раз, когда она увидит сыновей, у них окажется одной рукой меньше, будут защиты рта или обнаружится какое-нибудь другое увечье, явившееся следствием экстравагантных идей этого безумца. Но сделать ничего нельзя, потому что отказ подчиниться распоряжению офицера карается смертной казнью. Иногда Менгеле появляется в медицинском кабинете госпитального блока 32 собственной персоной, но в иных случаях – и их-то мать боится больше всего – детей ведут напрямиком в лабораторию доктора.

До сих пор дети после встреч с доктором возвращались целыми и даже довольными. Они проводили с доктором несколько часов и возвращались с сосиской или куском хлеба, подарком от дядюшки Йозефа. И даже говорили, что он очень симпатичный и их смешит. Рассказывали, что у них снимали размер головы, просили сделать какое-нибудь движение то вместе, то поодиночке или высунуть язык. Порой у них нет желания ни о чем рассказывать, и они избегают вопросов родителей о том, что с ними происходило в те мутные часы в лаборатории. Женщина возвращается в свой барак с узлом колючей проволоки в горле. А ноги у нее дрожат, подобно гитарным струнам.

Дита вздыхает с облегчением: сегодня вечером пришли не за ней. Заключение, которая подробнее всех рассказывала истории о Менгеле, – это женщина с неопрятными седыми волосами, выбивающимися из-под платка. Кажется, она знает о нем немало. Поэтому Дита подходит к ней.

– Извините меня, но я хотела кое о чем вас спросить.

– Слушаю тебя, девочка.

– Видите ли, у меня есть подруга, которую Менгеле взял на заметку...

– Взял на заметку?

– Ну да, он ее предупредил, что будет за ней следить.

– Плохо...

– Что вы хотите сказать?

– Когда он кого-то отслеживает, то делает это как хищная птица, кружащая над добычей: глаз с нее не сводит.

– Но ведь здесь так много людей, а у него так много дел...

– Менгеле никогда не забывает лиц. Я-то знаю.

Сказав это, она становится чрезвычайно серьезной и умолкает. Вдруг она теряет всякий интерес к разговору, некое воспоминание на мгновение лишает ее дара речи.

– Пусть бежит от него, как от чумы, пусть не попадается на его пути. Нацистское командование практикует ритуалы черной магии, я-то знаю. Идут в лес и служат черные мессы. Командующий СС, Гиммлер, никогда не принимает ни одного решения, не посоветовавшись со своим ясновидящим. Эти люди стоят на темной стороне, я-то знаю. Горе тому, кто встанет у них на пути. Присущее ему зло – не от мира сего, оно родом из ада. Я думаю, что Менгеле – падший

ангел. Это сам Люцифер, воплотившийся в теле человека. Если он кого-то приметил, спаси и сохрани Господь его душу.

Дита кивает и молча уходит. Если есть Бог, то есть и дьявол. Оба едут по одному железнодорожному пути: один в одну сторону, другой – в противоположную. Так или иначе, добро и зло уравнивают друг друга. Можно даже сказать, что они нужны друг другу. «Как бы мы узнали о том, что делаем добро, если бы не существовало зла, с которым его можно сравнить и увидеть разницу?» – задает сама себе вопрос Дита. И думает, что и в самом деле ни в одной другой точке планеты дьявол не смог бы так развернуться, как в Аушвице.

Интересно, насвистывал бы Люцифер оперные арии?

На улице уже совсем ночь, теперь слышится только свист ветра. Диту изнутри сотрясает дрожь. В круге света возле ограды она видит чей-то силуэт. Фонари в Аушвице имеют странную форму – изгибаются, как змеи. Это женщина, она разговаривает с кем-то по другую сторону ограды. Ей кажется, что это одна из ассистенток блока 31 – самая старшая и самая красивая девушка, ее зовут Алиса. Однажды она дежурила по библиотеке. И рассказала ей, что знакома с регистратором Розенбергом, несколько раз подчеркнув, что они всего лишь друзья, как будто Диту это интересно.

Дита задается вопросом: о чем они там разговаривают? Неужели все еще есть что-то, о чем им хочется говорить? Наверное, они только смотрят друг на друга и говорят те прекрасные слова, которыми обмениваются влюбленные. Если бы Розенберг был Гансом Касторпом, а Алиса – мадам Шоша, то он встал бы на колени по ту сторону ограды и сказал бы: «Я узнал тебя». Те самые слова, что он произнес в памятную карнавальную ночь, когда был с ней искренним. Он сказал ей, что влюбиться – это увидеть кого-то и вдруг его узнать, понять, что это именно тот человек, которого он всегда искал и ждал. И вот Дита думает: а случится ли когда-нибудь в ее жизни такого рода откровение?

И снова размышляет об Алисе и Розенберге. Какого рода отношения могут быть с кем-то, кто находится по другую сторону ограды? Не очень понятно. В Аушвице самые странные вещи оказываются нормальными. Могла бы она сама влюбиться в кого-то, кто находится за оградой? И даже больше: в этом адском месте, где нацисты – посланники Сатаны, может ли хоть как-то и где-то пробиться и вырасти любовь? По всей видимости, да, потому что Алиса Мунк и Руди Розенберг стоят там, бросая вызов холоду и пронизывающему ветру, стоят так крепко, словно проросли в землю корнями.

Бог позволил возникнуть Аушвицу, так что он, наверное, вовсе не есть никогда не ошибающийся часовщик, как ей рассказывали. Но верно и то, что из самого дурно пахнущего навоза рождаются самые прекрасные цветы. Возможно, продолжает размышлять Дита, Бог – вовсе не часовщик, а садовник.

Бог сеет, а дьявол собирает урожай кривой косой, уничтожающей все подряд.

«И кто же победит в этой схватке безумцев?» – задается она вопросом.

16

Шагая к барак-мастерской, где работает его отец, учитель Ота Келлер раздумывает о том, какую именно из многих историй, роящихся в его голове, расскажет он сегодня своим мальчишкам. Когда-нибудь, мечтает он, он соберет все истории о Галилее, которые сочинил, чтобы развлечь детей блока 31, в одну большую книгу.

Столько всего нужно еще сделать!

Но они застряли в паутине войны. А ведь когда-то он сам верил и в революции, и в то, что войны бывают справедливыми.

С тех прошло уже столько времени...

Келлер пользуется перерывом на обед, чтобы навестить отца, который хлебает сейчас суп перед входом в барак, где работает: забивает для германской армии заклепки на кожаный пояс, к которому крепится фляжка. Ему уже много лет, его лишили всего, чем он владел и кем был до войны, но старый пан Келлер желания жить не утратил. Не далее как на той неделе ему пришлось в голову предложить свою кандидатуру в качестве тенора в рамках небольшого концерта, намеченного перед отбоем в дальнем конце барака. И Ота готов признать, что хотя отцовский голос и ослабел, но он все еще вполне профессионально может исполнить партию. И люди слушали его с удовольствием, даже развеселились. Они, наверное, думали, что старик, выступающий перед ними, – представитель богемы, возможно, какой-нибудь второразрядный артист на пенсии, несколько поизносившийся. Лишь немногим было известно, что Ричард Келлер до недавнего времени был крупным предпринимателем Праги, владельцем процветающей фабрики по пошиву дамского нижнего белья, кормившей полусотню наемных работников.

И хотя он неизменно со всей тщательностью следил за финансовым состоянием и занимался бухгалтерией своего предприятия, его страстью всегда была опера. Некоторые его коллеги-предприниматели сурово хмурили брови, узнав о чрезмерном увлечении пана Келлера трелями и коленцами, ведь он даже брал уроки вокала. В его-то возрасте! За кофе и сигарами в своих клубах ему перемывали кости: увлечение Келлера казалось им для серьезного предпринимателя недопустимым.

Ота же, напротив, считает своего отца самым серьезным человеком на свете, именно поэтому отец постоянно поет – то про себя, то вслух. И когда представитель Еврейского совета сообщил, что половина населения Терезина включена в списки транспортируемых в Аушвиц, некоторые взвыли, другие заплакали, кто-то принялся колотить кулаком в стену. А отец Ота тихим голосом запел арию Риголетто⁸ – тот ее фрагмент, когда похищают Джильду и герцог Мантуанский погружается в горе: *“Ella mi fu rapita! Parmi veder le lagrime...”*⁹ И голос его оказывается самым весомым из всех зазвучавших, самым сладким. И, может быть, именно поэтому все вокруг постепенно стихает, и в установившейся тишине звучит он один.

Завидев сына, пан Келлер ему подмигивает. Этот старик потерял свою фабрику и свой дом, реквизированные нацистами, потерял свой статус одного из наиболее влиятельных граждан, его бросили в грязное стойло, кишашее клопами, блохами и вшами. Но он не утратил ни силы духа, ни любви к разного рода шуткам, как, например, утверждения, что вещи, производимые на его фабрике, – имелся в виду пояс с подвязками – были для кое-кого из женщин их рабочей формой.

Так как Ота получил возможность удостовериться, что его отец в полном порядке и ведет беседу со своими товарищами по мастерской, обсуждая кончины этого дня, ставшие уже ежедневным некрологом, сын возвращается в блок 31. Он обводит взглядом обитателей барака,

⁸ «Риголетто» – опера Джузеппе Верди, написанная в 1850–1851 годах.

⁹ «Кто мог ее похитить! Вижу голубку милую с мольбою в нежном взоре...» (итал.) – либретто Ф. М. Пьявве.

которые, ненадолго присев, опустошают скудное содержимое своих мисок. Зрелище безрадостное: истощенные фигуры в нищенских одеяниях. Никогда прежде не приходило ему в голову, что когда-нибудь его народ дойдет до такого состояния, но чем более жалкими они становятся, тем более в нем просыпается осознание собственного еврейства.

Давно ушли в прошлое те времена его юности, когда он был очарован учением Карла Маркса, когда верил, что интернационализм и коммунизм дают ответы на все вопросы истории. В конце концов, его трезвый и свободный ум поставил гораздо больше вопросов, чем нашел ответов. Был и такой период, когда Ота в точности не знал, к кому он принадлежит: сын буржуа, он заигрывал с салонным коммунизмом, являлся чехом, говорящим по-немецки, а кроме того – евреем. Когда нацисты вошли в Прагу и начали притеснять евреев, Ота наконец понял, каково его место в мире: тысячелетняя традиция и кровь гораздо в большей степени связывали его с евреями, чем с какой-либо иной группой. И если до тех пор у него и были некие сомнения в том, кто он такой, нацисты, пришив к его груди желтую звезду, позаботились о том, чтобы уже никогда в жизни ни на одну секунду не забывал он о своем еврействе.

Именно по этой причине он присоединился к сионистам и стал активным членом движения Хахшара, которое ставило своей целью подготовку молодежи к *алие*: возвращению в земли Израиля. Ота с удовлетворением и ноткой меланхолической грусти вспоминает те оставшиеся в прошлом походы, в которых всегда находилось место песням под гитару. Было в этом братстве *бойскаутов* что-то от того изначального духа, который Ота так долго искал: сообщества мушкетеров, где один за всех и все за одного.

Именно в те ночи, проведенные вокруг костра, когда рассказывались страшилки, начал он сочинять свои первые истории. Тогда же произошло его знакомство с Фреди Хиршем. Ота казалось, что Хирш из тех, чьи убеждения – цельный монолит, без единой трещины. Поэтому он был горд тем, что находится в распоряжении Фреди в блоке 31, который является не чем иным, как Ноевым ковчегом для детей в захлестнувшем их потоке унижений.

Да, недобрые настали времена...

Но Ота по природе своей – оптимист. Он унаследовал от отца пронизанное иронией чувство юмора и отказывается думать, что им – после многовековой истории, полной подъемов и падений, – не удастся выбраться из глубокой ямы, в которой они оказались. И чтобы стряхнуть с себя дурные предчувствия, он снова обращается мыслями к сказке, которую наметил рассказать детям. Сказкам не следует прекращаться: тогда не иссякнет воображение, и дети продолжают мечтать.

Ты – то, о чем ты мечтаешь, говорит про себя Ота.

Ота Келлеру двадцать два года, но в силу своих амбиций выглядит он старше. Он уже не раз рассказывал историю о плутоватом торговце немymi дудками, что бродил по дорогам Галилеи. Однако вовсе не испытывает прилива энтузиазма, когда на очереди стоит сказка о продавце дудочек без дырочек: только так-де можно добиться того, что восхитительный звук этих дудок будет услышан разве что на небесах...

– И ведь немало было тех, кто такой товар покупал! До тех пор пока среди клиентов не оказался ребенок.

Эту сказку, как и другие, сочинил он сам. Поэтому, если вдруг какая-нибудь деталь забудется, ее всегда можно заменить. Когда сказка кончается, дети срываются с места и вихрем бросаются к выходу со свойственным детству внезапным выплеском энергии. Каждое мгновение проживается с максимальной интенсивностью, потому что настоящее – все, что у них есть. Ота смотрит вслед убегающим детям, однако в поле его зрения попадает также метеоритом пролетающая по направлению к выходу фигурка одной из ассистенток, чьи распушенные по плечам волосы колеблются в такт ее шагам.

Тонконогая библиотечарша все время бежит...

Ему думается, что у этой девушки – лицо ангела, но, имея в виду ее столь энергичную манеру двигаться и жестикулировать, начинаешь предполагать, что, если ей не удастся настоять на своем, ее тут же уволокнут все черти этого мира. Он уже заметил, что она не имеет привычки разговаривать с преподавателями: выдает им книги и забирает их, всего лишь кивая, неизменно торопливо. А еще он думает о том, что, возможно, не что иное, как застенчивость, принуждает ее делать вид, что она вечно торопится.

Дита и в самом деле покидает барак на максимальной скорости. Она не хочет ни на кого наткнуться, потому что под одеждой у нее – две книги, а это взрывоопасный материал.

Сегодня вечером, когда она пошла убирать книги, которые были на руках во второй половине дня, комната Фреди Хирша оказалась заперта, и, несмотря на ее настойчивый стук в дверь, ей так никто не открыл. В углу барака, где преподаватели обычно сдвигают табуреты в кружок и усаживаются для вечерней беседы, она увидела Мириам Эдельштейн. Та сказала Дите, что комендант Шварцгубер неожиданно вызвал Хирша к себе, а тот забыл оставить ей ключ от комнаты. Мириам отходит от группы преподавателей и тихонько задает Дите вопрос: что она думает делать с теми двумя книгами, которые остались после утренних занятий.

– Не волнуйтесь, я о них позабочусь.

Мириам кивает. И взглядом просит Диту быть осторожнее.

Дита не дает никаких дополнительных пояснений. На это у нее есть право – право библиотекаря. Обе книги, которые она носит на себе в потайных карманах, будут сегодня спать рядом с ней. Это небезопасно, но она не хочет оставлять их в бараке без присмотра.

Почти все ученики уже разошлись, кого-то забрали тренеры и повели за барак играть в спортивные игры. Внутри блока 31 остается только небольшая группка мальчиков и девочек разных возрастов, которые внимательно слушают Ота Келлера. Дите симпатичен этот молодой преподаватель, который знает так много и чья речь столь иронична. Она испытывает искушение остаться и послушать, что же он им рассказывает – как ей кажется, что-то о Галилее. Но у нее уже назначено свидание – с плутом по имени Швейк. Тем не менее Дита успевает уловить несколько слов преподавателя, и, удивившись тому, о чем он говорит, – это вовсе не похоже на обычный утренний урок по истории или на разговор о политике, это сказка, – она застывает на месте. Кроме того, ее очаровывает та увлеченность, с которой Келлер ведет свой рассказ. Ее просто завораживает, что этот молодой человек, столь образованный и серьезный, может с таким энтузиазмом рассказывать сказки.

Увлеченность для нее очень важна. Ей и самой, чтобы жить дальше, необходим огонь в крови. Поэтому она душой и телом обращается к своим прямым обязанностям – распределять книги: те, что из бумаги, для утренних уроков, а те, что из плоти и крови, для менее напряженных послеобеденных занятий. Для занятий второго рода была организована ротация преподавателей, которые стали книгами, которые говорят, а также порой кричат и даже отвешивают подзатыльники тем, кто отвлекается.

Простая осмотрительность вызывает к тому, чтобы эти две книжки, которые не удалось убрать на ночь в тайник, оставались под одеждой Диты до следующего утра. Но она не смогла устоять перед соблазном открыть книгу и узнать, как там обстоят дела у ее друга Швейка: она отправилась читать в уборную – отдельное строение с длинными рядами чернеющих, как зловонные разверстые рты, отверстий.

Дита удобно устраивается в укромном закутке в одном из углов уборной. Ей думается, что Швейку и его создателю, Ярославу Гашеку, это место показалось бы самым подходящим для знакомства с его похождениями. В предисловии ко второй части романа его автор высказывает следующее мнение: «Люди, которых коробит от сильных выражений, просто трусы, пугающиеся настоящей жизни. Монах Евстахий в своей книге рассказывает, что, когда святой Алоис услышал, как один человек с шумом выпустил газы, он ударился в слезы, и только молитва его успокоила. Есть люди, которые охотно превратили бы всю Чехословацкую республику в

большой салон, по паркету которого расхаживают люди во фраках и белых перчатках; разговаривают они на изысканном языке и культивируют утонченную салонную мораль, а за ширмой этой морали салонные львы предаются самому гадкому и противоестественному разврату»¹⁰.

В этом помещении с четырьмя сотнями отхожих мест, заполненных по утрам на все сто процентов, бедному святому Алоису пришлось бы очень долго молиться.

Дита выходит из уборной, когда на улице уже совсем темно. Идти приходится чуть ли не наощупь – подморозило, ноги скользят. В ночи Аушвиц-Биркенау – совершенно фантастическое место, где ряды бараков следующих один за другим лагерей превращаются в темные массы, едва подсвеченные фонарями, пунктирно прорисовывающими геометрию огромного прямоугольника. Вокруг царит тишина, и это хорошо – ни единой нотки зловещих мелодий Менгеле.

Войдя в свой барак, она идет к матери. Дита – девочка разговорчивая и обычно вовсе не прочь поболтать, рассказать какую-нибудь историю, поведать о детских шалостях в блоке 31, но сегодня она нема как рыба. Лизль, обняв дочку, замечает спрятанные под одеждой твердые предметы, но тоже ничего не говорит.

Матерям всегда известно гораздо больше, чем представляют себе их дети. Кроме того, в закрытом мире лагеря новости скачут от койки к койке, как блохи.

Дита думает, что, не сообщая своей маме, чем она на самом деле занимается в блоке 31, защищает ее. Но не знает того, что это мама защищает ее. Лизль понимает: если притвориться, что сама она ни о чем не догадывается, то Эдита не станет беспокоиться по поводу маминых тревог. И это беспокойство не ляжет дополнительной тяжестью на девчоночьи плечи. По крайней мере, хоть этот груз она с Диты снимет. И когда Дита спрашивает, подключалась ли она этим вечером к «Радио Биркенау», мать делает вид, что сердится.

– Не смейся над пани Турновской, – выговаривает мать дочке. На самом-то деле ей скорее нравится, что девочка вновь обрела способность шутить. – Мы с ней обсуждали рецепты пирогов и тортов. Она, оказывается, не знает рецепта черничного пирога с лимонной цедрой! Мы с ней очень приятно провели вечер.

Приятно провели вечер в Аушвице?

Дита думает про себя, не свихнулись ли мозги еще и у ее мамы, но тут же решает, что, быть может, это и к лучшему.

Неимоверно тяжелые дни этого жуткого февраля они уже пережили.

– До отбоя еще целый час. Сходи в барак к Маргит, узнай, как у нее дела!

Мать чуть ли не каждый вечер поступает именно так: отсылает дочь от себя, говорит, чтобы сходила пообщалась с подружками, чтобы не сидела в этом бараке в окружении вдов.

По дороге к бараку номер 8 Дита время от времени дотрагивается до спрятанных в потайных карманах и покачивающихся при ходьбе книг и думает, что мама ее в последние недели продемонстрировала удивительную цельность характера.

Маргит вместе со своей мамой и сестрой Хельгой, которая младше ее на два года, сидит на койке. Дита здоровается с ними, и мама Маргит, которая хорошо знает, что юным девушкам всегда больше нравится поболтать о своих делах без лишних ушей, объявляет, что ей нужно пойти проведать соседку. Хельга остается на месте, но глаза у нее полужакрыты, она уже почти спит. Хельга очень устает. Ей не повезло при распределении на работу: ее включили в бригаду, которая носит камни, предназначенные для мощения главной улицы лагеря. Сизифов труд. Когда люди поутру выходят на работу, почва за ночь так промерзает, что уложить брусчатку просто невозможно. А позже, когда лед тает и земля превращается в жидкую, засасывающую

¹⁰ Фрагмент перевода романа Ярослава Гашека на русский язык, выполненного П. Богатыревым. Здесь и далее цитируется по изданию, если не указано иное: Ярослав Гашек. Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны. Москва: Государственное издательство иностранной литературы, 1963.

камни грязь, то их уже и не видно. На следующий день приносят другие булыжники, но их ожидает та же участь.

Это черное болото поглощает все.

Тяжелый физический труд под открытым небом, независимо от погоды, когда работнику выдается утром только чай, в полдень – суп, а вечером – кусок хлеба, вымотает любого. Дита, с ее манией давать прозвища всем и каждому, про себя давно уже назвала Хельгу «Спящей Красавицей», но поскольку это прозвище, однажды услышанное Маргит, совсем ей не понравилось, вслух его Дита больше не употребляет. Но что есть, то есть: худющая, почти прозрачная дева, засыпающая от изнеможения сразу же, как только ей удастся где-то присесть.

– Твоя мама оставила нас одних... Какая деликатность!

– Мама всегда знает, что нужно делать.

– Я, пока шла сюда, думала о своей. Ты же ее знаешь. На вид – слабая, смиренная. Но она гораздо сильнее, чем хоть кто-нибудь когда-нибудь мог бы себе представить. После того что случилось с папой, продолжает себе работать в вонючей мастерской – и ни единой жалобы. И даже насморка не подхватит в том деревянном холодильнике, в котором мы спим.

– Очень хорошо...

– Слышала я как-то разговор двух молодых, что спят недалеко от нас... Знаешь, как они называли маму и ее подруг?

– Как?

– Клубом старых куриц.

– Какая гадость!

– Но отчасти они правы: порой они все, каждая со своих нар, начинают говорить одновременно и поднимают такой гвалт, как куры в птичнике.

Маргит улыбается. Она скромна и осторожна, ей не очень нравится идея отпускать шуточки о старших, но то, что Дита снова может шутить, ее радует. Это хороший знак.

– О Рене ты что-нибудь новенькое знаешь? – спрашивает подругу Дита. Улыбка с лица Маргит пропадает.

– Вот уже несколько дней, как она меня избегает...

– Почему?

– Ну, вообще-то не только меня. Как заканчивается рабочий день, так она сразу подходит к своей матери и ни с кем не разговаривает.

– Но... по какой причине?

– Ходят разные слухи...

– Ходят слухи? О Рене? С какой стати?

Маргит слегка смущается, затрудняясь подобрать нужные слова.

– У нее отношения с одним эсэсовцем.

В Биркенау существуют красные линии, заходить за которые нельзя. Это – одна из них.

– Может, это просто сплетня? Ты же знаешь, чего только люди не наведумывают...

– Нет, Дита. Я видела, как они разговаривали. Стоят за будкой входного КПП, где обычно редко кто появляется. Но с первого и третьего барачных их отлично видно.

– Целуются?

– О, Господи, надеюсь, что нет! Стоит только это себе представить – мурашки бегут!

– Я бы скорее борова поцеловала.

Маргит сгибается от смеха пополам, а Дита вдруг отдает себе отчет, что начинает говорить в стиле бравого солдата Швейка. А хуже всего то, что ей это даже нравится.

В то же самое время, через несколько барачных отсюда, Рене выбирает вшей из волос своей матери. Занятие, которое вовлекает в работу руки и глаза, но оставляет свободной голову.

Она знает, что другие женщины осуждают ее. Да ей и самой не кажется правильной дружба с членом СС, будь он сколь угодно воспитанным и внимательным, например, как Виктор.

Виктор?

Любезен он или нет, но он – тюремщик. Хуже того, он – палач. Но с ней он ведет себя хорошо. Подарил ей частый гребешок, которым она вычесывает волосы маме, освобождая ее от этой пытки – вшей, укусы которых – постоянные, ночью и днем – просто сводят ее с ума. А еще он принес ей баночку крыжовникового варенья. Они уже так давно не пробовали ничего подобного, что позабыли этот вкус! Вдвоем с мамой они намазали вареньем черствый кусок выданного на ужин хлеба и впервые за много месяцев поели с удовольствием! Такого рода витаминные добавки – это как раз то, что поможет твоему телу не заболеть и сохранит тебе жизнь.

Следует ли ей проявить суровость по отношению к этому юноше из СС, который ни разу не попросил у нее ничего взамен? Должна ли она отказаться от всех его подарков и сказать, что ничего от него не хочет?

Она знает, что многие из тех женщин, которые ее порицают, окажись они на ее месте, взяли бы из его рук все что угодно. Из-за мужа, из-за детей, по какой угодно иной причине – но взяли бы. Легко вести себя достойно, пока перед тобой не ставят открытую баночку крыжовникового варенья и не кладут кусок хлеба, на который это варенье можно намазать.

Он говорит ей, что ему бы хотелось, чтобы, когда весь этот кошмар кончится, они стали женихом и невестой. Она никогда ничего не говорит ему в ответ. Он рассказывает ей о Румынии, о своей деревне, о главном деревенском празднике – с прыганьем наперегонки в мешках и огромным котлом с мясом в кисло-сладком соусе на площади. Рене очень бы хотелось испытывать к нему ненависть. Она знает, что обязана его ненавидеть. Но кое в чем ненависть очень похожа на любовь – ее также нельзя выбрать.

На Аушвиц спускается ночь. К перрону продолжают прибывать поезда, которые привозят сюда еще больше растерянных, ни в чем не повинных людей, дрожащих как осиновый лист, а красноватый отсвет над трубами крематория свидетельствует о том, что печи не простаивают. Узники семейного лагеря стараются уснуть на кишасших вшами матрасах, пытаясь справиться со страхом, порождающим бессонницу. Каждая такая ночь – маленькая победа.

А утром снова нужно будет умыть лицо перед металлическим, похожим на поилки для скота умывальником, снова пережить вынужденное бесстыдство, спуская трусы и подняв подол для отправления естественных надобностей рядом с еще тремя сотнями людей. И пахнет там вовсе не розами. Потом – бесконечная поверка под холодным небом. Метет поземка, от холода деревянные башмаки превращаются в ледяные. Охранники покидают лагерь со списками, в которых крестиками отмечены номера тех узников, кто не одержал победу в личном единоборстве с прошедшей ночью, после чего унижающая человеческое достоинство рутина несколько оживляется. Фреди Хирш закрывает наконец дверь барака и поднимает бровь. Спектакль жизни может начинаться. Дети с шумом и криками выскакивают из шеренги и рассаживаются по табуреткам, кто-то из преподавателей обращается в библиотеку. Начинается новый день в блоке 31.

Но чего с нетерпением ожидает Дита, так это полуденного супа. Некое подкрепление сил. Кроме того, этот суп – знак начала второй половины дня, когда она сможет вновь следить за похождениями криворукого солдата-недотепы, уже ставшего ей другом. Один из австрийских офицеров, командующий батальоном, в котором служит Швейк, – свирепый жлоб по имени Дауэрлинг. Старшие офицеры его очень ценят, потому что он весьма суров с рядовыми, добиваясь послушания рукоприкладством. «Вскоре после рождения его уронила нянька, и маленький Конрад Дауэрлинг ушиб голову. Так что и до сих пор виден след, словно комета налетела на Северный полюс. Все сомневались, что из него выйдет что-нибудь путное, если он пере-

нес сотрясение мозга. Только отец его, полковник, не терял надежды и даже, наоборот, утверждал, что такой пустяк ему повредить не может, так как, само собой разумеется, молодой Дауэрлинг, когда подрастет, посвятит себя военной службе. После суровой борьбы с четырьмя классами реального училища, которые он прошел экстерном, причем первый его домашний учитель преждевременно поседел и рехнулся, а другой с отчаяния пытался броситься с башни святого Стефана в Вене, молодой Дауэрлинг поступил в Гейнбургское юнкерское училище. Его глупость была настолько ослепительна, что были все основания надеяться – через несколько десятилетий он попадет в Терезианскую военную академию или в военное министерство».

Чтение приносит радость.

Но есть на свете люди, готовые любую радость погасить. Кто они, эти зануды: дети Божьи или дьявольское отродье? Всюду сующая нос пани Лишайка со своими неизменными атрибутами – пучком грязных волос и подрагивающими кожными складками, заглядывает в закуток Диты. С ней вместе еще одна учительница – с маленькими, почти микроскопическими глазами.

Обе встают рядком перед девочкой и со строгими лицами требуют, чтобы она показала им книгу, которую читает. Дита протягивает им стопку книжных страниц, и одна из них слишком энергично в нее вцепляется. Листы угрожающе расползаются; еле живые нитки, скрепляющие их, вот-вот лопнут. Дита хмурится, но с молодых ногтей внушенное уважение к старшим не позволяет ей сказать вслух все, что она думает о таком грубом обращении с книгой.

Преподавательница вчитывается в текст, и глаза ее широко раскрываются. Дряблая кожа шеи начинает трястись от негодования. Диту разбирает смех, от которого она едва себя сдерживает: в голову приходит мысль, что выражение лица пани Лишайки ничем не отличается от того, которое могла бы вызвать проделка Швейка у одного из окружающих его офицеров.

– Это совершенно неприемлемо и недопустимо! Девушке вашего возраста не следует читать подобное безобразие. Здесь имеются нежелательные выражения и ругательства.

Как раз в эту секунду из комнаты Хирша выходят оба заместителя директора блока – Лихтенштерн и Мириам Эдельштейн, непосредственные руководители библиотекаря. Пани Кризкова довольно улыбается при виде представителей власти и начинает энергично размахивать руками, прося их срочно подойти.

– Слушайте, у нас здесь школа, хоть и довольно жалкая. И вы, как заместители ее директора, не должны допускать, чтобы дети читали подобного рода грязные книжонки, попирающие все приличия и оскорбляющие честь и достоинство. В этом романе есть ругательства похуже тех, что мне хоть раз в жизни доводилось слышать!

И, чтобы подкрепить свою оценку доказательствами, она принимается зачитывать фрагмент, в котором вообще неуважительно говорится о духовенстве и в частности – грубо об одном из его представителей, посланнике Бога на земле: «Чего там, – продолжал Швейк, – пьян вдрызг, и все тут. А еще в чине капитана! У них, у фельдкураторов, в каком бы чине они ни были, у всех, должно быть, так самим Богом установлено: по каждому поводу напиваются до положения риз. Я служил у фельдкуратора Каца, так тот мог свой собственный нос пропить. Тот еще не такие штуки проделывал. Мы с ним пропили дароносицу и пропили бы, наверно, самого Господа Бога, если б нам под него сколько-нибудь одолжили».

Преподавательница негодуя захлопывает книгу, но вдруг замечает, что Лихтенштерн едва удерживается от смеха и что ему стоит немалых усилий сохранять серьезность. Дита не сводит глаз с расползающихся нитей переплета, который того и гляди совсем развалится. Преподавательница продолжает настаивать на серьезности вопроса и требует ввести на этот роман запрет. Подняв руку с книгой, пани продолжает потрясать ею и громко вопрошает, какого рода ценности можно воспитать у юного поколения, если потворствовать чтению столь бессмысленной литературы. Дита, не в силах дольше выдерживать подобное обращение с книгой, словно с мухобойкой, развернувшейся пружиной вскакивает со своего места, встает прямо перед учил-

кой и, хотя и оказывается ниже ее ростом сантиметров на пятнадцать, вежливо, однако с твердостью, способной резать железо, просит на минуточку вернуть ей книгу...

– ...пожалуйста.

И так выделяет свое «пожалуйста», что это слово бьет по голове. Пани учительница не ожидала от девочки подобной реакции, которая граничит с дерзостью, и с выражением глубокой обиды протягивает ей злосчастную книгу, не понимая, что та собирается делать.

Дита с нежностью принимает в руки книжку, укладывает на свое место выпавшие из переплета тетради, вставляет разрозненные странички. Делает все это неторопливо, а все остальные, как замороженные, глядят на то, с какой осторожностью разглаживает она страницы и приводит в порядок книжку, словно медсестра обихаживает раненного на поле боя солдата. В ее руках и взгляде столько такта и уважительного к старенькому томику внимания, что даже негодующая учительница не решается ничего сказать. Дита проводит пальцами по страницам, разглаживая их, с той же лаской, с которой мать могла бы расчесывать волосы дочки. Наконец, когда растрепавшаяся книжка собрана, Дита осторожно ее раскрывает. И, обращаясь к Лихтенштерну с особой сдержанностью, а к Мириам Эдельштейн – со спокойствием, заявляет, что да, верно, книга содержит и такие места, одно из которых прочла пани учительница.

Есть и другие.

На этот раз читает вслух она сама.

– «Последним убежищем для не желавших идти на войну была гарнизонная тюрьма. Я сам знал одного сверхштатного преподавателя математики, который должен был служить в артиллерии, но, не желая стрелять из орудий, “стрельнул” часы у одного подпоручика, чтобы только попасть в гарнизонную тюрьму. Сделал он это вполне сознательно. Перспектива участвовать в войне ему не улыбалась. Стрелять в неприятеля и убивать шрапнелью и гранатами находящихся по ту сторону фронта таких же несчастных, как и он сам, сверхштатных преподавателей математики он считал глупым. “Не хочу, чтобы меня ненавидели за насилие”, – сказал он себе и спокойно украл часы. Сначала исследовали его психическое состояние, и только после того, как он заявил, что украл часы с целью обогащения, его отправили в гарнизонную тюрьму». Вот одна из тех плохих идей, которые внушает эта бессмысленная книга: что война – это глупость и зверство. Неужели вы и с этим не согласны?

Повисает тишина.

Лихтенштерну вдруг страшно захотелось размять в руках сигарету, а потом срочно взять ее в рот. Он, выигрывая время, почесывает левое ухо, но наконец решается заговорить, стремясь не сказать ничего.

– Прошу меня извинить, но у меня срочное дело – нужно обсудить с медиками лагерного госпиталя вопрос об осмотре детей.

Слишком много женщин сразу. Лихтенштерн решает исчезнуть и сделать это как можно скорее.

Мириам Эдельштейн, абсолютно этого не желая, оказывается арбитром в литературном сражении. Так что придется говорить то, что думает.

– То, что прочла Эдита, мне представляется очень мудрым. Кроме того, – произносит она, глядя в глаза пани Кризковой, – мы никак не можем сказать, что эта книга содержит кощунства или неуважение к религии: в конце концов, единственное, что утверждает автор, что католические падре – пьяницы. И ни в коей мере не затрагивается безукоризненность наших раввинов.

Обе учительницы, обиженные и оскорбленные сарказмом, прозвучавшим в словах Мириам, поворачиваются и уходят, пережевывая губами бог его знает какие жалобы и упреки. И когда они удаляются на безопасное расстояние, Мириам Эдельштейн шепотом просит у Диты, чтобы, когда сама дочитает, дала бы этот роман ей.

17

Наступило утро, Дита в очередной раз открывает свою библиотеку. Заглянув в комнату Хирша, она застаёт его за прорисовыванием на бумаге тактики игры волейбольной команды, которая после обеда должна провести за баракom очень важную встречу с командой другого преподавателя. Она настроена далеко не так оптимистично, как ее начальник, да и в ногах покалывает после долгой утренней поверки.

– Как дела, Эдита? Прекрасное утро – сегодня обязательно покажется солнце, вот увидишь!

– У меня ноги гудят, просто отваливаются после этих чертовых поверок. Они бесконечны. Ненавижу их.

– Эх, Эдита, Эдита... да бог с ними, с этими поверками! А знаешь, почему они такие долгие?

– Ну...

– Потому что мы в полном составе. Не потеряли ни одного ребенка с сентября месяца. Понимаешь? В семейном лагере с сентября умерло более пятисот человек – от болезней, от недоедания, от изнурительной работы. – Эдита грустно кивает. – Но в блоке 31 не погиб ни один ребенок! Мы ведь для этого и работаем, Эдита, это наш результат.

Она улыбается ему печальной улыбкой победителя. Вот если бы рядом с ней был ее отец, а она могла бы рассказывать ему об этом, пока он веточкой рисует на земле политическую карту мира.

Стараясь не привлекать к себе внимания, Дита раскладывает свои книги на трубе отопления метра на два. Так она окажется поближе к классу учителя Ота Келлера и сможет слышать урок. Теперь, когда папы не стало, ей нужно позаботиться о своей учебе. А любой урок Ота Келлера – это не пустая трата времени, он из тех взрослых, у кого всегда найдется нечто интересное, что рассказать детям. Она поглядывает на его крупной вязки свитер и круглое, как голова сыра, лицо – признак того, что до войны он был довольно полным молодым человеком.

Сегодня он рассказывает детям о вулканизме.

– Под поверхностью, на очень большой глубине, Земля кипит и клокочет. Иногда внутреннее давление приводит к тому, что образуются отверстия-колодцы, и наверх поднимается раскаленная масса, так появляются вулканы. Камни сплавливаются в некую чрезвычайно горячую массу, которая называется лава. Если это случается на дне моря, извержения вулканических масс образуют колонны лавы, которые приводят к появлению островов. Именно так, например, образовались Гавайские острова.

Дита слушает литанию учительских объяснений, поднимающихся над каждым кружком детей; похоже на пар, согревающий неуютные лошадиные стойла и превращающий пространство конюшни в школу. И вновь она задается вопросом: почему они до сих пор живы? Аушвиц – огромная соковыжималка, загружаемая рабской рабочей силой, хорошо смазанный измельчитель людей, которым не нашлось места в мессианских планах Гитлера по будущему устройству общества.

Так почему они позволяют бегать здесь пятилетним детишкам?

Этим вопросом задаются в лагере все и каждый.

Если б ей удалось приставить к стенке офицерского салона концлагеря свою металлическую кружку и приложить к ней ухо, то она бы получила столь долго искомый ответ.

В офицерской столовой сидят двое: комендант лагеря, офицер СС Шварцгубер, ответственный за концлагерь Аушвиц-Биркенау, и доктор Менгеле, гауптштурмфюрер СС со «специальными» полномочиями. Перед комендантом стоит бутылка сухой яблочной наливки, перед военврачом – чашечка кофе.

Менгеле невозмутимо взирает на коменданта с его длинным лицом и фанатичным взглядом. Капитан медицинской службы ни в коей мере не считает себя экстремистом, он – ученый. Возможно, ему не хочется даже самому себе признаться в том, что он завидует глубокому синему взгляду Шварцгубера, этим прекрасным, почти прозрачным глазам, столь непререкаемо арийским по сравнению с его собственными, карими, которые в совокупности со смуглой кожей придают доктору нежелательно южный вид. В школе над ним кое-кто из ребят смеялся, дразня цыганом. Хотелось бы ему теперь уложить этих шутников на секционный стол и попросить повторить свои насмешки.

Вскрытие вживую – ни с чем не сравнимый опыт. Тайный механизм жизни перед глазами...

Менгеле смотрит, как Шварцгубер пьет. Ему представляется достойным сожаления, что один из высших чинов СС с десятками адъютантов в своем распоряжении не может похвастаться абсолютным блеском сапог или должным образом отглаженными уголками воротничка. На всем – печать небрежности, а это для офицера СС совершенно недопустимо. Менгеле с презрением относится к таким недотепам, которые умудряются порезаться при бритье. Ко всему прочему, этот человек позволяет себе то, что наводит на доктора тоску, – он возвращается к темам и разговорам, которые уже многожды имели место, произнося ровно те же самые нескладные фразы и приводя те же неуклюжие аргументы.

В который уже раз спрашивает его комендант, с какой стати их руководство выказывает такую заинтересованность в этом не имеющем никакого смысла семейном лагере, ожидая в очередной раз услышать уже известный ему ответ доктора. Менгеле вооружается всем имеющимся у него терпением и изображает на лице притворную любезность, но при этом совершенно нарочито избирая манеру говорить, рассчитанную скорее на малого ребенка или умственно отсталого.

– Вам хорошо известно, господин комендант, что этот лагерь обладает для Берлина стратегической значимостью.

– Мне это, черт возьми, прекрасно известно, господин доктор! Одного я не понимаю – к чему нам все эти реверансы. Может, нам здесь и ясли для детей открыть? Что это – с ума все посходили, что ли? Кто-то полагает, что Аушвиц – курорт?

– Вот как раз это-то нам и нужно – чтобы у некоторых стран, которые особенно пристально за нами следят, сложился именно такой взгляд на вещи. Слухи-то ходят всякие. И когда Международный Красный Крест запросил более подробную информацию о наших концентрационных лагерях, рейхсфюрер Гиммлер поступил, как всегда, гениально. Вместо того чтобы запретить им посещение лагеря, он пригласил их нанести визит. Мы покажем им именно то, что они желают увидеть: проживающих семьями евреев, бегающих по Аушвицу ребятишек.

– Слишком много хлопот...

– Вся та работа, которая была проделана в Терезиенштадте, оказалась бы бесполезной, если бы в тот момент, когда сюда доберется инспекция Красного Креста, идя по следам перемещенных из гетто лиц, инспекторы увидят то, что мы не хотим, чтобы они видели. Мы пригласим их к себе домой, но покажем не кухню, а только детскую комнату для игр. И они, довольные, отправятся обратно в Женеву.

– К чертям Красный Крест! Кто они такие, эти трусливые швейцаришки, у которых даже армии нет, чтобы диктовать Третьему Рейху, что он должен и не должен делать? Почему бы их просто пинками под зад не вытолкать, когда заявятся? Или даже лучше – прислать их сюда ко мне, и я засуну их в печь, даже не устроив экскурсии по кухне!

Менгеле снисходительно улыбается, наблюдая за тем, как Шварцгубер наливается краской по мере того, как растет его негодование. Доктору приходится сдерживаться: на самом деле он с превеликим бы удовольствием схватил хлыст и обломал его о голову коменданта. Нет, не хлыст... Хлыст у него – вещь слишком ценная. Гораздо лучше достать из кобуры револьвер

и загнать пулю ему в мозги. К сожалению, этот человек – комендант лагеря, хотя и полный тупица.

– Мой дорогой комендант, не следует недооценивать значимость того образа нас самих и нашего проекта, который мы предлагаем миру. Нам нужно быть осторожными. Знаете ли вы, каким был первый руководящий пост, который занимал наш любимый фюрер в нацистской партии? – Менгеле делает поистине театральную паузу; хотя он прекрасно знает, что отвечать на свой вопрос придется ему самому, он не отказывает себе в удовольствии унизить Шварцгубера. – Руководитель отдела пропаганды. Он пишет об этом в «Майн Кампф», вам не приходилось читать?... – Доктор с удовлетворением отмечает замешательство на лице коменданта. – Многие как внутри, так и за пределами Германии еще не в полной мере осознали необходимость очистить человечество генетически, уничтожив неполноценные расы. И наверняка найдутся такие государства, которые могут всполошиться и устроить нам новые фронты военных действий. А в данный момент этого нам категорически не нужно. Мы хотим сами принимать решения относительно того, когда и в каком месте открывать новый фронт. Это как при проведении хирургической операции, мой комендант: ты не можешь размахивать скальпелем и резать им то в одном, то в другом месте, тебе нужно выбрать определенное место, где надлежит сделать разрез. Война – наш скальпель, и нам нужно использовать его с высочайшей точностью. Если размахивать им, подобно сумасшедшему, то дело может кончиться тем, что вонзишь его в самого себя.

Шварцгубер не хочет терпеть этот снисходительный тон – тот самый, который избрал бы преподаватель, пытающийся донести хоть крупицу знаний до отстающего ученика.

– Черт побери, Менгеле, вы говорите как политик! А я – солдат. Мне отдан приказ, и я его выполню. Если рейхсфюрер СС Гиммлер говорит, что в данных обстоятельствах нужно сохранять этот семейный лагерь, я так и сделаю. Но вся эта затея с детским бараком... Он-то тут при чем?

– Пропганда, мой комендант, про-па-ган-да... Так мы добиваемся того, что соответствующие заключенные напишут домой своим еврейским родственникам и расскажут им о том, как хорошо с ними обращаются в Аушвице.

– А какого дьявола нас должно заботить, что подумают родственники этих жидовских свиней о том, как тут с ними обращаются?

Менгеле набирает в легкие воздух и мысленно считает до трех.

– Дорогой комендант... за пределами Рейха до сих пор остается еще много евреев, которыми нам со временем придется заняться. Однако животное, которое не подозревает о том, что его ведут на бойню, гораздо легче туда доставить, чем то, которому известно, что его ведут на убой, – такое животное будет оказывать разного рода сопротивление. Вам, выходцу из деревни, должно быть об этом хорошо известно.

Последнее замечание доктора возмущает коменданта.

– И как у вас только язык повернулся назвать Тутцинг деревней? Да будет вам известно, Тутцинг считается самым красивым населенным пунктом Баварии и даже всей Германии... Стало быть, всего мира!

– Естественно, господин комендант. Я с вами совершенно согласен: Тутцинг – великолепнейшее село.

Шварцгубер собирается ответить, но вдруг до него доходит, что этот буржуазный докторишка, этот педант намеренно его провоцирует, так что подыгрывать в этой игре ему вовсе не следует. С таким типом, как Менгеле, нужно держать ухо востро, ведь никогда не знаешь, что у него за пазухой.

– Очень хорошо, господин доктор, склад, ясли – все что угодно, – бурчит он. – Но я не допущу того, чтобы эти затеи привели хоть к самому незначительному неприятному эпизоду или нарушению порядка. При малейшем признаке нарушения дисциплины все будет немед-

ленно закрыто. Вы верите в то, что этот еврей, руководящий детьми, сможет удержать дисциплину?

– Почему нет? Он же немец.

– Капитан Менгеле! Как вы только осмеливаетесь утверждать, что какой-то вшивый жидовский кобель принадлежит к славной германской нации?

– Ну, вы можете называть его как вам заблагорассудится, но в личном деле небезызвестного Хирша указано, что родился он в Аахене, земля Северный Рейн. А как известно, это Германия.

Шварцгубер чуть ли не испепеляет своего собеседника взглядом. Менгеле легко читает его мысли: комендант не намерен спускать ему дерзости, но доктор не тревожится, поскольку замечает в своем начальнике некую опаску. Ему хорошо известно, что с доктором нужно обходиться с превеликой осторожностью, поскольку у того имеются очень влиятельные друзья в Берлине. В глазах коменданта лагеря различим блеск затаенной злобы, как будто он облизывается, предвкушая тот момент, когда счастливая звезда доктора закатится и он сможет-таки позволить себе это удовольствие – раздавить докторишку, как таракана. Однако Менгеле хранит спокойствие и любезно улыбается. Такой момент никогда не наступит. Он всегда идет на шаг впереди всех этих вояк, которые на самом-то деле так ничего и не поняли и толком не знают, за что сражаются. А вот он знает. Лично он сражается за то, чтобы стать знаменитостью. Для начала он возглавит Немецкий фонд научных исследований, а потом кардинально изменит развитие медицины. А в конечном счете – развитие всего человечества. Йозеф Менгеле знает, что он не какой-то там маленький униженный человек; унижения он оставляет слабым.

История преподает ему урок. Самая большая слабость, несомненно, именно та, что свойственна сильным: им свойственно в конце концов уверовать в собственную непобедимость. Сила Третьего Рейха – его слабость: поверив в свою неуязвимость, он наоткрывал столько фронтов, что они непременно приведут к его падению. В небе над Аушвицем уже можно видеть самолеты союзников, а вдали слышен грохот первых бомбежек.

Никому не удастся избежать слабости.

Не является неуязвимым и Фреди Хирш.

Это происходит спустя несколько дней. После окончания последних послеобеденных занятий, когда барак пустеет, Дита торопливо собирает книги. Она заворачивает их в кусок брезента, призванный уберечь томики от контакта с землей, и направляется в комнатку *блэкльетстера*, чтобы уложить их в тайник. Ей хочется как можно скорее увидаться с мамой, чтобы уберечь ее от одиночества.

Она стучится в дверь, голос Хирша приглашает ее войти. Она застает его сидящим на единственном в этой каморке стуле, как и в другие дни. Но сегодня он не работает над своими докладами. Руки его сложены на груди, взгляд потерян. Что-то в нем изменилось.

Дита идет к тайнику, закрытом стопкой одеял, и укладывает в него книжки. Руки ее так и мелькают – она торопится, чтобы как можно скорее закончить и не беспокоить шефа. Но когда она уже поворачивается лицом к выходу, за ее спиной слышится голос.

– Эдита...

Голос Хирша звучит как-то тягуче, понуро, что ли, нет в нем сейчас тех звонких вибраций, которые обычно воодушевляют слушающих его ребят. Оборачиваясь к атлету, Дита вдруг видит, что перед ней – безмерно уставший человек.

– Знаешь что? Быть может, когда все это закончится, я не поеду в Израиль.

Дита в недоумении смотрит на него, и Фреди мягко улыбается, видя ее замешательство. Логично, что она его не понимает. Он столько лет не жалел сил, рассказывая юным евреям о том, что им нужно гордиться своим еврейством, нужно готовиться вернуться на земли Сиона, взойти на Голанские высоты и использовать их как трамплин, чтобы подняться к Богу.

– Смотри, вот люди вокруг нас... Кто они? Сионисты? Антисионисты? Атеисты? Коммунисты? – Глубокий вздох на мгновение сметает все слова. – А какая разница? Если присмотришься, то увидишь только людей и больше ничего. Слабых, легко развращаемых людей. Способных на самое плохое и на самое хорошее.

Ей и сейчас еще слышатся те его слова, которые, как и предшествующие, Хирш на самом деле говорил вовсе не ей, а себе:

– Все, что раньше было таким важным, теперь кажется мне ничтожным.

Он умолкает, и взгляд его вновь устремляется в никуда. Именно такой взгляд у человека, когда то, что ему хочется разглядеть, – это его мир, его душа. Дита ничего не понимает. Она не понимает, почему тот, кто так долго боролся за возвращение в обетованную землю Израиля, внезапно потерял к этому пути всякий интерес. Ей хочется спросить его об этом, но он ее уже не видит, он уже далеко. И она почитает за лучшее оставить его блуждать в одиночестве по собственным лабиринтам и тихо выйти из комнаты.

Позже Дита все поймет, но в эту минуту она пока не в состоянии усмотреть в этом его отказе то редкостное предвидение, которое посещает людей, когда они оказываются на самом краю жизни. Когда заглядываешь в пропасть, все кажется пренебрежимо малым. То, что казалось раньше большим, внезапно скукоживается, а то, что виделось чрезвычайно значимым, оказывается вдруг чем-то совсем неважным.

Дита искоса оглядывает стол. Бумаги, лежащие на нем, исписаны рукой Хирша, но, приглядевшись внимательнее, она понимает, что это и не рапорты, и не какие-нибудь другие административные документы. Это стихи. А поверх них, подобно рухнувшей вниз скале, что погребает под собой все, лежит листок со штампом администрации лагеря.

Она успевает прочесть только одно слово, выделенное жирным шрифтом: «Перемещение».

Новость о перемещении уже дошла до конторы регистратора Руди Розенберга в карантинной зоне. Прошло шесть месяцев со дня прибытия в лагерь сентябрьского транспорта, и, как и было предсказано имеющими отношение к этой партии узников пометками, немцы приступают к реализации особого с ней обращения, которое и обозначается словом «перемещение».

Именно по этой причине вечером, нетерпеливо ожидая появления Алисы возле разграничивающей два лагеря ограды, Руди до самой верхней пуговицы застегивает свою куртку, добытую им на черном рынке. Сегодня он просто не может спокойно стоять на месте, его нервы подобны электрическим проводам с износившейся обмоткой, которые то и дело искрят.

Накануне он попросил Алису о помощи. Речь шла о выполнении полученного им срочного поручения Шмулевского: установить точное количество членов Сопротивления в семейном лагере. Работа Сопротивления так глубоко законспирирована, что подчас сами его члены не знакомы друг с другом. Тем вечером Руди узнал, что и Алиса тоже, через свою подругу, связана с движением Сопротивления.

Шмулевский немногословен: редко когда произнесет более полудюжины слов подряд. Это еще один элемент его техники выживания. Когда кто-то просит его о дополнительных пояснениях или пеняет ему на краткость, он в ответ приводит слова своего друга-адвоката, который говаривал, что до седых волос доживает не кто попало, а только немые. Но Руди застал его в особо мрачном настроении духа и не смог удержаться, чтобы не задать вопроса о признаках – предвещают ли они что-то дурное. Ответ Шмулевского, как всегда скупой и неизменно осторожный, был таков: «Плохи дела».

Дела были плохи в семейном лагере.

Охранники на вышках видят регистратора карантинного лагеря и его подружку-еврейку из семейного, подходящую к ограде со своей стороны, – ту же картину, что наблюдают практически каждый вечер. Рутину, на которую они уже не обращают внимания. С того расстояния

– физического и морального, – которое отделяет нацистов от узников, немцы видят последних кусками пронумерованного мяса. Не отличают они одну тощую и одетую в лохмотья еврейку от другой. Поэтому им и невдомек, что в тот вечер к ограде выходит не Алиса Мунк, а Елена Резекова, одна из лучших подруг Алисы, член Сопrotивления и один из координаторов движения. Именно она приближается к ограде, чтобы передать Руди ту конфиденциальную информацию, которую запросил руководитель Сопrotивления: в семейном лагере тридцать три члена подпольного движения, разделенных на две группы. Елена задает ему свой вопрос: узнал ли он что-нибудь еще по поводу перемещения? Но новостей мало. До него лишь дошел слух, что эту партию людей отправят в Хайдебрек, но подробностей никаких нет. Администрация утечек не допускает.

Какое-то время оба смотрят друг на друга, не произнося ни слова. Девушка в других обстоятельствах могла бы быть красавицей, но сейчас невымытые и спутанные волосы, запавшие щеки, грязная одежда и потрескавшиеся от холода губы превратили ее в нищенку двадцати двух лет от роду. Розенберг, обычно такой разговорчивый, просто не знает, что еще сказать этой девушке с искалеченным настоящим и исполненным мрака будущим.

Во второй половине дня Руди, под предлогом необходимости отнести некие списки, получает разрешение посетить лагерь ВПId. Истинная его цель – встреча со Шмулевским. Руди находит его сидящим на деревянной скамье перед бараком, жующим какую-то травинку – замена табаку. Руди, который всегда умудряется раздобыть все необходимое, предлагает ему сигарету.

И передает Шмулевскому информацию о количестве членов Сопrotивления в семейном лагере и роде их деятельности, то есть те сведения, которые накануне дала ему Елена. Шмулевский ограничивается кивком. Руди ожидал, что тот хоть как-то объяснит ему ситуацию, но никаких объяснений не последовало. И тогда Руди, как будто тому это неведомо, сообщает Шмулевскому, что на календаре – 4 марта, так что прошло ровно шесть месяцев со дня прибытия в лагерь партии Алисы и наступает момент реализации «особого обращения».

– Хотел бы я, чтобы этот момент не наступил никогда.

Поляк молча курит. Розенберг понимает, что их встреча окончена, и неуклюже прощается. Он идет назад в свой лагерь, раздумывая о том, что означает молчание Шмулевского: утаивает ли он таким образом некую критически важную информацию или же за его молчанием скрывается абсолютное незнание того, что происходит.

Вечерняя поверка длится дольше обычного. Несколько эсэсовцев обходят всех *капо* и сообщают им о необходимости прибыть к пропускному пункту в лагерь. Там их ожидают гражданский ответственный лагеря ВПb (так называемый *камп капо*, обычный немецкий уголовник по имени Вилли) и Пастор, окруженные охранниками с автоматами в руках. Узники могут видеть, как старшие по баракам подтягиваются к унтер-офицеру, вставая перед ним полукругом.

Фреди Хирш энергичными шагами пересекает *лагеритрассе*, обгоняя других *капо*, с большей неохотой приближающихся к месту сбора. Хотя уже смеркается, профиль спешащего на встречу Хирша – гордый, раскованный – разглядеть нетрудно.

Пастор ожидает подхода всех участников встречи, засунув руки в рукава мундира. Глядя на приближающихся людей, он цинично улыбается. Сразу видно, что он в хорошем настроении. Для сержанта освобождение от существенной части узников – хорошая новость: сбросишь половину заключенных – избавишься от половины проблем. Его помощник раздает собравшимся *капо* списки имен тех прибывших с сентябрьским транспортом и живущих в их бараках людей, которых следует оповестить о том, что завтра утром им с личными вещами (ложкой и миской) нужно построиться отдельно, поскольку они будут перемещены в другой лагерь. В блоке 31 ночует всего один человек, его *блокэльтестер*, и он получает самый короткий список, в котором значится всего одно имя – его собственное: Альфред Хирш. Среди гробо-

вой тишины, нарушаемой лишь легким шелестом бумажных списков, он – единственный, кто решается выйти вперед и, вытянувшись перед унтер-офицером, задать вопрос.

– С вашего позволения, господин обершарфюрер. Могли бы мы узнать, в какой именно лагерь нас переводят?

Пастор, не мигая, в течение нескольких секунд разглядывает Хирша. Задать вопрос по собственной инициативе, без предварительного разрешения говорить, считается проявлением непочтительности, которое унтер-офицер СС не имеет обыкновения оставлять без последствий. На этот раз он, однако, ограничивается резкостью своего ответа.

– Вас оповестят, когда в этом возникнет необходимость. Вернитесь на место.

Капо начинают выкрикивать перед своими бараками имена людей, включенных в списки на завтрашнее перемещение. Поднимается растерянный гул голосов: люди не знают, стоит ли им радоваться тому, что они покидают Аушвиц. Снова и снова звучит один и тот же вопрос:

– Куда нас отправляют?

Но ответа нет – либо предлагаются столь разнообразные домыслы и догадки, что ни одна из версий ни на что не годится. Всем и каждому приходилось слышать об «особом обращении» по истечении шести месяцев. Но что имеется в виду? Даже самые завзятые оптимисты осознают, что это перемещение с неизвестным конечным пунктом, незнамо куда: в жизнь или в смерть.

Дита поговорила с Маргит, стремясь выработать для себя хоть какой-нибудь ответ на бескрайний список вопросов. И теперь возвращается в свой барак, устав строить предположения самого разного рода. Она так растрожена этой новостью, что забыла предпринять обычные меры предосторожности: периодически оглядываться на ходу, держаться поближе ко входам в бараки, чтобы успеть в случае чего заскочить внутрь. И вдруг ее настигает говорящий по-немецки голос, и чья-то рука ложится ей на плечо.

– Девочка...

Она до смерти пугается. Хотя доктор Менгеле в любом случае вряд ли бы к ней прикоснулся. Это Фреди Хирш, возвращающийся в свой барак. Она замечает в его глазах лихорадочный блеск, он вновь полон энергии и готов двигать горы.

– Что же нам теперь делать?

– Идти вперед. Все это – как лабиринт, в котором можно заблудиться, но отступить – еще хуже. Ни на кого не оглядывайся, слушай свой внутренний голос, голос своего разума, и всегда двигайся вперед.

– Но... куда вас увозят?

– Мы едем работать в другом месте. Но ведь это не самое важное. Важно то, что здесь остается дело, которое нужно довести до конца.

– Блок 31...

– Мы должны завершить то, что начали.

– Мы продолжим занятия в школе.

– Правильно. Но есть и еще одно важное дело.

Дита смотрит на него, но пока не понимает.

– Слушай меня внимательно: в Аушвице ничто не является тем, чем оно кажется. Но настанет момент, когда откроется щель для правды, вот увидишь. Они думают, что ложь играет на их стороне, но в самый последний момент мяч в их корзину забросим мы, потому что они слишком самоуверенны. Они думают, что разгромили нас, но это не так. – Сказав это, он на секунду задумался. – Я не смогу быть здесь, чтобы помочь вам выиграть этот матч. Ты должна верить в это, Дита, очень крепко верить. Все кончится хорошо, вот увидишь. Доверься Мириам. А самое главное, – и он заглядывает ей в глаза со своей самой обворожительной улыбкой, – никогда не сдавайся!

– Никогда!

Он загадочно улыбнулся ей и пошел прочь все теми же широкими шагами атлета, пока она стоит на месте и гадает, что же он хотел ей сказать, когда говорил о броске в корзину в последнюю секунду.

В эту ночь в бараках мало кто спит, эта ночь полнится пересказываемыми шепотом на нарах слухами, разной степени невероятности теориями, а еще – молитвами.

«Какая разница, куда нас повезут, если худшего места, чем Аушвиц, быть не может?» – восклицают некоторые. Некое утешение в пучине безутешности.

Мощная бабища, с которой Дита делит нары, относится к сентябрьскому транспорту, стало быть, она тоже входит в число перемещаемых. Говорит она мало, особенно если не считать те грубые шутки, которыми перебрасывается с соседками. Дите она вообще ничего и никогда не говорит – ни хорошего, ни плохого. Устроившись у нее в ногах, Дита, как и каждый вечер, желает ей спокойной ночи. Как и каждый вечер, та ничего не отвечает. Даже не издает своего неразборчивого ворчания, которое можно было бы счесть чем-то вроде ответа. Притворяется спящей, но слишком уж сильно зажмурилась. Ни одна из них, будь она самым крепким из наиболее крепких орешков, не может уснуть в эту долгую ночь, которая может оказаться для нее последней.

Утро встает пасмурное и холодное. Порывы ветра приносят хлопья пепла. Ничего особенного, как и в любой другой день. При построении происходит некое замешательство, потому что строятся не как обычно, а особым порядком: сентябрьская партия узников – в одну сторону, декабрьская – в другую. *Капо* выбиваются из сил, стараясь построить обе группы, эсэсовские охранники тоже ведут себя более нервно, чем обычно, даже отвесили кому-то несколько ударов прикладами, что в норме на утренней поверке не практикуется. Атмосфера напряженная, вокруг вытянутые лица. Переключка проводится с доводящей до белого каления медлительностью, помощники *капо* ставят крестики напротив фамилий в листах учета. Диту, уже который час стоящую на одном месте, постепенно охватывает ощущение, что она очень медленно, но верно погружается в зыбкую почву и что если поверка растянется еще на несколько часов, то в конце концов ее, как и булыжники, которыми мостят дорогу, с головой поглотит слякотное болото.

Наконец, спустя почти три часа после начала переключки, сентябрьская группа численностью около четырех тысяч человек приступает к движению. На данный момент временной целью передвижения является карантинный лагерь, непосредственно примыкающий к семейному. И как раз туда и направляется усталая колонна. Из карантинного лагеря за шествием внимательно наблюдают глаза Руди Розенберга, прикованные ко всем движениям в стремлении не упустить ничего мало-мальски важного, как будто бы в позах и жестах охранников скрывается некий ключ, который поможет разузнать хоть что-то относительно судьбы всех этих людей и в частности Алисы.

Дита с мамой, вместе с другими узниками из их транспорта, молча наблюдают за происходящим. Они так и стоят строем возле своих бараков, пока взводы охранников организованно проводят колонну сентябрьских старожилов к выходу из лагеря ВПб. В этом параде нет ничего праздничного, хотя лица некоторых идущих мимо заключенных, уверенных в том, что их ждет лучшее место, сияют улыбками. Есть головы, которые поворачиваются назад, чтобы сказать последнее прости. Есть руки, машущие на прощание, как среди тех, кто уходит, так и среди тех, кто остается. Дита хватается свою маму за руку и сильно ее сжимает. Она не понимает, отчего у нее вдруг так засвербело в животе: от холода или от страха за уходящих.

Она видит, как проходит мимо несносный Габриэль – он громко хохочет. Мальчишка специально меняет ширину шага, чтобы спотыкалась высокая тонкая девчушка, что идет прямо за ним и проклинает его. Рука взрослого вытягивается из следующего ряда и сурово впивается в ухо шалуна. Пани Кризкова столь искусна в наказаниях, что способна осуществить одно из них на ходу и даже не сбиваясь с шага. Проходят в направлении карантинного лагеря знакомые

и преподаватели из блока 31, а также проплывает множество других лиц, на которых взгляд Диты раньше не останавливался: в большинстве своем – серьезные, изможденные лица. Некоторые идущие приветствуют остающихся детей из декабрьского транспорта, в свою очередь без усталости машущих им на прощание рукой. Для детей это целое событие, вторгшееся в монотонную рутину лагерной жизни.

Проходит профессор Моргенштерн в своем залатанном костюме-тройке и разбитых очках, смешно отвешивая во все стороны поклоны. Поравнявшись с Дитой, он, не останавливаясь, не замедляя шага, дабы не помешать другим, вдруг делает серьезное лицо, а потом подмигивает. И идет дальше, возвращаясь к своему коронному номеру с клоунскими реверансами и улыбочкой свихнувшегося старикана. Всего лишь пара секунд, но пока он смотрел на нее, Дита успела заметить, что профессор совершенно преобразился: лицо у него стало другим, словно он приподнял на секунду маску и позволил ей увидеть себя настоящего. Не тот убегающий в никуда взгляд съехавшего с катушек старика, а закаленное лицо истинно уравновешенного человека. И тогда у Диты уже не остается сомнений.

– Профессор Моргенштерн!

Она посылает профессору воздушный поцелуй, и он оборачивается, чтобы отблагодарить ее церемонным поклоном, который очень веселит ребятишек. Он кланяется и им. Он – актер, который после окончания представления покидает сцену и прощается с публикой.

Ей бы так хотелось обнять его и сказать, что теперь-то она знает, что она всегда это знала: у него с головой все в полном порядке. Если тебя закрывают на замок в сумасшедшем доме, самое страшное, что с тобой может случиться, – что ты останешься в своем уме. Его притворная выходка умалишенного, разыгранная в нужный момент во время инспекции, спасла ее от Пастора и Менгеле. Скорее всего, спасла ей жизнь. Ей и всем остальным. Теперь она это знает. О чем говорил и Фреди: здесь ничто не есть то, чем оно кажется. Ей бы так хотелось горячо расцеловать его на прощание, но это невозможно. Профессор уходит все дальше и дальше, продолжая разыгрывать свои трюки, растворяясь в толпе уходящих людей.

– Удачи вам, профессор...

Проходит мимо группа женщин. Одна из них, одна из немногих, чья голова не покрыта платком, нарушает четкие правила движения в колонне и, выйдя из строя решительным шагом, подходит к Дите. Сначала Дита ее не узнает, но... это же ее громадная соседка по нарам. Нечесанные распущенные волосы прикрывают шрам, рассекающий ее лицо. Она встает прямо перед Дитой, уставившись на нее своими жабьими глазами, и мгновение они смотрят друг на друга.

– Меня зовут Лида! – произносит она своим громовым голосом.

К ним галопом подбегает *капо*, начинает орать, чтобы та немедленно вернулась в колонну, и угрожающе размахивает своей дубинкой. И женщина бегом возвращается в строй, но на ходу оборачивается, и Дита успевает махнуть рукой на прощание.

– Удачи тебе, Лида! Мне очень нравится твое имя! – кричит она.

И ей кажется, что ее соседка по нарам гордо улыбается в ответ.

Одним из последних в этом прощальном дефиле появляется Фреди Хирш. Он в своей лучшей, совершенно чистой рубашке, на фоне которой у него на груди поблескивает, мерно покачиваясь, серебряный свисток. Он идет, глядя прямо перед собой, голова поднята ровно так, как положено военному, взгляд никуда не отклоняется. Он полностью погружен в свои мысли и не обращает никакого внимания ни на приветствия, ни на жесты прощания, несмотря на то что имя его звучит не один раз.

Не важно, что там у него на душе, не важны терзающие его внутри сомнения. Начинается новый исход евреев, и на этот раз их изгоняют из их же тюрьмы, и это событие они должны встретить с максимально возможным достоинством. Недопустимы ни слабость, ни сентиментальность. Вот почему не отвечает он ни на одно приветствие, ни на одно прощание, избрав такую линию поведения, которая некоторыми воспринимается как проявление высокомерия.

Верно и то, что он гордится своим достижением: на протяжении всего существования блока 31 не умер ни один из их учеников. Поддерживать жизнь 521 ребенка в течение нескольких месяцев – это абсолютный рекорд, такого результата в Аушвице не достигал никто и никогда. Взгляд его устремлен вдаль, не в затылок идущего перед ним в строю, а гораздо дальше, к той линии тополей на краю лагеря, и еще дальше, к самому горизонту.

Нужно смотреть далеко, нужно быть амбициозным в своих целях.

Пока движется колонна узников Аушвица, прибывших в лагерь в сентябре, по ее рядам проходит слух о том, что их перемещают в концлагерь Хайдебрек. Большинство думает о том, что селекция будет жестокой и что многие из них туда не попадут. Другие же думают, что туда вообще никто не попадет.

18

7 марта 1944 года

Руди Розенберг наблюдает прибытие в карантинную зону ВІІb трех тысяч восьмисот заключенных семейного лагеря из сентябрьского транспорта. Новости, дошедшие до него от Шмулевского, неутешительны. Любой на его месте чувствовал бы себя в полном отчаянии, но Руди среди сотен и сотен рядов колонны жадно высматривает тоненькую фигурку Алисы. Наконец их взгляды встречаются, и поверх всеобщей тоски расцветают две радостные улыбки. Распределив прибывших по баракам, эсэсовцы разрешают узникам свободное передвижение по лагерю. Теперь Руди может принять невесту в своей комнате, куда она приходит вместе с двумя подругами по движению Сопротивления – Верой и Еленой.

Елена говорит, что в официальную версию – о том, что их перемещают в другой лагерь, дальше на север, под Варшаву, – как кажется, верит большинство. Тонкий голосок Веры вместе с ее исхудавшим лицом придает ей еще большее сходство с птицей:

– Некоторые видные представители еврейского сообщества в лагере полагают, что немцы не решатся на уничтожение детей – из опасений, что подобного рода известия сразу широко распространятся.

Розенбергу больше ничего не остается, как передать им соображения на эту тему Шмулевского, высказанные ему этим утром еще более недвусмысленно и прямолинейно, чем никогда.

– Он сказал мне, что времени практически нет, что у него сложилось впечатление, что завтра утром все эти люди могут погибнуть.

Слова падают в гробовое молчание. Женщины понимают, что руководитель Сопротивления лучше, чем кто бы то ни было, знает правду, потому что его знание основано на данных, получаемых от информаторов густой, разбросанной по всему Аушвицу сети. Охватившая всех нервозность заставляет их начать перебирать разного рода слухи, обрывки слухов, идей, желаний, преобразованных в идеи, фантастических предположений...

– А что, если как раз этой ночью кончится война?

К Елене на мгновение возвращается бодрость.

– Если бы этой ночью кончилась война и я вернулась бы в Прагу, то первое, что я бы сделала, это пошла к своей маме и наверху бы горшочек гуляша размером с бочку.

– И я бы присоединилась – с целой буханкой хлеба! Вымакала бы хлебом горшок изнутри, да так чисто, что стенки бы зеркалом засверкали, да так, что, глядя в него, можно было бы брови выщипать.

И вот им уже чудится запах тушеного со специями мяса, и девушки вздыхают от счастья. И тут же возвращаются в реальность – к запаху страха, запаху, который похож на запах холодной еды. Они вновь принимаются перебирать разные идеи и предположения, надеясь обнаружить в них хоть какой-нибудь намек на благополучный исход в открывающейся перед ними перспективе цвета густой черноты; хоть мало-мальскую деталь, ускользавшую, возможно, до сих пор от их внимания, но такую, которая все сможет расставить по местам удовлетворительным для них образом. Отыскать тот самый гвоздик, который сможет задержать их в мире живых.

Единственное, что может добавить Руди, имевший в качестве регистратора доступ к спискам перемещаемых лиц, это то, что в семейный лагерь смогут вернуться девять человек. Четверо из них – две пары близнецов, о которых ходатайствовал доктор Менгеле для продолжения своих экспериментов. Кроме близнецов в их число входят три врача и фармацевт госпиталя. Они тоже прибыли с сентябрьским транспортом, но относительно них тоже имеется ходатайство Менгеле. Девятый – любовница господина Вилли, лагерного *капо*. Остальные под-

падают под то «особое обращение», которое было предусмотрено при доставке сентябрьского транспорта в концлагерь.

Информация Руди на самом деле неполна. В списке «неперемещаемых» имеются и другие имена, но в данный момент ситуация не полностью прозрачна. Все выяснится в свое время. По истечении часа, проведенного в изнурительных разговорах, которые так ничего и не прояснили, все чувствуют такой упадок сил, что умолкают.

Вера и Елена уходят, и Руди с Алисой остаются вдвоем. В первый раз между ними нет колючей проволоки, в первый раз они не находятся под наблюдением охранников с винтовками, дежурящих на вышках, в первый раз не видны им трубы крематория, напоминающие об окружающем их распаде. Несколько секунд они смотрят друг на друга – сначала со смущением и неловкостью. Но постепенно нарастает взаимное притяжение. Они молоды и красивы, полны жизни, планов, желаний, необходимости жить прямо сейчас, выпить до дна настоящее. И, снова посмотрев друг другу в глаза, на этот раз – с искоркой желания во взгляде, они чувствуют, что счастье обособляет их, переносит куда-то далеко и что ничто не может лишить их этого мига.

И во время того короткого промежутка времени, что длился этот сон, Руди, держащий в объятиях Алису, успел уверовать в то, что счастье их так огромно, что ничто на всем свете не сможет его разрушить. Он засыпал с мыслью, что, проснувшись утром, обнаружит, что все зло исчезло и жизнь течет вновь по тем законам, по которым текла до войны, что на рассвете запоют петухи, запахнет свежеспеченным хлебом и весело затрезвонит звонок на велосипеде молочника. Но вот светает, а ничто не исчезло – угрожающий пейзаж Биркенау никуда не делся. Он еще слишком молод, чтобы знать, что счастье не способно ничего одолеть, что счастье – слишком хрупкое, что это оно всегда терпит поражение.

Он просыпается от вдруг зазвучавшего взволнованного голоса, рассыпающегося в его мозгу звоном бьющегося стекла. Это Елена, и она буквально вне себя. Она говорит, что его срочно хочет видеть Шмулевский, что вся зона буквально кишит эсэсовцами, что вот-вот начнется что-то очень серьезное. Руди пытается обуться, а Елена на грани истерики тянет его за руку, почти вытаскивает из постели, где лежит Алиса, которая все еще упорно цепляется за сон.

– Бога ради, Руди, поторопись! Времени нет, у нас почти не осталось времени!

Как только Руди оказывается под открытым небом, у него тоже создается впечатление, что творится что-то скверное. Очень много эсэсовцев, и большинство из них Руди никогда не видел: такое впечатление, что было запрошено подкрепление из других подразделений. Не похоже это на рутинную процедуру, которая реализуется при обычной погрузке людского контингента в состав для простого перемещения. Ему нужно срочно повидаться со Шмулевским. Верно и то, что он предпочел бы его не видеть, не говорить с ним, не слышать то, что тот может ему сказать. Но он должен пойти к нему в лагерь IIIId. Благодаря занимаемой должности Руди без труда проходит в тот лагерь, якобы чтобы получить несколько порций хлеба.

Лицо лидера Сопротивления – уже не лицо, а штормовая поверхность моря, изрезанная морщинами, с черными ямами под глазами. Его слова не ищут обходных путей, не выбирают направление или сдержанность, они – лезвие ножа.

– Люди, переведенные из семейного лагеря, сегодня умрут. – Он произносит эти слова абсолютно не колеблясь, без тени сомнения.

– Ты хочешь сказать, что будет отбор? Хочешь сказать, что они хотят избавиться от стариков, больных и детей?

– Нет, Руди. Умрут все! Зондеркоманда получила приказ подготовить к ночи печи для четырех тысяч тел. – И практически без паузы добавляет: – Нет у нас времени на слезы, Руди. Наступил момент поднимать восстание.

Шмулевский переживает сильнейший стресс, но слова его, возможно, оттого что были отшлифованы десятками повторений за долгую бессонную ночь, абсолютно четки:

– Если чехи восстанут, если окажут сопротивление и будут драться, в одиночестве они не останутся. Сотни, может, тысячи наших людей встанут рядом с ними, и при хотя бы крупице удачи дело может выгореть. Пойди и скажи им об этом. Скажи, что терять им нечего: сражаться либо умереть, третьего не дано. Но без того, кто возглавит восстание, шанса на успех – ни малейшего.

Видя замешательство на лице регистратора, Шмулевский разъясняет, что в лагере действует по меньшей мере полдюжины различных политических организаций: коммунисты, социалисты, сионисты, антиссионисты, социал-демократы, чешские националисты... Если одна из этих групп проявит инициативу, сразу же возникнут дискуссии, несогласие и столкновение с другими группировками, что сделает невозможным всеобщее восстание. Поэтому нужен кто-то, кто пользуется уважением большинства. Кто-то очень храбрый, кто не станет колебаться, чей призыв услышат и за кем пойдут люди.

– Но есть ли такой человек? – недоверчиво вопрошает Розенберг.

– Хирш.

Регистратор, медленно осозная весь масштаб грядущих событий, согласно кивает.

– Ты должен поговорить с ним, рассказать о сложившейся ситуации и убедить возглавить восстание. Время выходит, Руди. На кон поставлено многое. Хирш должен подняться и сделать так, чтобы поднялись все.

Восстание... Само слово – зовущее, величественное, достойное страницы в истории. Слово, которое, однако, меркнет, как только Руди поднимает глаза и оглядывается вокруг: мужчины, женщины, дети – в лохмотьях, безоружные, истощенные, против установленных на смотровых вышках пулеметов, против солдат-профессионалов с оружием в руках, против выдрессированных собак, против бронированных машин. Шмулевский все это знает; знает, что погибнут многие, возможно, что и все... но это сможет пробить брешь и дать шанс кому-то – единицам, может, десяткам или даже сотням – выбраться из лагеря в лес и бежать.

Быть может, беспорядки распространятся, и восставшим удастся вывести из строя жизненно необходимые для существования концлагеря сооружения. Тогда они смогли бы остановить, хотя бы на короткое время, машину смерти и спасти жизнь многим узникам. Но может случиться и так, что восставшие не добьются ничего, кроме пулеметной очереди в грудь. Слишком много неизвестных перед твердой уверенностью в сокрушительной силе СС, но Шмулевский несколько раз повторяет одно и то же:

– Скажи ему об этом, Руди. Скажи, что терять ему нечего.

Когда Руди Розенберг возвращается в карантинную зону, у него уже нет сомнений: смертный приговор этих людей подписан, но они еще могут побороться за свою жизнь и судьбу. Ключ от нее Фреди Хирш носит на своей груди – тот самый маленький серебристый свисток. Звук свистка станет сигналом к едингласному яростному восстанию трех тысяч человеческих душ.

По дороге назад Руди думает об Алисе. До сих пор он действовал так, как будто бы Алиса не была частью сентябрьского контингента, приговоренного к смерти, как будто бы это не имело к ней никакого отношения. Девушка – одна из приговоренных, но Руди еще и еще раз повторяет себе, что нет, что не может такого быть, чтобы красота и юность Алисы, ее чудное тело и этот взгляд газели через несколько часов стали неподвижной мертвой плотью. Этого не может быть, твердит он сам себе, это против всех законов природы. Как только кто-то может захотеть, чтобы умерло такое божье творение, как Алиса? У него это в голове не укладывается. Руди ускоряет шаг и одновременно сжимает кулаки от гнева, который превращает его отчаяние в ярость. Он снова и снова говорит себе: нет и еще раз нет, не совладают они с ее юностью.

В карантинный лагерь он возвращается с горящими от ярости щеками. Растрепанная Елена ждет его возле входа.

– Сходи к Фреди Хиршу, – говорит он девушке. – Пусть придет ко мне в комнату, это срочно. Скажи, что речь идет о деле чрезвычайной важности.

Этот момент – момент истины: все или ничего.

Вскоре Елена возвращается вместе с Хиршем – атлетом, идиолом молодежи, апостолом сионизма, человеком, который может на равных говорить с Йозефом Менгеле. Руди окидывает его взглядом: жилистый, с еще влажными, зачесанными назад и безупречно лежащими волосами и с серьезным, даже суровым взглядом, слегка раздраженным от того, что ему помешали, выдернули из его раздумий.

Когда Руди Розенберг закончил говорить о том, что лидер Сопротивления в лагере Аушвиц-Биркенау собрал сведения, которые неопровержимо доказывают, что людской контингент, доставленный в сентябре из Терезина, обречен на стопроцентное уничтожение в газовых камерах ближайшей ночью, в лице Хирша не дрогнул ни один мускул: на нем не отразилось ни удивления, ни возражения. Он продолжает молчать, не двигается, практически стоя по стойке смирно, как хороший солдат. Взгляд Руди останавливается на свистке, висящем на груди Хирша как некий амулет.

– Ты – наш единственный шанс, Фреди. Только ты сможешь поговорить с руководителями различных групп семейного лагеря и сделать так, чтобы они подняли людей. Чтобы все как один бросились на охранников и началось восстание. Ты должен поговорить со всеми лидерами, а твой свисток должен дать сигнал к началу восстания.

И снова – молчание немца. Непроницаемое выражение лица. Взгляд, не сводимый с регистратора-словака. Руди сказал уже все, что имел сказать, и теперь тоже молчит и ждет реакции на это отчаянное предложение в совершенно отчаянных обстоятельствах.

Наконец Хирш начинает говорить.

Но его слова – это не слова лидера общественного движения, убежденного сиониста, гордого победами спортсмена. Тот, кто заговорил, – воспитатель детей. И свои слова он произносит шепотом.

– А как же дети, Руди?

Этот вопрос Розенберг предпочел бы оставить под самый конец. Дети – их самое слабое звено. В жестокой заварухе меньше всего шансов выжить как раз у них. Но у Руди есть ответ и на этот вопрос.

– Фреди, дети при любом раскладе погибнут. Можешь не сомневаться. У нас есть всего один шанс, и то небольшой, но все же шанс, что вслед за нами поднимутся тысячи заключенных, есть шанс разрушить лагерь и тем самым спасти жизнь многим людям, которых сюда никогда уже не привезут.

Фреди по-прежнему не размыкает плотно сжатые губы, но его взгляд весьма красноречив. В рукопашной схватке – грудью на грудь – первые, кто становится жертвой, это дети. Если в ограждении лагеря удастся проделать дыру и возле нее образуется людской водоворот из желающих вырваться на свободу, дети – последние, кто сможет к ней пробиться. Если, прежде чем скрыться в лесу, придется бежать под пулями сотни метров по чистому полю, то они будут последними, кто добежит до леса и первыми, кто упадет на землю. Но даже если кто-то из них и добежит до леса – что там будет делать оказавшийся в одиночестве, потерянный ребенок?

– Они верят мне, Руди. Как же я смогу их сейчас бросить? Как смогу я бороться за свою жизнь, а им дать умереть? А если вы ошибаетесь и нас все-таки отправляют в другой лагерь?

– Нет, не отправляют. Вы обречены. Ты не сможешь спасти детей, Фреди. Подумай о других. Подумай о тысячах детей всей Европы, о тех, кого еще привезут в Аушвиц умирать, если мы сегодня не поднимем восстание.

Фреди Хирш закрывает глаза и подносит руку ко лбу, словно у него жар.

– Дайте мне час. Мне нужен один час, чтобы все обдумать.

Фреди выходит из комнаты с такой же прямой спиной, как всегда, так что никто из тех, кто видит его шагающим через зону, не может даже предположить, что на своих плечах этот человек несет груз ответственности за жизнь четырех тысяч человек. Только кто-то очень

наблюдательный мог бы заметить, как на ходу он без конца поглаживает висящий на груди свисток.

Члены Сопротивления, уже ознакомленные с ситуацией, входят в комнату, и Руди информирует их о результатах своих переговоров со старшим по блоку 31.

– Он попросил время подумать.

Один из этих людей, чех со стальным взглядом, говорит, что Хирш просто тянет волынку. Все вопросительно смотрят на него.

– А его самого не наша судьба ожидает. Он приносит пользу нацистам, ценные доклады им пишет. К тому же он и сам немец. Хирш сейчас ждет, что Менгеле затребует его назад, вытащит его с минуты на минуту, вот он и тянет время.

На секунду воцаряется оглушительная тишина.

– Да это же просто низость – свойственная таким как ты, коммунистам! Ведь Фреди рисковал жизнью из-за наших детей в сто раз больше, чем вы! – кричит ему в ответ Рената Бубеник.

Чех в ответ тоже кричит на нее, обзывает глупой сионисткой и приводит аргумент: он слышал, как Хирш несколько раз спрашивал *капо* своего барака, нет ли для него сообщения.

– Он ждет известия от нацистских властей – чтобы выйти отсюда.

– Да у тебя в мозгах грязи еще больше, чем под ногтями!

Руди встает и пытается их утихомирить. Как раз сейчас он понимает, как же важно найти лидера, тот единственный голос человека, кто был бы способен соединить в одно целое и убедить столь различных людей, чтобы они поднялись все вместе, в унисон.

Когда все они уходят, Алиса подсаживается к Руди, чтобы разделить с ним минуты ожидания: сейчас им ничего другого уже не остается, кроме как ждать решения Хирша. Присутствие Алисы – некое облегчение посреди хаоса и сомнений. Ей не верится, что нацисты решили убить их всех, в том числе детей. Для нее смерть – это что-то ужасное, но совершенно от нее далекое, как будто смерть может случиться с кем-то другим, но не с ней самой. А Руди говорит ей, что само по себе это просто ужасно, но что Шмудлевский не может в таком важном вопросе ошибаться. И тогда она говорит, что лучше сменить тему, лучше поговорить о том, какой будет жизнь после Аушвица: о том, как ей нравятся деревенские дома, какие блюда у нее любимые, какие имена выбрала бы она для их детей, которые когда-нибудь родятся... О настоящей жизни, а не о том кошмаре, в котором они увязли. И какое-то время будущее видится им таким возможным.

Минуты проходят. И каждая из них невероятно трудна. Руди думает о той тяжести, что легла на Хирша. И на него самого. Алиса все говорит и говорит, но он ее уже не слушает. Воздух становится каким-то удушающе густым. В голове у него с адским звуком тикают часы, и это тиканье, похоже, скоро сведет его с ума.

Час проходит, а известий от Хирша нет.

Проходят минуты, много минут, еще один час. Хирш не появляется.

Алиса уже умолкла, склонив голову к коленям. К Руди приходит осознание, что смерть совсем близко. На расстоянии вытянутой руки: протяни ее и коснешься.

В то же самое время в соседнем лагере – семейном, в блоке 31 занятий сегодня нет, их отменили. Преподаватели из декабрьского транспорта, на которых теперь легла ответственность за школу, слишком тревожатся. Некоторые попытались занять детей играми, но и дети сегодня беспокойны: им бы узнать, куда отправляются их вчерашние приятели, а игры-угадки и песенки их не интересуют. День наполнен апатией и напряженным спокойствием. Даже дров для печки нет, и в бараке холоднее, чем обычно. Появляется один из ассистентов и сообщает новость: вместо ушедших евреев, которые были частью сентябрьского транспорта, уже назначены новые *капо*.

Дита то и дело выбегает на улицу, чтобы кинуть взгляд в сторону лагеря ВПа, где находится добрая половина всех тех людей, которые до вчерашнего дня были с ними в одной лодке. Она видит, как люди бродят по главной улице карантинного лагеря, как кое-кто подходит к разделяющей ограде. Но охрана в их лагере усилена, и солдаты немедленно отгоняют всех от забора.

Атмосфера такая необычная, что Дита даже не решается доставать книги, лежащие под полом в комнатке старшего по блоку, которая до вчерашнего дня служила обиталищем Хирша, а теперь перешла к Лихтенштерну. Новый старший по блоку номер 31 обменял свою обеденную порцию на полдюжины сигарет. И выкурил их одну за другой, а теперь нервно меряет барак шагами, словно запертый в клетку тигр.

Все очень обеспокоены судьбой людей из сентябрьского транспорта. Они, конечно же, руководствуются чувствами человеческой солидарности и гуманизма, но думают еще и о том, что участь сентябрьского транспорта вполне может ожидать и их самих ровно через три месяца, когда закончится полугодовой срок их пребывания в лагере.

19

В зоне ВШа Руди окончательно теряет терпение: ждать дальше невозможно.

Он, как пружина, вскакивает на ноги и молча окидывает взглядом Алису. Потом с хрустом сжимает и разжимает пальцы рук и отправляется в барак Хирша, чтобы заставить его принять-таки решение. И никакого другого ответа, отличного от «да», он не примет. Восстание должно начаться – без каких-либо еще проволочек.

Из своего барака Руди выходит, нервно подрагивая, но, оказавшись на главной улице, где полно народу, набирается храбрости, и шаг его делается все более решительным. Он твердо настроен развеять все сомнения своими сильными аргументами и покончить с промедлением Хирша. Руди широко шагает, глубоко вдыхая воздух, стремясь проветрить легкие и быть готовым встретить любое препятствие, которое может поставить перед ним лидер семейного лагеря: он намерен преодолеть их все и сделать так, чтобы зазвучал свисток, пробуждающий революцию. Ожидая решения Хирша, он уже самым тщательным образом перебрал все возражения, которые тот мог бы ему привести, и подготовил неоспоримый ответ на каждое. Он, будучи полностью уверен в себе, убежден, что предусмотрел все возможные и невозможные повороты событий и что у него достаточно сил, чтобы справиться со всеми сложностями.

Розенберг и вправду знает ответы на все вопросы. Он не упустил ни одного, и его доводы никоим образом не могут быть опровергнуты. Но вот к чему он оказался совсем не готов, так это к тому, что никаких возражений не будет. Никоим образом не мог он предвидеть того, с чем столкнулся, войдя в барак, где Хиршу была выделена маленькая комнатка.

Исполненный решимости регистратор пружинистым шагом входит в барак, стучится в дверь комнаты и, не получив никакого ответа, устремляется внутрь. И видит лежащего на нарах Фреди. Приблизившись к нему с намерением разбудить, он с тревогой отмечает, что дыхание у Фреди сильно затруднено, а лицо его приобрело угрожающе синий оттенок. Фреди умирает.

Руди в неистовстве выбегает из барака и бросается на поиски доктора, всю дорогу громко, как безумец, взывая о помощи. Он возвращается с двумя медиками, которые как раз собирали свой немногочисленный инструментарий, готовясь к скорому, еще до вечера, как распорядился доктор Менгеле, возвращению в зону ВШб. Диагноз был поставлен быстро. Врачи повторяют его дважды и начинают с озабоченным видом тихо переговариваться.

– Тяжелая интоксикация организма вследствие передозировки успокоительными, мы ничем не сможем помочь.

Затем они поднимают глаза и кивком указывают на пустой пузырек «Люминала» на столе.

Альфред Хирш умирает.

Руди Розенберг чувствует, что сердце у него в груди делает кувырок; он чуть не падает. Чтобы остаться на ногах, ему приходится опереться на фанерную стенку. Он, без тени сомнения, в последний раз видит великого атлета – в предсмертной агонии. На груди Хирша в неподвижности застывает металлический свисток. И Руди в ужасе понимает, что этот великий человек в конце концов не смог повести доверенных ему детей на верную смерть, не смог принять это трагическое решение и выбрал уйти первым. Его попросили сделать нечто такое, что оказалось превыше его сил. Превыше сил любого.

Розенберг, охваченный паникой, думает, что, возможно, еще есть время найти другого лидера, что Шмулевский придумает что-нибудь еще, что даст сигнал к восстанию. И он торопится к новой цели. Однако, попытавшись выйти за пределы карантинного лагеря, чтобы встретиться с руководителем лагерного Сопротивления, он понимает, что ситуация изменилась: в лагере роится целая туча охранников СС. Карантинный лагерь запечатан: никто ни под каким предлогом не может ни туда войти, ни оттуда выйти.

Регистратор идет к разделяющей карантинный и семейные лагеря ограде и подзывает поближе одного из членов Сопротивления, неустанно прогуливающегося по другую сторону туда и сюда. И говорит ему, что Шмулевскому срочно нужно передать чрезвычайно важную информацию:

– Фреди Хирш покончил с собой. Передай ему это, ради всего святого!

Тот отвечает, что это невозможно, что они тоже не могут выйти из семейного лагеря, что их только что об этом оповестили. Руди поворачивает назад и с трудом прокладывает себе путь по *лагерштрассе* карантинного лагеря. Он превратился в разворошенный муравейник, кишащий заключенными и вооруженными охранниками: все они пребывают в тревожном ожидании, как птицы, что бестолково носятся в небе перед грозой.

Алиса, Елена и Вера идут ему навстречу. Он с ходу выкладывает им неутешительные новости: Фреди Хирш уже никогда и ничего не возглавит, а Шмулевский очень далеко. Расстояние в три изолированных лагеря стало в данный момент непреодолимой пропастью.

– Но восстание все равно может начаться, – говорят ему. – Отдай приказ, и мы все поднимемся.

Руди пытается объяснить им, что все не так просто, что так дела не делаются, что он никем не был уполномочен, что он не может принимать решение такого уровня без прямого распоряжения Шмулевского. Они, по всей видимости, его не совсем понимают. Руди теряет последние силы, он полностью раздавлен, перемолот, как тазовые кости человеческого скелета, которые нацисты превращают в порошок.

– Не могу я принять это решение, ведь я никто...

Горделивый Розенберг думает в тот момент, что он – самый ничтожный человек на свете. Он ощущает не только, что все вокруг него в этом мире разваливается на части, но и что сам он рассыпается.

В семейном лагере новость передается из уст в уста. Скупое, словно траурная телеграмма. Краткие фразы – самые хлесткие, они не требуют ответной реакции. Новость продолжает распространяться по лагерю. Обходит его, как каток, оставляя за собой полосу опустошения.

Фреди Хирш умер.

Слухи ширятся, появляется слово «самоубийство». А также слово «люминал» – снотворное, прием которого в больших количествах приводит к смерти.

Одна из ассистенток, Роси Кроус, венгерка по национальности, врывается в барак с перекошенным лицом. Глаза ее вылезают из орбит, в них читается ужас. Она практически не может говорить по-чешски, но ее специфический акцент в данный момент вовсе не комичен, напротив, он добавляет сообщаемой новости нотку особой мрачности: Фреди Хирш умер.

Сказать она ничего больше не может. Да к этому и добавить нечего. Она падает на табуретку и начинает рыдать.

Кто-то не хочет ей верить, кто-то не знает, что и думать, но в бараке появляются и другие ассистенты с помертвелыми лицами, и вот уже стираются улыбки детей, смолкают песенки, сворачиваются игры. На детских личиках читается скорее страх, чем печаль. Дрожь пробегает по сотням спин. За эти последние шесть месяцев смерть ни разу не вошла в блок 31. Им удавалось чудо – сохранять жизнь каждого ребенка. А теперь творец этого чуда погиб. И все хотели знать: как, почему? Но в глубине души у каждого был другой вопрос: что станет с ними без Фреди Хирша? Слышатся свистки и резкие команды по-немецки, требующие немедленно прибыть к баракам для вечернего построения.

Лизль поджидает Диту. Заключает ее в объятия. Уже все знают, что Хирш умер. Матери и дочери нет необходимости что-то говорить, им достаточно прижаться друг к другу щеками и крепко-крепко закрыть глаза.

Новая *блокэльтестер* их барака вспрыгивает на идущую над полом и пересекающую весь барак трубу отопления и требует тишины с такой злостью, что разговоры и шушуканья умол-

кают. Она еврейка, ей чуть меньше восемнадцати лет, но теперь у нее – власть. Это она будет раздавать порции супа и пайки хлеба. Больше она не будет голодать, больше ей не придется носить деревянные сабо, от которых пахнет гнилью, потому что на утаенные при разделе хлеба пайки она сможет купить на черном рынке сапоги. Поэтому она не позволит себе ни малейшего колебания: если *камн капо*, главный *капо* зоны, или эсэсовцы захотят, чтобы она кричала, она будет кричать. И если ей велят пороть людей плеткой, она будет пороть. Более того, она закричит и начнет пороть еще до того, как ее об этом попросят. И с удвоенной силой, чтобы не проиграть. Для начала она, пересыпая свою речь ругательствами, орет о том, что выходить из барака запрещено до завтрашнего сигнала на утреннее построение. В любого, кто окажется за стенами барака, будут стрелять.

Столько времени мечтая о койке только для нее одной, теперь, когда Дита лежит на нарах без соседки, уснуть она не может. В Биркенау ночь, в лагере тишина, снаружи доносятся только свист ветра и монотонное гудение электрического тока в проволочной ограде. Дита беспокойно ворочается и думает о том, не скучает ли по ней женщина-медведица Лида. Так долго мечтать спать одной, и вот – она то ли не умеет, то ли не может. Наконец она слезает со своей койки и забирается на нары своей мамы, которой теперь тоже не нужно делить с кем-то матрас. Дита устраивается калачиком возле матери, как когда-то давно, когда она была еще маленькой девочкой и, если ей снился кошмар, забиралась в родительскую постель, потому что там уж точно ничего плохого случиться с ней не могло.

Руди еще раз пытается проникнуть в лагерь BIIId, чтобы проинформировать Шмудлевского. В этих целях он изобретает предлог – необходимо доставить в зону некие важные документы, но разрешения не получает. Он не отступает и говорит о необходимости вынести из карантинного лагеря тело Хирша, но вновь получает отказ. Он опять идет к ограде, чтобы переговорить с человеком, который обеспечивает ему контакт с лагерем BIIId, но этого человека там нет: вне стен бараков не осталось вообще никого, что делает невозможным какой бы то ни было контакт.

Руди возвращается в свою каморку и через какое-то время снова выходит, надеясь на то, что, быть может, сменился охранник на вахте, и на этот раз ему удастся уломать унтер-офицера, чтобы тот позволил ему войти в лагерь BIIId. В этот самый момент в карантинный лагерь врывается целая орда *капо*, собранных по другим лагерям Биркенау. В руках у них дубинки, их удары сыплются налево и направо, под громко звучащие приказы срочно построиться: взвод женщин в одну сторону, взвод мужчин – в другую. Удары, крики, свистки, всхлипы от боли и панические рыдания.

Алиса бежит навстречу ему и цепляется за его руку. Какой-то охранник яростно орет им, что женщины должны отойти от мужчин.

– *Männer hier und Frauen hier!*¹¹

Рядом с ними орудуют дубинки, в грязь брызжет кровь. Алиса отделяется от Руди, не отрывая от него взгляда и печально улыбаясь. Ее пихают к группе узниц, и всех их гонят к грузовику, стоящему у въезда в зону. Подъезжают другие машины, и образуется целая очередь тархтящих двигателями грузовиков.

Руди одно мгновение стоит недвижно, словно парализованный, и толпа начинает увлекать его в группу мужчин, которые стараются защититься от ударов. Внезапно он понимает, что его затягивает в группу людей, которых вот-вот толчками начнут загонять в грузовики смерти.

Руди пытается отойти в противоположную сторону, выбраться из толпы, пока вся эта людская масса не засосала его и не пожрала. *Капо* с дубинками и эсэсовцы с автоматами следят за тем, чтобы никто не избежал общей участи: заталкивают обратно и пинают ногами, если кто-то пытается выбраться. Он берет в рот сигарету, стараясь изобразить спокойствие, которого

¹¹ Мужчины – сюда, женщины – туда! (нем.)

нет и в помине, и начинает резко отпихивать заключенных, прокладывая себе дорогу к *капо*, который знает его в лицо; тот стоит в оцеплении вокруг толпы узников. И, прежде чем *капо* замахнулся на него своей палкой, загоняя обратно в центр людского водоворота, Руди громко объявляет, что он – секретарь четырнадцатого барака...

– У меня приказ старшего по блоку немедленно явиться в его распоряжение.

Этот *капо* – немец, на его одежде – нашивка обычного уголовника. Он секунду разглядывает Руди, стоящего посреди кошмарного водоворота. Узнает его и отводит в сторону уже готовую обрушиться на Руди дубинку. Делает знак солдату с автоматом, и его выпускают. Человек, схватившийся за пиджак Руди в надежде выйти вместе с ним, получает удар дулом автомата по ребрам. Слышится стон. Руди не оборачивается. Он идет прочь быстрыми шагами, пытаясь изобразить на лице полное безразличие, но у него едва не подгибаются ноги.

По дороге к своему барaku он слышит многоголосицу криков, приказов, стонов, рыданий, хлопанья закрывающихся дверей машин, звук буксующих в грязи колес, ревуших и затихающих вдали моторов. Он думает об Алисе. Вспоминает ее глаза испуганной лани, которыми она взглянула на него в последний раз, и мотает головой, словно хочет отрясти с себя воспоминания, чтобы этот груз не утянул его якорем на дно. Продолжает быстрым шагом идти вперед, наконец оказывается в своей комнатке и там запирается.

Свидетельства о том, плакал ли Рудольф Розенберг, отсутствуют.

Дите по-прежнему не спалось; собственно, не спали почти все женщины. Стояла такая тишина, что было слышно, как то и дело визжат тормоза и прокручиваются в вязкой земле колеса, а также урчание двигателей, остановившихся перед входом в лагерь грузовиков. Грузовиков все больше и больше.

А потом ночь взорвалась. Соседний лагерь взметнулся криками, резкими свистками, рыданием, мольбами, обращениями к отсутствующему богу. И посреди этого гомона – шелест касаний, ни с чем не сравнимый звук людского приboя. Вскоре слышатся грохот захлопывающихся дверей и сразу же – скрежет металлических засовов. Вопль всеобщей паники уступает место рокоту всхлипываний, раздирающих сердце жалоб, рокоту сотен голосов, сплетающихся в размытое облако визга.

В семейной зоне никто не спит. Но никто и не шевелится, никто не разговаривает. В Дитином бараке стоит только кому-то, чьи нервы не выдерживают, спросить в голос: да что же это там происходит, да что с ними будет – как сразу же соседки заставляют вопрошавшую умолкнуть, раздраженно зашипев в требовании абсолютной тишины. Им нужно слушать, чтобы в точности знать, что происходит, а может и нет, может, они всего лишь требуют гробовой тишины, чтобы их не услышали эсэсовцы, чтобы их не заметили и тем самым позволили жить дальше на этих жалких гниющих матрасах. Хотя бы еще чуть-чуть.

Звучит металлический перестук засовов у бортов грузовиков, и гул голосов стихает. Заурчавшие крещендо моторы говорят о том, что первые машины, набитые людьми, тронулись. И вот тут Дите, ее маме и всем женщинам в бараке начинает казаться, что они слышат мелодию. Быть может, галлюцинация, вызванная к жизни их собственной тревогой? Но очень скоро звук усиливается, ширится. Неужто поющие голоса? Этот хор уже перекрывает глухое рычание моторов. Кто-то с запинкой, в явном замешательстве произносит слово, и вот его уже подхватывают другие, как будто поверить в это так трудно, что нужно произнести его вслух – другим или себе самой: поют, они поют. Заключенные – эти мужчины и женщины, которых увозят в грузовиках, и они знают, что везут их на верную смерть – поют.

Они узнают чешский гимн – «*Kde domov můj*»¹². Следующий грузовик, проезжая мимо, дарит им звуки еврейской песни «*Hatikvah*»¹³, а затем еще из одного доносится «Интернаци-

¹² Где мой дом (чеш.).

¹³ Надежда (иврит).

онал»¹⁴. Мелодии неизбежно ломаются, замирая вдали, стихая по мере того, как удаляются грузовики, и голоса тают, пока окончательно не теряются. Этой ночью на веки вечные затихают тысячи голосов.

Ночью 8 марта 1944 года 3792 заключенных семейного лагеря ВШб были отравлены газом, а затем сожжены в печах крематория номер III концлагеря Аушвиц-Биркенау.

¹⁴ «Интернационал» – международный пролетарский гимн.

20

Утром ей вовсе не нужно дожидаться окриков *капо*, чтобы подняться, потому что заснуть она так и не смогла. Мама прикасается к ней губами, и вот она уже спрыгивает с нар, чтобы бежать в блок 31 на утреннюю поверку, как и в любой другой день. Только вот день этот совсем не похож на остальные. Добрая половина тех, кто до сих пор был рядом с ней, ушли и больше не вернутся.

Даже рискуя тем, что привлечет внимание к себе какого-нибудь *капо* или охранника, она уходит с *лагеритрассе* к задним торцам бараков, за которыми расположена ограда, разделяющая семейный и карантинный лагеря, в робкой надежде обнаружить там хоть кого-то живого. Но ничего живого среди бараков зоны ВПа нет. Разве что трепещет на ветру край какой-то одежды, брошенной на землю.

От криков и плача прошедшей ночи не осталось ничего – стоит лишь вязкая тишина. Зона опустела. Кладбищенский покой. На земле валяются раздавленные шляпы, отброшенное пальто, пустые миски. Посреди этих вещей виднеется разбитая головка глиняной куклы, одной из тех, что девочки сами мастерили в блоке 31. На фоне черной грязи Дита замечает нечто белое – смятую бумагу. Она закрывает глаза, чтобы больше ее не видеть, поскольку сразу же понимает, что эта бумажка – один из бумажных самолетиков, которые складывал профессор Моргенштерн. На него наступили. Втоптали в грязь.

Ровно так же чувствует себя в этот момент Дита.

На Лихтенштерна возложена обязанность по проведению утренней переключки в присутствии внешне невозмутимого эсэсовского охранника. Когда охранник покидает барак, все вздыхают с облегчением. Во время поверки дети то и дело оглядывались по сторонам, ища взглядом отсутствующих. Как бы ни досаждала ребятам до этого момента рутина переключки, сегодня утром краткость процедуры оставила в их душах опустошенность.

Дита выбегает на улицу, спасаясь от тягостного чувства, охватившего ее в бараке. Снаружи уже давно рассвело, но что-то мешает пробиться свету, какая-то сухая туча, принесенная ветром, приглушает все вокруг. Пепел. С неба, никогда раньше не виданный, сыплется черный снег.

Те, кто занят прокладкой траншей, смотрят в небо. Те, кто таскает камни, положили их на землю и останавливаются. Несмотря на окрики *капо*, люди оставляют работу и выходят из мастерских на улицу – они хотят видеть. Быть может, это первый признак их мятежа: они смотрят в черное небо, не обращая внимания на приказы и угрозы.

Внезапно возникает ощущение, что вернулась ночь.

– Боже мой! Что ж это такое? – восклицает кто-то.

– Это божья кара! – провозглашает другой голос.

Дита поднимает голову вверх, и ее лицо, руки, платье – все покрывается мелкими серыми снежинками, рассыпающимися при попытке потрогать их пальцами. Обитатели блока 31 тоже выходят из барака, чтобы узнать, что случилось.

– Что же это творится? – испуганно спрашивает маленькая девочка.

– Не бойтесь, – говорит им Мириам Эдельштейн. – Это наши друзья из сентябрьского транспорта. Они возвращаются.

Дети и их преподаватели молча переходят с места на место в медленном круговороте. Многие шепчут молитвы. Дита складывает ладони лодочкой и пытается поймать хоть что-то из падающего с небес дождя человеческих душ, не сдерживая слез, которые оставляют на покрытых пеплом щеках белые бороздки. Мириам Эдельштейн прижимает к себе своего сына Ария. Дита подходит к ним.

– Они вернулись, Дита. Они к нам вернулись.

Из Аушвица им уже никогда не уйти.

Нашлись преподаватели, заявившие, что больше не будут вести занятия. Для одних это форма протеста, другие же просто не чувствуют в себе ни физических, ни душевных сил продолжать. Лихтенштерн пытается поднять их дух, но он не обладает ни той харизмой, ни той уверенностью в себе, что были у Фреди Хирша. Он, как и остальные, не может скрыть свою подавленность.

Одна учительница спрашивает у него о том, что случилось с Хиршем. Многие продолжают ходить по кругу, опустив голову долу, как на похоронах. Чей-то голос сообщает, что, по слухам, Хирша на носилках погрузили в один из грузовиков – то ли агонизирующего, то ли уже мертвого.

– Я думаю, что он покончил с собой из гордости. Он был слишком гордым для того, чтобы позволить нацистам убить себя. Не собирался он доставлять им такого удовольствия.

– А я считаю, что, когда он убедился в том, что его же сограждане, немцы, его обманули и предали, он не выдержал.

– Чего он не выдержал, так это страданий детей.

Дита слушает все эти разговоры, и в груди у нее что-то переворачивается, как будто она интуитивно знает, что есть нечто в постигшем Хирша конце, что ускользает от обыденных объяснений. Она чувствует себя не только опустошенной, но и потерянной: что станет с школой теперь, когда рядом уже не будет Хирша, чтобы решать все их проблемы? Она села на табуретку как можно дальше от всех людей. Но вот уже к ней приближается тощая и нескладная фигура Лихтенштерна. Он на взводе. Не пожалел бы и десяти своих жизней за возможность выкурить сигаретку.

– Дети напуганы, Эдита. Погляди на них – не шелохнутся, молчат.

– Да мы все не в лучшей форме, пан Лихтенштерн.

– Нам нужно что-то с этим сделать.

– Сделать? А что мы можем сделать?

– Единственное, что мы можем, – это продолжать. Нужно вывести детей из этого состояния. Почитай им что-нибудь.

Дита окидывает взглядом барак и видит, что дети устроились на полу, рассевшись кучками, и заняты тем, что молча грызут ногти или разглядывают потолок. Никогда еще не были они такими подавленными, никогда – такими тихими. Дита и сама без сил, во рту – горечь. Сейчас ей и самой больше всего хочется просто сидеть на этой табуретке и не двигаться, и ничего не говорить, и с ней чтоб ни о чем не говорили. Больше не вставать.

– И что мне им почитать?

Лихтенштерн открывает рот, но слов произнести не может, так что снова его закрывает и, смутившись, опускает глаза в пол. Тем самым признавая, что не очень-то понимает в книгах. И Мириам Эдельштейн Дита спросить не может. Она в шоке – сидит на полу в дальнем конце барака, закрыв голову руками, отказываясь разговаривать с кем бы то ни было.

– Это ты у нас – библиотекарь блока 31, – твердо напоминает ей Лихтенштерн.

Она кивает. Ей нужно взять на себя ответственность. И вовсе не обязательно кому бы то ни было об этом напоминать.

Дита направляется в комнатку *блокэльтестера*, раздумывая о том, как было бы хорошо иметь сейчас возможность спросить пана Утитца, библиотекаря Терезина, какую книгу лучше всего выбрать для чтения детям в создавшихся трагических обстоятельствах. В ее библиотеке есть серьезный роман, книги по математике и по всемирной географии. Но еще раньше, чем наступил тот момент, когда Дита принялась откидывать тряпье, под которым находится лючок подпольного книжного хранилища, она уже приняла решение.

Дита достает самую растрепанную из всех имеющихся в их библиотеке книгу – не более чем стопку расплывающихся тетрадок. Может статься, что она – самая неподходящая, педаго-

гически некорректная, самая непочтительная, а по мнению некоторых преподавателей, которые даже запрещают ее читать, книга оскорбительна, недостойна и отличается дурным вкусом. Но те, кто полагает, что цветы растут прямо в цветочных вазах, ничего не знают о литературе. В данный момент библиотека – это ее аптечка, и Дита намеревается дать детям по ложке микстуры, которая позволила и ей самой вновь начать улыбаться в те тяжкие дни, когда она думала, что простилась с улыбкой навсегда.

Лихтенштерн подает знак одному из ассистентов, чтобы тот занял наблюдательный пост возле входной двери, и Дита встает на табурет в центре барака. Какой-то любопытный мальчик нехотя поднимает на нее глаза, но большей частью дети по-прежнему разглядывают носки своих деревянных сабо. Дита раскрывает книгу, находит нужную страницу и начинает читать. Может, кто-то ее и слышит, но никто не слушает. Дети все такие же апатичные, многие вытянулись на полу, будто спят. Преподаватели продолжают шушукаться и пережевывать все, что стало известно о гибели сентябрьского транспорта. Даже Лихтенштерн опустил на табурет и закрыл глаза, пытаясь вычеркнуть себя из этого времени и этого места.

У Диты нет слушателей.

Она выбрала сцену, в которой чешские солдаты, находясь под командованием австрийских генералов, едут в поезде на фронт, и Швейку удастся разгневаться своими экстравагантными взглядами высокомерного подпоручика по имени Дуб, осматривающего в пункте назначения прибывший контингент военнослужащих. По мере приближения подпоручика все громче слышится характерная для него присказка: «Вы меня знаете? А я вам скажу, что вы меня по-настоящему еще не знаете! Но когда вы меня узнаете, то еще наплачетесь, скоты!» Подпоручик спрашивает у бойцов, есть ли у них братья, и когда получает на свой вопрос утвердительный ответ, то тут же кричит, что они, должно быть, не менее глупы, чем те, кто стоит перед ним.

Дети по-прежнему сидят по углам с сумрачными лицами, но кто-то уже перестал грызть ногти, а некоторые даже перевели взгляд с потолка на Диту, которая продолжает нанизывать слова – одно на другое. Один из преподавателей, пока еще не полностью выключившись из разговора, тоже поворачивает в ее сторону голову. Они пока еще не понимают, что это она там делает, забравшись на табуретку. Дита читает дальше и доходит до того места, как сквернослов-подпоручик оказывается перед Швейком, который как раз в пух и прах критикует пропагандистский плакат, где изображен австрийский солдат, пригвоздивший штыком к стене казака.

– Что же, собственно, вам тут не нравится? – спросил подпоручик Дуб.

– Мне не нравится, господин лейтенант, как солдат обращается с вверенным ему оружием. Ведь о каменную стену он может поломать штык. А потом, это вообще ни к чему, его за это могут наказать, так как русский поднял руки и сдается. Он взят в плен, а с пленными следует обращаться хорошо, все же и они люди.

Подпоручик Дуб, продолжая прошупывать убеждения Швейка, задал еще один вопрос:

– Вам жалко этого русского, не правда ли?

– Мне жалко, господин лейтенант, их обоих: русского, потому что его проткнули, и нашего – потому что за это его арестуют. Он, господин лейтенант, как пить дать сломает штык, ведь стена-то каменная, а сталь – она ломкая. Еще перед войной, господин лейтенант, когда я проходил действительную, у нас в роте был один лейтенант. Даже наш старший фельдфебель не умеет так выражаться, как тот господин лейтенант. На учебном плацу он нам говорил: «Когда раздается команда “смирно”, ты должен выкатить зенки, как кот, когда гадит на соломенную сечку». А в общем, это был очень хороший человек.

Раз на Рождество он спятил: купил роте целый воз кокосовых орехов, и с тех пор я знаю, как ломки штыки. Полроты переломало штыки об эти орехи, и наш подполковник приказал всех посадить под арест. Три месяца нам не разрешалось выходить из казарм...¹⁵

Кое-кто из детей уже и смотрит на Диту, и внимательно ее слушает, а другие, кто был слишком далеко от нее, подходят поближе, чтобы лучше слышать. Часть преподавателей все еще переговариваются, но другие просят их помолчать. Дита мягко, но настойчиво продолжает читать. Мелодия ее голоса и выходки Швейка заставили умолкнуть все разговоры.

– А господин лейтенант сидел под домашним арестом, [и мне было его очень жаль, потому как человеком он был весьма хорошим, за исключением этой его страсти к кокосовым орехам].

Подпоручик с ненавистью посмотрел на беззаботное лицо бравого солдата Швейка и зло спросил:

– Вы меня знаете?

– Знаю, господин лейтенант.

Подпоручик Дуб вытаращил глаза и затопал ногами.

– А я вам говорю, что вы меня еще не знаете!

Швейк невозмутимо-спокойно, как бы рапортуя, еще раз повторил:

– Я вас знаю, господин лейтенант. Вы, осмелюсь доложить, из нашего маршевого батальона.

– Вы меня не знаете, – снова закричал подпоручик Дуб. – Может быть, вы знали меня с хорошей стороны, но теперь узнаете меня и с плохой стороны. Я не такой добрый, как вам кажется. Я любого доведу до слез. Так знаете теперь, с кем имеете дело, или нет?

– Знаю, господин лейтенант.

– В последний раз вам повторяю, вы меня не знаете! Осел! Есть у вас братья?

– Так точно, господин лейтенант, есть один.

Подпоручик Дуб, взглянув на спокойное, открытое лицо Швейка, пришел в бешенство и, совершенно потеряв самообладание, заорал:

– Значит, брат ваш такая же скотина, как и вы! Кем он был?

– Преподавателем гимназии, господин лейтенант. Был также на военной службе и сдал экзамен на офицера.

Подпоручик Дуб посмотрел на Швейка так, будто хотел пронзить его взглядом. Швейк с достоинством выдержал озлобленный взгляд дурака подпоручика, и вскоре разговор окончился словом: «Свободен!»

Некоторые дети смеются. Мириам Эдельштейн в дальнем углу барака опускает руки и поднимает голову. Дита читает дальше – о похождениях и проделках этого солдата, который прикидывается дурачком и тем самым высмеивает войну, любую войну. И преподавательница поднимает взгляд и смотрит на своего библиотекаря. Эта небольшая книга, которую она читает, своими побасенками смогла объединить вокруг себя все их племя.

Когда она закрывает книгу, дети поднимаются с пола, начинают двигаться и снова бегать по бараку. После короткого замыкания жизнь вновь подключилась к источнику энергии, и Дита ласково поглаживает переплет – сшитые на живую нитку тетрадки, – и чувствует себя счаст-

¹⁵ Здесь и ниже в этой главе цитируются фрагменты «Похождений бравого солдата Швейка во время мировой войны» Ярослава Гашека в переводе П. Богатырева по изданию: Москва: Государственное издательство художественной литературы, 1963. С. 288–289. Заключенный в квадратные скобки фрагмент, отсутствующий в указанном переводе П. Богатырева, добавлен переводчиком текста А. Итурбе.

ливой, потому что знает, что Фреди бы ею гордился. Она сдержала данное ему обещание: идти всегда вперед, не сдаваться. Тем не менее на нее опускается покрывало печали. Почему же сдался он?

21

Менгеле входит в ворота семейного лагеря, и валькирии Вагнера влетают вместе с ним. И порция холодного воздуха. Он внимательно осматривает все, что открывается его взору. Глаза его будто испускают рентгеновские лучи. Создается впечатление, что он кого-то или что-то разыскивает, но Дита сейчас в блоке 31. Там она в безопасности. По крайней мере, на данный момент...

Рассказывают, что одним из наиболее славных подвигов доктора, с точки зрения вошедшего в историю коменданта Аушвица Рудольфа Хёсса, были его действия в конце 1943 года по пресечению вспышки тифа в Биркенау. Тиф к тому времени уже успел поразить семь тысяч женщин. Блохи, которыми кишели бараки, обеспечивали неконтролируемое распространение болезни. Но Менгеле нашел выход из создавшейся ситуации. Он велел удушить в газовой камере обитательниц целого барака – шестьсот женщин, а затем провести в освободившемся помещении тотальную дезинфекцию. Под открытым небом были установлены ванны и санитарные приборы, через которые пропустили обитательниц следующего барака перед их вселением в очищенный. Потом продезинфицировали барак, из которого их выселили перед санобработкой, и так, по цепочке, процедура повторялась столько раз, сколько было нужно, чтобы охватить все женские бараки. Таким вот образом Менгеле удалось справиться с эпидемией.

Высшее начальство поздравило доктора, намереваясь даже поощрить медалью действия, в которых он принимал участие столь активное, что и сам заразился тифом. Собственно, именно этот критерий и являлся для него определяющим: результаты в наиболее крупном масштабе или же прогресс в медицинской науке были для него всем, а человеческие жизни, с которыми он сталкивался по пути к великой цели, ни малейшей значимостью не обладали.

Один из обершарфюреров СС приводит к доктору пары близнецов. Дети робко подходят к доктору и хором здороваются, желая доброго дня дядюшке Пепи. Он им улыбается, ерошит волосенки маленькой Ирене, и вот они все вместе пускаются в путь, направляясь к служебным зданиям зоны F, которые сами же эсэсовцы за спиной Менгеле называют зоопарком.

В этом месте под руководством Менгеле работают несколько медиков-патологов. Детей здесь ожидают хорошее питание, чистые простыни и даже игрушки и сладости, доступ к которым всегда открыт. Каждый раз, когда дети рука об руку с доктором входят в это строение, сердце в груди их родителей останавливается и замирает вплоть до того момента, когда дети к ним возвращаются. До сих пор они всегда возвращались довольными, с каким-нибудь гостинцем вроде сдобной булки в кармане и рассказывали, что им обмерили все части тела, сделали анализ крови и, случалось, вкололи какое-то лекарство, но что после этого доктор утешил их шоколадкой.

Другим близнецам везло меньше. В то время доктор как раз работал над изучением развития заболеваний у близнецов. Нескольким парам близнецов из цыганской зоны был введен возбудитель тифа, чтобы наблюдать за реакцией их организмов. Вскоре после этого детей умертвили с целью сравнительного исследования на секционном столе воздействия болезни на организм каждого из братьев.

Но Менгеле гладит по головке братьев-близнецов, даже ласково им улыбается на прощанье.

– Не забывайте дядюшку Пепи! – говорит он им.

Сам-то он точно не собирается о них забыть.

Однако забвение – вовсе не сознательный выбор. Прошли уже дни – рутинно-похоронные дни Аушвица, но Дита забыть не может. По правде говоря, и не хочет. Фредди Хирш внезапно перекрыл кран своей жизни. А в голову Диты неустанной каплей стучится вопрос, долбя ее мозг: почему? Она продолжает выдавать книги преподавателям и забирать их после каждого

урока, выполняя возложенные на нее обязанности библиотекаря, но девочка закрылась в себе. С удовлетворением смотрит она на продолжающуюся, невзирая ни на что, жизнь в блоке 31. Но при этом – возможно потому, что теперь их меньше, – с тех пор как не стало Хирша, все ей видится мельче и даже вульгарнее.

Сегодня с выдачей книг ей помогает один парень – довольно приятный, даже, можно сказать, красивый. С лицом, густо усыпанным веснушками цвета корицы. При других обстоятельствах она, наверное, была бы с ним более любезной; красивых мальчиков вокруг нее не слишком много. Но когда он попытался завязать разговор, Дита едва ему ответила. Мыслями она сейчас далеко.

В своей голове она без конца крутит-вертит один и тот же вопрос: почему Хирш покончил с собой?

Слишком это на него не похоже.

Со всем тем, через что ему пришлось пройти, и со свойственной ему дисциплинированностью – результатом слияния в нем иудейского и германского – уход от возложенной на него ответственности выглядит совершенно ненормальным. Дита качает из стороны в сторону головой, и грива ее волос, маятником мотаясь по спине, говорит: «Нет, какой-то детальки в этом пазле не хватает». Он сам говорил ей, что они солдаты, что должны бороться до последнего. Как же мог он позволить себе оставить свой пост? Нет, с точки зрения Фреды Хирша это абсолютно нелогично. Он был воином, у него была миссия. Верно, что в тот последний вечер, когда она его видела, он выглядел гораздо более грустным, чем обыкновенно, даже более хрупким, что ли. Вполне возможно, он знал, что так называемое перемещение имело все шансы завершиться очень плохо. Но все же она не понимает, почему он покончил с собой. А она терпеть не может, когда чего-то не понимает. Мама говорит, что она упрямая. Мама права: она из тех, кто никогда не отставит в сторону неразрешенную головоломку.

Именно по этой причине вечером, после окончания рабочего дня в блоке 31, Дита идет напрямик в свой барак. И, пользуясь тем, что вокруг ее мамы и пани Турновской никого нет, обращается к ним с вопросом.

– Прошу прощения, – прерывает она пани Турновскую, – я хотела бы вас кое о чем спросить.

– Эдита, – упрекает ее мама, – неужели ты не можешь не быть такой стремительной?

Пани Турновская улыбается. Ей нравится, когда молоденькие девушки нуждаются в ее знаниях и советах.

– Да ладно, оставь ее. Разговоры с молодежью возвращают мне ощущение юности, дорогая Лизль. – И хохочет.

– Я хочу спросить о Фреды Хирше. Вы ведь знаете, кем он был, так? – Женщина выражает достаточную степень уверенности в этом. Сомнение оскорбительно. – Мне бы хотелось знать, что говорят о его смерти.

– Что он отравился этими чертовыми таблетками. Говорят, что таблетки могут вылечить все что угодно, но я этому не верю. Когда доктор прописывал мне какие-то таблетки от простуды, я их никогда не принимала. И всегда предпочитала вдыхать пары настоя листьев эвкалипта.

– И были совершенно правы, я всегда делала то же самое. А вы не пробовали заваривать мяту? – вступает в разговор пани Адлерова.

– Нет. А вы ее смешиваете с эвкалиптом или завариваете одну?

Дита тяжело вздыхает.

– Да знаю я об этих таблетках, но я-то хочу знать, почему он это сделал! Что об этом говорят, пани Турновская?

– Ах, милочка моя, об этом столько всего говорят! Смерть этого пана стала поводом для бесконечных разговоров.

– Эдита всегда утверждала, что он очень добрый человек.

– Без сомнения. Хотя быть добрым человеком для жизни явно недостаточно. Мой покойный супруг, да храни Господь его душу, был добрейшим человеком, но при этом таким тихоней, что нам никак не удавалось получать прибыль и расширить нашу фруктовую лавку. Все поставщики товара подсовывали ему сплошь перезревшие фрукты, которые им не удавалось сбыть в других местах.

– Ну ладно, – прерывает женщин Дита, чуть не лопааясь от нетерпения, – а что люди говорят о Хирше?

– Всякое говорят, детка. Одни – что это был страх перед смертью от удушья в газовой камере. Другие – что он вообще сидел на этих таблетках, но на этот раз ошибся с дозой. Кто-то сказал, что это из-за детей: он не мог смотреть, как будут у него на глазах травить детей. Одна пани мне рассказала, под большим секретом, что его сглазили, что среди нацистов есть приверженцы черной магии и это их рук дело.

– Думаю, что я догадываюсь, кто бы это мог быть...

– Слышала я и еще одну версию, очень красивую... Кто-то сказал, что это был такой мятеж: он убил себя сам, чтобы это не могли сделать с ним нацисты.

– А вы что об этом думаете, какая версия кажется вам более правильной?

– Когда мне выдавали каждую из них, то, веришь ли, казалось, что по отдельности каждый ее автор был прав.

Дита кивает, прощается и оставляет женщин одних. Добиться правды в Аушвице так же трудно, как поймать снежные хлопья сачком для ловли бабочек профессора Моргенштерна. Правда – первая жертва войны. Но она намерена ее найти, откопать из-под земли, как бы глубоко ни была та зарыта.

Именно поэтому поздним вечером, когда ее мама уже залезла на свои верхние нары, Дита тихонько пробирается к спальному месту «Радио Биркенау».

– Пани Турновская...

– Слушаю тебя, Эдита.

– Хочу вас кое о чем попросить... Я уверена, что вы это знаете.

– Очень может быть, даже очень, – отвечает она Дите с некоторой толикой тщеславия в голосе. – Можешь спрашивать меня, о чем хочешь. От тебя у меня секретов нет.

– Назовите мне кого-нибудь из Сопротивления, с кем я могла бы связаться.

– Однако, девочка... – Теперь уже женщина жалеет о своих словах относительно того, что от Диты у нее нет секретов. – Это не детское дело, это очень опасно. Твоя мать собственными руками вырвет у меня язык, если я направлю тебя в Сопротивление.

– Да я и не собиралась туда вступать. Хотя, к слову сказать, теперь я думаю, что это была бы не такая уж плохая идея. Но меня точно не примут – из-за возраста. Я всего лишь хотела поговорить с кем-нибудь из них о Фреди Хирше. Уверена, что они лучше всех знают о том, что случилось на самом деле.

– Ты же знаешь, что самым последним его видел один регистратор из карантинного лагеря, которого зовут Розенберг...

– Знаю, но добраться до него мне будет очень трудно. Вот если бы я могла поговорить с кем-нибудь отсюда... Помогите мне, пожалуйста.

Пани Турновская что-то ворчит себе под нос.

– Ладно, только не говори, что это я тебя послала. Есть здесь один человек, из Праги, его фамилия Ханге. Он работает в третьей мастерской, и его очень легко узнать: голова у него гладкая, словно бильярдный шар, а на ней – огромный нос, похожий на баклажан. Но я тебе ни о чем не говорила.

– Спасибо, с меня причитается.

– Ничего ты мне не должна, детка. Ты никому и ничего не должна. Мы все здесь уже давно и с лихвой расплатились со всеми долгами.

Проходит еще один рабочий день Диты в блоке 31.

Еще один день менее шумных, чем раньше, занятий, с тем же вечно неотступным голодом и тем же страхом, что этот день окажется последним. Когда ее рабочее время закончится, она снова отправится разыскивать этого Ханге.

Сегодня после обеда Дита помогает в проведении занятий Мириам Эдельштейн, на попечении которой группа семилетних девочек, а также стоит задача провести урок чистописания, более похожий на урок рукоделия. На улице идет дождь, поэтому нет ни игр за пределами барака, ни занятий спортом. Ребята сердятся – ни в классы не поиграть, ни в платочек, да и Дита досадует не меньше, потому что дождь идет уже несколько дней подряд и люди после работы сразу расходятся по баракам. По этой причине ей никак не удастся поговорить с лысым.

Когда она с детьми, Мириам Эдельштейн старательно скрывает свою тоску, но смерть Хирша заставила ее почувствовать себя совсем одинокой. Кроме того, она не получала никаких известий о своем муже, Якубе, с тех самых пор, как Эйхман приходил с визитом в семейный лагерь и сказал ей, что ее мужа перевезли в Германию и что со здоровьем у него все отлично. Он ей солгал. Правда, конечно же, заключается совсем в противоположном: он – узник трагической тюрьмы Аушвица I, всего в трех километрах от Биркенау. В этой тюрьме имеются бетонные камеры размером с платяной шкаф, в которых заключенный не может даже сесть и вынужден спать стоя; ноги у него со временем просто отказывают. Попытки применяются методично, по системе: удары электрическим током, удары плетью, иглы под кожу. Но больше всего развлечения тюремщикам доставляют инсценировки казни. Узников выводят во двор, завязывают им глаза, наводят на них дула пистолетов, и, когда заключенные начинают трястись или обделываются от страха, раздаются сухие щелчки незаряженного оружия, и нерасстрелянных узников снова разводят по камерам. Реальные казни при этом столь часты, что никто уже не очищает стену, перед которой расстреливают: красноватая линия с прилипшими клоками волос и брызгами мозгов волнисто бежит по стене, отмечая средний рост всех казненных.

Дита старается помочь девочкам наточить на камне края ложек. Те дети, у которых ложки уже заточены, заостряют полученным инструментом деревянные щепочки. В некоторых есть сучки, что мешает получить острое. У других щепок острое ломается, и приходится все начинать сначала. После целого часа напряженных усилий детей удастся-таки снабдить заостренными палочками. Тогда Мириам очень осторожно разжигает в кастрюле несколько стружек, и на этом огне по очереди обжигаются острые концы палочек. Каждая из них – примитивный карандаш, которого хватит на то, чтобы написать три-четыре слова. Писчая бумага – тоже вечный дефицит. Старший по блоку Лихтенштерн старается потихоньку пополнять запас, выпрашивая у начальства по листочку под предлогом необходимости составления списков.

Мириам диктует девочкам те немногие слова, которые они смогут написать, и дети старательно их выводят. Дита отходит чуть в сторону, чтобы понаблюдать за тем, как девочки трудятся, стоя на коленках и используя табуретки в виде столов; видно, что они очень стараются, несмотря на столь примитивные письменные принадлежности. Библиотекарша берет в руки одну из палочек, служащих карандашами, и листок бумаги. Она так давно не рисовала, что ее рука просто летает над листком, только вот карандаш очень быстро прекращает оставлять на бумаге следы. Мириам Эдельштейн заглядывает ей через плечо. Видит несколько вертикальных линий и окружность – обожженного кончика деревяшки на большее не хватило, – но даже и при виде этих штрихов у Мириам расширяются глаза.

– Пражские куранты... – меланхолично произносит она.

– Вы их узнали...

– Я узнала бы их даже на дне моря. Для меня они – символ Праги с ее часовщиками и ремесленниками.

– И нормальной жизни...

– И жизни, да.

Дита чувствует, что рука заместителя директора касается ее ноги в том месте, где кончается шерстяной чулок, и что-то под него засовывает, а потом как ни в чем не бывало они обе продолжают проверять написанное девочками. Потрогав свою ногу, Дита нащупывает под чулком небольшой предмет. Это не что иное, как настоящий карандаш с настоящим графитовым грифелем. Лучший подарок из тех, что она получала за последние годы. Как раз за такие поступки Мириам Эдельштейн все уже называют тетей Мириам.

Сегодня после обеда Дита очень занята. Пражские куранты с их скелетом, петухом, зодиакальными сферами, патриархами, свешивающимися горгульями. Несколько детей заметили, чем она занимается, и подошли посмотреть. Некоторые ребятишки не из Праги, а другие, которые все же там родились, города практически не помнят. И она терпеливо объясняет им, что скелет звонит в колокольчик, когда куранты пробивают равное количество часов, и тут же начинают свое шествие фигуры, которые выходят из одной двери и скрываются в другой.

Закончив рисунок, Дита аккуратно складывает бумагу и подходит к Арию, сыну Мириам Эдельштейн, который, взявшись за руки с другими детьми, играет в телеграф. Она кладет сложенный листок ему в карман и просит передать его маме и сказать, что это – подарок для нее.

Так как ей нужно чем-нибудь себя занять, чтобы не просто сидеть сиднем, она решает в оставшееся время подлечить книгу эссе Фрейда – ее нужно подклеить. Сегодня эту книгу брали на руки, а вернулась она с растрепанным корешком. Проводит Дита рукой и по страницам книжки – еще и еще раз, разглаживая, причесывая каждую после трудового дня.

Обер-ефрейтор войск СС Виктор Пестек тоже чувствует себя счастливым, развивая и свивая кудри Рене Науман.

Она позволяет ему это. В отличие от поцелуев или каких-либо других сближений. Но когда Виктор взмолился о том, чтобы она позволила ему погладить ее волосы, она не смогла, не сумела или, быть может, не захотела ему отказать.

Он – нацист, захватчик, преступник... но к ней он подходит с таким уважением, которое редко встречается в лагере между своими же товарками. Ночью Рене вынуждена спать с миской под мышкой или привязывать ее веревкой к ноге, потому что воровство в лагере – явление отнюдь не редкое. Есть женщины, которые торгуют своим телом, есть и доносчики. Есть люди слишком прямолинейные, строгие и религиозные, которые оскорбляют ее и обзывают шлюхой только за то, что она приносит своей матери какой-нибудь фрукт, подаренный ей эсэсовцем.

По сравнению со всем этим короткие промежутки времени, которые Рене проводит с ним, – это для нее минуты спокойствия. Виктор рассказал ей – потому что это он обычно говорит, а она слушает, – что до войны он работал на ферме. И вот она уже представляет, как он кидает вилами сено. Если бы не началась эта проклятая война, он был бы, наверное, честным парнем, простым и работающим, как любой другой. Кто знает, может, она даже бы влюбилась в него.

Этим вечером Виктор приходит в большем волнении, чем обычно. Каждый раз, когда они встречаются, Виктор приносит ей подарок. Урок первого раза был усвоен им хорошо: сегодня он принес завернутую в бумажку вареную сосиску. Но подарок – не сосиска, в подарок он приготовил кое-что другое.

– План, Рене.

Она поднимает на него взгляд.

– У меня есть план: сбежать отсюда нам обоим, пожениться и начать вместе новую жизнь.

Она молчит.

– Я все продумал. Мы выйдем прямо через главный вход, не возбудив подозрений.

– Да ты с ума сошел...

– Да нет же. Ты будешь одета в форму эсэсовца. Пойдем, когда стемнеет. Я назову пароль, и мы спокойно выйдем. Тебе, конечно же, ничего говорить не придется. Сядем на поезд и доедем до Праги. В этом городе у меня есть нужные связи. А здесь, в лагере, у меня довольно много знакомых среди заключенных, и они знают, что я не такой, как другие охранники. Мы достанем фальшивые документы и с ними выедем в Румынию. Там и будем ждать окончания войны.

Рене внимательно смотрит на этого охранника – тощего, невысокого роста, с черными волосами и синими глазами, немного нескладного.

– Ты пойдешь на это ради меня?

– Да я на что угодно пошел бы ради тебя, Рене. Ты со мной?

Нет никакого сомнения: любовь содержит в себе отчасти те же составляющие, что и безумие.

Рене вздыхает. Покинуть Аушвиц – это мечта всех и каждого из тысяч и тысяч узников лагеря, запертых между оградами под напряжением и крематориями. Она поднимает на него глаза. Отводит со лба локон. Несет его в рот и прикусывает зубами.

– Нет.

– Да ты не бойся! Все получится! Мы уйдем в тот день, когда на вахте будут стоять мои приятели, не будет никаких препятствий, все получится легко... А оставаться здесь – стоять в очереди за смертью.

– Но я не могу оставить здесь маму.

– Послушай, Рене... Мы молоды, она поймет, у нас ведь вся жизнь еще впереди.

– Я не оставлю здесь свою маму. Не о чем больше говорить. Не настаивай.

– Рене...

– Я уже сказала: нам больше нечего обсуждать. Что бы ты ни сказал, решения я не изменю.

Пестек на секунду задумывается. Пессимистом он никогда не был.

– Что ж, вытащим отсюда и твою маму.

Рене начинает раздражаться. Ей кажется, что все это – пустые разговоры, сотрясание воздуха, которое ее отнюдь не забавляет. Пестек опасности не подвергается, а вот они с мамой – да. Их ситуация вовсе не располагает к глупым играм вроде разговоров о том, что из Аушвица можно уйти, словно из кинотеатра – встать с кресла и покинуть зал, если фильм не понравился.

– Для нас с мамой пребывание здесь – вовсе не игра. Мой отец умер здесь от тифа, а моего кузена с женой убили вместе со всем сентябрьским транспортом. Оставь все как есть. Эта игра в побег – не самая лучшая.

– Ты что, думаешь, я шучу? Да ты меня еще плохо знаешь. Если я сказал, что вытащу тебя и твою маму отсюда, значит, я это сделаю!

– Это совершенно невозможно, и ты сам это знаешь! Мама – маленькая женщина, почти карлица, пятидесяти двух лет, с ревматизмом. Ее ты тоже переоденешь в форму эсэсовца?

– Мы изменим план. Оставь это мне.

Она смотрит на него и не знает, что и думать. Неужели есть хоть какая-нибудь вероятность того, что он вытащит их обеих отсюда живыми? А если они и выйдут... то что будет потом? Смогут ли укрыться от нацистов две еврейки, сбежавшие из Аушвица, и предатель? И даже если это получится... сможет ли она соединить свою жизнь с жизнью нациста, хоть и дезертира? Захочет ли она провести остаток своей жизни с человеком, который до этого никак не препятствовал убийствам сотен невинных людей?

Слишком много вопросов.

И она снова умолкает. Рене ограничивается тем, что не произносит больше ни звука, а Пестек понимает ее молчание как согласие, потому что именно так ему хочется его понять.

Дождь наконец перестал, и Дита решила воспользоваться временем, отпущенным на поедание супа, чтобы постараться найти человека из Сопротивления. Однако он, казалось, просто сквозь землю провалился: как будто потоки воды, падающие с неба, превратили его в хлюпающую под ногами кашеобразную грязь. Дита кружила вокруг мастерской в обеденный час, когда заключенные выходят наружу, но его так и не увидела.

Сидя на своей скамеечке, теперь она прилежно разглаживает складки на страницах французского романа без обложки и аккуратно смазывает его корешок клеем, который тайком принесла для нее Маргит из мастерской по изготовлению солдатских сапог, где ей выпало работать. Дита хочет как можно тщательнее отремонтировать эту книгу, прежде чем отдать ее в руки тому единственному читателю, который спросил про нее. Одной преподавательнице с кислой миной, которую зовут Маркета, женщине с прямыми и слишком седыми для ее сорока с небольшим лет волосами и руками, похожими на палки от швабры, о которой говорят, что до войны она была воспитательницей детей одного из министров последнего правительства. Сейчас она занимается с группой девятилетних девочек, и Дите не раз случалось слышать, как она повторяет своим ученицам французские слова, а они слушают ее очень-очень внимательно, поскольку учительница уверяет их, что французский – это язык элегантных барышень. И Дита думает, что столь музыкальные слова принадлежат языку, наверняка придуманному трубадурами.

Учительница столько раз просила дать почитать этот роман, что однажды, хотя Маркета всегда держалась отстраненно и не выказывала искреннего расположения к разговорам, Дита все же спросила у нее, знакома ли ей эта книга. И хорошо помнит, что Маркета смерила ее от макушки до носков башмаков изумленным взглядом.

Как будто Дита спросила у нее, является ли та до сих пор девственницей, ну или что-то подобное...

Благодаря тому случаю Дита смогла официально зарегистрировать книгу в библиотечном каталоге. Роман называется «Граф Монте-Кристо», и написал его Александр Дюма. Маркета сказала, что во Франции этот роман широко известен. И спросила у Диты, не может ли она получить роман сегодня после обеда. Закончив приводить томик в порядок, Дита направляется к табурету, на котором в одиночестве, о чем-то глубоко задумавшись, сидит учительница. Маркета – дама необщительная, практически ни с кем не разговаривающая, и Дита уже довольно долго думает, как к ней подступить, и решает, что теперь наступил как раз самый подходящий момент. В бараке царит абсолютное спокойствие, потому что в дальнем его конце идет репетиция хора под руководством учителя Ави Офира, так что звучные рулады всех разогнали. Не ожидая от Маркеты приглашения сесть рядом, она по собственной инициативе опускается на ближайшую табуретку.

– Мне бы очень хотелось узнать, о чем этот роман. Вы мне расскажете?

Если она сейчас пошлет ее подальше – что ж, Дита встанет и уйдет. Но Маркета поднимает на нее глаза, и, против всех ожиданий, ее не прогоняет, и, как кажется, даже рада такой компании. А что уж совсем неожиданно – эта немногословная женщина начинает подробный и красочный пересказ романа.

Граф Монте-Кристо...

Она ведет рассказ о юноше, которого зовут Эдмон Дантес, и это имя она произносит с такими характерными для французского открытыми и звучными гласными, что литературный персонаж сразу же обретает свою литературную родословную. Она говорит о том, что Эдмон – мускулистый молодой человек, честный малый, который возвращается в порт Марселя в роли капитана «Фараона», горя желанием увидеть своего отца и свою невесту, юную каталонку.

– Он был вынужден принять командование кораблем в результате гибели капитана судна во время морского перехода. Перед смертью, в качестве последней воли, тот попросил Дантеса доставить по одному адресу в Париже его письмо. В данный момент жизнь ему улыба-

ется: судовладелец намеревается сделать его капитаном, а его невеста, прекрасная Мерседес, страстно его любит. Они собираются без промедления отпраздновать свадьбу. Но у Мерседес есть кузен, который также претендует на ее руку, и вот, сговорившись с одним офицером с «Фараона», который был обижен тем, что не он стал новым капитаном судна, он обвиняет Дантеса в предательстве, а письмо покойного капитана служит главной уликой обвинения. Полный кошмар! Так что в день собственной свадьбы Дантес от радостного предвкушения переходит к самого черному горю, когда его арестовывают прямо посреди свадебного торжества и заточают узником в жуткую тюрьму – замок на острове Иф.

– А это где?

– Это небольшой остров, он расположен прямо напротив марсельского порта. И вот там, запертый в одиночной камере, он проведет долгие годы. Но Дантес обретет товарища по несчастью, заточенного в не так далеко расположенной от него камере, аббата Фариа. Этого священнослужителя все считают сумасшедшим, потому что он без конца громко взывает к своим тюремщикам, умоляя их отпустить его на волю и обещая за это разделить с ними сокровища сказочного клада. Этот человек годами делает подкоп при помощи инструментов, которые он сам же и изготовил, вот только он ошибся направлением и вместо того, чтобы оказаться за стеной замка, вылезает на поверхность в камере Дантеса. Как следствие этой ошибки, их камеры оказываются соединены тоннелем, о чем тюремщики даже не подозревают, так что обоим узникам удастся в беседах несколько скрасить свое заточение.

Дита слушает очень внимательно. Она ставит себя на место Эдмона Дантеса, ни в чем не виновного человека, которого людская злоба и зависть приводят в жуткое заточение, к абсолютно не заслуженному им наказанию. Точно так же, как это случилось с ней самой и ее семьей.

– А какой он был, этот Дантес?

– Сильный и красивый, очень красивый. Но главное – его сердце: прекрасное, доброе и благородное.

– И что с ним стало? Удалось ему получить свободу, ведь он был в полной мере ее достоин?

– Они с Фариа разрабатывают план побега. Несколько лет терпеливой работы уходит у них на выкапывание туннеля, и за эти годы аббат Фариа становится для Дантеса отцом и учителем: за время заточения аббат обучает его истории, философии и многим другим материям. Но когда до завершения подкопа остается совсем немного, аббат Фариа умирает. И весь план идет коту под хвост. В тот момент, когда Дантесу представляется, что он уже кончиками пальцев нащупывает свободу, смерть друга разрушает все его планы.

И тут Дита, словно ей мало собственных бед и несчастий, страдальчески морщит губы, жалея о таком невезении бедняги Дантеса. В ответ Маркета улыбается.

– Дантес – человек, способный на многое, и он очень храбр. Когда тюремщики, удостоверившись в смерти узника, уходят, он через подземный ход проникает в камеру аббата, берет тело и тем же путем перемещает покойного друга в свою камеру, где укладывает его на койку. Потом возвращается в камеру аббата и залезает в саван, в который было завернуто тело покойного. И когда в камеру заходят люди, которым было поручено вынести тело, они забирают живого Дантеса. Он планировал при первой же возможности сбежать из морга.

– Отличная идея!

– Не слишком. Чего он не знал, так это того, что в мрачном замке Иф не было никакого морга, и похорон тоже не предполагалось. Умерших заключенных просто сбрасывали со скалы в море. Итак, с огромной высоты они швыряют завернутого в саван Дантеса в воду, так что когда охранники обнаруживают обман, то думают, что он все равно утонул.

– И он правда утонул? – спрашивает опечаленная Дита.

– Нет, роман еще очень далек до завершения. Ему удастся выбраться из савана, и хотя и выбившись из сил, но он вплавь добирается до берега. Но знаешь, что самое интересное? Аббат

Фариа вовсе не был безумцем, ему и вправду когда-то давно удалось найти сокровище. Эдмон Дантес отправляется за ним и, когда он получает в свое распоряжение огромное богатство, меняет свою личность: он становится графом Монте-Кристо.

– И теперь он может жить долго и счастливо? – спрашивает наивная Дита.

Маркета смотрит на нее со свойственным ей выражением величайшего изумления и некоторого укора.

– Нет! Как же может он сделать вид, будто ничего не случилось? Он делает то, что велит ему долг: мстит всем тем, кто его предал.

– И ему это удастся?

Маркета так решительно кивает, что не остается никаких сомнений в том, что Эдмон Дантес безжалостно отомстил всем своим обидчикам. И учительница кратко пересказывает Дите все заковыристые и хитроумные операции Дантеса, ныне графа Монте-Кристо, целью которых было смерчем пройти по всем тем, кто сломал ему жизнь. Сложнейший макиавеллиевский план, избежать которого не удастся и Мерседес, которая вышла в конце концов замуж за кузена, сочтя Дантеса погибшим и ничего не подозревая о лжи того, кто стал ее мужем. Даже ее не пощадил граф Монте-Кристо. Он сблизился с супружеской четой, заручился их доверием, укрывшись за маской богатого графа, вращающегося в свете, а потом уничтожил обоих.

По завершении рассказа о не знающей жалости и сострадания мести графа Монте-Кристо повисает тишина. Дита встает с табуретки, собираясь уходить, но сначала оборачивается к учительнице.

– Пани Маркета... вы так хорошо рассказали историю графа Монте-Кристо, что мне кажется, я ее сама прочла. Не согласитесь ли вы стать еще одной из наших живых книг? У нас уже есть «Удивительное путешествие Нильса Хольгерсона», легенды об американских индейцах, книга еврейской истории, а вот теперь будет еще и «Граф Монте-Кристо».

Маркета опускает взгляд, упреков его в земляной пол барака. Она снова стала той застенчивой и ускользающей женщиной, какой всегда и была.

– Мне очень жаль, но это невозможно. Давать уроки моим девочкам – это да, но вот стоять посреди барака и рассказывать... Нет, конечно же нет!

Дита отмечает, что бедная женщина вся зарделась только от одной мысли об этом. Не желает она быть живой книгой, ни за что не желает. Но все же они никак не могут позволить себе роскошь потерять еще одну книгу, и Дита с космической скоростью думает о том, что мог бы сказать в такой ситуации Фредди Хирш.

– Я знаю, что такое дело потребует от вас очень больших усилий, но... дети, пока слушают какой-нибудь рассказ, уносятся из этого клоповника прочь, они уже не ощущают запах горелой плоти, не испытывают страх. В эти минуты они счастливы. Мы не можем им в этом отказать.

Женщина, несколько огорченная, кивает:

– Не можем...

– Если мы глядим на то, что вокруг нас, нас охватывает отвращение и ярость. Так что единственное, что нам остается, – это воображение, пани Маркета.

Наконец учительница отрывает взгляд от пола и поднимает угловатое лицо.

– Добавь меня в твой список живых книг.

– Спасибо, пани Маркета. Спасибо. Добро пожаловать в нашу библиотеку!

В ответ та говорит, что сейчас уже слишком поздно для чтения и что книгу она возьмет завтра.

– Кроме того, мне еще нужно просмотреть кое-какие отрывки.

Дите кажется, что она произносит это с некоторым воодушевлением и шагает с большей энергией, чем обычно. Может статься, ей уже начала нравиться идея стать живой книгой. Сама Дита сидит на месте еще какое-то время, листая книжку и тихо повторяя имя Эдмона Дантеса, которое старается выговорить с французским прононсом. И задается вопросом, сможет

ли она сама когда-нибудь отсюда выйти, как это случилось с героем романа. Ей кажется, что она далеко не такая храбрая, хотя если бы ей представилась возможность убежать в лес, то она не стала бы долго раздумывать.

Еще она спрашивает себя: в том случае, если бы ей удалось убежать, посвятила бы она всю свою жизнь тому, чтобы отомстить всем охранникам и офицерам СС, и стала бы она делать это столь методично, непримиримо и даже безжалостно, как мстил своим недругам граф Монте-Кристо? Конечно, ей бы очень хотелось, чтобы они испытали ту же боль, которую сами причиняют стольким ни в чем не повинным людям. Но тем не менее она не может не испытывать некую грусть, размышляя о том, что ей гораздо больше нравился радостный и доверчивый Эдмон Дантес самого начала истории, чем тот расчетливый и исполненный ненависти мужчина, которым он стал под конец. И еще она думает: есть ли у тебя на самом деле выбор, или же под ударами судьбы ты меняешься, сам того не желая, подобно тому, как крепкое дерево превращается под ударами топора в безжизненные поленья?

Ей вспоминаются последние дни жизни отца, когда он умирал, лежа на грязном матрасе, без лекарств, которые хоть немного могли бы облегчить его страдания, медленно уничтожаемый болезнью, союз с которой в своем поклонении смерти заключили нацисты. От одной мысли об этом в висках у нее вновь начинает яростно стучать, пульсировать ненасытная жажда насилия. А потом она вспоминает то, чему научил ее профессор Моргенштерн: «Наша ненависть – это их победа». Соглашаясь, она кивает.

Если профессор Моргенштерн безумен – пусть меня закроют вместе с ним в одном сумасшедшем доме.

22

Через два лагеря от семейного сейчас разворачивается сцена, свидетелем которой не захотел бы стать ни один из заключенных, но выбора у них нет. Руди Розенберг, оказавшийся там по делу – принес списки, – шагает по *лагеритрассе* зоны ВІІb, когда в эту же зону входит патруль эсэсовцев, сопровождающий четверых русских – худых, но все еще достаточно энергичных, несмотря на отросшие бороды, разодранную одежду и кровоподтеки на лицах. Как раз его приятель Ветцлер, работник морга при этом лагере, рассказывал ему, что русские военнопленные трудятся за внешним периметром Биркенау, что они заняты на работах по расширению лагеря. Изнурительная работа заключалась в разгрузке и складировании тяжелых деревянных досок и балок.

Одним прекрасным утром, когда *капо* русских на несколько часов отлучился, чтобы всласть покувыркаться с ответственной за женскую группу, которая занималась очисткой территории соседнего лагеря, военнопленным удалось соорудить для себя укрытие. Это сооружение было сделано из четырех широких досок, образовавших стены, и еще одна была положена сверху, вместо крыши. Потом они наложили вокруг другие доски, так что укрытие оказалось полностью спрятано от чужих глаз. План заключался в том, чтобы отодвинуть доску-крышку и, как только *капо* на что-то отвлечется, забраться внутрь. В ходе вечерней проверки их отсутствие, конечно, будет обнаружено, и, решив, что они совершили побег, их будут искать в ближайших лесах и их окрестностях, но никому даже в голову не придет, что на самом деле они укрылись за пределами обнесенной оградой с электрическим током территорией лагеря, однако всего лишь в нескольких метрах от нее.

Немцы всегда отличались дисциплинированностью. Сигнал тревоги в связи с побегом приводил к чрезвычайным действиям специально созданных групп СС, задачей которых было осуществление поиска и прочесывания местности, а также к усилению постов охраны в близлежащих населенных пунктах, но – ровно на три дня. По истечении трех дней состояние чрезвычайного положения отменялось, и эсэсовцы возвращались к рутине. Так что задумавшим побег нужно было просидеть три дня и воспользоваться четвертой ночью, чтобы добежать до леса и идти дальше, не опасаясь поднятых по тревоге групп поиска и задержания.

Мысль о побеге постепенно утверждалась в голове регистратора, пока не превратилась в наваждение. Старожилы лагеря немало могут рассказать о горячке беглеца, которая, как заразная болезнь, поражает кого ни попадя. Неожиданно приходит момент, когда в человеке появляется неотступная потребность сбежать. Сначала думаешь об этом время от времени, потом все чаще и, наконец, уже не можешь сконцентрироваться ни на чем ином. День и ночь все твои мысли только о том, как осуществить побег. Потребность в побеге превращается в горячий императив, как внезапно возникший зуд, который все сильнее и сильнее, и ты уже не можешь не расчесывать это место, даже если твоя кожа изодрана в кровь.

Прошло всего несколько дней с попытки побега русских, и вот Розенберг, к своему ужасу, встречается возле входа в лагерь с группой эсэсовцев, патрулирующих связанных цепями беглецов; процессию замыкает штурмбаннфюрер Шварцгубер. Пленники еле двигаются в своей растерзанной одежде и с почти полностью заплывшими глазами – едва-едва могут увидеть что-то перед собой в узкую щелочку между отеками веками.

Лагерная охрана сигналами свистков приказывает всем выйти из бараков, а те, что уже на улице, вынуждены наблюдать за происходящим. Если кто-то пытается увильнуть, его жестоко бьют. Они требуют, чтобы все это видели, потому что такого рода урок и казнь являются для нацистов прямым педагогическим приемом. Вряд ли найдется более действенный способ объяснить узникам концлагеря, по какой причине им не следует совершать побег, чем показать им живую, в режиме реального времени, что бывает с теми, кто попытался это сделать.

Комендант останавливает патруль возле барака, под самой крышей которого закреплена лебедка. Можно было бы подумать, что ее предназначение – поднимать вверх тюки сена или мешки с зерном, но на самом деле она служит для того, чтобы вздергивать людей. Шварцгубер произносит длинную, размеренную речь, явно наслаждаясь моментом и превознося эффективность Рейха в наказании тех, кто смеет нарушать установленные им правила, и с наслаждением провозглашает об ожидающей этих ослушников безжалостной каре.

Прежде чем этих людей повесить, в качестве некоего жестокого приношения кровожадным богам, каждому из них дают пятьдесят ударов плетью. Затем, одному за другим, на шею им надевают веревку. Лейтенант подает знак полудюжине мужчин, которые молча смотрят на него, что пора тянуть за веревку. Видя секундное замешательство заключенных, он подносит руку к кобуре, намереваясь вытащить пистолет, и все шестеро дружно берутся за дело. Веревка натягивается, тело первого приговоренного к казни отрывается от земли и от жизни, сопровождаясь дерганьем ног и конвульсиями задыхающегося.

Руди Розенберг с ужасом смотрит на эти перекошенные лица, с глазами, которые, словно сваренные вкрутую яйца, вылезают промеж отекавших красных век, на огромные выпавшие языки, на беззвучные крики бесформенных ртов. Конец яростного дрыганья ног, извержение на землю всех телесных жидкостей. Скосив взгляд в сторону, он видит лица других беглецов, которые едва держатся на ногах, подпирая друг друга, и ждут своей очереди быть повешенными. Их лица этому миру уже не принадлежат. Пятьдесят ударов плетью привели их в такое плачевное состояние, что смерти они ждут как избавления. И покорно вдевают шеи в петлю, желая только одного: чтобы это все закончилось как можно скорее.

Хотя вся эта сцена глубоко потрясла Руди, она ни в малейшей степени не поколебала его решимости: во что бы то ни стало сбежать из Аушвица II. Алиса оставила в его душе размытые и какие-то горько-сладкие воспоминания, но прежде всего она утвердила его в мысли о том, что ничему прекрасному в этом жестоком аду родиться не дано. Концлагерь в один миг стал для него удавкой, непосредственная близость смерти внезапно перестала быть терпимой. Он должен попытаться выйти отсюда, даже если найдет свой конец в петле, дергая ногами в воздухе.

Он навел справки в лагере ВПb, где у него были налажены контакты с людьми, которые могут проникнуть в любую лагерную щель. Как-то вечером столкнулся с Франтишек, секретарем одного из барачных, с которым ему и раньше приходилось вести дела, одним из видных деятелей Сопротивления, и сказал ему о своем жгучем желании сбежать. Многие *капо* заводят себе секретарей, которые им помогают и находятся под их покровительством. Франтишек предлагает Руди зайти в их барак завтра, на чашечку кофе.

Кофе?

Кофе – это такая роскошь, которую могут позволить себе только те, кто очень ловко ведет дела на черном рынке. Потому что нужен не только сам кофе: нужна еще кофемолка, кофеварка, вода, источник огня... Естественно, он придет. Кофе он любит, но еще больше ему нравится иметь дружеские отношения с хорошо устроенными людьми. Он входит в барак, в это время дня совершенно пустой – все его обитатели заняты на работах по расширению Биркенау, – и направляется в комнатку Франтишека. Входит без стука, но застигнутым врасплох оказывается сам Руди. Сердце подпрыгивает у него в груди, когда рядом с секретарем он видит эсэсовца в форме. Слово «провал» пронзает его насквозь.

– Входи, Руди. Все в порядке. Ты среди друзей.

Секунду он еще сомневается, стоя в дверях, но Франтишек – человек надежный, по крайней мере, насколько ему известно.

Эсэсовец торопится представиться и вежливо протягивает ему свою руку.

– Меня зовут Виктор, Виктор Пестек.

В силу своих обязанностей регистратора Руди приходится знать много всего, но никогда не доводилось ему слышать таких поразительных слов, которые скажет ему чуть позже охранник СС.

– Хотели бы вы бежать вместе со мной?

Он детально излагает свой план, и в нем, нужно признать, нет ничего безумного, по крайней мере, в первой его части: выйти через главные ворота лагеря, будучи одетым в форму охранника СС, не вызывая никаких подозрений, и сесть на поезд, идущий в Прагу. Когда на следующее утро их хватятся, они уже будут подъезжать к городу. Вторая часть кажется ему более сумасбродной: раздобыть фальшивые документы для себя и еще двух женщин и вернуться за ними в Биркенау.

Руди внимательно его слушает и не может не признать, что он вряд ли найдет лучший для себя способ выбраться из лагеря, чем просто выйти из него через ворота об руку с обер-ефрейтором СС, но что-то шепчет ему, что это не сработает. Может, это не что иное, как глубокое недоверие к эсэсовцам, но это чувство заставляет его инстинктивно отказаться. Так или иначе, но он решает вежливо отклонить приглашение присоединиться к задуманному, предварительно клятвенно пообещав сохранить все в глубокой тайне.

В конце концов обнаруживается, что у Франтишека кофеварки нет, а есть носок, куда он насыпает кофе, опускает его в кастрюльку, а потом ставит кастрюльку на конфорку. Но даже кофе из кастрюльки имеет для Руди божественный вкус, и он уходит из барака, размышляя о том, что этот эсэсовец слишком радостно посвящает в свои планы других.

И верно, Виктор Пестек начал с риском для себя распространять слух, что один охранник ищет компаньона для побега из Аушвица. Впрочем, нельзя сбрасывать со счетов и возможность того, что многие из тех, кто об этом услышит, просто не поверят и отнесутся к слуху как к сказке какой-нибудь, вроде той, что повествует о горшке с золотом, зарытом под дальним концом радуги, или о человеке с мешком. Однако Пестек существует в реальности и упорно продолжает поиски. Сбежать он мог бы и один, но ему нужен спутник, который был бы знаком с пражским подпольем, чтобы как можно скорее раздобыть фальшивые документы для Рене и ее матери и вытащить их отсюда.

Упорство Пестека дает свои плоды, и он находит человека, готового принять участие в реализации его плана. Это один из узников семейного лагеря, зовут его Зигфрид Ледерер, и он является участником Сопротивления. Как раз один из тех, кем овладела та самая мания побега, готовый на все, лишь бы выйти из лагеря.

Пестек договорился о свидании с Рене сегодня вечером. Она приходит – как всегда, очень серьезная, как будто чего-то стыдась, не поднимая рук от юбки, с опущенной головой.

– Это наше последнее свидание в Аушвице.

Вот уже сколько дней он говорит ей о побеге, но она до сих пор так в это и не поверила.

– Великий день наступил, – объявляет он девушке. – Точнее, речь идет всего лишь о первой части плана, конечно. Сначала из лагеря уйду я, а потом вернусь – за тобой и твоей мамой.

– Но... как?

– Лучше, если ты не будешь знать деталей. Любая мелкая нестыковка может оказаться фатальной, к тому же ведь может случиться и так, что мне придется изменить план на ходу, если что-то будет складываться не так, как предполагалось. Но тебе не о чем беспокоиться. В один прекрасный день ты выйдешь за ворота лагеря, и мы будем свободны.

Рене смотрит на него своими небесно-голубыми глазами и кокетливо, как ему нравится, тянет локон к губам.

– А теперь я должен идти.

Она кивает.

В последний момент останавливает его, схватившись за рукав его гимнастерки.

– Виктор...

– Что?

– Будь осторожен.

И он счастливо вздыхает. Теперь уж точно ничто его не остановит.

Так же ничто не может остановить Диту в ее намерении узнать, что же произошло тем мартовским днем с Хиршем, что заставило его наложить на себя руки. Она уже несколько дней бродит вокруг мастерской, в которой работает Ханге, но удача ей пока так и не улыбнулась.

Удачу иногда приходится хватать за шкуру.

Дита подходит к последней, как ей кажется, группе работников, выходящих из мастерской в конце рабочего дня.

– Прошу прощения...

Мужчины смотрят на нее вежливо и устало.

– Я ищу одного господина... без волос.

Мужчины недоуменно переглядываются, словно в этот вечерний час головы у них работают слишком медленно и они не совсем понимают, чего хочет эта девочка.

– Без волос?

– Ну да, то есть лысого. Совсем лысого.

– Совсем лысого?

– Ясно! – говорит один из них. – Она имеет в виду Курта, понятное дело.

– Думаю, да, – отвечает Дита. – А где его можно найти?

– Там, внутри, – показывают ей в сторону барака. – Он всегда выходит последним. Он дежурный, должен все убрать: подмести пол, разложить по местам.

– Вторая работа, – слышится комментарий еще одного узника.

– Ага, то, что получаешь, если ты мало того что еврей, так еще и коммунист.

– Да к тому же и лысый, – саркастически добавляет кто-то.

– Быть лысым – преимущество. Вши соскальзывают.

– А когда идет снег, они катаются по лысине на коньках, – отпускает еще одну шуточку любитель сарказма.

И все уходят, посмеиваясь, как будто Диты не существует. Она еще довольно долго ждет на улице, пока наконец в дверях не появляется человек без волос. Пани Турновская несколько не ошиблась, упомянув в качестве отличительного признака его нос.

Дита пристраивается идти рядом с ним.

– Извините, но я хочу кое-что узнать.

Мужчина зло косится на нее и прибавляет шагу. Дита пускается бегом и догоняет.

– Видите ли, мне нужно выяснить кое-что относительно Фреди Хирша.

– Почему ты меня преследуешь? Ничего я не знаю, оставь меня в покое.

– Извините, мне не хочется вас беспокоить, но я должна выяснить...

– А ко мне-то ты почему цепляешься! Я – всего лишь уборщик в мастерской.

– Мне говорили, что вы – нечто большее...

Человек останавливается как вкопанный и гневно глядит на нее. Потом смотрит то в одну, то в другую сторону, и внезапно Дита осознает, что если Менгеле застанет ее прямо здесь и сейчас, то для нее все будет кончено.

– Тебя, по-видимому, плохо проинформировали.

И он снова пытается уйти.

– Подождите! – сердито кричит ему Дита. – Я хочу с вами поговорить! Предпочитаете, чтобы мы разговаривали криками?

Несколько человек уже проявили к ним интерес и повернули головы в их сторону, так что мужчина тихонько чертыхается. Потом хватает Диту за руку и ведет ее в боковой проулок между двумя бараками, где меньше света.

– Кто ты такая? Чего ты хочешь?

– Я – ассистентка из блока 31. Мне можно доверять. Можете спросить обо мне у Мириам Эдельштейн.

– Ладно, ладно... Слушаю тебя.

– Я пытаюсь понять, почему покончил с собой Фреди Хирш.

– Почему? Да очень просто: он струсил.

– Что вы такое говорите?

– Что слышишь. Он сдал назад. Его попросили возглавить восстание, а он не решился.

Вот и вся история.

– Я вам не верю.

– Да мне абсолютно все равно, веришь ты мне или нет. Произошло ровно это.

– Вы ведь не знали Фреди Хирша лично, так? – Теперь уже именно мужчина застывает столбом, словно его застigli за чем-то непотребным. Дита прилагает все усилия к тому, чтобы, когда она говорит, ее ярость не излилась слезами. – Вы не были с ним знакомы. И ничего о нем не знаете. Он никогда и ни перед чем не отступал. Вы думаете, что знаете много, что Соппротивление знает вообще все... но вы ничего не понимаете.

– Слушай, девочка, я знаю только одно: из руководства Соппротивления ему поступил приказ, а что он сделал после этого? Проглотил все эти пилюли, чтобы уйти со сцены. – В его словах сквозит раздражение. – Я понятия не имею, чем вызван такой интерес к его персоне. Вся эта история с блоком 31 – сплошной фарс. И весь семейный лагерь. И Хирш, и мы все просто подыграли нацистам, выступили в роли их челяди.

– Что вы имеете в виду?

– Этот лагерь – рисованный задник, ширма. Его единственное предназначение – скрыть правду в случае визита наблюдателей международных организаций, которые могут захотеть проверить, что из разошедшихся по разным странам слухов о том, что нацистские лагеря – это лагеря смерти, соответствует действительности. Семейный лагерь и блок 31 – это декорации, а мы – актеры, что ломают эту комедию.

Дита молчит. Лысый поводит головой из стороны в сторону.

– Не думай ты об этом больше, выброси из головы. Твой друг Хирш просто испугался. Страх присущ человеку.

Страх...

Вдруг она начинает думать о страхе как о ржавчине, которой подвержено все, даже самые железные убеждения. Он разъедает все, все ниспровергает.

Лысый мужчина уходит, нервно поглядывая то вправо, то влево.

Дита продолжает стоять в этом проулке. Услышанные слова колокольным звоном отзываются у нее в голове, заглушая все вокруг.

Декорация? Актеры, играющие комедию? Подтанцовка нацистов? Все их усилия, все достигнутое в блоке 31 – все это на благо немцев?

Она вынуждена опереться рукой о стену барака, потому что ей чудится, что земля уходит из-под ног. Весь семейный лагерь – сплошной обман? Что же это: правды на свете совсем не осталось?

И Дита начинает думать, что, должно быть, все именно так и есть. Правда – оружие судьбы, фатума, не более чем игрушка слепого случая. Обман же, наоборот, более человечен: его творит человек, лепя его под себя, он сделан по человеческим меркам.

Она отправляется на поиски Мириам Эдельштейн. Находит ее в бараке, Мириам сидит у себя на нарах. Ее сынок Арий как раз прощается с мамой, собираясь пойти прогуляться с другими мальчиками по *лагеритрассе*, пока не начали раздавать положенные узникам на ужин корки хлеба.

– Я не очень вас побеспокою, тетя Мириам?

– Конечно нет.

– Видите ли... – голос ее колеблется, она сама – воплощение колебаний. Ноги у нее опять ходят ходуном, как шатуны. – Я поговорила с одним человеком из Сопротивления. И он рассказал мне совершенно невероятную историю: что семейный лагерь – это для нацистов такая ширма на тот случай, если придут международные наблюдатели...

Мириам молча кивает.

– Так значит, это правда! Вы об этом знали! В таком случае, – шепчет Дита, – единственное, чем мы занимались все это время, – были прислужниками у нацистов.

– Ничего подобного! У них был свой план, а мы осуществляли свой собственный. Они хотели склад для детей, чтобы те сидели там по углам, как ненужные вещи, а мы создали школу. Они хотели, чтобы это были телушки в стойле, а мы добились того, что дети чувствуют себя личностями.

– Ну и для чего все это было? Ведь все дети из сентябрьского транспорта погибли.

– Оно того стоило. Ничто не было напрасным. Ты помнишь, как они смеялись? Помнишь, как широко раскрывались их глаза, когда они пели «Жаворонка» или слушали наши живые книги? Помнишь, как они прыгали, когда мы клали в их мисочки по половинке печенья?

– А как они репетировали спектакли!

– Они были счастливы, Эдита.

– Но так недолго...

– Жизнь, любая жизнь, длится недолго. Но если человеку удалось побыть счастливым хотя бы одно мгновение, такую жизнь прожить стоило.

– Мгновение! Так мало?

– Так мало. Достаточно быть счастливым ровно то время, в течение которого загорается и гаснет спичка.

Дита умолкает и прикидывает, сколько спичек загорелись и погасли за ее жизнь – их было много, даже не сосчитать. Много кратких моментов, когда сверкал огонек, в том числе в кромешной тьме. Некоторые из них как раз совпадали с теми мгновениями, когда она, в периоды самых невообразимых бедствий, открывала книгу и с головой погружалась в чтение. Ее маленькая библиотека – целый коробок спичек. Обдумав все это, она грустно улыбается.

– И что будет теперь с этими детьми? Что будет со всеми нами? Мне страшно, тетя Мириам.

– Нацисты могут выгнать нас из нашего дома, отобрать наши вещи, нашу одежду и даже лишить нас наших волос, но, что бы они у нас ни забрали, единственное, что им не под силу, это отнять у нас надежду. Она – наша. Потерять ее мы не можем. С каждым днем все слышнее бомбардировки союзников. Вечно война не продлится, и мы должны готовиться к миру. Детям нужно учиться, потому что они увидят страну и мир в руинах, и именно им и вам, молодым, придется все это восстанавливать.

– Но ведь то, что семейный лагерь не более чем нацистский трюк, – это ужасно. Приедут международные наблюдатели, им покажут все это, они увидят, что в Аушвице живут дети, газовые камеры спрячут, и эти визитеры уедут обманутыми.

– Или нет.

– Что вы имеете в виду?

– Это будет наш выход. Мы не позволим им уехать, не узнав правды.

И тут Дита начинает припоминать тот последний вечер перед уходом из лагеря сентябрьского транспорта, когда она случайно встретила Фреди на *лагерштрассе*.

– Мне сейчас пришли в голову слова, которые сказал мне Фреди в тот последний раз, когда мы с ним говорили. Он говорил мне что-то о какой-то минуте, когда возникнет зазор, и тут-то и наступит момент истины. И необходимо его правильно разыграть. Сказал, что нужно

забросить мяч в корзину в последнюю секунду, когда противник менее всего этого ожидает, и выиграть партию.

Мириам утвердительно кивает.

– Таким и был план. Перед тем как уйти, он оставил мне кое-какие бумаги. Он писал не только доклады администрации лагеря. Он аккумулировал факты, даты, имена... Целое досье о том, что происходит в Аушвице, готовое для передачи независимому наблюдателю.

– Фреди уже не сможет никому его передать.

– Да, его уже нет. Но ведь мы не собираемся сдаваться, верно?

– Сдаться? Пусть и не мечтают! Можете на меня рассчитывать в любом случае – что бы ни произошло. Чего бы мне это ни стоило.

Замдиректора блока 31 улыбается.

– Но в таком случае, – настаивает Дита, – почему же тогда в последний момент сдался он, покончив с собой? Люди из Соппротивления говорят, что он струсил.

Улыбка Мириам мгновенно вянет на губах.

– Этот человек из Соппротивления сказал мне, что ему поручили возглавить восстание, а он отступил. А я сказала ему, что он ничего об этом не знает, но он выглядел таким уверенным...

– То, что ему предложили возглавить восстание, когда уже стало совершенно ясно, что весь сентябрьский транспорт в полном составе отправится в газовые камеры, это верно. Мне об этом сказала одна женщина, мой источник, которой я доверяю.

– И он отказался?

– Восстание руками такого контингента – семей в полном составе, со стариками и детьми – против вооруженных эсэсовцев было не самой блестящей идеей. Он попросил, чтобы ему дали возможность немного подумать.

– И после этого он отравился.

– Да.

– Почему?

Тяжелый вздох Мириам как будто опустошил ее.

– У нас далеко не всегда есть ответы на все вопросы.

Женщина взяла ее за плечо и притянула к себе. Прижавшись друг к другу, они долго молчат, и это молчание объединяет их больше, чем какие бы то ни было слова. Потом тепло прощаются, и Дита выходит из барака. По дороге она думает, что, возможно, нет ответов на все вопросы, но Фреди сказал ей: «Никогда не сдавайся». И она не отступит, не откажется от своего стремления найти ответ на этот вопрос.

Многоголосый шум уроков выводит ее из задумчивости. В нескольких метрах от нее расположилась группа Ота Келлера. Дети внимательно слушают его рассказ, и Дита тоже начинает прислушиваться, чтобы не утратить ту нить, что обрезали нацисты. Она скучает по школе. Ей бы очень хотелось учиться дальше и, быть может, стать летчицей, как та женщина, что была на фотографии в иллюстрированном журнале ее мамы, Амелия Эрхарт. Она была снята как раз в тот момент, когда вылезала из самолета, одетая в кожаную куртку, со сдвинутыми на лоб очками пилота и мечтательным взглядом. Дита думает, что для того, чтобы стать летчицей, нужно очень много учиться. До того места, где она расположилась с книгами, доносятся голоса нескольких учителей, но они смешиваются, и ей не удается разобрать слова ни одного из них.

Дита смотрит на преподавателя Келлера. Говорят, что он – коммунист. Коммунизм – это пока что мечта, не ставшая кошмаром. Ота Келлер рассказывает о скорости света и говорит, что во всей вселенной нет ничего, что двигалось бы быстрее света, что те звезды, которые мы видим на небе, это результат того факта, что наших зрачков достигли фотоны света, что были выпущены очень давно и прошли миллионы километров на головокружительной скорости,

пока не добрались до нас. Детей он притягивает к себе заразительным энтузиазмом, с которым говорит, движениями бровей и указательного пальца, похожего на стрелку компаса.

Вдруг в ее голову приходит мысль, что компасы очень трудно понять. Быть может, когда она вырастет, то станет вовсе не летчицей, а художницей. Кроме всего прочего, рисовать у нее получается. Это в своем роде тоже полет, но без всякой зависимости от многочисленных аппаратов и рычагов. Она нарисует мир, увиденный сверху, с высоты птичьего полета.

Сегодня вечером возле выхода из барака 31 ее ожидает Маргит. Она пришла сюда вместе со своей сестрой Хельгой, очень худенькой девушкой. Маргит шепчет Дите на ухо, что слегка за сестру беспокоится, что в последнее время она сильно осунулась. Хельге не повезло: при распределении по работам она попала в бригаду по рытью дренажных канав, а из-за непрерывных весенних дождей землекопы день-деньской вынуждены черпать жидкую грязь.

Среди узников довольно много таких, как Хельга: они отличаются чрезмерной худобой, большей, чем у других заключенных, как будто бы пайка хлеба и супа проходят через их тела, не оставляя по себе никаких следов. Возможно, они и не более худы, чем другие, но есть что-то такое в их удрученных жестах и потухших взглядах, что эти люди выглядят гораздо более хрупкими, чем остальные. Много говорится о тифе, холере, туберкулезе и пневмонии, но гораздо меньше слышно об эпидемии отчаяния, которая выкашивает лагерь. Это же случилось и с ее отцом. Есть люди, которые внезапно начинают угасать. Это те, кто сдался.

Они пытаются расшевелить Хельгу и специально заводят шутивно-игривые разговоры.

– Ну-ка, Хельга, признавайся – нашла ты там себе красивого парня?

Поскольку Хельга даже не шевельнулась, так и стоит столбом, не зная, что сказать, Дита адресует следующую подачу ее сестре.

– Ну а ты, Маргит, что, тоже во всем лагере не заприметила никого стоящего? Придется, наверное, обращаться в администрацию с ходатайством о переводе!

– Погоди-погоди... я тут видела одного мальчика, из 12-го барака. Такой милашка!

– Милашка? Ты это слыхала, Хельга? Что за вульгарная манера выражаться!

Все трое смеются.

– Так что, ты хоть слово этому милашке сказала? – развивает Дита шутку.

– Нет еще. Ему, наверное, лет двадцать пять.

– Уф! Слишком взрослый. Он же старик. Если будешь с ним гулять, люди подумают, что ты его внучка.

– Ну а ты, Дита? – переходит в контратаку Маргит. – Неужто в этом бараке нет ни одного стоящего ассистента?

– Ассистента? Ну нет! Кого может интересовать парень с лицом, усеянным прыщами?

– Да ладно, хоть один интересный молодой человек да найдется!

– Не-е-е-ет.

– Ни одного?

– Ну, есть кое-кто... другой.

– Что значит другой?

– Ну, не с тремя ногами, конечно. Но, – и тут Дита становится более формальной, – он из тех молодых людей, которые внешне очень серьезные, но кто умеет рассказывать. Его зовут Ота Келлер.

– Зануда, значит.

– А вот и нет, совсем нет!

– Уф! Ну что ты скажешь, Хельга? Ассортимент парней – просто катастрофа, верно?

Хельга с улыбкой кивает на реплику сестры. Она смущается говорить о мальчиках с Маргит, которая обычно слишком серьезная. Но когда рядом Дита, все иначе, ей удастся как-то сделать так, что все кажется существенно менее значительным.

Ночью, пока Хельга, Маргит, Дита и весь семейный лагерь спит, обер-ефрейтор СС входит на территорию этого лагеря, не привлекая к себе никакого внимания. На плече у него рюкзак.

Он направляется к торцу одного из бараков и поднимает засов, закрывающий заднюю дверь. Через секунду в открытой двери всплывает среди теней силуэт Зигфрида Ледерера и бесшумно переодевается. Оборванный бродяга исчезает, на его месте появляется блестящий офицер войск СС. Пестек предпочел достать форму и нашивки лейтенанта, потому что так будет меньше риска, что кто-нибудь дерзнет хоть слово им сказать.

Они проходят через контрольно-пропускной пункт, где охранники, несущие караул, учтиво приветствуют их вытянутой и поднятой вверх рукой. Дальше они направляются к выходу из концлагеря, проходя мимо караульной вышки, похожей на мрачный замок. Стоит ночь, и освещена только ее верхняя часть с застекленной будкой, из которой ведут наблюдение вооруженные охранники. Ледерер потеет в своей эсэсовской форме, а Пестек шагает весьма решительно; он вполне уверен в том, что они пройдут контроль без всяких затруднений.

Теперь они приближаются к посту, расположенному под огромной башней у ворот, и Пестек делает несколько шагов вперед. Заметив их приближение, охранники поворачиваются вместе с автоматами, заряженными боевыми патронами. Пестек шепчет Ледереру, чтобы тот немного укоротил шаг с тем, чтобы сам он смог оказаться чуть впереди, но при этом продолжать движение за ворота, что самое главное – не обнаруживать никаких колебаний, не переставать двигать ногами, не останавливаться. Если не выкажет сомнений он, то и караульные ни в чем не усомнятся. Они не посмеют остановить лейтенанта.

Полностью раскованный, Пестек опережает своего спутника на несколько шагов. Подходит к караульным и, словно находясь среди своих друзей-приятелей, которым собирается сделать некое признание, понизив голос, сообщает, что имеет намерение проводить только что прибывшего по переводу в концлагерь офицера на экскурсию в публичный дом на территории Аушвица I.

Едва лишь караульные успевают сообщнически ухмыльнуться, как лейтенант, прямой, словно палку проглотил, уже проходит мимо, и они берут под козырек, в то время как фальшивый офицер лениво кивает в ответ на приветствие. Пестек догоняет своего старшего, и оба исчезают в ночной тьме. Караульные думают, как же им повезло. И им действительно везет.

Они направляются на железнодорожную станцию Освенцим. Там они сядут на прибывающий через несколько минут поезд до Кракова. Если все будет хорошо, в Кракове они сядут на другой поезд и поедут в Прагу. Шагают они молча, стараясь, чтобы их шаги не выглядели поспешными. Свобода колет спину Ледерера, хотя возможно, что это офицерская форма или просто страх. Пестек шагает более расслабленно, даже насвистывает. Он уверен в том, что все будет хорошо. Их никто не схватит, потому что он очень хорошо знает, как думают эсэсовцы. Менее четверти часа назад он был одним из них.

23

Утренняя поверка нескончаема, как никогда. Когда она все же подходит к концу, слышатся свистки и крики на немецком. Появляется эсэсовец, который отдает приказ начать переключку с самого начала. Многие чешские евреи владеют немецким, так что по бараку проносится обреченный вздох. Еще один час на ногах... Что случилось, они не знают, но точно что-то случилось – охранники явно нервничают. Одно и то же слово передается сквозь зубы от ряда к ряду: побег.

Сегодня утром в бараке 31 как-то особенно громко, громоподобно звучит «Жаворонок». Ави Офир с обычной живостью дирижирует хором, и дети самых разных возрастов с удовольствием отдаются песне, которая уже успела стать гимном блока 31. Дита тоже начинает подпевать. Музыка создает вибрацию, которая охватывает все вокруг. Глотки практически 360 детей блока одновременно издают звуки, сливающиеся в единый голос с множеством оттенков.

Когда песня заканчивается, Лихтенштерн объявляет, что приближается Пасхальный Седер¹⁶ и что администрация детского блока работает над тем, чтобы праздничный ужин превратился в грандиозное событие. Дети хлопают в ладоши, кое-кто от избытка чувств свистит. Прошел слух, что старший по блоку вот уже несколько дней предпринимает всевозможные усилия, чтобы раздобыть на черном рынке необходимые для праздничного стола ингредиенты. Эти новости с каждым днем обрастают все большими подробностями и всех обволакивают, заключая в некий пузырь нормальности. Но есть и еще одна новость, которая проносится со скоростью, не меньшей чем скорость света, о которой рассказывал учитель Ота Келлер: новость о побеге из лагеря узника по фамилии Ледерер. Именно это событие послужило причиной двойной утренней поверки, а также приказа остричь всех узников без разбора. *Kapo* визгливо выкрикивают слово «гигиена», но она тут ни при чем, все дело в ярости. Выстроились многочасовые очереди к грекам-цирюльникам с ржавыми ножницами в руках, которыми в доведенной жизни если что-то и резали, так шпик на ломтики. От пышной гривы Диты остаются жалкие четыре волосины.

Ну и ладно.

Немцы особенно раздражены этим побегом, поскольку, как говорят, Ледереру удалось бежать благодаря содействию одного из эсэсовских охранников, который тоже пустился в бега, то есть стал дезертиром. А ничто не может вызвать у них большую ярость. Они с ног сбились – но найти в нужной степени колючую и шершавую веревку, чтобы повесить дезертира, не могут. Маргит сказала подруге, что это тот самый охранник, который встречался с Рене, но девушка ничего не рассказывает. Ни о нем, ни о чем другом – молчит как рыба.

И на данный момент, слава тебе, господи, их еще не поймали.

Судьба есть судьба. Дита шагает по *лагеритрассе*, внимательно приглядываясь и прислушиваясь, чтобы вовремя заметить Менгеле. Но навстречу ей идет не кто иной, как занимающий высокий пост заключенный, которого ей приходилось видеть по другую сторону ограды их зоны. У Диты уже мозги иссохли: которую неделю она думает, прикидывает, изобретает способ, как бы ей с ним увидеться, и вот он идет ей навстречу, один, засунув руки в карманы. Брюки на нем как будто предназначены для верховой езды, как будто он *kapo*. Но это регистратор карантинного лагеря Руди Розенберг...

– Прошу прощения...

Руди замедляет шаг, но не останавливается. Он обдумывает свой план и полностью в него погружен. Пути назад для него уже нет. Зуд побега стал невыносимым. Ему необходимо выйти отсюда – живым или мертвым. Больше ждать он не может. День уже назначен, и все

¹⁶ Ритуальная семейная трапеза, которую проводят в начале праздника Песах – еврейской Пасхи.

приготовления завершены – ни одного дела, которое нужно было бы доделать. Жребий будет вот-вот брошен, и он не может позволить себе ни на что отвлекаться.

– Чего ты хочешь? – с явной неохотой отзывается он. – У меня нет для тебя ничего съестного.

– Речь не об этом. Я работала в блоке 31, помогала Фреду Хиршу.

Розенберг кивает, но не останавливается, и Дите приходится все время убаюкивать шаг, чтобы не отставать.

– Я знала его...

– Не обольщайся, никто не знал этого человека. Он никого не подпускал к себе.

– Но он был отважным. Может, он сказал вам что-то, что объясняет, почему он покончил с собой?

Розенберг на секунду останавливается и устало смотрит на нее.

– Он был человеком. Вы верили, что он – библейский патриарх, Голем из еврейской легенды или кто-то в этом роде. – И он тяжело, презрительно вздыхает. – Он сам создал себе этот нимб героя. Но не было в нем ничего особенного. Я видел его. Это был обычный человек, как и любой другой. Просто на большее его не хватило. Подвел, сломался, как мог бы сломаться кто угодно. Неужели это так трудно понять? Забудь ты о нем. Его время кончилось. Думай лучше теперь о том, как выйти отсюда живой.

Руди, явно раздосадованный, считает разговор оконченным и намеревается уйти. Дита обдумывает его слова. Думает и о его враждебном тоне. Конечно, Хирш был человеком, имел свои слабости, уж ей ли об этом не знать. Он никогда не говорил, что ему не страшно: страшно ему, несомненно, было. А еще он говорил, что страх нужно проглатывать. Розенберг – тот, кто знает многое, и он дал ей разумный совет: думай только о себе. Но Дита не хочет быть разумной.

Апрель принес с собой тепло, кусачие зимние холода постепенно отступили. Дожди превратили *лагерштрассе* в сплошную слякоть с вереницей луж, а высокая влажность повлекла за собой увеличение числа простудных заболеваний. Тележка, которая каждое утро собирает покойников, умерших за прошедшие сутки, пересекает зону из конца в конец, доверху нагруженная телами людей, у которых сдали легкие. Собирает свою жатву и холера, и даже тиф. Нет внезапной и всеохватной смертности, как при эпидемии, однако капля смерти – приоткрытый кран, не иссякающий ни на один день в огромных бараках, настоящем рае для всевозможных бактерий.

Апрель принес в Биркенау дождь из хлябей небесных и еще один – в виде транспортов. Случаются дни, когда приходят сразу три поезда, битком набитых евреями, из вагонов которых на перроны лагеря изливаются потоки воды и людей. Дети возбуждаются, рвутся встречать поезда и дивятся на горы чемоданов и сумок, складываемых на перроне. Коробки и сумки с едой, которые дети разглядывают с вожделением в глазах и слюной во рту.

– Смотри, какой огромный сыр! – возбужденно кричит десятилетний мальчик по имени Вики.

– А вон там, на земле... похоже на огурцы!

– Боже мой, там целая коробка каштанов!

– Точно! Каштаны!

– Вот бы ветер докатил до нас один каштан! Я ведь не многого прошу – всего один! – И Вики начинает тихонько молиться. – Один, всего один, Боже всемогущий!

Пятилетняя малышка с чумазым личиком и спутанными, как мочалка, волосиками делает вперед пару шагов, но тут взрослая рука хватается за плечо, дальше не пуская.

– А что такое каштаны?

Мальчики и девочки чуть постарше оглядываются на нее и смеются, но тут же становятся серьезными. Малышка никогда не видела каштана, не знает вкуса ни жаренных на огне каш-

танов, ни ноябрьского пирога с каштанами. Вики думает, что если Бог услышит его мольбы и ветер донесет до него хотя бы один каштан, то он даст половину малышке. И тогда нельзя будет сказать, что она прожила жизнь, так и не узнав вкуса каштана.

Учителя же видят не пакеты с едой, а тюки человеческих тел, из которых охранники ударами формируют строй, чтобы подвергнуть жуткой процедуре, повторяемой с приходом каждого транспорта: разделить тех, кто будет выбрит, клеймен специальной татуировкой и брошен в грязное болото, чтобы работал, пока не сдохнет, и тех, кто будет немедленно уничтожен. Из-за ограды семейного лагеря шести- и семилетки время от времени отпускают шуточки по поводу новых узников, и трудно понять, на самом ли деле они насмеваются или притворяются безразличными друг перед другом по отношению к тому, что скоро произойдет, и это их единственный способ стать сильными и преодолеть сжимающую сердце тоску.

В первый вечер Пасхи, в самом начале апреля, семьи собираются за столом и приступают к чтению Агады, части Талмуда, где содержатся сведения об исходе евреев из Египта. Традиция требует, чтобы в этот день выпивались четыре бокала вина во славу Божию. Готовится Кеара – блюдо, на которое кладутся следующие продукты: Зроа (куриная ножка), Бейца (коричневое яйцо, символизирующее жестокосердие фараона), Марор (горькие травы или жгучая редиска как напоминание о горечи рабства в Египте), Харосет (сладкая смесь из тертых яблок, меда и орехов в память о цементе, который использовали евреи, чтобы сложить свои дома в Египте) и Карпас (веточка петрушки в чашке соленой воды как символ еврейской жизни, неизменно погруженной в слезы). Но самый главный элемент праздничного стола – это Маца, хлеб из бездрожжевого теста, от которого каждый из сотрапезников отламывает кусок. Последняя вечеря Иисуса с учениками была посвящена как раз празднованию Седера, и христианское причастие восходит именно к этому еврейскому ритуалу. Все это рассказывает Ота Келлер своим ученикам, и никто не пропускает ни звука: религиозные традиции и еда – священные для них темы.

Лихтенштерн добился своего: они смогут отпраздновать Пасху. Хотя им и не удалось достать всех нужных ингредиентов, чтобы отметить праздник в точности так, как предписывается традицией, все дети с нетерпением ждали того момента, когда старший по блоку выйдет из своей комнатки с фанеркой в руках, призванной изображать поднос. На нем в нужном порядке разложены косточка, которая могла бы быть частью цыпленка, яйцо, кусочек редиски и половник с соленой водой, в которой плавает какая-то травка.

Тетя Мириам добавила в утренний чай варенье из свеклы, чтобы создать иллюзию вина. Кроме того, на нее возложена обязанность замесить тесто для мацы. Вальтр, один из тех взрослых мужчин, что помогают с хозяйственными делами для жизнеобеспечения барака, смог раздобыть толстой проволоки и свернул ее спиралью, чтобы на ней можно было испечь хлеб. Дети как завороченные, не отрывая глаз, следят за всеми приготовлениями. В этом месте, где еда – это то, чего вечно не хватает, они с изумлением наблюдают за тем, как из горсточки муки и небольшого количества воды получается вкуснейший хлеб с таким пьянящим ароматом.

Чудо, да и только.

Именно по этой причине, хотя в дальнем конце барака малышня и шумит, играя в догонялки, их довольно скоро утихомиривают, и в воздухе повисает тишина, пропитанная мистицизмом.

Вот наконец и готовы все семь хлебов, которые кладут на стол, установленный в центре барака. Не так уж много для более чем трехсот ребятишек, но Лихтенштерн отдает распоряжение, чтобы каждый отщипнул себе по крошке – только чтобы почувствовать мацу на вкус.

– Это хлеб, который готовится без дрожжей, тот самый, который наши предки ели во время своего исхода из Египта, по пути из рабства к свободе, – говорит он им.

И все выстраиваются в цепочку, чтобы организованно подойти к нему и получить свою толику священного хлеба.

Потом дети вновь рассказываются группами, каждая со своим учителем, и те рассказывают им историю исхода евреев из рабства египетского, пока дети едят свои кусочки мацы и пьют чай, преобразенный в вино с помощью свеклы. Дита зигзагами, от группы к группе, ходит по бараку и слушает одну и ту же историю, рассказываемую разными голосами, в различных версиях; невероятную историю о долгом переходе через пустыню целого народа под предводительством пророка Моисея. Ребятам нравятся истории, и они внимательно слушают о том, как взошел Моисей на крутую гору Синай, чтобы приблизиться к этому грозно рыкающему Богу, и о том, как расступилось Красное море, чтобы по дну его смогли пройти люди. Скорее всего, это было самое неканоническое празднование Пасхальной вечерни за всю историю, совершаемое к тому же не вечером, а в полдень. И, конечно, не могли они съесть традиционного жареного барашка – у них нет вообще ничего, что можно было бы съесть. В качестве чрезвычайного дополнения к обычному рациону каждый ребенок получит половинку галеты. Но приложенные усилия и вера, с которыми отмечается праздник, придают этой церемонии особенную эмоциональность, несмотря ни на что.

Ави Офир собирает хор, с которым он уже несколько дней проводил репетиции, готовясь к празднику, и вот уже звучит, сначала робко, потом, расцветая, «Ода к радости» Бетховена. Поскольку в бараке, где одновременно находятся сотни детей, трудно что-то разучить в тайне от всех остальных, слова волей-неволей выучили все, и теперь даже те, кто не в хоре, тоже начинают подпевать, пока не образуется гигантский хор, в который сливаются несколько сотен голосов.

Поющие голоса вырываются за стены барака и несутся дальше, за проволочные ограждения. Работающие на дренажных канавах разгибаются на минуту, опираясь на свои лопаты, чтобы послушать...

Слушайте! Это дети, они поют...

В текстильной, а также в слюдяной мастерской, где производятся конденсаторы для электронных приборов и радаров, также на секунду приостанавливается работа, и люди непроизвольно поворачивают головы к источнику этой радостной мелодии, проникающей сюда, чудится, откуда-то из-за пределов концлагеря.

«Да нет, – говорит кто-то, – это ангелы небесные».

В склизких траншеях, над которыми никогда не прекращает сыпать серый пепел, а *капо* принуждают заключенных рыть, не останавливаясь, до кровавых пузырей на ладонях, эта музыка, эти голоса, которые принес им ветер, – настоящее чудо. А слова гимна говорят о том времени, когда обнимутся миллионы, перецелуют друг друга и все люди станут братьями. Это призыв к миру, пропетый сотней голосов во всю силу легких на территории самой большой фабрики смерти, какую когда-либо знало человечество.

Гимн звучит так громко, что достигает кабинета одного известного меломана. Он поднимает голову, словно его носа достиг аромат вкуснейшего торта, аромат такой силы, что невозможно усидеть на месте и не отправиться по его следам прямо до той печи, в которой торт подрумянивается. Он быстро встает, отодвигает в сторону бумаги, проходит по *лагеритрассе* семейного лагеря и появляется на пороге блока 31.

Уже несколько раз были повторены слова первой строфы текста, известные всем, и вот поющие приблизились к концу припева, когда в дверном проеме вырастает фигура в фуражке с черепом и костями на околыше, отбрасывая непропорционально длинную, угрожающую тень. Лихтенштерн леденеет, словно к ним внезапно вернулась зима.

Доктор Менгеле...

Он продолжает петь, хотя голос его слабеет: у них нет разрешения отмечать ни один еврейский праздник. Дита на секунду немеет, но тут же вновь подхватывает, потому что хотя взрослые и умолкли, но дети как ни в чем ни бывало продолжают петь во весь голос.

Менгеле несколько секунд стоит и слушает – невозмутимый, бесстрастный, непроницаемый. Потом поворачивает голову к Лихтенштерну, который уже не поет и со страхом смотрит на доктора. Менгеле кивает, как будто одобряя то, что слышит, и поднимает затянутую в белую перчатку руку, побуждая хор продолжать. Офицер разворачивается и уходит, и блок заканчивает исполнение гимна голосами всех присутствующих, во всю мощь, чтобы Менгеле было хорошо слышно. А потом взрываются аплодисменты – они аплодируют сами себе: своей энергии и своей дерзости.

Вскоре после окончания празднования Пасхи, когда все уже готовится к вечерней проверке, а в ушах узников все еще слышны отголоски «Оды к радости», снаружи слышится совсем другая музыка. Более высокие тона, более давящая, более однообразная, без каких-либо признаков радости, хотя некоторые, услышав ее, начинают улыбаться. Это сигнал тревоги, он звучит на всей территории концлагеря.

Эсэсовцы начинают бегать в самых разных направлениях. Два рядовых, заигрывавшие на *лагерштрассе* с молоденькой заключенной, которая то ли чувствовала себя польщенной, то ли была едва жива от ужаса, бросают все ухаживания и бегут в караулку. Это сигнал тревоги, сообщение о побеге. Побег – это все или ничего, свобода или смерть.

Второй раз за последние дни звучит сигнал тревоги. Первым сбежавшим был человек по фамилии Ледерер, о котором ходят слухи, что он принадлежит к Сопротивлению, а еще говорят, что он сбежал при содействии дезертировавшего со службы охранника СС. Больше никаких новостей о нем не было, и это – самая хорошая новость. Говорят, что нацист вывел Ледерера из лагеря переодетым в форму офицера СС, что они спокойно прошли через главные ворота и что несшие караул охранники были такими идиотами, что даже пригласили их выпить по рюмочке водки.

И вот снова звучит сигнал тревоги. Побег очень беспокоит нацистов: это неуважение к их власти и прежде всего нарушение столь чтимого и ими же самими установленного порядка. Два совершенных подряд побега – вызов для Шварцгубера. И в этом никто не ошибается: когда ему сообщают новость о побеге, он начинает пинать ногами своих подчиненных и требовать голов виновных. Чьими бы они ни оказались.

Узники понимают, что их ждет долгая ночь, и они не ошибаются. Строят всех, в том числе детей, на улице, под дождем. Переключку проводят несколько раз, проходит три часа, а люди все стоят; это способ убедиться в том, что остальные на месте, но главным образом это способ отомстить всем, коль скоро они не могут выместить свою ярость на беглецах. По крайней мере пока.

В то время, когда по лагерю беспорядочно носятся охранники и растет всеобщее напряжение, в нескольких сотнях метрах оттуда, в крошечной тьме, регистратор Руди Розенберг хранит полное молчание рядом с еще одним товарищем, Фредом Ветцлером. Оба они находятся в тесном укрытии, похожем на кладбищенский склеп, и только их учащенное дыхание свидетельствует о наличии жизни в царящем мраке. Перед глазами Руди возникает картина, виденная им несколько дней назад, когда посреди лагеря вешали русских: распухшие лиловые языки, вылезшие из орбит глаза, омытые кровавыми слезами.

Капля пота сползает по лбу Руди, но он не решается стереть ее, чтобы ни на миллиметр не сдвинуться со своего места. Теперь они – Руди и его друг Фред – сидят в бункере, построенном русскими. Они решили сыграть ва-банк: пан или пропал. Все или ничего.

Над лагерем завывают тревожные сирены. Руди протягивает руку и касается ноги Фреда. Фред кладет свою руку поверх руки Руди. Пути назад нет. Они ждали несколько дней, наблюдая, уничтожат ли нацисты бункер. Но поскольку этого не произошло, они пришли к выводу, что укрытие остается надежным. Вскоре они смогут проверить на себе, так ли это.

В семейном лагере, после длинного изнурительного дня, Дита пользуется немногими оставшимися до отбоя свободными минутами: помогает маме избавиться от гнид на голове,

чтобы не допустить их превращения во вшей. С этой целью она бесконечное количество раз проводит расческой по маминым волосам. Ее мама не терпит грязи и отсутствия гигиены, вернее, не терпела раньше, никогда не упуская случая упрекнуть Диту в том, что она взяла в руки что-то съестное, предварительно не вымыв их с мылом. Теперь у нее нет другого выхода, кроме как стать к грязи более терпимой. Дита думает о том, какой была ее мама до войны: красивейшей женщиной, гораздо более красивой, чем она сама, и такой элегантной.

Некоторые узницы также используют немногие оставшиеся до отбоя минуты, чтобы избавиться от непрошенных приживалов в их волосах. А между делом, не отвлекая людей от основного занятия, от койки к койке летают комментарии последних событий.

– Не понимаю, почему человек на должности регистратора, который не голодает, не занят на изнурительной работе и не подвержен селекции, потому что вполне устраивает немцев, ставит на карту свою жизнь.

– Никто этого не понимает.

– Побег – это самоубийство. Почти все возвращаются назад и кончают на виселице.

– Кроме того, до выхода отсюда осталось совсем немного, – добавляет еще одна. – Говорят, что под натиском русских немцы отступают. Война может закончиться чуть ли не на этой неделе.

Эти слова рожают целый вал оживленных обсуждений, разного рода оптимистических теорий, приправленных жгучим желанием приблизить конец нескончаемой ночи войны.

– Ко всему прочему, – возвышается над общим фоном один женский голос, – каждый побег – это новые притеснения всем остальным: ужесточения режима, наказания... Есть лагеря, в которых наказание – газовая камера. Мы понятия не имеем, что нас ждет. Поверить не могу, что есть такие эгоисты, которым ничего не стоит поставить под угрозу жизнь других просто на ровном месте.

Остальные головы согласно закивали.

Лизль Адлерова редко вступает в дискуссии. Ей не хочется привлекать к себе внимание, да и дочку она всегда ругает именно за то, что Дита не отличается надлежащей скромностью. Не может не удивлять, что женщина, владеющая несколькими языками, так часто выбирает для себя молчание. Тем не менее сегодня она открывает рот.

– Наконец-то кто-то попал в точку. – И вновь согласно закивали головы. – Наконец-то кто-то сказал правду.

Слышатся одобрительные возгласы. Лизль продолжает:

– Наконец-то сказано о том, что на самом деле важно: нам без разницы, удастся этому беглецу выжить или нет. То, что нас интересует, это ровно то, что имеет к нам прямое касательство: что у нас отберут ложку супа или заставят простоять под дождем на вторичной перекличке. Вот что важно. – Слышатся удивленные возгласы, но Лизль не останавливается: – Вот вы говорите, что побег – вещь бесполезная. Но им придется создать дюжины патрулей, которые будут прочесывать окрестности в поисках беглецов, а это вынудит немцев отозвать в тыл большое количество людей, которые могли бы сражаться на фронте с союзниками, которые хотят нас освободить. Разве никакой пользы не приносит борьба прямо здесь за то, чтобы распылить силы немцев? Неужто больше пользы от того, что мы будем послушно выполнять все распоряжения эсэсовцев до того самого момента, когда они решат нас уничтожить?

Общее изумление покончило с обычными разговорами, и начинает ощущаться расхождение позиций. Дита застыла с расческой в руке, окаменев от удивления. Единственный голос, звучащий в бараке, – это голос Лизль Адлеровой.

– Как-то раз я слышала от молоденькой девушки, как она назвала нас «старыми курицами». Она была права. Мы целыми днями кудахчем, и больше ничего.

– А вот ты, такая разговорчивая, – резко взмывает вверх все тот же высокий голос, – почему ты сама не бежишь, если думаешь, что это так здорово? Говорить-то каждый может...

– Мне уже ни возраст не позволяет, ни силы. Да и храбрости мне не достанет. Я – старая курица. Поэтому я уважаю тех, кто может сделать то, на что я уже не способна.

Женщины вокруг нее даже не молчат, они просто онемели. В том числе и доброжелательная и словоохотливая пани Турновская, вечно первый голос в любом разговоре, молча и с любопытством глядит на свою подругу.

Дита кладет расческу на матрас и смотрит на мать так пристально, как будто разглядывает что-то под микроскопом с изумлением того, кто открыл что-то новое в человеке, который всегда был рядом с ним. Она-то думала, что ее мать живет обособленно в своем собственном мире, что после смерти отца она изолировала себя от всего того, что происходит вокруг.

– Мама, я уже целую вечность не слышала от тебя столько слов.

– Думаешь, что я наговорила чего-то лишнего?

– Нет, ни одной лишней запятой.

В нескольких сотнях метрах от них, напротив, царит тишина. И тьма: если бы кто-то из двух беглецов поднял руку, то невозможно было бы рассмотреть даже пальцы на уровне глаз. В этой дощатой камере, в которой им предстоит либо сидеть, либо лежать, время движется с ужасающей медлительностью, и их начинает слегка мутить от спертого воздуха, отдающего запахом бензина. Один бывалый человек посоветовал им смочить табак керосином, чтобы сбить со следа собак.

Рядом с собой Руди слышит беспокойное дыхание Фреда Ветцлера. У них предостаточно времени, чтобы миллионы раз обдумать одно и то же, вертя так и эдак, с самых разных сторон. Невозможно не думать о том, что это безумие: оставить такое выгодное место в лагере, на котором он спокойно мог бы дожидаться окончания войны, всячески вертяться и выкручиваясь, как это было до сих пор. Но им овладела жажда бежать, и остановить ее он уже не смог. Он никак не может выбросить из головы ни последний взгляд Алисы Мунк, ни посиневшее лицо Хирша. После того как ты оказался рядом с кем-то столь несокрушимым, как Фредди Хирш, а потом увидел, как он сломался, ты уже не способен думать о неуязвимости.

А что можно сказать о смерти Алисы? Как примириться с тем, что ее красота и юность оказались смяты катком ненависти? Для нацистов нет никаких барьеров. Их решимость покончить с каждым евреем в любом уголке планеты – методична и беспрецедентна. Нет, они должны бежать. Но этого недостаточно. Также они должны рассказать правду всему миру, этому пребывающему в летаргическом сне Западу, который полагает, что линия фронта проходит в России или во Франции, в то время как настоящая бойня происходит в самом центре Польши, в этих лагерях, названных концентрационными, хотя единственное, что там концентрируется, – это преступления, самые противозаконные и подлые действия за всю историю человечества.

В результате, несмотря на тоску, которую только усиливает холод этой полярной ночи, он приходит к выводу, что находится сейчас в том самом месте, в котором и должен находиться.

Время идет, хотя узкая щелочка, оставленная над головой, чтобы дать доступ воздуху, не позволяет распознать, ночь на улице или день. Им, погруженным в абсолютную тьму, предстоит провести здесь трое суток. Но несмотря ни на что, расслышав обычные дневные шумы, доносящиеся снаружи, они понимают, что наступило утро.

Беглецам совсем не легко даются долгие часы ожидания в тесном пространстве. Время от времени они засыпают, но, просыпаясь, испытывают нервный срыв, потому что глаза открываются – а мир, поглощенный чернотой, исчез, пока через пару секунд они не вспоминают, что сидят в бункере, и немного успокаиваются, правда, наполовину, потому что сидят-то они всего в нескольких метрах от караульных вышек. Голова сильно кружится. Страх – растение ночное, особенно хорошо разрастающееся в темноте.

Они договорились не болтать, потому что не уверены в том, что кто-то не будет бродить поблизости и не услышит их. Не уверены они и в том, что та тонкая щелочка, которую они оставили между досок у себя над головой, достаточна, чтобы им не задохнуться. Но при всем

при этом наступает такой момент, когда один из них не выдерживает и шепотом задает вопрос: что будет, если завтра сверху наложат еще досок и они уже не смогут их сдвинуть? Оба хорошо знают ответ: их укрытие превратится в запечатанный гроб, в котором они неизбежно умрут от удушья, от голода и жажды, умрут в долгой-долгой агонии. В этом бесконечном и тягостном ожидании совершенно необходимо не ошибиться, необходимо договориться, кто из них двоих, в том случае, если они окажутся в ловушке, погибнет первым.

Они слышат лай собак, их злейших врагов, которые, к счастью, довольно далеко. Но слышат они и другой звук, постепенно приближающийся: шаги и голоса, и они всё ближе и ближе, пока не становятся пугающе отчетливыми.

Сапоги охранников ударяют в землю. Беглецы даже дышать перестали. Впрочем, дышать бы они не смогли, даже если бы захотели, потому что страх парализует легкие. Вокруг себя они слышат грохот сдвигаемых досок. Какие-то эсэсовцы перекладывают лесоматериалы в непосредственной близости от их укрытия. Плохо дело. Они так близко, что улавливают обрывки разговоров и злобные реплики солдат, которым аннулировали все увольнительные ввиду возникшей необходимости мерить и мерить шагами периметр лагеря. В их словах сквозит лютая ненависть к беглецам. Они говорят, что когда их поймают, то, если уж Шварцгубер их не казнит, они сами раскроют им череп. И слова эти доходят до них так четко, что у Руди холодеют руки и ноги, как будто он уже стал покойником. Жизнь его зависит теперь исключительно от толщины доски, которая прикрывает их сверху. От верной смерти их отделяют какие-то четыре-пять сантиметров.

Стук сапог и перекладывание досок теперь уже совсем рядом с их укрытием, и это означает конец всего. Наваливается такая тоска, что единственное, чего теперь хочет Руди, это чтобы открыли крышу их убежища, заглянули внутрь, и все закончилось бы как можно скорее. И думает о том, что предпочел бы, чтобы их пристрелили на месте: было бы неплохо, если бы гнев охранников избавил их от унижения и страданий публичного повешения. Мгновение назад Руди мечтал о свободе; теперь же единственное, чего он желает, – так это быстрой смерти. Сердце его с такой силой колотится в груди, что тело начинает дрожать.

Сапоги грохочут, доски смещаются со скрежетом могильной плиты. Сознание Руди начинает угасать, и даже его неподвижно-каменная поза расслабляется; теперь уже ничего не поделаешь. Много дней, предшествующих побегу, его не отпускала мысль об ужасе момента его поимки, того момента, когда мечта о свободе рассыплется дождем осколков, как разбитое зеркало, и тебя охватит неконтролируемая паника от осознания того, что ты умрешь. Но он отдает себе отчет в том, что нет, что главный-то ужас этому моменту предшествует. Когда нацист направит на тебя свой «люгер» и отдаст команду «Руки вверх!», то, что ты почувствуешь, – это холодное спокойствие, непротивление, потому что в тот момент ничего нельзя будет изменить, все самое страшное уже случилось. Он слышит скрежет сдвигаемых балок и инстинктивно поднимает руки. И зажмуривается, чтобы предотвратить резь в глазах, по которым неизбежно больно ударит свет после трех дней пребывания в полной темноте.

Но свет не приходит. Ему кажется, что топот шагов несколько утихает и удары дерева о дерево становятся глуше. Это не сон... Прислушавшись, он понимает, что разговоры и шум стихают. С каждой секундой, которая кажется целым часом, собаки-ищейки тоже удаляются от их убежища. Наконец возвращается тишина, в которой слышно только далекое тарахтенье грузовика или одиночный свисток на приличном расстоянии. Кроме этих звуков, то единственное, что различает его слух, – сумасшедшее биение сердца: то ли его собственного, то ли Фреда, то ли их обоих, вместе страдающих тахикардией.

Они спасены... пока что.

Чтобы отпраздновать это, Руди позволяет себе роскошь сделать глубокий вдох и немного изменить позу. Теперь уже Фред Ветцлер, ища его, протягивает к нему свою потную руку, и Руди берет ее. Оба дрожат.

Спустя много-много минут, когда опасность миновала, Руди шепчет на ухо товарищу: «Сегодня ночью мы уйдем, Фред, уйдем навсегда».

Это та правда, которая не требует ответной реплики: они уйдут навсегда. После того как этой ночью они сдвинут доску над головой и доберутся под защитой темноты до леса, что бы ни произошло дальше, они уже никогда не будут узниками Аушвица. Они или станут свободными, или погибнут.

24

Пока Биркенау беспокойно избывает свой пронизанный электричеством сон, за оградой лагеря приподнимается одна из досок. Медленно, словно открывается половинка шахматной доски, под которой хранятся фигуры. Снизу ее толкают четыре руки, пока ночной холод не врывается волнами в тесное убежище. Осторожно высовываются две головы. Вдыхают, пробуют на вкус свежий воздух. Истинное наслаждение.

Руди внимательно озирается. Видит, что охранников поблизости нет, и оба они – под защитой ночи. Ближайшая караульная вышка метрах в сорока-пятидесяти, но охранник на ней – из тех, что отслеживают внутреннюю территорию лагеря, поэтому то, что происходит за периметром, посреди складированных для расширения Аушвица стройматериалов, его не интересует, так что две пригнувшиеся к земле фигуры проскальзывают, никем не замеченные, к кромке леса.

Добраться до деревьев и наполнить легкие их влажным ароматом – такое новое ощущение, что беглецы чувствуют, будто родились во второй раз. Однако эйфория от первого глотка свободы длится недолго. Лес, такой прекрасный и гостеприимный издавна, ночью оказывается не самым приятным для человека местом. Совсем скоро они понимают, что идти через него почти вслепую – работа не из легких. Земля под ногами полна разного рода неожиданностей, кусты царапаются, ветви деревьев хлещут по лицу, листва обрушивает на тебя воду. Они стремятся идти, насколько получается, по прямой и оставить между собой и лагерем максимально возможное расстояние.

Их план предполагает добраться до словацкой границы в районе горной цепи Бескиды, то есть преодолеть 120 километров. Двигаться исключительно ночью, а днем отсыпаться. И молиться. Им известно, что ждать помощи от польского населения не приходится, потому что крестьян, которые дают приют беглецам, немцы расстреливают.

И вот они шагают в темноте, спотыкаются, падают, встают на ноги и снова идут. Примерно через два часа медленного движения без точно известного им направления лес светлеет, деревья расступаются, и беглецы оказываются среди невысоких кустарников. Мало того, в нескольких сотнях метрах светятся огни какого-то дома. В конце концов они выходят на проселочную дорогу, обочины которой можно разглядеть в слабом свете луны, пробивающемся сквозь облака. Идти по дороге – более рискованно, но они думают, что раз уж это не асфальтированное шоссе, то она наверняка используется очень редко, а поскольку покрывать расстояние, пробираясь по лесу, получается плохо, они решают идти по дороге, прижавшись к кювету и внимательно прислушиваясь к каждому шороху. Пролетающие совы добавляют ночи нервозности, а порывы ветра так холодны, что дух захватывает. Когда вблизи от дороги показывается какой-нибудь дом, они ее покидают и на безопасном расстоянии обходят строение по полям. Один раз при их приближении переполошились и взбалмошно залаяли собаки, так что оба беглеца прибавили шаг, стремясь оказаться от этих бестий как можно дальше и как можно скорее.

Когда небо начинает синеть, беглецы, шепотом посоветовавшись, решают зайти как можно дальше в глубь леса и найти там большое дерево, забраться на него и провести день, спрятавшись в его кроне. После того как небо посветлело, они уже могут хорошо различать контуры предметов и двигаться быстрее. Еще через полчаса уже можно видеть лица. Они смотрят друг на друга и не узнают. Три дня каждый из них не смотрелся в зеркало, и теперь выясняется, что оба обросли обильной щетиной. А еще на лицах – новое выражение: некая смесь тревоги и удовольствия от того, что они уже не в лагере. На самом деле они не узнают друг друга, потому что стали другими: теперь они – свободные люди. Оба улыбаются.

Беглецы влезают на дерево и пытаются поудобнее устроиться на ветках, однако найти устойчивое положение не так-то просто. Достают из заплечных мешков горбушки хлеба, по твердости напоминающие древесину, и запивают эти корки последними глотками воды из маленькой фляжки. И с нетерпением ожидают появления из-за горизонта макушки солнечного диска. По солнцу Фред мгновенно получает возможность сориентироваться: поднимает указательный палец и наводит его на вздымающиеся вдали холмы.

– К словацкой границе мы идем в правильном направлении, Руди.

Будь что будет, но теперь уже никто не лишит их этих мгновений свободы, когда они, сидя на суке, жуют черствую корку хлеба, а вокруг нет ни фрицев с оружием, ни завывающих сирен, ни приказов. Нелегко занять в достаточной степени равновесное – чтобы не свалиться вниз, и удобное – чтобы не впивался в тело какой-нибудь сук – положение, но оба они так устали, что впадают в некое дремотное состояние, которое хоть как-то помогает восстановить силы.

Через какое-то время слышатся голоса и торопливые шаги, под которыми шуршит палая листва. Встревоженные, открывают они глаза и видят в нескольких метрах от своего дерева ватагу мальчишек со свастикой на матерчатых повязках на рукавах, распеваящих немецкие песни. Беглецы с тревогой переглядываются: отряд гитлерюгенда, который отправился в поход. Им не везет: молодой инструктор-вожатый, командующий двумя десятками мальчишек, решает остановиться на привал позавтракать бутербродами не где-нибудь, а на лесной полянке, что всего в нескольких метрах от их дерева. Оба беглеца замирают – недвижные, словно еще два сука на дереве, не шевеля ни одним мускулом. Пацаны хохочут, кричат, дерутся, поют... Со своей высоты беглецы хорошо видят их форму защитного цвета и шорты, их бьющую через край энергию и как время от времени кто-то из мальчишек приближается к дереву на опасно близкое для них расстояние в поисках ягод, которые используются ими как снаряды – бросаться друг в друга. Время привала заканчивается, инструктор дает команду продолжить движение. Взбалмошный отряд уходит, и в кроне дерева слышатся вздохи облегчения, а также хруст пальцев: руки сжимаются и разжимаются, чтобы восстановить кровоток после вынужденной неподвижности.

В оставшиеся светлые часы им удастся еще немного подремать. Оба с нетерпением считают минуты до наступления темноты. И используют последние лучи заходящего солнца, чтобы выйти на дорогу и, глядя на закат, в точности определить, где запад.

Вторая ночь оказалась гораздо более изматывающей, чем первая. Им приходится несколько раз останавливаться, чтобы отдохнуть, – такими измотанными они себя чувствуют. Возбуждение от побега, давшее им силы прошлой ночью, постепенно сходит на нет. Несмотря ни на что, они идут и идут, и на исходе ночи, перед рассветом, силы их окончательно покидают. Дорога изобиловала всякими ответвлениями, направление выбиралось наугад, так что на самом деле они не знают, где находятся.

Настоящий лес остался позади, и беглецы оказались в гораздо менее лесистой местности. Теперь вокруг них – разрозненные группы деревьев, возделываемые поля и заросли кустарника. По всему видно, что это населенный район, но они слишком измотаны, чтобы осторожничать. Солнце еще не взошло, темно, но по одну сторону дороги они различают полянку, окруженную зарослями кустов. И беглецы идут туда, сорвав по дороге несколько густых веток, и сооружают из них что-то вроде шалашика, чтобы забраться внутрь и немного поспать. Если место окажется безлюдным, то они вполне смогут провести там весь день. Забираются в построенное укрытие и закрывают вход щедро поросшими листвой ветками. Рассветы на польской земле студены, так что оба сворачиваются калачиком и обнимают друг друга, пытаясь согреться и уснуть.

И засыпают так крепко, что, когда их будят чужие голоса, солнце уже высоко. Обоих, как вонзенный в желудок острый нож, пронзает паника. Их укрытие оказывается совсем не таким надежным, как им казалось: ветви, которыми они прикрыли вход, разошлись, и то, что

теперь можно увидеть сквозь щели, приводит их в ступор. Для ночевки они выбрали вовсе не лесную полянку, как им думалось. Под покровом ночи, сами того не подозревая, они вышли к какому-то городку, и теперь выяснилось, что спят они не где-нибудь, а в городском парке. И всего в нескольких метрах от того, что виделось им скромной опушкой, располагаются садовые скамейки и качели.

Оба, окаменев, искоса смотрят друг на друга, не решаясь пошевелиться, потому что поблизости слышны торопливые шаги. При подготовке к побегу они тщательно обдумывали, как обойти патрули эсэсовцев, избежать проверок на дорогах и собак-ищеек, но выяснилось, что их самый худший кошмар – дети.

И еще до того, как беглецы успевают затрястись от страха, перед входом в их убежище уже стоят белокурые мальчик и девочка, с любопытством таращась на них голубыми глазами. А в нескольких шагах позади них появляются высокие черные сапоги. Дети разворачиваются и бегут назад, громко крича по-немецки:

– Папа, папа, иди сюда! Здесь какие-то странные люди!

Фуражка обершарфюрера СС склоняется, и немец внимательно смотрит на друзей-беглецов: парализованные от ужаса, они лежат, поджав ноги, обнявшись, совершенно беззащитные. Голова обершарфюрера, просунувшись сквозь ветки, кажется непропорционально огромной, как у чудовища. Череп на околыше фуражки смотрит прямо на них, словно узнавая. В этот миг перед внутренним взором беглецов проходит вся их жизнь. Они бы, может, и хотели что-то сказать, но страх сковал им горло точно так же, как и обездвижил тело. Нацист-сержант внимательно их разглядывает, и злобная ухмылка расцветает на его губах. Теперь в поле их зрения попадают женские туфли на каблуках, они приближаются. Им не удастся расслышать, что ей шепчет муж. Единственное, что они слышат, так это громкий негодующий ответ возмущенной фрау:

– Ну вот, приехали: уж нельзя и детей вывести погулять в городской парк, чтобы не наткнуться на двух мужиков-любowników в кустах! Позорище какое!

В сильнейшем негодовании женщина решительно уходит, и сержант, с лица которого не сходит гадкая улыбочка, забирает детей и идет вслед за ней.

Руди и Фред, все еще лежа на земле, переглядываются. Они даже не заметили, что обнимают друг друга, – поза все та же, в которой они заснули перед рассветом. И теперь еще сильнее стискивают друг друга в объятиях, благодаря высшие силы за то, что их языки так вовремя отнялись от страха. Любое произнесенное ими слово, все равно какое, тотчас выдавало бы в них иностранцев. Аккурат тот случай, когда молчание – золото.

Руди Розенберг и Фред Ветцлер полагают, что они уже не так далеко от границы со Словакией, но в то же время понятия не имеют, какую дорогу выбрать, чтобы дойти до горной цепи Бескиды. Это их вторая проблема. Первая заключается в том, что они не невидимки. За поворотом тропинки они практически лицом к лицу натываются на женщину. Местность вокруг открытая – поля, да и густонаселенная: им не могут не встречаться люди, как вот эта польская крестьянка с морщинистым лицом, которая смотрит на них с явной опаской.

И тут они решают, что иного выхода нет, им ничего другого не остается, как рискнуть: рано или поздно им все равно придется вступить с кем-то в контакт, к тому же им нужна помощь. Они ничего не ели уже больше суток, несколько дней почти не спали и не имеют понятия, приведет ли эта дорога в Словакию. Беглецы обмениваются взглядом и мгновенно принимают взаимное решение рассказать правду о себе женщине, которая смотрит на них с недоверием: на корявом польском, перемежая польские слова чешскими, жестикулируя и даже перебивая друг друга в стремлении быть более понятными, они сообщают ей, что им удалось сбежать из Аушвица, что люди они мирные и единственное, чего хотят, так это узнать, как добраться до словацкой границы, чтобы вернуться домой.

Крестьянка остается совершенно невозмутимой и смотрит на них с тем же недоверием, что и раньше. А когда они пытаются приблизиться, даже отступает на шаг назад. Фред и Руди умолкают. Не говоря ни слова, женщина продолжает глядеть на них своими малюсенькими, словно горошинки перца, глазками. Они измотаны, голодны, сбились с пути. Наконец просто боятся. Жестами они умоляют ее о помощи, а она опускает глаза вниз. Мужчины переглядываются, и Фред поводит подбородком, призывая друга убраться отсюда побыстрее – до того как эта женщина начнет взывать о помощи и выдаст их с головой. Но они опасаются того, что, если они повернутся спиной и потеряют зрительный контакт с ней, то она тут же и завопит.

Она не дает им времени отступить. Поднимает глаза, делает шаг вперед, словно внезапно решившись на что-то, и хватается Руди за рукав свитера. Они понимают, что женщина хочет рассмотреть их с более близкого расстояния, изучив во всех подробностях, словно при покупке жеребца или теленка. Она хочет узнать, что это за люди: многодневной щетины на лицах и перепачканной одежды недостаточно, чтобы она смогла им поверить. Но она видит их глаза, ввалившиеся на худых, как у черепа, лицах, видит опухшие из-за недосыпа веки, замечает, как почти отовсюду выступают острые кости, выпирая из-под кожи. После этого осмотра она наконец кивает. И делает жест, показывая, что им следует оставаться здесь, а потом так же жестами поясняет, что принесет им поесть, и им даже кажется, что кое-что из ее польской речи они поняли: человек и граница. Отойдя на несколько шагов, женщина оборачивается и еще раз говорит, чтобы они ждали здесь и никуда не уходили.

Руди шепчет, что она вполне может отправиться напрямик к германским властям и заложить их и что дожидаться здесь они смогут не незнамо чего, а эсэсовского патруля. Фред отвечает, что они, конечно, могут сейчас скрыться, но в том случае, если в районе будет объявлена тревога в связи с побегом заключенных из Аушвица, он весь окажется оцеплен и его прочешут таким частым гребнем, что не попасться в руки эсэсовцев им будет очень непросто.

И они решают ждать. Переходят на другую сторону деревянного мостика, перекинутого через небольшую речушку, из которой они сегодня утром пили воду, то есть занимают такую позицию, которая позволит, если появятся эсэсовцы, заметить их издали и успеть убежать в лес, выиграв как минимум хотя бы минуту времени. Проходит больше часа, но старая крестьянка с глазами-бусинками не появляется. А желудки их требуют чего-нибудь более существенного, чем воздух.

– Разумнее было бы снова уйти в лес, – бормочет Руди.

Фред согласно кивает, но ни один из них не делает ни шага. Идти они больше не могут – все силы исчерпаны. Не осталось больше пороха в пороховницах.

Через два часа они уже никого не ждут и укладываются один подле другого, чтобы немного согреться. И даже засыпают. Их покой взрывается, как только послышались чьи-то торопливые шаги. Кому бы эти шаги ни принадлежали, они не делают ни малейшей попытки бежать. Всего лишь открывают глаза и видят, что к ним идет двенадцатилетний пацан, одетый в длинные штаны, подпоясанные веревкой, и сшитую из брезента курточку, а в руках у него что-то есть. Догадываются, что его, по-видимому, послала к ним бабка. Откинув крышку маленького деревянного сундучка, принесенного мальчиком, они видят пышущие горячим паром вареные картофелины, уложенные поверх двух кусков жареной телятины. Содержимое этого сундучка они не променяли бы и на двадцать огромных сундуков, доверху набитых золотом.

Прежде чем мальчишка уходит, они пытаются расспросить его о словацкой границе. Парень говорит им, что нужно подождать. Так что они остаются на месте, несколько более успокоенные, умиротворенные идущим от сердца поступком – принесенной едой, которую они весело проглотили и теперь ощущают прилив сил. Почти сразу стало темнеть и похолодало. И вот они решают встать и начать ходить по кругу, чтобы размять затекшие ноги и немного согреться.

Наконец вновь раздается звук шагов. На этот раз шаги более осторожные, крадущиеся в темноте. Слабый свет луны позволяет им разглядеть человека, когда он уже чуть ли не наступит им на ноги. Одет он в крестьянскую одежду, но держит в руке пистолет. Оружие – синоним плохих новостей. Мужчина останавливается прямо перед ними и зажигает спичку, которая освещает лица всех троих. На его лице выделяются русые и жесткие, как щетка для обуви, усы. Он опускает руку с пистолетом и протягивает им другую для рукопожатия.

– Сопротивление.

Больше он ничего не говорит, но этого достаточно. Руди и Фред подпрыгивают от радости, пускаются в пляс и бросаются друг другу в объятия с таким пылом, что не могут устоять на ногах и падают на землю. Поляк глядит на них в крайнем изумлении. Ему приходит в голову мысль: не пьяны ли они? А они всего лишь опьянены свободой.

Партизан говорит, что его зовут Станис, хотя они и подозревают, что имя это не настоящее. Он говорит по-чешски и может сказать им, что недоверие встретившейся им женщины объяснялось тем, что она засомневалась, не являются ли они переодетыми агентами гестапо, которые отслеживают поляков, сотрудничающих с партизанами. Еще он говорит, что они совсем близко от границы и что нужно опасаться немецких солдат, но расписание прохода патрулей ему известно: оно соблюдается так точно, что каждую ночь в одну и ту же минуту патруль проходит по одному и тому же месту, так что избежать нежелательной встречи большого труда не составляет.

Партизан велит им следовать за ним. Очень долго они идут молча, в темноте, по заросшим тропам, пока не доходят до сложенной из камня хижины с провалившейся соломенной крышей. Деревянная дверь, стоит лишь ее толкнуть, легко открывается. Внутри хижины обнаруживается, что бурная растительность и плесень полностью завладели прямоугольным помещением. Поляк наклоняется и зажигает спичку, откидывает с пола пару полусгнивших досок и нащупывает металлическое кольцо. Тянет за него – открывается люк. Потом он достает из кармана свечку и зажигает. В неровном свете свечи все трое спускаются по лестнице в сенной сарай, устроенный под хижинной. Внизу есть тюфяки, одеяла и кое-какая провизия. Втроем готовят себе ужин – греют на газовой горелке консервированный суп. Поев, в первый раз за много дней, Фред и Руди спокойно засыпают.

Поляк оказался человеком немногословным, но действующим с поразительной эффективностью. В путь они пускаются рано утром, и их проводник так точно ориентируется на местности, как будто он – обитающий здесь дикий кабан. После долгого перехода по лесу, практически без единой остановки, путники устраиваются на ночлег в пещере. На следующий день привалов не будет. Они поднимаются в горы и спускаются с них, избегая патрулей, как будто пропуская идущие по расписанию поезда, ища себе укрытие на заросших лесом склонах, где можно переждать, пока опасность не удалится на безопасное расстояние и не представится возможность снова отправиться в путь. Наступившим утром они наконец оказываются на словацкой территории.

– Ну вот, вы свободны, – говорит им на прощание поляк.

– Нет, – отвечает ему Руди, – пока еще нет. У нас еще есть кое-какой должок. Мир должен узнать о том, что происходит на самом деле.

Поляк кивает, и его усы подпрыгивают то вверх, то вниз.

– Спасибо, огромное спасибо, – говорят они ему. – Вы спасли нам жизнь.

Станис только пожимает плечами – ему нечего сказать в ответ.

Вторая часть их путешествия будет состоять в попытках донести до мира правду о том, что происходит внутри Рейха, донести то, чего Европа не знает или не хочет знать: что речь идет о чем-то большем, чем военный спор о границах; что уничтожается целая нация.

25 апреля 1944 года Рудольф Розенберг и Альфред Ветцлер предстали перед главным рупором словацких евреев, доктором Оскаром Нойманом, в штаб-квартире Еврейского совета

города Жилина. Занимаемая Руди должность регистратора позволила ему составить доклад, наполненный вызывающими оторопь цифрами: он оценивает количество уничтоженных в Аушвице евреев в 1,76 миллиона человек. Именно в этом докладе в первый раз был описан механизм массированного, поставленного на поток умерщвления людей и использования их рабского труда, присвоения их имущества, использования человеческих волос для производства тканей и переплавления вырванных золотых и серебряных зубных коронок в слитки, отправляемые в финансовые учреждения Рейха.

Руди говорил о том, как рядами отправляли беременных женщин с малыми детьми, цепляющимися за их юбки, в душевые, где из леек вместо воды струился ядовитый газ, говорил о цементных карцерах размером с ящик, в которых помещенный внутрь человек не мог даже сесть, о бесконечно длинных рабочих днях, когда узники, одетые в летние блузы, трудились в том числе и в снегу по колено, и о ежедневном ковшике водянистого супа – практически дневном рационе. Он говорил и говорил и временами не мог сдержать слез, но не переставал говорить, одержимый лихорадочным желанием прокричать на весь оглохший от бомбардировок мир, что есть еще и другая война – еще более грязная и жуткая, что она ведется за закрытыми дверями и что ее нужно любой ценой остановить.

Когда Руди закончил свой доклад, он чувствовал себя выжатым как лимон, но удовлетворенным, в первый раз за многие годы в мире с самим собой. Его доклад немедленно отправили в Венгрию. Немцы оккупировали эту страну и формировали там первый транспорт евреев для отправки в лагерь, о которых весь мир думал, что они – лагерь концентрации, или сбора, понятия не имея о том, что в действительности это фабрики смерти.

Но война не только разрушает тела, пронзая их пулями и осколками бомб, она еще и лишает людей разума и убивает души. Предупреждения Руди Еврейским советом Венгрии были получены, но никто не принял их во внимание. Руководители венгерского еврейства предпочли поверить неким обещаниям нацистов и продолжили организовывать транспорты, увозящие евреев в Польшу, что и привело к увеличению количества поездов с евреями, прибывающих в Аушвиц. После всей пережитой боли и страданий, после триумфа свободы Руди вынужден был ощутить горечь разочарования. Его доклад не спас жизнь венгерским евреям, которых они с Фредом надеялись спасти. Война – это вышедшая из берегов река: вернуть ее в русло, преодолеть половодье очень трудно, если все, чем ты располагаешь, – всего лишь небольшая преграда, которую она сметает на своем пути.

Руди Розенберга и Фреда Ветцлера эвакуировали в Великобританию, где они также представили свой доклад. На Британских островах к ним действительно прислушались, хотя оттуда мало что было можно предпринять. Разве что с еще большей решимостью бороться за прекращение безумия, захлестнувшего Европу.

25

15 мая 1944 года в семейный лагерь прибыл новый транспорт из Терезина, в составе которого было 2503 депортированных. На следующий день пришел еще один, и тоже с 2500. А 18 числа прибыл третий транспорт. Общая численность прибывших составила 7503 человека, из которых почти половина приходилась на немецких евреев (3125), еще 2543 были чешскими, 1276 – австрийскими и 559 – голландскими.

В первое утро царила неразбериха. Крики, свистки, кавардак. Дита и ее мама не только были вынуждены занять вдвоем одну койку, но к ним подселили еще и третьего человека – до смерти перепуганную женщину из Голландии, которая за два дня даже приветствия выдать из себя не смогла. Ночами она постоянно дрожит.

Поутру Дита убегает в 31-й блок, потому что Лихтенштерн со своей командой преподавателей с ног сбились, пытаясь реорганизовать барак-школу. Ситуация вышла из-под контроля еще и потому, что, помимо всего прочего, теперь они имеют дело с детьми, говорящими по-чешски, по-немецки и по-голландски, которые друг друга не понимают. Дита получила распоряжения Лихтенштерна и Мириам Эдельштейн приостановить на время библиотечное обслуживание, пока не будут сформированы новые группы и ситуация хоть немного не прояснится. С майским транспортом прибыло около трех сотен детей, так что теперь нужно создавать новые школьные классы.

Малыши нервничают, вспыхивают перебранки, толкотня, ссоры, драки, то там, то здесь раздается плач, и все это, кажется, идет только по нарастающей. Дети не могут усидеть на месте, их беспокоят укусы клопов, блох, вшей и всяких клещей, живущих во влажной соломе, которой набиты лагерные матрасы. С приходом теплой погоды в рост пошли не только цветы, но и расплодилось всяческая живность.

Мириам принимает кардинальное решение: использовать последние запасы угля, сберегаемые на некий непредвиденный случай, чтобы нагреть несколько ведер воды и постирать ребятишкам нижнее белье. В результате образуется настоящий бедлам, времени, чтобы полностью высушить выстиранное белье, не хватает, и дети вынуждены натягивать на себя влажное, но по крайней мере большинство насекомых удалось утопить, и в последующие часы все понемногу успокаиваются.

Когда взрослые, которых отправили на работу в блок 31, добрались до длинного ряда бараков, стоящих вдоль слякотной улицы, они решили, что попали в настоящую трясину. Но, обнаружив тот факт, что здесь работает подпольная школа, в немалой степени изумились. Изумились и обрели надежду.

Лихтенштерн собрал всех под конец рабочего дня, когда классы были уже практически созданы и школьная жизнь вошла в свое обычное русло. И представил собравшимся юную девушку с ногами, как у балерины, облаченными в шерстяные чулки и обутыми в деревянные сабо, на которых она нервно покачивается. На первый взгляд она маленькая, даже, пожалуй, хрупкая, но если приглядеться к ней повнимательнее, то можно заметить, что в ее глазах горит огонь. Кажется, что движется она робко, но в то же время глядит с вызовом. Им было сказано, что эта юная особа – библиотекарьша блока.

Некоторые стали переспрашивать, не поверив собственным ушам: неужто здесь есть библиотека? Но ведь книги под запретом! Новички не могут понять, каким образом связанный с таким большим риском и деликатный вопрос может находиться в руках малолетки. Тогда Мириам обращается к ней с просьбой встать на табурет и сказать людям несколько слов.

– Добрый день. Меня зовут Дита Адлерова. В нашей библиотеке имеется восемь бумажных книг и полдюжины живых.

Степень изумления на лицах вновь прибывших такова, что даже Дита, начавшая говорить очень серьезно, стараясь в полной мере соответствовать ответственному поручению – выступить с речью перед столькими взрослыми, не может удержаться от улыбки.

– Не волнуйтесь. Мы не сошли с ума. Книги, конечно же, не могут быть живыми. Но вот люди, которые рассказывают ученикам истории, действительно живые. Вы можете заказать их услуги для послеобеденных занятий.

Дита говорит по-чешски и по-немецки, на обоих языках – совершенно свободно и спокойно. На ее фоне только что назначенные для работы с детьми педагоги выглядят иначе, они все еще не могут прийти в себя от шокирующего противоречия: перед ними ведутся разговоры о нормальном функционировании школы в самом далеком от нормальности месте земного шара. Свою речь Дита заканчивает поклоном – несколько преувеличенным, какие были свойственны профессору Моргенштерну, и едва сдерживается от смеха, думая о том, как она выглядит в сугубо формальной роли. Еще больше ее смешат выражения на некоторых лицах: люди, открыв рот, смотрят, как она пробирается сквозь толпу, чтобы занять свое скромное место в задних рядах.

– Это библиотечка 31-го, – сопровождает ее шепот.

После обеда барак наводняют такие беготня и галдеж, что почитать в укромном месте не получается. Дита идет в свой закуток за поленницей, но обнаруживает там не менее полуджины ребятишек, отлавливающих муравьев.

«Бедные муравьи», – думает она. Муравьям в Аушвице и так приходится несладко – поди найди здесь хоть крошку для пропитания.

Поэтому она прячет под одеждой «Очерки истории цивилизации» и идет в уборную, где садится за большие контейнеры, стоящие в дальнем углу. Верно, что здесь темновато, да и пахнет отвратно. Настолько, что охранники войск СС чрезвычайно редко просовывают в дверной проем этого помещения свои фуражки. А вот что Дите пока не известно, так это то, что именно по этой причине уборная является излюбленным местом для всех менял и торговцев лагерного черного рынка.

Почти настал час полуденного супа, а с ним время торговых операций. Один поляк, который работает ремонтником на территории всего концлагеря, нагибается и лезет под раковину, как бы намереваясь починить водопроводную трубу. Этот человек – один из самых активных торговцев на черном рынке, у которого можно раздобыть табак, расческу, зеркальце, пару кожаных ботинок... Санта-Клаус с внешностью рецидивиста, у которого можно попросить любую вещь – получить при одном условии, – если у тебя есть что предложить ему взамен. До Диты доносятся эхом разносящиеся в огромном помещении голоса, и она старается переворачивать страницы еще тише. Она слышит чужой разговор и ничего не может с этим поделать. Один из голосов принадлежит женщине.

Дита не может ее видеть, но Богумила Влава отличается острым и вздернутым вверх носом, придающим ее облику горделивый и высокомерный вид. Веки ее – набухшие, белые, даже немного лиловые – делают ее взгляд грязным.

– У меня есть клиент. Понадобится одна – на послезавтра, на вечер, перед проверкой.

– Тетушка Богумила сможет все устроить, но *капо* в нашем бараке слишком тревожная, и нам придется отстегнуть ей еще немного.

– Не жадничай, Богумила.

Тут тон серьезно повышается:

– Да я ж не для себя прошу, дурень! Я тебе о *капо* толкую. Если она не закроет на все глаза и не пустит в свою комнату, то останетесь вы без десерта, как пить дать.

Аркадиуш говорит несколько тише, но и его голос звучит с напрягом и как-то угрожающе.

– Цена была оговорена раньше – дневная пайка хлеба и десять сигарет. И ты не получишь ни крошки больше. А как вы этот хлеб делить будете – дело ваше.

Даже до Диты доносится глухое ворчанье женщины.

– Пятнадцать сигарет, и по рукам.

– Я же сказал, что так не пойдет.

– Треклятый польский сквалыга! Хорошо, я добавлю от себя еще две сигареты *капо*. Но если я лишусь доходов и не смогу больше покупать еду на черном рынке, то заболею. И кто тогда будет добывать для вас прекрасных еврейских девиц? Вот тогда вы еще наплачетесь без тетушки Богумилы, точно, и еще пожалеете, что были с ней такими прижимистыми.

Больше не слышно ни слова. В процессе обмена товаром обычно наступает момент тишины, как будто обеим сторонам торговой операции нужно особым образом сосредоточиться. Аркадиуш достает пять сигарет: Богумила всегда требует половину оговоренной платы вперед. Вторая часть оплаты – пайка хлеба – это то, что получит девушка при встрече с клиентом.

– Я должен видеть товар.

– Погоди.

Вновь на несколько минут воцаряется тишина, а потом опять слышится тот же гнусавый женский голос.

– Вот она.

Дита не может удержаться от соблазна – вытягивает шею и немного высовывается из своего укрытия, пользуясь потемками. Ей удастся разглядеть долговязую фигуру поляка, а рядом с ним – грузную Богумилу, по виду совершенно не страдающую от недоедания. Есть и еще одна женщина: тоненькая, со скромно сложенными на груди руками и опущенной головой.

Поляк поднимает ей юбку и ощупывает промежность. Потом отводит руки и ощупывает груди – методично, не торопясь, а она стоит не шелохнувшись.

– Не слишком-то она юная...

– Тем лучше, зато она знает, что нужно делать.

Многие из тех женщин, которых вовлекает в свой бизнес Богумила, – матери. Им нужна лишняя пайка хлеба, ведь они не могут видеть, как страдают от голода их дети.

Поляк кивает и уходит.

– Богумила, – боязливо шепчет молодая женщина, – ведь это грех.

Та смотрит на нее с выражением комичной серьезности на лице.

– Тебе не стоит по этому поводу беспокоиться, дорогуша. Таково божье предназначение: зарабатывать хлеб насущный в поте того, что у тебя между ног.

И заходится сально-плотоядным хохотом. Потом, все еще смеясь, выходит из уборной, а за ней, опустив голову и шаркая ногами, идет молодая женщина.

Рот Диты наполняется горькой слюной. Теперь она уже не сможет вернуться в свое тайное убежище – историю Великой французской революции, продолжив чтение. Она возвращается в свой барак, и мама, едва завидев ее, буквально на полуслове прерывает светскую беседу, не дослушав обращенную к ней фразу, и торопится обнять дочку. В этот момент Дита снова чувствует себя маленькой и уязвимой, и ей отчаянно хочется на всю жизнь остаться в объятиях мамы.

Россыпь поездов, прибывающих в концлагерь и набитых венгерскими евреями, – 147 транспортов, доставивших 435 тысяч человек, – добавляет в эти дни существенную порцию тревожности узникам лагеря. Возле ограды семейного лагеря постоянно толчется ребяня, увлеченно следя за разворачивающимся на перроне зрелищем с выгрузкой вновь прибывших: растерянные люди, на которых кричат, которых толкают, отбирают их вещи, бьют.

– *Das ist Auschwitz-Birkenau!*¹⁷

¹⁷ Это Аушвиц-Биркенау! (нем.)

Ошеломленные лица людей говорят о том, что это название для них – пустой звук. Многие из них так и не узнают, где им суждено умереть.

Дита не представляет, когда именно наступит время визита к ним международных наблюдателей и распахнется то самое окно, в которое можно будет прокричать правду, о которой говорили Хирш и Мириам. Не знает она и того, понадобится ли ее помощь, чтобы открыть эту правду. Стоит ей закрыть глаза, как перед ее внутренним взором возникает невозмутимый доктор Менгеле в белом халате, поджидающий ее возле мраморного секционного стола.

Однако, несмотря на весь этот тоскливый ужас, Дита никак не может выбросить из головы финал, постигший Хирша. Ей сказали, что он предпочел сложить оружие, сдаться, но, несмотря на всю очевидность этого объяснения, она не хочет ему верить. Ее не удовлетворило ни одно из выслушанных объяснений: ровно потому, что ни одно из них не совпало с тем, что ей хотелось бы услышать. Все говорят, что она упрямая. Это верно. Возможно, наступит момент, когда придется сдаться. Но пока что она к этому не готова и теперь направляется в барак номер 32, госпитальный барак, намереваясь использовать оставшийся у нее шанс. Ведь врачи – последние, кто видел Фреди Хирша еще живым, именно они слышали его предсмертные слова.

У входа в госпиталь стоит медсестра и складывает простыни с черными разводами, вызывающими отвращение.

– Мне бы хотелось увидеть врачей.

– Всех сразу, девочка?

– Кого-нибудь одного...

– Ты больна? А *капо* своего барака ты об этом сообщила?

– Да нет, мне не на прием нужно, я всего лишь хочу кое о чем их спросить.

– Спроси у меня. Я умею лечить все, что полагается здесь лечить.

– Мой вопрос связан с тем, что случилось с сентябрьским транспортом.

Медсестра каменеет и подозрительно смотрит на Диту.

– И о чем же ты хочешь спросить?

– Об одном человеке.

– Это твой родственник?

– Да, мой дядя. Думаю, что врачи из сентябрьского транспорта, пока они были в карантинной зоне, осматривали его перед смертью.

Медсестра не отводит от Диты пристального взгляда. В этот момент к ним подходит врач; на его белом халате тоже виднеются желтые пятна.

– Послушайте, доктор, эта девочка спрашивает о некоем человеке из сентябрьского транспорта, который, по ее словам, получил медицинскую помощь в карантинном лагере.

У доктора опухшие глаза и усталый вид. Но все же он пытается изобразить любезную улыбку.

– Так кого, по-твоему, мы осматривали в карантинном лагере?

– Его звали Хирш, Фреди Хирш.

Улыбка с его лица мгновенно исчезает, словно занавес упал. Внезапно прорывается враждебность.

– Да я уже тысячу раз говорил! Мы не могли ничего сделать, чтобы спасти ему жизнь!

– Но я всего лишь хотела...

– Мы же не боги! Он весь посинел, никто не смог бы ничего сделать! Мы сделали то, что предписывал нам долг.

Дита хочет задать ему вопрос по поводу того, что он только что сказал, но врач, сильно раздосадованный, разворачивается на сто восемьдесят градусов и, не попрощавшись, уходит, очевидным образом в сильном раздражении.

– Будь так добра, красавица, нам ведь работать нужно. – И медсестра недвусмысленно показывает ей на дверь.

Выходя из госпитального барака, Дита чувствует на себе чей-то взгляд. Это высокий худенький парень с журавлиными ногами, которого ей уже как-то раз приходилось видеть то ли входящим, то ли выходящим из госпиталя. По всей видимости, он работает посыльным. Дита идет прочь, сильно огорченная тем приемом, который ей был оказан, и решает увидаться с Маргит. Находит подругу на улице, за дальним концом их барака, где та вычесывает вшей из волос сестры. Дита усаживается на камень рядом с сестрами.

– Как у вас дела, девочки?

– С тех пор как пришел майский транспорт, вшей стало больше.

– Но ведь эти люди не виноваты, Хельга. Стало больше людей, а с ними – больше и всего остального, – стараясь успокоить сестру, говорит Маргит.

– Больше хаоса, больше неразберихи...

– Да, но мы, с божьей помощью, со всем справимся, – старается всем внушить бодрость Маргит.

– Но я больше не могу, я хочу уехать отсюда, хочу домой... – всхлипывает Хельга. Ее сестра уже не столько вычесывает гниды, сколько ласково гладит ее по головке.

– Скоро, Хельга, уже очень скоро.

В Аушвице каждый бредит о том, чтобы уехать, выйти отсюда и оставить это место навсегда. Нет других мечтаний, ни о чем другом, кроме как вернуться домой, не возносятся молитвы Всевышнему. И все же есть один человек, стрелки на часах которого движутся в обратном направлении. Этот человек возвращается в Аушвиц. Против всякой логики, вопреки сообщениям безопасности, вопреки здравому смыслу Виктор Пестек едет в поезде, направляющемся к станции Освенцим, в окрестностях которой создан самый большой за всю историю лагерь смерти.

25 мая 1944 года Виктор Пестек повторяет в обратном направлении тот путь, по которому он прошел шесть недель назад. Выйдя из ворот лагеря вместе с Ледерером, он, как и было задумано, сел на поезд на станции Освенцим. Чех, облаченный в форму лейтенанта СС, притворился спящим, как только они заняли свои места в вагоне, и ни один из патрулей, неоднократно прочесывавших поезд, не дерзнул даже попытаться побеспокоить офицера СС, мирно дремлющего по дороге в Краков.

Доехав до Кракова, они, даже не покидая здания вокзала, пересели на другой поезд, до Праги. Виктору вспоминаются нахлынувшие на него сомнения в тот момент, когда он выходил на перрон Главного вокзала – огромного столичного железнодорожного вокзала с металлическими перекрытиями высоченных потолков, кишящего людьми. Особенно памятен для него взгляд, которым они обменялись с Ледерером: настал момент покинуть относительно безопасное пространство купе и с головой нырнуть в людское море, в котором нет недостатка в разного рода соглядатаях. Указания к действию, сформулированные Пестеком, звучали предельно ясно: голову держать высоко, смотреть прямо перед собой, выражение лица – хмурое, и не останавливаться.

Внутреннее помещение вокзала было наводнено солдатами вермахта, которые косились на их черные эсэсовские формы со смешанным чувством уважения и недоверия. Гражданские же даже глаз не смели на них поднять. И никто не решался сказать им ни единого слова. Ледерер заранее предложил, чтобы они отправились в Пльзень, где у него есть друзья. Там они спрятали эсэсовскую форму и нашли убежище в укромной хижине на самой окраине города, густо поросшей лесом. Ледерер осторожно восстанавливал свои контакты, чтобы с их помощью раздобыть четыре комплекта фальшивых документов: для них двоих и еще для двух женщин. На это у них ушло несколько недель. А вот о чем они не догадывались, так это о том, что гестапо буквально наступают им на пятки.

В свое обратное путешествие в Аушвиц Пестек отправляется в гражданском, а аккуратно сложенную эсэсовскую форму, которую он наденет в последний раз, везет с собой в вещмешке.

Сидя возле окна в вагоне поезда, Виктор еще раз прокручивает в голове свой план, исполнение которого он воображал себе уже тысячи раз. До побега он вынес из офиса концлагеря и взял потом с собой бланк с печатью комендатуры в Катовице и создал на этом бланке разрешение на перемещение двух человек – Рене и ее матери. В городе Катовице располагается самая крупная тюрьма во всей округе, и из гестапо довольно часто приходили требования доставить туда узников для допроса. Назначался конвой, заключенных концлагеря доставляли в караульное помещение возле входных ворот, и машина из комендатуры Катовице их увозила. Многие больше не возвращались.

Вся процедура ему хорошо известна. Он знает все пароли и нужные формулы. По телефону он передаст запрос гестапо предоставить в его распоряжение двух узниц. И сообщит, что один сотрудник гестапо приедет за ними на машине в Аушвиц-Биркенау. Эту роль сыграет Ледерер, у него на руках будет удостоверение с печатью, которое он сам изготовил еще до побега. Его товарищ по побегу прекрасно говорит по-немецки. Так что он их заберет, потом подберет по дороге и его самого, а уж затем – свобода.

Ледерер приехал на день раньше – связаться с людьми из Сопротивления, которые снабдят его подходящей машиной. Она должна быть темной, незаметной. И, естественно, немецкой.

Единственное, по поводу чего он все еще сомневается, – как поведет себя Рене, когда они окажутся на свободе. Он ведь уже не будет эсэсовцем, а она – заключенной. Она будет свободна – полюбить его или же отвергнуть из-за его прошлого. Во время их свиданий она была такой молчаливой, что он очень мало о ней знает. Она для него – как чистая записная книжка. Но ему это не важно: у них впереди вся жизнь, еще хватит времени, чтобы заполнить ее страницы.

Поезд медленно подъезжает к вокзалу Освенцима. Вечер хмурый. Он уже успел позабыть грязный цвет неба над Аушвицем. Народу на перроне немного, но он замечает Ледерера, тот сидит на скамейке с газетой перед глазами. Он боялся, что в последний момент чех подведет, потому что то, о чем он его просит, ставит под угрозу его собственную жизнь. Однако Ледерер с самого начала сказал Виктору, что тот может на него рассчитывать, и вот он здесь. Теперь уже никакой осечки быть не может.

Пестек выходит на перрон с вещмешком в руке, довольный тем, что теперь он так уже близко к Рене. Он представляет себе ее облик: как она улыбается и дергает за свой локон, чтобы потом прикусить его зубами. Ледерер поднимается со скамейки, намереваясь пойти ему навстречу. Но его опережают, почти сбивая с ног, две шеренги охранников СС с автоматами, которые бегом врываются на перрон.

Как только Виктор их видит, он сразу все понимает. Это за ним.

Офицер во главе отряда оглушительно свистит в свой свисток, потом кричит. Пестек спокойно ставит на пол вещмешок.

Несколько эсэсовцев орут ему, чтобы он поднял руки, а другие визжат, чтобы не двигался, или его пристрелят на месте. Выглядит абсурдно, но ровно так все и должно быть. Противоречивые команды выкрикиваются для того, чтобы сбить с толку и парализовать подозреваемого. Он горько улыбается. Процедуру задержания он знает назубок. Он и сам неоднократно в ней участвовал.

Ледерер медленно отступает по перрону. Его не видели, и он пользуется суматохой задержания, чтобы исчезнуть. И пока он шагает, стараясь сохранять спокойствие, он проклинаят про себя все и вся: Сопротивление кишит доносчиками и шпионами, кто-то их выдал. В центре городка ему попадает на глаза не пристегнутый цепью мотоцикл. Он садится на него и, не оглядываясь, уезжает.

Виктора Пестека доставили в штаб-квартиру СС. Его пытали целыми днями. Хотели узнать, зачем он вернулся в Аушвиц, хотели получить информацию о ячейках Сопротивления в лагере, но он знал об этом крайне мало, а о своих отношениях с Рене Науман не сказал ничего. Наказание для дезертиров одно – смертная казнь. Он находился под арестом до 8 октября 1944 года, дня своей казни.

26

Маргит и Дита сидят за бараком. День удлинился, и стало уже заметно теплее, даже жарко иногда. Жара в Аушвице особая – липкая, воздух окрашен серыми частичками пепла. Наступил один из таких моментов, когда разговор понемногу стихает, и никто не берет на себя инициативу его оживить. Дружба их достигла уже той стадии, когда повисшее молчание никого не беспокоит. И даже представляет собой естественную составляющую диалога. И вдруг они видят перед собой старую знакомую.

– Рене... Сколько лет, сколько зим!

В ответ на такой прием белокурая девушка робко улыбается. Дергает за локон и несет его в рот. В последнее время практически никто не был с ней настолько любезен.

– Вы слышали о побеге Ледерера вместе с ефрейтором СС, который больше не хотел быть нацистом?

– Да...

– Это ведь был как раз тот нацист, который, как ты нам когда-то рассказывала, на тебя смотрел...

Рене медленно кивает.

– Он оказался совсем неплохим человеком, – говорит Рене подругам. – Ему совсем не нравилось то, что здесь творится, поэтому он и дезертировал.

Дита и Маргит умолкают. Разве для еврея нацист и эсэсовец, роль которого в концлагере – роль палача, может оказаться... «неплохим человеком»? Такую мысль сложно допустить. Тем не менее каждой из них случалось наблюдать за этими часто еще безусыми юнцами, облаченными в высокие сапоги и черного цвета форму. А когда случалось заглянуть им в глаза, то в них были видны не палачи и охранники, а молодые ребята.

– Сегодня вечером ко мне подошли два охранника из патруля. Они показывали на меня пальцем и смеялись. И сказали, что два дня назад они задержали... В общем, эти свиньи сказали, что задержали моего любовника, но это грязная клевета. Его задержали на вокзале Освенцима.

– В трех километрах отсюда! Но ведь он сбежал уже почти два месяца назад! Как же ему не пришло в голову укрыться где-нибудь подальше!

Рене задумывается.

– Я знаю, почему он оказался так близко.

– Он все это время прятался в этом городке?

– Нет. Он приехал из Праги, точно. Он вернулся, чтобы вытащить отсюда меня. И мою маму, конечно. Я бы никогда и никуда без нее не ушла. Но его схватили... позавчера.

Обе девушки молчат. Рене опускает взгляд себе под ноги и жалеет о том, что так разоткровенничалась с ними. Она разворачивается и направляется в свой барак.

– Рене! – окликает ее Дита, и девушка оборачивается. – Этот Виктор... кажется, был неплохим человеком, судя по всему.

Она очень медленно кивает. В любом случае, проверить это она уже не сможет.

Маргит уходит, чтобы побыть немного со своей семьей, и Дита остается одна. Сегодня в карантинном лагере никого нет, да и соседний лагерь с другой стороны, ВПс, на данный момент свободен после эвакуации всех заключенных... то ли за пределы Аушвица, то ли за пределы жизни. То, что оба соседних лагеря стоят пустые, – это какая-то случайность, очень редкая. Кроме того, вечер выдался необычно жарким, разогнав людей по баракам, и вокруг стоит столь редкая для последних дней тишина, что Дита останавливается на мгновение, чтобы ею насладиться.

И тут она понимает, что кто-то на нее смотрит. В лагере ВПс – одинокая фигура: приветствует ее и делает призывные знаки. Это заключенный, молодой парень, который, судя по всему, что-то ремонтирует. Подойдя поближе к ограде со своей стороны и присмотревшись получше, она видит, что полосатая форма на нем – поновее, чем та, которую видишь обычно на узниках соседних лагерей, а на голове – берет, знак того, что он принадлежит к обслуживающему персоналу, высшей касте заключенных. И ей тут же приходит на память образ того поляка, что использовал свою работу по покрытию толем крыш, чтобы проворачивать торговые операции в уборных. Сноровка в ремонтных делах позволяет такого рода работникам иметь доступ во все зоны лагеря, а кроме того, что еще важнее, их пайки гораздо более полновесные, чем у других узников. Поэтому, как и в случае этого парня, их сразу же можно узнать по здоровому виду: у них-то скулы не грозятся проткнуть насквозь кожу на щеках.

Дита поворачивается, чтобы уйти, но он яростно жестикулирует, и она понимает, что он хочет, чтобы она подошла еще ближе. На вид – симпатичный парень, улыбается во весь рот и говорит ей какие-то польские слова, которых Дита не понимает. Единственное, что ей удается распознать, так это слово *jabko*, то есть «яблоко». Слово-фетиш. Как и любое другое слово, обозначающее еду. Дита вытягивает шею и переспрашивает:

– *Jabko?*

Он улыбается и машет из стороны в сторону пальцем: нет.

– Нет, не *jabko*... *Yayko!*

Дита чувствует некоторое разочарование... Она уже так давно не ощущала во рту сладкий вкус яблока, что почти забыла, какой он! Ей кажется, что она может припомнить: вкус у них сладкий, но с кислинкой. Но лучше всего она помнит хруст белой и сочной яблочной мякоти. Рот наполняется слюной. Она понятия не имеет, что хочет сказать ей этот парень. Может, все это пустое, и он просто с ней заигрывает, но она не собирается это так легко оставить. Хоть она и смущается, но в глубине души не может не признать: тот факт, что теперь, когда у нее немного отросли волосы, взрослые парни обращают на нее внимание, не может ее не радовать.

Ограда под напряжением внушает ей страх, ведь одно лишь прикосновение к ней влечет за собой жуткую смерть. Ей уже приходилось видеть, как какой-нибудь заключенный твердыми шагами, под прямым углом, идет на ограду с горячечным блеском в глазах, натывается на нее и получает смертельный удар током. Не один узник покончил с собой таким образом, но видела она это только раз – первый. После того случая всякий раз, когда при ней кто-то с вытаращенными глазами шел грудью на звенящую от напряжения проволоку, она отворачивалась и старалась как можно быстрее уйти прочь, чтобы не оказаться рядом, когда послышатся вопли ужаса. Она так и не смогла забыть тот первый электрический разряд, дыбом вставшие волосы тощей, как спичка, женщины, внезапно почерневшее тело, смрад горелой плоти и струйки дыма над обугленной кожей.

Ей совершенно не улыбается приближаться к ограде, но голод – как злокачественная опухоль, которая никогда не устает терзать измученные кишки. По вечерам едва удается хоть как-то обмануть этот голод куском хлеба с запахом маргарина, после чего, если не повезет выловить хоть что-нибудь в супе, тебе предстоят еще сутки ожидания, пока проглотишь что-то твердое. Дита не собирается упустить ни одной возможности как-то наполнить желудок, хотя пока не очень понимает этого поляка.

Чтобы не привлекать к себе внимание охранника на вышке, Дита показывает парню рукой, чтобы он подождал немного, а сама забегает в барак-уборную. Со всех ног пробегает насквозь это зловонное стойло и выскакивает наружу через заднюю дверь. Таким образом она совсем незаметно оказывается за дальним концом барака, возле самой ограды. Немного опасается наткнуться в этом месте на тела – сюда обычно сваливают умерших ночью узников, которых утром должна будет забрать покойницкая тележка и отвезти в крематорий, но место свободно. У польского парня крючковатый нос и уши, весьма напоминающие веер; он не то

чтобы красив, но у него такая заразительно радостная улыбка, что Дита он кажется симпатичным. Он делает ей знак рукой, чтобы она секунду подождала, и ныряет в какое-то отверстие в задней части барака, как будто хочет что-то там найти.

Единственный человек, различимый на задворках зоны ВІІЬ, – тощий, как скелет, узник. Он развел костер возле третьего отсюда барака и бросает в огонь какие-то лохмотья. Непонятно, то ли ему приказали сжечь эти тряпки, потому что они кишат блохами, то ли потому, что их сняли с кого-то, кто умер от заразной болезни. Возиться с заразными тряпками, конечно, не самая приятная работа, но все же лучше, чем некоторые, что достаются другим: тем, кто вынужден целыми днями копать канавы или заниматься погрузкой камней и стройматериалов. С такого расстояния любой скажет, что это старик, но вполне может оказаться, что ему еще нет и сорока.

Пока Дита ждет возвращения поляка-плотника, она наблюдает за тем, как мужчина у костра жжет лохмотья, и они скрючиваются, изгибаются в языках пламени, превращаясь в конце концов в густой черный дым. В это мгновение она ощущает рядом с собой чье-то присутствие: кого-то, кто очень осторожно подошел к ней сзади. Овернувшись, она видит в двух шагах от себя высокую черную фигуру доктора Менгеле. Он не насвистывает, не делает никаких движений, ничего не говорит. Только смотрит на нее. Может, он следил за ней. Может, он решил, что этот польский мальчишка – контактное лицо Сопротивления. Человек, занимавшийся сжиганием тряпок, встает и уходит. Вот оно, наконец, и случилось: она один на один с доктором Менгеле.

Она думает, какое объяснение сможет дать наличию внутренних карманов на своей одежде, когда ее будут обыскивать. Хотя, честно говоря, кто знает, придется ли ей вообще давать хоть какие бы то ни было объяснения. Менгеле не допрашивает своих жертв, это для него слишком вульгарное дело. Он всего лишь интересуется внутренними органами заключенных, которых вскрывает с единственной целью: чтобы они открыли ему те научные истины, обнаружить которые он так жаждет.

Капитан медицинской службы не произносит ни слова. Дита чувствует, что должна объяснить свое присутствие возле ограды.

– *Ich wollte mit dem Mann dort sprechen.*

«Я хотела поговорить вон с тем человеком у костра», – произносит она не слишком уверенно. Никакого человека возле костра уже нет.

Взгляд его становится более пристальным, и Дита вдруг понимает, что он прищуривает глаза, как человек, который пытается припомнить нечто, что витает совсем рядом и вот-вот всплывет в памяти. И в голове Диты всплывают слова портнихи: «Врешь ты плохо». В этот самый миг к ней приходит уверенность, что доктор Менгеле ей не поверил, и все ее тело внезапно обдаёт холодом, как будто она ощутила ледяное прикосновение мраморного секционного стола, на котором доктор вскрывает ее от грудины до низа живота, как теленка.

Менгеле легонько кивает. Он и на самом деле пытался что-то припомнить, и ему это удалось. Не хотело всплыть в памяти, но теперь уже все в порядке, вспомнил. Кажется, что его улыбка светится триумфальным блеском. Он поднимает руку к поясу – она всего лишь на пару сантиметров разминувшись с кобурой, – и Дита старается не дрожать. С обычной, такой человеческой способностью торговаться с собственным богом до последнего момента в эту минуту она просит о самой малости, о совсем микроскопической уступке: умоляет о том, чтобы не дрожать в свой последний миг, не описаться, уйти достойно.

И больше ни о чем.

Менгеле продолжает покачивать головой и наконец начинает насвистывать первые нотки какой-то мелодии. И Дита осознает, что смотрит он вовсе не на нее, что его взгляд проходит сквозь нее, не задерживаясь. Она для него настолько незначима, что он и не обратил на девочку

никакого внимания. Он разворачивается на каблуках и уходит довольный, высвистывая свою мелодию.

Бах иногда ему не сразу дается.

Дита смотрит ему вслед, упершись взглядом в его удаляющуюся фигуру: высокую, черную, трагичную. И тогда она понимает.

– Да ведь он меня совершенно не помнит. Не знает, кто я такая. И никогда меня не преследовал...

Никогда не приходил он к дверям барака поджидать ее, никогда не смотрел на нее как-то иначе, не так, как на других. Пометить ее в своей записной книжке, угрожать ей секционным залом... Все это – не более чем обычная мрачная шутка, розыгрыш человека, который говорил детям, чтобы они называли его дядюшкой Пеппи, который гладил их по головке, а потом вводил им дозу соляной кислоты с целью пронаблюдать за реакцией организма, завершающейся летальным исходом. Это ее собственный страх заставил ее поверить в то, что медик-нацист, имеющий амбиции совершить открытия мирового уровня в области генетики, станет интересоваться такой соплячкой, как она, и тратить время на ее преследование.

Еще раз: все совсем не так.

И Дита облегченно вздыхает, потому что теперь может, по крайней мере, сбросить с себя тяжесть этой тени. Хотя, конечно же, и от этого никуда не уйдешь, она продолжает находиться в зоне смертельной опасности.

Это Аушвиц...

Самым разумным было бы быстренько улизнуть в свой барак, потому что Менгеле может передумать и вернуться, и тогда ее судьба переменится: ядовитые змеи, они всегда перемещаются с необыкновенной скоростью. Но ее разбирает любопытство, ей слишком хочется узнать, почему этот плотник-поляк так настойчиво привлекал к себе ее внимание и почему его жесты как будто говорили о том, что у него что-то для нее есть.

Всего лишь заигрывание, обещание любви? Но она не заинтересована ни в женихах, ни в любовных приключениях, а уж тем более с поляком, речь которого она совсем не понимает, а уши похожи на пару суповых тарелок.

Не нужны ей женихи, которые будут ею командовать. Но при всем при этом она все еще стоит на месте, как пришитая, покусывая губы своими чуть расставленными зубами, которые ей самой совсем не нравятся, поскольку, по ее убеждению, такие зубы выдают в ней ребенка.

Поляк заметил приближающегося Менгеле и затаился внутри пустого барака, где работал над устранением протечек. Увидев, что Менгеле ушел, парень снова появляется. В руках у него Дита ничего не видит и чувствует разочарование. Парень оглядывается по сторонам, а потом быстро, в три-четыре широких шага, оказывается в нескольких сантиметрах от ограды. И снова улыбается. И ей уже не кажется, что уши у него слишком большие, – улыбка его затмевает собой все.

Сердце замирает у нее в груди, когда она видит, что юный плотник просовывает сжатый кулак в дырку в проволочной ограде. И когда он разжимает кулак, что-то белое падает вниз и подкатывается прямо к ногам Диты. На первый взгляд это нечто похоже на гигантскую жемчужину. Жемчужина и есть: сваренное вкрутую яйцо. Уже два года Дита не ела ни одного яйца. И почти забыла их вкус. Она берет яйцо обеими руками, словно хрупкую вещь, и поднимает глаза на парня, который уже успел вытащить руку обратно, избегнув разряда тысяч вольт, змеями пробегающих по переплетенной проволоке ограды.

Они не понимают друг друга: он говорит только по-польски, а она этого языка не знает. Но то, как Дита кланяется, и, самое главное, то, как сверкают от счастья ее глаза, – это тот язык, который он понимает лучше любой самой красноречивой речи. Он, забавляясь, тоже церемонно склоняет голову, как будто оба они находятся не в нацистском лагере смерти, а встретились на светском приеме в пышном дворце.

Дита говорит ему «спасибо» на всех языках, какие знает.

Он подмигивает ей и очень медленно произносит: «Яйко». Она посылает ему воздушный поцелуй, а потом бросается бежать в свой барак. Поляк, не переставая улыбаться, делает вид, что подпрыгивает и ловит поцелуй в воздухе.

И пока Дита бежит к маме со своим белым сокровищем в руках, бежит со всех ног, чтобы устроить настоящий пир, она думает, что такой урок иностранного языка запомнится ей на всю оставшуюся жизнь: яйцо по-польски будет «яйко». Слова обладают своей собственной значимостью.

Что станет особенно очевидным на следующий день. Во время утренней поверки узникам сообщают, что после вечернего построения каждому совершеннолетнему будет выдана почтовая карточка и он сможет написать несколько строк родным и близким. *Камп капо*, то есть главный капо лагеря, немец с треугольником рецидивиста на пиджаке, ходит по рядам и повторяет, что ни пораженческие, ни клеветнические по отношению к Рейху тексты приниматься не будут. Если таковые обнаружатся, то соответствующая карточка будет уничтожена, а ее автор – сурово наказан. И слово «сурово» он произносит с таким остервенением, что оно само становится символом обещанной кары.

Капо барачков получают еще более конкретные инструкции: под запретом оказываются слова «голод», «смерть», «казнь»... Вычеркнуто будет всякое слово, которое способно бросить тень сомнения на великую правду: что все заключенные пользуются привилегией трудиться на благо славного фюрера и его Рейха. Лихтенштерн поясняет во время супа, что *камп капо* потребовал, чтобы в своих бараках *капо* велели людям писать веселые письма. Старший по блоку 31, глаза которого с каждым днем западают все глубже, а скулы на лице выступают все резче под воздействием практикуемой диеты, состоящей из сигарет и бобового супа, говорит своим людям, чтобы писали, что хотят, что ему стыдно требовать чего-то подобного.

Весь день только и слышно, как люди обсуждают эту новость. Кто-то удивляется столь человеческому жесту нацистов – позволить узникам написать своим родственникам и попросить их прислать продуктовые посылки. Но вскоре узники-старожилы объясняют изумляющимся, что нацисты прежде всего прагматики. Им очень выгодно, чтобы в концлагерь присылались продуктовые посылки, потому что лучшее они все равно заберут себе. И если из каждой посылки они конфискуют четыре-пять позиций, то, помножив это на сотни или даже тысячи пакетов, выйдет, что количество полученного ими продовольствия окажется весьма и весьма существенным. А заодно еврейское сообщество за пределами Германии получит успокоительные послания от своих родственников, которые вступят в противоречие с другими источниками информации и породят сомнения относительно того, что же на самом деле происходит в Аушвице.

Есть и очень тревожные комментарии: людям из сентябрьского транспорта также раздавали почтовые карточки – непосредственно перед тем, как послать их в газовые камеры. У декабрьского транспорта вот-вот закончатся шесть месяцев их пребывания в лагере, то есть тот срок, который провели здесь их убитые товарищи. И теперь они сами в точности повторяют тот же путь. От таких мыслей охватывает ужас.

С другой стороны, в данный момент различий между заключенными из разных транспортов не делается, и прибывшие только что, в мае, также получают почтовые карточки. Это несколько меняет картину относительно мартовского сценария и порождает разного рода слухи и спекуляции. К уже привычному голоду и страху прибавляется какое-то необычайно заразное беспокойство, которое приносит еще больший беспорядок в учебный день блока 31. Организовать послеобеденные игры и хоровое пение с необходимой тщательностью становится совершенно невозможно.

После вечерней поверки раздаются наконец почтовые карточки – только взрослым. Многие узники из других блоков выстроились в очередь перед спекулянтом Аркадиушем, кото-

рый пришел с коробками почтовых карточек, а кроме того, тихонько нашептал людям, что у него есть несколько карандашей и он готов одолжить их за пайку хлеба. Другие пошли искать Лихтенштерна, в распоряжении которого для нужд школы тоже имеются карандаши. Скрепя сердце, он их уступил.

Дита уселась возле входа в барак, рядом с мамой, и наблюдает за нервным мельтешением людей с картонками открыток в руках. Мама отдала ей полученную карточку и попросила, чтобы дочка написала своей тете, о которой они вот уже два года ничего не слышали. Дита думает о том, что стало с ее кузинами. Что там делается в большом мире, за пределами лагеря?

Потом она мысленно оценивает пространство открытки и прикидывает, что туда войдет никак не больше трех десятков слов. И если после написания открытки их ждет газовая камера, то эти тридцать слов станут последними оставленными ими словами. То есть это ее единственный шанс хоть где-то оставить свидетельство о своем столь кратковременном пребывании в мире живых в самый что ни на есть худший момент в истории и в наименее приемлемом для жизни месте. И она даже не может написать о том, что на самом деле чувствует, потому если открытка получится мрачной, то ее никуда не отошлют, а мать накажут. Неужели они действительно будут читать почти четыре тысячи карточек? Кто их знает, говорит она себе.

Нацисты до омерзения методичны.

Дита продолжает обдумывать эти тридцать слов. Она слышала, как сегодня одна преподавательница говорила, что сама она упомянет о том, что читает роман Кнута Гамсуна¹⁸, полагая, что таким образом ее родственники смогут догадаться, что она хочет им сказать, потому что один из самых известных его романов – «Голод». Дита думает, что это чересчур сложно. Другие пытались выдумать всевозможные уловки, чтобы рассказать о ежедневно и ежечасно окружающем их геноциде: некоторые – остроумные, другие – настолько метафорические, что никто точно ничего не поймет. Были и те, кто хотел попросить прислать как можно больше еды, и те, кто хотел получить новости из большого мира, а многие просто хотели сообщить, что они до сих пор живы. После обеда преподаватели затеяли что-то вроде конкурса: кто лучше замаскирует в своем тексте подрывные сообщения, которые так хочется послать своим близким.

Дита говорит маме, что они должны сказать правду.

– Правду...

Мама шепотом повторяет слово «правда» раздраженно, как будто было произнесено ругательство. Сказать правду означает поведать миру об ужасных грехах и запечатлеть на бумаге извращения. Как только можно решиться рассказать хотя бы о малой части чего-то столь отвратительного?

Лизль Адлерова ощущает какой-то стыд за собственную судьбу, как будто тот, кому достается такая доля, непременно хоть в чем-нибудь да должен быть виноват. Она сожалеет о том, что ее дочь слишком импульсивна, настоящая сорвиголова, что она не может ни соизмерять события и последствия своих действий, ни вести себя скромнее. В конце концов она забирает у дочери открытку и решает, что сама напишет пару строк, в которых сообщит, что обе они чувствуют себя, хвала Господу, хорошо. Что ее дорогой Ханс, упокой, Господи, его душу, не смог справиться с тяжелым заразным заболеванием. Что они очень хотят снова всех увидеть. Дита бросает на мать вызывающий взгляд, но та говорит, что при таком тексте они могут быть уверены в том, что открытка непременно дойдет и они не потеряют контакта с родственниками.

– Так они хоть что-то о нас узнают.

Нужно сказать, что, даже несмотря на эту несколько малодушную предосторожность, достичь своей цели матери Диты не удастся: когда написанная открытка дойдет по указанному адресу, получить ее будет некому.

¹⁸ Кнут Гамсун (1859–1952) – норвежский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1920 года.

Бомбардировки союзников становятся все более частыми. Говорят, что немцы теряют позиции по всем фронтам, что война развернулась на сто восемьдесят градусов и финал Третьего Рейха уже не за горами. Если они выберутся из этой ловушки – отмеренных им шести месяцев – живыми, то, быть может, смогут дождаться конца войны и вернуться домой. Хотя к этому времени уже почти никто явного оптимизма не выражает: годами ведутся разговоры о скором конце войны, которая на поверку длится гораздо дольше, чем многие жизни.

На следующий день Дита вновь разворачивает свою библиотеку на деревянной лавочке. В то время как группы ребят рассаживаются на своих табуретках, Мириам Эдельштейн направляется прямо к ней и наклоняет голову, чтобы не пришлось говорить громко.

– Они не придут, – шепчет Дите на ухо Мириам.

Дита всем своим видом показывает, что не понимает.

– Это узнал Шмулевский. По всей видимости, международные наблюдатели посетили Терезин, а нацисты там всё здорово подготовили. Так что те даже не стали просить, чтобы им еще что-то показывали. Наблюдатели из Международного Красного Креста не придут в Аушвиц.

– Но тогда... что же тогда будет с нашим моментом?

– Не знаю, Эдита. Хочется верить, что место для момента истины всегда есть. Нужно быть настороже, нужно иметь терпение. Если Красный Крест сюда не пожалует, семейный лагерь для Гиммлера перестанет быть полезным.

Дита чувствует себя разочарованной. Все думали, что Красный Крест явится со скальпелем, вскрыет язву холокоста и предъявит ее нутро всему миру, но представители этой организации заявили, запасшись исключительно пластырем. Кроме того, если и раньше жизни узников мало чего стоили, то теперь они не стоят вообще ничего.

– Плохо, очень плохо... – шепчет она.

Мириам не ошиблась, и события не заставили себя ждать. Однажды утром, обычным вроде бы утром, Лихтенштерн объявляет об окончании уроков за пять минут до положенного времени, но никто, кроме него самого, этого не замечает, потому что часы во всем бараке носит он один. Рядом с ним – Мириам Эдельштейн, и оба они не без некоторого труда забираются на пересекающую весь барак трубу. Дети, думая, что наступил конец утренних занятий и вот-вот принесут суп, устроили беготню и подняли шум: они смеются и перебрасываются веселыми шутками. Поэтому действия Лихтенштерна оказались неожиданны для всех. Он подносит свисток к губам и оглушительно свистит, привлекая к себе всеобщее внимание.

На один миг этот звук напоминает старожилам блока 31 о незабвенном Фреди Хирше, и они замолкают, понимая, что если уж Лихтенштерн пускает в дело эту символическую вещь основателя их школы, то, должно быть, случилось что-то очень серьезное.

Очень громко он говорит, что сейчас Мириам Эдельштейн сделает важное объявление. Она выглядит усталой, но голос ее звучит мощно.

– Преподаватели, ученики, ассистенты... Я должна сообщить вам, что администрация Аушвица-Биркенау проинформировала нас о том, что семейный лагерь подлежит незамедлительному закрытию. Сегодня в блоке 31 у нас был последний учебный день. – Тревожные возгласы заполняют барак, и Мириам вынуждена махнуть рукой, чтобы всех успокоить. – Завтра охранники СС произведут отбор. Будут образованы две группы: тех, кого переводят в другой лагерь, и тех, кто остается здесь.

– Что еще за отбор, по какому принципу? – спрашивает один из преподавателей.

– Нам не дали никаких пояснений, я ничего больше не знаю.

Барак целиком погружается в тревожные комментарии. «Отбор», или «селекция», – это то слово, которое никому не хочется слышать. Нацисты крутят рулетку. И если судьба оборачивается к тебе спиной, то теряешь ты не что иное, как саму жизнь.

Стараясь перекричать поднявшийся гам, Мириам объявляет, что поверку завтра утром каждый проходит возле своего барака и что после поверки нужно ждать команды *камп капо* относительно отбора. Гвалт возрос настолько, что только стоящие совсем рядом смогли услышать, что свою краткую речь Мириам завершает, желая им всем удачи от всего сердца.

Дита медленно качает головой. Очень может быть, что удача уже ничего не сможет для них сделать.

После обеда блок 31 пуст – огромный склад, не более того. Дита пару раз постучала в дверь, но поскольку Лихтенштерн так и не ответил, она достает ключ, выданный ей несколько недель назад. Внутри – пустые консервные банки, грязные тряпки, пара не слишком чистых простыней и кое-какие предметы одежды поверх двух картонных коробок с какой-то провизией.

Пользуясь отсутствием Лихтенштерна и тем, что до отбоя еще остается время, она, одну за другой, вынимает все книги своей библиотеки.

Прошло уже много дней с тех пор, как она последний раз открывала атлас, и теперь ее охватывает огромное наслаждение от того, что она вновь ведет пальцем по извилистым очертаниям континентов, от подъема и спуска с горных массивов, от тихого нашептывания названий городов: Лондон, Монтевидео, Оттава, Лиссабон, Пекин... Произнося их, она как будто вновь слышит голос отца – это он произносил эти имена, раскручивая глобус. Достает она и пожелтевший экземпляр «Графа Монте-Кристо», книгу хоть и написанную по-французски, но секреты которой она смогла узнать благодаря Маркете. Дита несколько раз громко произносит имя Эдмона Дантеса, стараясь добиться правильного французского произношения, пока наконец не остается довольна результатом. Пришел момент покинуть замок Иф.

Вынимает она и Г. Дж. Уэллса, ее личного учителя истории в последние месяцы. А также русскую грамматику, книгу Зигмунда Фрейда и трактат по геометрии. И даже русскую книжку без обложки, чьи кириллические секреты ей так и не удалось разгадать. И с превеликой осторожностью она достает, наконец, из тайника последнюю книгу – рассыпающийся томик «Похождений храброго солдата Швейка». И не может не поддаться искушению и не прочитать пару абзацев, чтобы убедиться в том, что плут и пройдоха Швейк все еще там, никуда не делся, сидит где-то между страницами книжки. Ну да, вот он, как всегда, в полной готовности, чтобы успокоить поручика Лукаша после его очередного усаживания в лужу.

– Да ведь от порции бульона, который ты принес мне из полковой кухни, осталось не больше половины!

– Верно, господин поручик. Дело в том, что бульон был настолько горячим, что испарился по дороге.

– Бульон наверняка испарился в твоём желудке, бесстыжий обжора!

– Господин поручик, уверяю вас, что это произошло вследствие естественного испарения, такое бывает; вот случилось раз погонщику мулов, который возил товары в Карловы Вары, везти кувшины с горячим вином...

– Прочь с глаз моих, скотина!¹⁹

Она прижимает к груди эту стопку печатной бумаги, словно лучшего друга.

А потом, очень осторожно, принимается подклеивать отслаивающиеся корешки. И протирает чистой, смоченной собственной слюной тряпочкой слегка испачканные землей обложки. Без сомнения, книжкины раны и болячки Дита лечит в самый последний раз. И вот когда она уже больше ничем не может им помочь, берется разглаживать кем-то и когда-то загнутые страницы, еще и еще раз проводя по ним рукой. Даже не разглаживает, а ласкает.

¹⁹ Перевод этой цитаты из романа Ярослава Гашека выполнен переводчиком текста А. Итурбе.

Разложенные в ряд книги образуют совсем небольшую шеренгу – скромный парад ветеранов. Но в эти месяцы им удалось немалое: сотни детей познакомились с географией земного шара, приблизились к истории и учились математике. А еще они погружались в перипетии художественного вымысла, и их собственные жизни во много раз умножились под воздействием других судеб. Не так уж плохо для жалкой кучки старых томов.

27

Июль 1944 года

Вот уже закрыты и мастерские, и блок 31. Мать Диты участвует или же, скорее, присутствует при разговоре, участницами которого являются женщины, а модератором – пани Турновская. Сама Дита сидит, прислонившись к задней стене барака. Столько народу вокруг, что найти себе место, куда бы опереться спиной, – задача не из легких. Появляется Маргит, Дита чуть двигается, и та устраивается рядом с подругой на краешке одеяла. Видно, что она довольно сильно волнуется и нервно покусывает нижнюю губу.

– Ты на самом деле думаешь, что нас увезут в другое место?

– Ну, в этом-то ты можешь ни капли не сомневаться. Хотелось бы только надеяться, что перемещение в другое место не окажется перемещением на тот свет.

Маргит беспокойно заерзала рядом с Дитой. Они берутся за руки.

– Мне страшно, Дитинка.

– Нам всем страшно.

– Ну нет, ты – другое дело, ты такая спокойная. Даже шутишь над этим перемещением. Мне бы тоже очень хотелось быть такой же храброй, как ты, но я боюсь. Меня всю трясет от страха. На улице жара, а я мерзну.

– Как-то раз, когда у меня здорово тряслись ноги, Фреди Хирш сказал мне, что по-настоящему храбрыми бывают только те, кто боится.

– Да как же это может быть?

– А так: нужно быть очень храбрым, чтобы, когда страшно, все равно двигаться вперед. А если тебе не страшно, так какая разница – сделаешь ты одно или другое, в чем тогда заслуга?

– Я видела пана Хирша несколько раз, когда он проходил по *лагеритрассе*. Он был таким красавцем! Хотелось бы мне быть с ним знакомой.

– Ну, свести с ним знакомство было не так-то легко. Он почти все время сидел в своей комнате. Да, по пятницам он проводил беседы, устраивал спортивные мероприятия, когда возникала какая-то проблема – появлялся и решал ее, со всеми всегда был очень любезен... Но вскоре снова уходил в свою комнату. Как будто хотел ото всех отгородиться.

– Как ты думаешь, он был счастлив?

Дита поворачивается лицом к подруге и недоуменно смотрит на нее.

– Ну и вопросы у тебя, Маргит! Да кто же может это знать? Не знаю... но мне кажется, что да. Ему было нелегко, конечно, но ему нравились разные вызовы. И он никогда не отступал и не сдавался.

– Ты им восхищалась, правда?

– Ну а как можно не восхищаться человеком, который научил тебя быть храброй?!

– Но... – Маргит осторожно подбирает слова, потому что знает, что сейчас скажет нечто такое, что может быть неприятным, – ведь в последний момент Хирш на самом деле отступил, до конца не пошел.

Дита глубоко вздыхает.

– Я много раз думала о его смерти. Мне говорили то одно, то другое. Но мне кажется, что чего-то в этой истории все же не хватает, есть в ней что-то странное, что никак не встает на место. Чтобы Хирш, да сдался? Не-е-е-ет...

– Но ведь регистратор Розенберг видел своими глазами, как он умирал...

– Ну да...

– С другой стороны, мне приходилось слышать, что полностью доверять Розенбергу тоже не стоит...

– Да уж, столько всего говорят... Но я думаю, что тем вечером, 8 марта, что-то случилось. Что-то такое, что изменило все. Плохо то, что его самого об этом уже не спросишь.

Дита умолкает, и Маргит несколько секунд тоже ничего не говорит.

– И что же с нами теперь будет, Дитинка?

– Этого никто не знает. Так что можно даже не особенно беспокоиться. Мы с тобой все равно сделать ничего не сможем. А если кто-то решит устроить восстание, так мы об этом всяко узнаем.

– Думаешь, будет мятеж?

– Нет, не думаю. Если ничего такого не случилось при Фреди, то без него точно не будет.

– Мы должны молиться.

– Попробуй.

– А ты не будешь?

– Молиться? Кому?

– Как это кому? Господу Богу, конечно! И тебе тоже лучше бы помолиться.

– Сотни тысяч евреев молятся, начиная с 1939 года, но что-то он их так и не расслышал.

– Возможно, мы мало молились или не с такой силой, чтобы Он нас услышал.

– Слушай, Маргит. Бог ведь без труда выясняет, что ты, к примеру, пришивала пуговицу к сорочке в субботу, дабы за это тебя наказать, но при этом умудрился так и не узнать, что здесь убивают тысячи ни в чем не повинных людей, а другие тысячи держат за колючей проволокой и обращаются с ними куда хуже, чем с собаками? Ты на самом деле думаешь, что он остается в неведении?

– Не знаю, Дита. Это грех – задаваться вопросом, почему Бог совершает то, что совершает.

– Ну ладно, значит, я грешница.

– Не говори так! Бог тебя покарает!

– Еще больше?

– Ты попадешь в ад!

– Не будь такой наивной, Маргит. Мы уже в аду.

По лагерю электрическими углями змеятся слухи. Говорят, что селекция – не более чем трагикомедия, что убьют всех. Другие верят, что селекция все-таки будет, что цель – отобрать рабочую силу, а остальных – в топку.

Неожиданно в лагерь в сопровождении вооруженных охранников входит Пастор. Узники делают вид, что не замечают его, хотя все взгляды невольно притягиваются к этой зловещей фигуре, от которой вне процедуры проверки ничего хорошего ждать не приходится. Вся группа останавливается перед входом в барак, и в ту же секунду на пороге появляется *капо*.

И начинает нервно рыскать вокруг, пока наконец не указывает пальцем на заключенную, сидящую возле боковой стены барака с ребенком, прикорнувшим на ее коленях. Это тетя Мириам и ее сынок Арий. Сержант объявляет ей, что у него имеется прямое распоряжение коменданта Шварцгубера: доставить ее с сыном к месту пребывания ее супруга.

В тот раз Эйхман соврал Мириам: ее муж Якуб вовсе не в Берлине. На самом деле он никогда не покидал территорию концлагеря Аушвиц. Еще он говорил ей, что скоро они будут вместе. Это правда. Но правда в словах Эйхмана еще хуже, чем его ложь.

Мириам с сыном сажают в джип и везут в Аушвиц I, за три километра отсюда, где расположена тюрьма для политзаключенных: членов движения Сопротивления, шпионов и других лиц, представляющих угрозу для целостности Рейха. На самом деле через камеры с пыточными условиями содержания, специально задуманными таким образом, чтобы причинять узникам максимально возможные неудобства, через немыслимую скученность, прошли самые разные люди. В этой тюрьме никто не хотел выйти во двор, потому что во двор выводили исключительно на расстрел.

Мириам Эдельштейн с сыном ввели в помещение, в котором два охранника железной хваткой держали за руки Якуба, чьи запястья и так были в наручниках. Она с огромным трудом смогла узнать мужа в представшем перед ней человеке в замызганной полосатой робе, у которого, и это самое ужасное, кожа туго обтягивает выступающие кости. Да и он узнал свою жену далеко не сразу, поскольку на нем уже не было круглых очков в черепаховой оправе. Очевидно, он лишился их сразу после заключения в тюрьму и с тех пор все вокруг себя видел как в тумане.

Мириам и Якуб Эдельштейны были людьми недюжинного ума. В тот же миг оба поняли, зачем их собрали вместе. То, что молнией пронеслось в ту секунду в их головах, знать не дано никому.

Унтершарфюрер СС вытащил пистолет и наставил его на маленького Ария. Выстрел в упор. После этого он пустил пулю в Мириам. Когда стреляли в Якуба, тот, без всякого сомнения, эмоционально был уже трупом.

К моменту закрытия семейного лагеря ВШб, то есть к 11 июля 1944 года, в нем содержалось двенадцать тысяч узников. Доктор Менгеле организовал процесс селекции, который занял три дня. Из всех имеющихся в лагере барачников для работы он выбрал блок 31, потому что благодаря отсутствию нар там гораздо больше свободного места и лучшая обзорность. Своим помощникам Менгеле пояснил, что, кроме всего прочего, этот барак – единственный, в котором нет одуряющей вони. Несмотря на то что доктор был большим любителем вскрывать тела, одновременно он являлся еще и рафинированной личностью, которая не выносит дурных запахов.

Семейный лагерь подошел к финалу своего существования. Дита Адлерова и ее мама готовятся к прохождению через фильтр доктора Менгеле, который решит, жить им или умереть. После грязной водички – лагерного завтрака – было приказано построиться по баракам. Все обитатели лагеря в тревоге, люди нервно мечутся из стороны в сторону, стараясь использовать секунды, которые могут оказаться последними в их жизни. Мужья бегут попрощаться со своими женами, а жены – со своими мужьями. Многие пары сталкиваются нос к носу на *лагерштрассе*, на полдороге между соответствующими бараками. Объятия, поцелуи и слезы, но и упреки. До сих пор находится кто-то, кто вспоминает: «Вот если бы мы уехали в Штаты, когда я тебе говорила!...» Каждый на свой лад проживает то, что может стать его самыми последними секундами. На глазах безучастных к происходящему охранников СС, появившихся в лагере, *капо* яростно свистят в свои свистки, требуя, чтобы все вернулись к своим баракам.

Пани Турновская подходит к Лизль Адлеровой пожелать ей удачи.

– Удачи, пани Турновская? – кричит ей с соседних нар какая-то женщина. – Нам потребуется не удача, а настоящее чудо!

Дита отходит на несколько шагов от матери, погружаясь в суматоху бегущих в разных направлениях людей. И чувствует, что кто-то встает у нее за спиной, да так близко, что она чувствует на своем затылке чужое дыхание.

– Не кричать, – приказывает ей голос.

Дита настолько привыкла к разного рода приказам, что врастает в землю ногами и не пытается обернуться.

– Это ведь ты интересовалась смертью Хирша, так?

– Да.

– Ну так вот, у меня есть кое-какая информация... не оборачивайся!

– До сих пор мне все говорили, что он испугался, но я точно знаю, что он не мог отступить только из-за страха смерти.

– Здесь ты права. Я видел списки заключенных, которых СС затребовало из карантинного лагеря обратно в семейный. Был там и Хирш. Он не должен был умереть.

– Если так, то почему же он покончил с собой?

– А вот здесь ты не права, – звучит тот же голос, хотя на этот раз в нем звучит неуверенность, как будто его владелец еще не решил, что можно говорить, а чего нет. – Хирш не покончил с собой.

Дита хочет знать все и поворачивается к своему загадочному собеседнику лицом. Но тот бросается со всех ног бежать, лавируя среди людей. Дита узнает его: это тот парень, который работает посыльным в госпитальном бараке.

Она порывается кинуться за ним, но тут мамина рука ложится на ее плечо.

– Строимся!

Капо их барака уже сыплет ударами своей трости направо и налево, да и охранники вовсю работают прикладами автоматов. Времени больше нет. Скрепя сердце, Дита встает в шеренгу рядом с матерью.

Что это значит: Фреди Хирш не покончил с собой? А что тогда? Он умер не так, как ей об этом рассказали? Ей приходит в голову, что этот парень, скорее всего, все придумал. Но с какой стати ему это делать? Все это – шутка, и именно поэтому он бросился наутек, когда она обернулась? Вполне возможно. Но что-то говорит ей, что это не так, что в то мгновение, когда она смотрела на него, насмешки в его глазах не было, даже ее тени. Теперь она больше, чем когда бы то ни было, убеждена: то, что произошло в тот вечер в карантинном лагере, не совпадает с рассказами о тех событиях людей из Соппротивления. А какой для них резон обманывать? Или они и сами не знают всей правды о том, что там произошло?

Слишком много вопросов для момента, когда все ответы могут стать запоздалыми. В семейном лагере тысячи людей, и всем им предстоит пройти сквозь игольное ушко безумного взгляда доктора Менгеле... К жизни или к смерти.

Группы людей часами входят и выходят через заднюю дверь блока 31, но никто в точности не знает, что там происходит. В полдень им дают похлебку супа и разрешают посидеть на земле, но усталость и нервозность происходящего оставляют на женщинах их группы свой отпечаток. Ну и, конечно, слухи. Судя по всему, селекция оказалась настоящей: наиболее крепких заключенных отделяют от больных и тех, кто работать не сможет. Поговаривают, что доктор Менгеле принимает решения о том, кому жить, а кому умереть со своей обычной флегматичностью. Узники и узницы должны войти в барак голыми, чтобы капитан медицинской службы их обследовал. Кто-то говорит, что, по крайней мере, доктор Менгеле поступает достойно, запуская партии мужчин и женщин по отдельности. Говорят, что при осмотре голых женщин в его глазах даже нет похоти, что на всех и каждого он смотрит с абсолютным равнодушием и что время от времени зевает, соскучившись и утомившись своей ролью исследователя человеческих особей.

Линия оцепления из эсэсовцев никого не подпускает к блоку 31. Кучки людей, которым выпало проходить отбор в другой день, тревожно бродят по зоне. Воспитатели до самого последнего пытаются заниматься детьми. Они вместе со своими группами усаживаются позади барачных и стараются занять ребят играми – в разгадывание загадок или чем-то еще. Все что угодно, лишь бы немного унять их тоску и тревогу. Даже этот сухарь, преподавательница Маркета, затеяла со своими девочками игру в платочек. И каждый раз, когда платочек попадает в ее руки, она незаметно подносит его к лицу промокнуть слезы: вот они, одиннадцатилетние девчушки, полные жизни, как же они бегают за платочком, спорят и даже ссорятся, выясняя, кто первой коснулся этого кусочка ткани... Сочтут ли хоть одну из них достаточно большой, чтобы стать рабочей силой, или убьют всех?

Наконец, в составе колонны своего барака Дита стоит перед входом в блок 31: теперь их очередь. Им велят раздеться и сложить одежду кучкой; эти кучи образуют уже целые горные массивы тряпья, вырастающие из болотистой почвы.

Ей тяжелее видеть выставленную напоказ наготу своей мамы, чем свою собственную. Она отворачивается, чтобы не видеть ее сморщенные груди, ничем не прикрытый пах, часток

выпирающих из-под кожи костей. Некоторые женщины еще прикрывают руками самые интимные части своего тела, но большинству уже все равно. По обе стороны от колонны голых женщин шатаются стайки бездельничающих, свободных в данный момент от службы охранников, которые убивают время, похотливо разглядывая обнаженных и громко обсуждая достоинства тех, кто им понравился. Тела тощие, изгибы скорее заметишь в очертаниях ребер, чем бедер, у некоторых девушек волосы в низу живота едва-едва пробиваются, но солдатам не хватает развлечений, а кроме того, они уже настолько привыкли к дистрофической худобе узников, что отпускают скабрзные шуточки, как будто перед ними – шикарные, со всеми положенными округлостями красотки.

Дита встает на цыпочки, чтобы поверх живой стены из охранников увидеть, что происходит внутри барака. Несмотря на то что сейчас разыгрываются ее собственная жизнь и жизнь ее матери, она не может не думать с грустью о своей библиотеке. Книги спрятаны в тайнике, плотно уложены под землей, крепко спят, пока кто-нибудь случайно их не обнаружит и, раскрыв, не вернет их к жизни, как в той легенде о пражском Големе, который лежит себе в тайном месте и ждет, пока его кто-нибудь не воскресит. Теперь она жалеет, что не оставила с книгами записки – на тот случай, если их найдет какой-нибудь другой узник Аушвица. Ей бы хотелось сказать ему: позаботься о них, и они позаботятся о тебе.

Без одежды им придется пробыть еще несколько часов. Ноги болят, они стали хрупкими. Одна женщина, которую ноги уже совсем не держали, села и, несмотря на крики и угрозы *капо*, отказалась подняться. Два охранника втащили ее волоком в барак, как мешок с картошкой. Все остальные подумали, что ее сразу же швырнут в группу ни на что не годного, отработанного материала.

Наконец в окружении тихого бормотания и молитв настает и их очередь, и Дита вместе с матерью переступает порог блока 31. Женщина, что идет прямо перед ними, плачет на ходу.

– Не вздумай плакать, Эдита, – тихонько шепчет ей мама. – Сейчас ты должна показать себя сильной.

Она кивает. Внутри Дита несмотря ни на что странным образом чувствует себя защищенной: несмотря на напряженность, которой пронизан воздух, несмотря на вооруженных охранников и стол перед трубой дымохода, за которым Менгеле диктует свой приговор. Эсэсовцы не потрудились снять со стен детские рисунки. Есть здесь и Белоснежка с семью гномами в самых разных исполнениях, есть принцессы, дикие животные, разноцветные корабли, оставшиеся еще с тех давних времен, когда в блоке были краски... И Дита вдруг понимает, насколько ей здесь, в Аушвице, хотелось рисовать, как рисовала она в Терезине, как же скучала она без этого, как здорово было бы выплеснуть сумбур своих эмоций в какой-нибудь пейзаж.

Тем не менее несмотря на то, что рисунки все еще висят на стенах, а на полу все еще стоят табуретки, блок 31 уже не существует. Теперь это уже не школа. Не убежище. Теперь прямо при входе натыкаешься на конторский стол, а за ним сидит доктор Менгеле с регистратором и двумя охранниками с автоматами в руках. В глубине барака виднеются две отобранные группы. Слева – та, что останется в Аушвице, а справа – та, которую отправят работать в другой лагерь. В одной из них – молодые и средних лет женщины относительно здорового вида, то есть те, кто еще может работать. Другая группа, гораздо более многочисленная, состоит из девочек, старух и болезненного вида женщин. Когда было сказано, что та группа, что слева, останется в Аушвице, им сказали правду: их пепел осядет на ближний лес, и они навсегда смешаются с болотистой почвой Биркенау.

Нацистский доктор совершенно невозмутимо ведет своей рукой в белой перчатке то влево, то вправо, отсылая людей по ту или другую границу жизни. Он делает это с поразительной легкостью. Без колебаний.

Цепочка женщин впереди них постепенно тает. Женщина, которая плакала, отправилась налево, туда, куда пошли слабые, ненужные Рейху люди.

Дита набирает в легкие воздуха: настал ее час.

Она делает несколько шагов вперед и останавливается перед столом капитана медицинской службы. Доктор Менгеле окидывает ее взглядом. Она задается вопросом, узнает ли он ее как работницу блока 31, но догадаться, о чем он думает, совершенно невозможно. То, что она видит в его глазах, вызывает у нее дрожь: там нет ничего, ни единой эмоции. Его взгляд настолько пуст и нейтрален, что потрясает до мозга костей.

Он проговаривает свою скороговорку, которую уже несколько часов произносит перед каждым узником:

– Имя, номер, возраст, профессия.

Дита знает, что палочка-выручалочка для каждого – это наименование профессии, которая может понадобиться немцам (плотник, земледелец, механик, повариха...), а для детей – вытянуться повыше и прибавить себе лет, чтобы вписаться в заданные параметры. Дита это знает и знает, что нужно быть осторожной, но ее характер диктует ей совсем другое.

Стоя перед всемогущим доктором Йозефом Менгеле, в чьих руках – жизнь и смерть, словно у олимпийского бога, она громко произносит свое имя – Эдита Адлерова, свой номер – 73305, свой возраст – шестнадцать лет (накинула год сверху), а когда дошла до профессии, то секунду поколебалась, а потом, вместо того чтобы назвать что-нибудь подходящее и полезное, что порадовало бы эсэсовца с Железным крестом на груди, она выпалила:

– Художница.

Скучающий Менгеле, уставший от того, что для него является не более чем рутинной, заглядывает ей в глаза с вдруг проснувшимся вниманием. Так внезапно поднимет голову змея, как только жертва оказывается в пределах ее досягаемости.

– Художница? И что же ты малюешь – стены или портреты?²⁰

Дита чувствует, как сердце громко стучится ей в ребра, но отвечает на своем безукоризненном немецком полным предложением, которое в данной обстановке пахнет мятежом.

– Я пишу портреты, мой господин.

Менгеле смотрит на нее, слегка прикрыв глаза и изображая на лице легкую ироничную улыбку.

– А мой портрет ты могла бы написать?

Дита никогда прежде не испытывала такого страха. Невозможно оказаться в более уязвимой ситуации: тебе пятнадцать лет, ты стоишь одна, совершенно голая, перед мужчинами с автоматами в руках, которые прямо сию секунду решают, убить тебя или дать еще немного пожить. Пот градом катится по ее обнаженной коже, капая на пол. Но отвечает она неожиданно твердо:

– Да, мой господин!

Менгеле внимательно разглядывает ее. В том, что капитан медицинской службы задумался, нет ничего хорошего. Любой старожил лагеря скажет, что эта голова не может выдумать ничего хорошего. В этой сцене принимают участие все. В бараке царит мертвая тишина, никто не смеет вздохнуть. Даже эсэсовцы с автоматами не решаются прервать раздумья доктора. Наконец Менгеле игриво улыбается и жестом затянутой в перчатку руки посылает ее направо, в группу годных.

Но Дита пока что не может вздохнуть с облегчением – наступает очередь мамы. Она замедляет шаг и поворачивает голову назад, чтобы видеть ее.

Лизль – женщина с грустным лицом и телом, с опущенными плечами, что еще больше усиливает болезненность ее вида, она совершенно убеждена, что не пройдет этот отбор, поражение она потерпела еще до начала битвы. У нее нет ни одного шанса, и врач не тратит на нее ни одной лишней секунды.

²⁰ И в немецком, и в испанском языках «художник» и «маляр» – одно и то же слово.

– *Links!* ²¹

Налево. Большая группа, группа никуда не годных.

Тем не менее, без малейшего намека на сопротивление чему бы то ни было, всего лишь вследствие заторможенности ее матери (или это Дите только кажется?), Лизль идет направо, вслед за дочкой, и встает вовсе не в тот ряд, который ей был указан. У девочки перехватывает дыхание: что мама здесь делает? Ее выволокут отсюда силой, ужасная сцена! Она, конечно, вцепится в свою мать, будь что будет. Пусть вытаскивают их обеих.

Но судьба, которая так плохо обходилась с ними все это время, теперь распорядилась так, чтобы как раз в этот момент ни один из охранников, утомленных рутинной покорностью заключенных и более озабоченных тем, чтобы разглядывать молоденьких девушек, а не контролировать все вокруг, этого не заметил. Ничего не заметил и Менгеле, которого в ту самую минуту отвлек своим вопросом регистратор, не расслышавший последнего номера и попросивший доктора его повторить. Некоторые из женщин, также посланные в левую группу, принимались кричать, умолять, бросались на пол, и охранникам приходилось тащить их туда волоком. Но мама Диты не жаловалась и не протестовала. С абсолютной покорностью прошествовала она обнаженной перед лицом смерти с таким спокойствием и естественностью, которые были бы невозможны и для самых смелых храбрецов.

Дита прикладывает руку к груди, чтобы сердце не выпрыгнуло. Она смотрит на маму, которая стоит прямо за ней и смотрит на нее с отсутствующим видом, как будто не имея никакого отношения к тому, что только что сделала: послушалась Менгеле, замерев на секунду, а потом направившись в прямо противоположную сторону относительно той, что была ей указана, пока за столом сверяли списки, а солдаты пилились на девушек. Просто ошибка мамы, ясное дело, она просто не поняла команды. Она не настолько смелая, чтобы выкинуть нечто подобное специально... хотя Дита вообще-то не знает, что и думать. Не произнесла ни слова, они сцепляют руки и сжимают пальцы настолько крепко, насколько хватает сил. И смотрят друг другу в глаза. Этот взгляд говорит им обо всем. Подходит и встает в ряд еще одна женщина, прямо за мамой Диты, скрывая ее тем самым от взгляда охранников.

Их отводят в карантинный лагерь. Там происходит все сразу: и радостные объятия тех, кто оказался в этой группе, группе людей, только что избежавших смерти, и тоскливые лица тех, кто ждет у входа в лагерь своих родных и друзей, войти которым сюда не суждено. Пани Турновской с ними нет, как нет и других женщин, так долго общавшихся с мамой. Нет здесь и детей. Никаких известий о Мириам Эдельштейн. С другой стороны, верно и то, что творится настоящее столпотворение и что первые группы начинают уводить на перрон еще до того, как селекция в лагере ВІІб подошла к концу. Маргит с ними тоже нет.

Да, они только что избежали смерти. Но выжить – это слишком небольшое утешение, когда столько невинных душ остаются здесь, чтобы погибнуть.

²¹ Налево! (нем.)

Весна 1945 года

И снова поезд. Прошло восемь месяцев с момента ликвидации семейного лагеря, и вот они снова в вагоне для перевозки скота, вновь везущем их в направлении, о котором им ничего не известно. Сначала был переезд из Праги в Терезин. Потом – из Терезина в Аушвиц. Затем – из Аушвица в Гамбург. А в данный момент Дита не имеет ни малейшего понятия, куда приведет ее этот рельсовый исход, пустивший под откос всю ее юность.

На перроне Аушвица их с мамой толчками запихнули в товарный вагон и вместе с большой группой женщин отправили в Германию. То путешествие было переполнено голодом, жаждой, горем матерей, лишенных детей, дочерей, оставшихся без матерей, сестер, потерявших сестер. Когда по приезде в Гамбург дверь вагона открыли, эсэсовцы увидели контейнер, наполненный сломанными куклами.

Переезд из Польши в Германию ни к каким улучшениям в их положении не привел. В Германии войска СС имели гораздо больше известий о войне, что только повышало общий уровень нервозности. Германия отступала по всем фронтам, и горячая мечта о Третьем Рейхе начинала трещать по всем швам. Злость и разочарование вымещались на евреях, которые тут же оказались виновниками теперь уж неизбежного поражения.

Женщин поместили в лагерь, рабочий день в котором был так долгод, что создавалось впечатление, что часов в сутках гораздо больше, чем двадцать четыре. После возвращения в барак у них не оставалось сил даже на жалобы. Единственное, что получалось, это молча проглотить суп и вытянуться на нарах, чтобы постараться восстановить силы для следующего рабочего дня.

От месяцев, проведенных в Гамбурге, у Диты остался один-единственный застрявший гвоздем в мозгу образ: образ ее матери перед упаковывающей кирпичи машиной, а из-под головного платка мамы по лбу стекают капельки пота. Женщина буквально обливалась потом, но выражение на ее лице было таким безразличным, сосредоточенным и спокойным, как будто она готовит на кухне салат с баклажанами.

Дита страдала из-за нее. Мама была уже столь хрупкой, что даже небольшое увеличение рациона питания по сравнению с Аушвицем не помогло ей поправиться ни на грамм. Разговаривать во время работы запрещалось, но когда Дита, что-то разгружая, оказывалась неподалеку от ленты конвейера, где работала мама, то жестом спрашивала мать о самочувствии, и Лизль всегда отвечала ей утвердительным кивком и улыбкой. С ней всегда все было хорошо.

Диту эти ответы подчас просто выводили из себя: если человек, как бы он себя ни чувствовал, всегда говорит, что чувствует себя хорошо, как же можно выяснить, что происходит на самом деле, когда ему хорошо, а когда – плохо?

Но пани Адлерова для Эдиты всегда чувствует себя хорошо.

В эту минуту, в поезде, Лизль делает вид, что спит, опершись головой о стену вагона. Она знает, что Эдита хочет, чтобы мама больше спала, хотя на самом деле ей уже многие месяцы едва ли удастся ночью заснуть, и то совсем ненадолго. Но говорить об этом дочке она вовсе не собирается. Слишком еще юна ее дочь, чтобы понять трагедию матери, которая не может обеспечить своему ребенку счастливое детство.

Единственное, что Лизль Адлерова еще может сделать для своей дочки, которая уже сейчас сильнее, умнее и храбрее ее самой, так это приложить все свои усилия к тому, чтобы та не беспокоилась еще больше. То есть говорить, что чувствует себя превосходно, хотя со времени смерти мужа внутри у нее зияет рана, которая не закрывается и постоянно кровоточит.

Работа на заводе была недолгой. Нервозность в высшем нацистском руководстве порождала противоречивость распоряжений. Через несколько недель их перевезли на другую фаб-

рику, которая занималась переработкой военного снаряжения. В одном из цехов производился ремонт дефектных бомб, которые так и не взорвались. Казалось, никого особенно не пугала такая работа, и мать с дочерью тоже: работа под крышей, так что, если дождь – не намокнешь.

Однажды вечером, направляясь после работы в свой барак, Дита увидела, как из мастерской выходит Рене Науман, оживленно болтая с другими девушками. Дита остановилась и уже было направилась в ее сторону. Она действительно была рада ее видеть. Рене вежливо ей улыбнулась, но лишь издали махнула рукой и отправилась своей дорогой, не останавливаясь и не прерывая разговора с приятельницами. «Она завела себе новых подруг, – подумала Дита, – других, которые не могут знать, что когда-то в друзьях у нее ходил эсэсовец, тех, кому ей не нужно ничего объяснять». Остановиться и встретиться со своим прошлым она не захотела.

Их снова мобилизовали, не сообщив, куда повезут. В очередной раз они уподобились скоту, который нужно куда-то транспортировать.

– С нами обращаются как с барашками, которых везут на бойню, – слышится жалобный комментарий какой-то женщины, судя по выговору, из Судет.

– Еще чего! Да такое нам и не снилось! Ведь овец, которых везут на бойню, кормят.

Товарный вагон покачивается на стыках рельс, издавая мерный звук швейной машинки: похоже на железную печку, в которой варится пот. Дита с мамой сидят на полу, вокруг них – женщины самых разных национальностей, многие – немецкие еврейки. Из тысячи женщин, вышедших восемь месяцев назад из семейного лагеря Аушвица-Биркенау, половина была оставлена в Гамбурге, на фабрике, расположенной за городом, на берегу Эльбы. Все истощены и измучены. Все последние месяцы были заполнены изнурительной работой на фабриках и заводах, работой с бесконечными часами неимоверно долгого трудового дня, в экстремальных условиях. Дита смотрит на свои руки – руки дряхлой старушки.

Хотя усталость может иметь и совсем другое объяснение. Долгие месяцы они передвигаются из одного места в другое, всюду их гоняют толчками, под угрозой смерти, они мало спят, еще хуже питаются и при этом не знают, есть ли во всем этом хоть какой-нибудь прок, увидят ли когда-нибудь их глаза конец этой войны.

Хуже всего то, что Дите все становится безразличным. Апатия – худший из всех возможных симптомов.

Нет, нет, нет... Я не покорюсь, не сдамся.

Она щиплет себя за руку, пока не становится на самом деле больно. Щиплет еще, сильнее, почти что до крови. Ей нужно, чтобы жизнь отдавалась в ней болью. Когда что-то причиняет тебе боль, это значит, что тебе не все равно.

Дита вспоминает Фреди Хирша. В последние месяцы она уже меньше думает о нем, поскольку воспоминания укладываются, наконец, по своим местам. Но она все еще задается вопросом о том, что же случилось тем мартовским вечером. Тот длинноногий парень сказал, что Фреди не покончил с собой... Что же тогда – обсчитался при приеме успокоительных? Дита очень хочет думать, что не сам он вымарал себя из этого мира, что произошла ошибка. С другой стороны, она знает, что Фреди был крайне методичным человеком, по-немецки методичным. Как же мог он выпить по ошибке двадцать таблеток сразу?

Она глубоко вздыхает. Быть может, все это уже неважно: его нет, он никогда не вернется. Что уж теперь.

По составу ползет слух, что их везут в лагерь под названием Берген-Бельзен²². Они слушают, как в разных местах вагона обсуждаются плюсы и минусы нового для них лагеря. Некоторые женщины слышали, что этот лагерь – рабочий, что он ничего общего не имеет с Аушвицем или Маутхаузен²³, единственное производство в которых – это производство смерти.

²² Берген-Бельзен – нацистский концлагерь, который был расположен в провинции Ганновер, Германия.

²³ Маутхаузен – нацистский концлагерь, который был расположен недалеко от города Маутхаузен, Австрия.

Так что их везут вовсе не на бойню. Новости звучат утешительно, но большинство молчит, потому что надежда их истончилась до состояния бритвенного лезвия. И каждый раз, когда ты за нее хватаешься, она тебя ранит.

– Я из Аушвица, – заявляет одна. – Ничто не может быть хуже.

Другие женщины ничего не говорят. Это их не убеждает. Эту логику они не воспринимают. За последние годы они имели возможность убедиться в том, что ужас дна не имеет. Они не верят. Они как ошпаренные кипятком кошки, которые бегут от холодной воды. Опасаются. Однако самое жуткое во всем этом – то, что они будут правы.

Расстояние от Гамбурга до Берген-Бельзена совсем невелико, но поезду понадобится несколько долгих часов хода, прежде чем он с зубовым скрежетом остановится. Со станции до женского лагеря они идут пешком, в сопровождении представительниц женского подразделения охраны СС, которые их яростно толкают и осыпают самыми грязными ругательствами. Во взглядах – синяя поволока. Одна из заключенных посмотрела на охранницу, а та плюнула ей в лицо: нечего смотреть, отведи взгляд.

– Свинья, – шепчет себе под нос Дита. Ее мать тут же щиплет ее в бок, чтобы умолкла.

Дита задается вопросом: почему же они так злобно обращаются с узницами? Ведь это узницы – унижены, лишены всего, только что ступили на территорию лагеря и никому ничего плохого не сделали, да и не будут делать ничего, кроме как повиноваться и до изнеможения работать на Рейх, не выдвигая никаких требований. Однако эти крикливые девахи – сытые, в удобной одежде, – сущие фурии. У нее это в голове не укладывается. Охранницы орут, колотят по ребрам дубинками, оскорбляют самыми грязными ругательствами и яростно кидаются на только прибывших покорных им женщин. В очередной раз Дита изумляется раздражению агрессора, гневу и ярости по отношению к тому, кто не сделал ничего плохого.

Когда все построились, появляется старшая надзирательница. Высокая блондинка с широкими плечами и квадратной челюстью. Во всех ее движениях сквозит уверенность человека, привыкшего отдавать приказы, а также к их немедленному исполнению. Громоподобным голосом она сообщает им о категорическом, под страхом смерти запрете выходить из барака после сигнала отбоя, который звучит в семь вечера. Потом замолкает и жадно прочесывает взглядом ряды женщин, которые смотрят прямо перед собой.

Одна молодая девушка допускает неосторожность взглянуть ей в глаза, после чего надзирательница в два прыжка оказывается прямо перед ней и вцепляется ей в волосы. Волоком вытаскивает ее из ряда и швыряет на землю перед строем. Хотя и создается впечатление, что на эту сцену никто не смотрит, но все ее видят. Она бьет девушку дубинкой один раз. Потом другой. И еще. Девушка не кричит, только всхлипывает. После пятого удара она уже не всхлипывает, а тихо стонет. Другие не слышат, что говорит ей надзирательница, наклонившись к ее уху, но узница встает, орошая землю кровью, и, шатаясь, возвращается на свое место в строю.

Старшую надзирательницу Берген-Бельзена зовут Элизабет Фолькенрат. Освоив профессию надзирательницы в Равенсбрюке, она прошла через Аушвиц, где выковала себе железную репутацию за счет той легкости, с которой отдавала приказы казнить через повешение за любую самую малую провинность. В начале 1945 года ее перевели в Берген-Бельзен.

По пути колонна узниц проходит через несколько огороженных участков, на которых расположены различные лагеря, или зоны, о которых им еще только предстоит узнать. Мужской лагерь, звездный лагерь, где содержатся заключенные, предназначенные для обмена на немецких военнопленных, нейтральный лагерь для нескольких сотен евреев с паспортами нейтральных стран, карантинный лагерь, предназначенный для заболевших тифом, венгерский лагерь, а также внушающий особый ужас лагерь-тюрьма, который на самом деле есть не что иное, как зона истребления, куда помещают больных заключенных из других, производственных, лагерей и где их заставляют работать в экстремальных условиях, чтобы выжать из них последние силы и тем самым обречь на смерть в считанные дни.

Наконец колонна доходит до небольшой женской зоны, которую обустроили на пустыре рядом с основным концлагерем явно в спешке, в силу возникшей необходимости: прибытия целого вала заключенных, депортированных за последние месяцы из других лагерей в Берген-Бельзен. Это временный лагерь со сборными бараками – без водопровода и канализации. Ничего, кроме четырех тонких стенок из дерева.

В бараке, в который определили Диту и ее маму наряду с еще полусотней женщин, нет ужина, нет коек, а от одеял разит мочой. Спать устраиваются на полу, да и тот уже практически весь занят.

Берген-Бельзен создавался как лагерь для военнопленных и входил в сферу ответственности вермахта, но наступление русских в Польше повлекло за собой массовую депортацию заключенных из расположенных на польской земле концлагерей в Берген-Бельзен и передачу контроля над ним войскам СС. Новые транспорты прибывают безостановочно, в силу чего инфраструктура лагеря уже не справляется. Скученность, нехватка продовольствия и отсутствие условий для личной гигиены приводят к взрывному росту массовой гибели заключенных.

Мать и дочь переглядываются. Лицо Лизль скорбно вытягивается, когда она видит своих новых соседок по бараку – вконец отошавших, на вид больных. Однако что хуже всего, так это выражение на многих лицах: взгляд потерянный, у большинства выражение полной апатии, как будто они уже распрощались с жизнью. И Дита не знает, к кому относится мамина гримаса – к этим живым мертвецам или к ним самим, потому что невозможно усомниться в том, что и сами они очень скоро станут такими же. Старожилы барака едва ли как-то реагируют на суматоху в связи с вновь прибывшими. Многие так и не поднимаются со своих импровизированных кроватей – кучек старых одеял на полу. Некоторым подняться явно не под силу, даже если бы и возникло такое желание.

Дита расстилает на полу мамино одеяло и просит ее лечь. Пани Адлерова слушается дочку и съезживается на одеяле. При этом замечает, как на него прыгает целая армия блох, но никак не реагирует. Ей уже все равно. Одна из вновь прибывших спрашивает у старожилки, какого рода работы выполняют здесь заключенные.

– Здесь нет уже никаких работ, – нехотя отвечает одна из лежащих женщин. – Здесь только выживают, пока это возможно.

В течение дня слышны взрывы бомбардировок авиации союзников, а ночью видны всполохи взрывов. Фронт уже совсем близок, к нему почти что можно прикоснуться кончиками пальцев. Среди узников распространяется некая эйфория. Взрывы бомб союзников – гроза, которая приближается. Кто-то уже мечтает о том, что будет делать, когда кончится война. Беззубая женщина говорит о том, что засадит весь сад тюльпанами.

– Не будь дурой, – отвечает ей чей-то сумрачный голос. – Если бы у меня был сад, я бы засадила его картошкой, чтобы не голодать больше ни одного дня в жизни.

Поутру они осознали смысл слов старожилки о том, что в Берген-Бельзене не работают, а всего лишь выживают. Их разбудили криками и пинками две эсэсовки, и вот уже все торопятся выйти из барака на построение. Но вдруг эсэсовки исчезают, и довольно долго узницы толпятся в дверях барака, ожидая дальнейших распоряжений, которые не поступают. Некоторые из старожилок не стали подниматься со своих одеял, стоически снося удары в бок, но оставаясь неподвижными.

Проходит больше часа, прежде чем появляется охранница и требует громкими криками, чтобы все строились на перекличку, но тут же соображает, что списки заключенных отсутствуют, и взывает к *капо* барака. Никто не отвечает. Вопрос повторяется три раза, с каждым разом все яростнее.

– Суки треклятые! Где, черт побери, эта хренова *капо* этого долбаного барака?

Никто не отвечает. Покраснев от злости, охранница хищно хватается за шею первую попавшуюся под руку узницу и спрашивает ее, где *капо*. Узница оказалась новенькой, она хрипит,

что не знает. Тогда охранница поворачивается в другую сторону – к старожилке, опознать которую не составляет труда по дистрофической худобе, и повторяет свой вопрос, нацеливая на нее дубинку.

– Ну?

– Умерла позавчера, – отвечает ей женщина.

– А новая *капо*?

Заключенная пожимает плечами.

– Ее нет.

Охранница впадает в задумчивость – она не знает, что делать. Можно тут же назначить на роль *капо* любую заключенную, но заключенных, которые были бы обычными преступницами, тут нет: в бараке одни еврейки, так что такое решение может выйти ей боком. Подумав немного, она разворачивается и уходит. Старожилки по собственной инициативе выходят из строя и возвращаются в барак. Новенькие переглядываются, все еще стоя возле входа в барак. Дита думает, что она предпочла бы остаться на улице: внутри ее уже заели блохи и вши, и все тело у нее чешется. Но мама устала и кивком приглашает ее вернуться в барак.

Войдя внутрь, они спрашивают у одной из старожилок, в котором часу приносят здесь завтрак. Красноречивая гримаса, одним из компонентов которой является горькая усмешка, говорит лучше всех слов.

– В котором часу завтрак? – подхватывает тему другая женщина. – Мы молимся о том, чтобы сегодня был обед.

Все утро заключенные ничего не делают, пока не раздастся злобный крик “*Achtung!*”²⁴, который очень быстро всех поднимает на ноги. В барак входит начальница в сопровождении двух охранниц. Тростью она тычет в сторону одной из старожилок и спрашивает ее, есть ли покойники. Заключенная показывает в глубь барака, а другая, в противоположном конце помещения, показывает на пол. Женщина не отреагировала на приказ и не поднялась. Она мертва.

Фолькенрат быстро обводит взглядом узниц и указывает на четырех заключенных: двух старожилок и двух новеньких. Слов не нужно – старожилки знают, что следует делать. Обе с небывалым энтузиазмом подбегают к телу, каждая из них хватается за ногу покойницы. Они знают, что нужно занять хорошее место: со стороны ног тела весят меньше. Кроме того, это наименее неприятная часть трупа. Трупное окоченение привело к раскрытию челюстей, и покойница застыла с открытым ртом и распахнутыми глазами. Старожилки кивком головы показывают двум новеньким, чтоб подошли и помогли. Взявшись вчетвером, они пробираются к выходу из барака, перемещая покойницу на весу.

Охранницы снова исчезают, и до самой темноты в барак больше никто не заходит. Вскоре в дверь просовывается голова охранницы и дает приказ четырем узницам отправиться на кухню за супом. Тогда все оживают и слышатся торжествующие возгласы.

– Ужин!

– Слава тебе, господи!

Появляются посланные на кухню узницы, несущие на двух деревянных палках, чтобы не обжечься, котел, – сегодня на ужин суп.

– Здешний повар прошел ту же школу, что и его коллега в Биркенау, – отмечает Дита между двумя глотками.

Мама ерошит ей отросшие волосы, которые уже начали кольцами закручиваться вверх.

В последующие дни анархия будет только расти. Будут дни, когда узники получают суп днем, но без намека на завтрак и ужин. Изредка – такие, когда случится и обед, и ужин. И такие, когда еды не будет весь день. Голод превращается в пытку и в источник беспокойства, он отключает голову и не дает думать: единственное, на что способны узницы, – агонизировать

²⁴ Внимание! (нем.)

и ждать следующей кормежки. Такая прорва свободного времени вместе с тоской голодного желудка приводят к тому, что разум и сознание разжижаются, и все начинает распадаться.

29

Заклученные продолжают прибывать и в последующие недели, еды же при этом становится все меньше. Смертность растет по экспоненте. Даже без газовых камер Берген-Бельзен становится настоящей машиной смерти. Каждый день из барака нужно выносить около полудюжины трупов. Официально они проходят как умершие от естественных причин. Смерть в Берген-Бельзене столь же естественна, как навозная муха в конюшне.

Когда являются охранники – выбрать заключенных, которым придется выносить трупы сегодня, – все замирают в трепетной надежде, что выигрыш в этой лотерее обойдет их стороной. И Дита тоже.

Но этим утром жребий выпал именно ей.

Эсэсовка, без всякого сомнения, указала палкой именно на нее. Она стала последней, кого сегодня выбрали, так что, когда она добирается до тела, места у ног уже заняты. Ей и еще одной женщине – очень смуглой, возможно, цыганке – достается участь брать покойницу за плечи. За эти годы трупов она повидала уже немало, но вот касаться мертвецов ей пока не приходилось. Дита случайно задевает руку умершей, и мраморный холод этой руки вызывает у нее дрожь.

Им со смуглянкой достается основной вес тела. Диту шокирует, что руки у покойницы утратили способность к движению: теперь они твердые, полусогнутые, словно у куклы-марионетки.

Одна из тех двух женщин, которым выпало нести ноги покойной, указывает дорогу, и они доходят почти до самой ограды. Два вооруженных автоматами охранника встают с обеих сторон и сопровождают четырех женщин, несущих тело. В таком сопровождении они выходят за пределы огороженных зон, где их встречает немецкий офицер в рубашке с закатанными рукавами и подает команду «стоять». Они останавливаются, не выпуская из рук умершую, и офицер производит визуальный осмотр тела. Он спрашивает номер барака и фамилию умершей. Записывает эти данные в блокнот, а потом делает им знак следовать дальше. Одна из старожилок шепотом объясняет, что это доктор Клине, что ему поручено вести контроль за очагами тифа. Если в каком-то бараке болезнь обнаружена, проводится жесточайшая селекция и всех заболевших отправляют в карантинный лагерь – умирать там.

По мере их продвижения вперед тошнотворное зловоние усиливается. В нескольких метрах впереди себя они видят группу жилистых мужчин. Грязные платки, которыми прикрыты их носы, придают им вид прокаженных. Прямо перед ними еще одна группа женщин-носильщиц опускает труп на землю, рядом с другими. Один из мужчин показывает жестом, чтобы положили тело. Мужчины скидывают покойников, словно мешки с картошкой, в огромную яму. Дита заглядывает за край ямы, и то, что она там видит, вызывает в ней такую дрожь, что приходится вцепиться в руку одной из женщин.

– Бог ты мой...

Огромный ров, наполненный телами. Те, что внизу, – обуглены, те, что сверху, – сложены штабелями друг на друге, в мешанине тел, в переплетении рук, ног, голов, желтой кожи. Смерть здесь лишена каких бы то ни было намеков на достоинство, низводя людей до уровня отбросов.

У Диты в животе перемешиваются все соки, но прежде всего в ней смещаются все самые глубинные представления о жизни и смерти.

Вот это и есть то, что мы из себя представляем? Куча разлагающейся материи? Горстка особым образом соединенных атомов, как в иве или в туфле?

Даже по старожилке, оказавшейся в этом месте далеко не в первый раз, видно, что ей не по себе. Возвращаются молча. Смерть, увиденная такой, какой она предстала взору в этом

рве, повергает любого человека в глубочайшую растерянность и ниспровергает то, во что он до сих пор верил: что жизнь священна.

Увиденная под таким углом зрения, она ничего не стоит.

Люди, которые еще несколько часов назад что-то чувствовали и о чем-то думали, заканчивают свой путь, словно содержимое мусорного ведра. Рабочие прикрывают лица платками, на первый взгляд – чтобы спастись от смрада. Но теперь Дите кажется, что они просто их прячут.

Им стыдно быть мусорщиками людей.

Когда Дита возвращается в барак и мама взглядом спрашивает ее о том, как все прошло, она закрывает лицо руками. Ей бы хотелось остаться одной. Но мать обнимает ее и никуда не отпускает.

Хаос в лагере все нарастает. Организованных рабочих бригад больше не существует, просто узникам приказано находиться возле своего барака в течение дня: на случай, если они понадобятся. Порой появляется охранница, энергично размахивая руками и сверкая весьма упитанными ляжками, и визгливым голосом громко выкрикивает несколько имен, чтобы эти люди отправились на рытье дренажных канав или на освободившиеся рабочие места в мастерских. Диту несколько раз направляли в мастерскую, в которой прокалывают отверстия на ремнях и поясах военной формы. Машины там очень старые, так что приходится приложить немало усилий, чтобы перфоратор проколол-таки кожаный ремень.

Однажды утром, когда проверка подходит уже к концу, перед строем обитателей барака появляется старшая надзирательница Фолькенрат. Ее легко узнать издали – по необычной, с претензиями, кичке на голове, из которой в разные стороны выпущено несколько белокурых прядей, так что голова выглядит скорее растрепанной, чем причесанной. Вид такой, будто дама только что сделала в парикмахерской дорогую укладку, после чего вдоволь покувыркалась в амбаре. Дита слышала, что в гражданской жизни она была парикмахершей, – слух, некоторым образом объясняющий эти столь мудреные прически, сооружаемые исключительно для того, чтобы крутиться посреди отбросов, вшей и тифа Берген-Бельзена.

От Фолькенрат все так же веет вечным гневом и яростью, которых пугаются ее собственные помощники. Дите приходит в голову, что, если бы Гитлер не пришел к власти и не начал войну, эта беззастенчивая дамочка, которая сейчас появилась перед ними со свойственным ей преступным блеском в глазах, была бы, наверное, одной из тех симпатичных, чуть полноватых парикмахерш, которые завивают девочкам локоны и весело болтают с клиентками в салоне красоты, обсуждая горячие новости квартала. А дамы, в том числе и немецкие еврейки, спокойно склоняли бы шеи, и она, с ножницами в руке, стригла бы им волосы, и никто бы нисколько не боялся доверить свой затылок рукам этой крупной женщины, любительницы фантазийных причесок. И если бы спустя годы кто-то осмелился высказать предположение, что Элизабет Фолькенрат могла бы стать убийцей, все знавшие ее страшно возмутились бы такой неслыханной напраслине. «Наша милашка Бет? Да она и муравья-то не убьет!» – сказали бы они в ответ со страшным негодованием. И потребовали бы от автора этого невообразимого навета немедленно от него отречься. И, возможно, были бы правы. Но все сложилось совсем иначе. И вот теперь, когда какая-нибудь из вверенных ей женщин ведет себя не совсем так, как хотелось бы Элизабет, безобидный работник парикмахерской обматывает ей шею веревкой и вешает.

Дита как раз погружена в эти размышления, когда вдруг ее мозг пронзает звук, подобный металлическому перфоратору в мастерской, что протыкает полоску кожи.

– Элизабет Адлерова!

В Берген-Бельзене административное делопроизводство устроено по-другому, и узников называют не по номерам, а по имени. Голос эсэсовки (властный, сильный, агрессивный, военный, нетерпеливый) снова вызывает... Элизабет Адлерову!

Ее мать несколько рассеяна. Она только еще собирается сдвинуться с места и выйти из строя, как Дита, гораздо более проворная, решительно делает шаг вперед.

– Адлерова, здесь!

Адлерова, здесь? Лизль широко открывает глаза и так изумляется смелости своей дочки, что в течение нескольких секунд не знает, что делать. А когда она решает выйти-таки перед строем и разъяснить охранникам возникшее недоразумение, уже слышится команда: «Разойдись!» Прибой людского движения, энергично вздымаясь то в ту, то в другую сторону, блокирует на месте пани Адлерову, и, когда людской водоворот исчезает, дочка уже вошла в барак, чтобы вынести покойниц этой ночи. Женщина так и стоит на месте, мешая соседкам по барaku, которые куда-то без толку спешат, будто вдруг забыли, что пойти им совершенно некуда. Скоро в дверях барака появляется Дита, неся вместе с тремя другими женщинами очередной труп. Мать, так и не сойдя с места, теперь уже одна-одинешенька посреди земляного проспекта, с досадой смотрит, как удаляется ее дочь.

Еще один поход к последней границе статуса человека.

Дита опять заглядывает в ров и опять возвращается бледной от подступившей тошноты. Все говорят, что тошноту вызывает смрад, но что в действительности выбивает из колеи, так это зрелище человеческих жизней, брошенных в мусорную яму, зрелище, привыкнуть к которому нелегко.

Она думает, что лучше бы к такому никогда и не привыкать.

Когда Дита возвращается к барaku, то обнаруживает, что ее мама все еще стоит недалеко от входа, как будто команды разойтись после утренней поверки не было. На ее лице читается ярко выраженная злость, даже ярость.

– Ты что, совсем ненормальная? Забыла, что подмена личности заключенного карается смертью? – выкрикивает мать.

Дита уже и не помнит, когда в последний раз мама на нее кричала. Узница, проходившая мимо, останавливается посмотреть на Диту, и та чувствует, как вспыхивают румянцем щеки. Она вовсе не считает, что заслужила это, и, хотя расплакаться никак не входило в ее намерения, глаза наполняются слезами. Только гордость помогает ей удержать эту влагу на краю век. Дита машет головой и разворачивается.

Она не выносит, когда мать обращается с ней как с ребенком. Это несправедливо, она ничем такого не заслужила. Собственно, она поступила так только потому, что знает: Лизль слаба, и сил таскать трупы у нее бы не хватило. Но мама даже не позволила ей ничего объяснить. Дита думала, что мама будет гордиться этим ее поступком, а вместо этого получает от матери худший со времен достопамятной пощечины в Праге выговор.

Она совсем не ценит то, что я делаю.

Дита чувствует себя непонятой. Она, конечно, находится в концентрационном лагере, но в то же время ничем не отличается от миллионов других подростков во всем мире, которые стоят на пороге шестнадцатилетия.

Однако Дита в корне ошибается, думая, что мама ею не гордится. Мать очень горда дочерью. Но не собирается ей об этом говорить. Все эти годы Лизль мучилась сомнениями относительно того, каким же человеком станет ее дочь после многих лет, проведенных в обстановке военных репрессий, не получив должного образования, живя в местах, инфицированных ненавистью и жестокостью. Но этот благородный поступок дочки подтвердил правоту ее интуиции и упрочил надежды: теперь она знает, что если Эдита выживет, то из нее получится настоящая женщина.

Но сказать обо всем этом дочке она не может. Оказать свою поддержку такому рискованному поступку означает окрылить девочку и побудить ее и впредь подвергать свою жизнь опасности, еще и еще раз, всего лишь затем, чтобы мать избегла некоего наказания. В любом случае, это ее дело и ее желание как матери – уберечь дочку от такого рода проблем. Потому

что для самой Лизль жизнь уже не может стать ни лучше, ни хуже. Пребывание в живых превратилось для нее в нечто пресное, как некоторые сорта рыбы после варки: берешь такую в рот, а вкуса не чувствуешь. Ее единственное счастье – горящие глаза дочери. Но та еще слишком мала, чтобы это понимать.

На следующий день в бараке появляется надзирательница, которую Дита окрестила Вороной мордой, и приказывает построиться перед баракком.

– Все! Любую, кто не встанет, пристрелю!

Нехотя, неспешно, женщины начинают двигаться.

– Одежда с собой!

Вот это новость. Женщины недоуменно переглядываются, но вскоре загадка разъясняется. Их переводят в Большой женский лагерь, чтобы освободить здесь место для только что прибывшего контингента. Заключенные в Большом лагере такие же истощенные, но там не хватает воды: ее распределяют в ограниченном объеме и только для питья; помыть или постирать ничего нельзя. Неразбериха такая, что у некоторых заключенных нет даже полосатой арестантской одежды. А другие поверх арестантской рубахи носят жилетку или еще какую-нибудь одежду. Грязь покрывает кожу узниц до такой степени, что уже и не разберешь: это куски материи или содранные почерневшие шматы кожи. Эсэсовец контролирует рабочую бригаду узниц, которые, сжав зубы, роют дренажную канаву. Их руки неотличимы от черенков мотыг.

Барак переполнен, но обладает одним преимуществом – в нем установлены нары, вроде тех, что были в Аушвице. То есть имеется спальное место с тощим тюфяком, набитым гнилой соломой и кишасим клопами, но когда на нем лежишь, в тебя по крайней мере не впиваются твои же собственные кости. Многие лежат на нарах. Большей частью это больные, они просто уже вообще не встают. Охранники к ним не подходят – боятся заразиться тифом. Но есть и те, что притворяются больными, чтобы их не беспокоили.

Мать с дочкой садятся на пустой тюфяк, на котором умещаются вдвоем. Мать очень устала, а вот Диту беспокойство заставляет подняться и отправиться по лагерю на разведку. Смотреть здесь, в общем-то, не на что: бараки и ограда. Есть кучки женщин, которые все еще что-то оживленно обсуждают. Это те, что прибыли с последними транспортом: у них в телах еще сохранился небольшой запас энергии. Но у многих нет уже сил на то, чтобы разговаривать. Ты на них смотришь, а они на тебя – нет.

Они опустили руки.

И тут Дита замечает возле боковой стены одного из барачков некую девушку в полосатом платье заключенной с белым платком на голове. Платок так и сверкает белизной посреди этой гигантской помойки. Дита смотрит на нее, потом прикрывает на секунду глаза, потому что ей кажется, что она увидела невозможное. А потом снова их открывает – нет, это не галлюцинация. Девушка все еще там.

– Маргит...

Она бросается бежать и на бегу еще и еще раз выкрикивает это имя – с силой, о наличии которой в собственном теле и не подозревала.

Ее подруга резко поднимает голову и собирается было встать, но в ту же секунду оказывается втянутой в смерч – это Дита бросилась на нее сверху, и вот они обе уже катятся по земле концлагеря, сплетаясь руками и ногами и громко хохоча. Потом они крепко сцепляются руками и смотрят друг на друга. И если в подобных обстоятельствах можно говорить о счастье, то эти двое в данный момент совершенно счастливы.

Они берутся за руки и идут к Лизль. Увидев маму Диты, Маргит подходит к ней и, хотя раньше никогда этого не делала, обнимает ее. Вернее, вешается ей на плечи; уже очень давно не находилось для Маргит надежного места, где бы можно было выплакаться.

Немного успокоившись, она рассказывает, что селекция в семейном лагере была ужасна: ее мать и сестру отправили в группу приговоренных. С выверенной до миллиметра точностью

человека, уже множество раз прокрутившего в голове одну и ту же сцену, Маргит описывает, как их послали в шеренгу немощных.

– В бараке я не сводила с них глаз все то время, что длился отбор, пока все не кончилось. Они стояли и держались за руки, очень спокойные. Потом меньшая группа – тех, кого признали годными, в которой была и я, – получила приказ выходить. Я не хотела уходить, но целая толпа женщин толкала и увлекала меня к выходу. Я видела Хельгу и маму по другую сторону от трубы дымохода, они становились все меньше и меньше, а вокруг – одни девочки и старухи. Они смотрели, как я ухожу. И знаешь, Дитинка? Глядя мне вслед, они... улыбались! Махали мне рукой на прощанье и улыбались. Веришь? Осужденные на смерть улыбались...

Маргит вспоминает эти мгновения, выжженные в ее памяти огнем, покачивая головой из стороны в сторону, словно сама не может в это поверить.

– Понимали ли они, что попасть в группу больных, старых и малых практически на сто процентов означает смертный приговор? Возможно, что да, что знали и радовались за меня, радовались тому, что я шла среди тех, кто еще мог спастись.

Дита пожимает плечами, а Лизль ласково проводит рукой по ее волосам. Обе они представляют себе сестру и мать Маргит в тот самый момент, когда ты уже по ту сторону добра и зла, когда борьба за выживание окончена и страха нет.

– Улыбались... – шепчет Маргит.

Ее спрашивают об отце; но с того самого утра в зоне ВІІб она его ни разу не видела.

– Я почти радуюсь, что ничего не знаю о его судьбе.

Может, он погиб, а может, и нет – неизвестность оставляет место надежде.

Маргит уже исполнилось семнадцать, но пани Адлерова говорит ей, чтобы она принесла сюда свое одеяло. Хаос стоит такой, что никто ничего не заметит, а они будут спать на этой койке вдвоем.

– Вам же, наверное, будет неудобно, – говорит Маргит.

– Зато мы будем вместе. – Ответ Лизль не допускает никаких возражений.

И она берет на себя заботу об этой девушке как о своей второй дочери. Для Диты Маргит – старшая сестра, которую ей всегда хотелось иметь. А поскольку обе они были смуглые и у обеих была одинаковая ласковая улыбка со слегка расставленными передними зубами, многие в семейном лагере были убеждены, что так оно и есть, они – сестры, а девушкам это заблуждение доставляло искреннее удовольствие.

Никто уже ничего не скажет им по поводу перехода Маргит в барак Диты. Никто и ни о чем уже не хочет знать. Всем все равно. Это не лагерь пленных, это лагерь поверженных.

В этот вечер они то и дело поглядывают одна на другую.

– Не слишком-то мы соблазнительно выглядим в этих вечерних платьях, – говорит подруге Дита, демонстрируя широкие рукава своего полосатого арестантского платья на несколько размеров больше, чем нужно.

Они разглядывают друг дружку. Замечают, что обе еще больше похудели и пообтрепались, но ни одна из них об этом не упоминает. Они друг друга подбадривают. Разговаривают, хотя рассказывать-то, собственно, не о чем. Хаос и голод, безграничная апатия, инфекции и болезни. Ничего нового.

Через несколько рядов от их койки две больные тифом сестры уже проигрывают свою партию в борьбе за жизнь. Младшая, Анна, мечется по койке в горячечном бреду. Состояние ее сестры Марго еще хуже. Она неподвижно лежит на нижней койке, связанная с этим миром тонкой нитью дыхания, которое постепенно угасает.

Если бы Дита подошла взглянуть на девочку, которая пока еще жива, то получила бы возможность убедиться, что та на нее очень похожа: подросток, тихая улыбка, темные волосы, мечтательные глаза. Как и Дита, эта девочка энергична и разговорчива, немного фантазерка и слегка мятежна. Как и у Диты, у этой девочки за шаловливой и неутомимой внешней оболоч-

кой скрывается вдумчивый и меланхолический внутренний голос, но это ее секрет. Обе сестры прибыли в Берген-Бельзен в октябре 1944 года из Аушвица, куда их депортировали из Амстердама. Их преступление, общее для них для всех преступление, заключалось в том, что они – еврейки. Пять месяцев – слишком большой срок, чтобы в этом гнилом болоте увернуться от смерти. Тиф над их юностью не сжался.

Анна умирает на своей жалкой койке, совершенно одна, на день позже, чем ее сестра. Их тела навсегда останутся в этой человеческой мусорной свалке – в братской могиле Берген-Бельзена. Но Анна сумела совершить нечто такое, чему суждено стать маленьким чудом: память о ней и о ее сестре Марго будет жива и многие годы спустя. В тайном убежище, в котором сестры прятались вместе со своими семьями в Амстердаме, она в течение двух лет вела дневник – писала заметки об их жизни в «заднем доме», служебных помещениях, примыкавших к конторе отца, вход в которые был замаскирован. Эти помещения и стали их убежищем. Целых два года жила там семья девочек вместе с семейством ван Пельсов и Фритцем Пфедфером благодаря помощи друзей их родителей, снабжавших укрывающихся продовольствием. Вскоре после заселения в «задний дом» там был отпразднован день рождения Анны, и среди полученных ею подарков оказалась записная книжка. И девочка решила, что, раз уж в заточении у нее не может быть близкой подруги, которой она могла бы поведать о своих переживаниях, она будет рассказывать о них той самой записной книжке, которую Анна назвала *Kimmi*. Анне не пришло в голову снабдить заметки о том периоде ее жизни, который прошел в «заднем доме», каким бы то ни было названием, но будущее об этом само позаботилось. Эти заметки вошли в историю под именем «Дневник Анны Франк».

30

Еда стала раритетом. Узникам едва перепадает несколько кусков хлеба, на которых нужно продержаться весь день. С исключительной редкостью появляется котел с супом. По сравнению с Аушвицем Дита с мамой исхудали. Заключенные, прожившие в этих условиях наибольшее количество времени, уже не тощие и даже не дистрофики: это деревянные куклы с веточками вместо рук и ног. Вода становится все большим дефицитом: чтобы набрать чашку из единственного крана, из которого еще что-то капает, нужно отстоять многочасовую очередь.

И вот в этот переполненный лагерь, в котором нет уже ничего, кроме инфекций и болезней, приходит еще один транспорт с женщинами. Это венгерские еврейки. Одна из вновь прибывших спрашивает об уборной. Наивная.

– В нашем распоряжении ванны комнаты с кранами из чистого золота. Спроси у Фолькенрат – пусть она принесет тебе баночку с ароматической солью для ванны.

Некоторые хохочут.

Уборных нет. Есть отверстия в полу барака, но емкости уже заполнены.

Другая новенькая из последнего транспорта, разозлившись, обращается к одной из охранниц, которые проводят построение, чтобы сообщить ей, что они – работницы, что их нужно вытащить из этой навозной кучи и послать на фабрику. Удача в ту минуту от нее отвернулась: случайным образом она обратилась к наименее рекомендуемому для подобных обращений лицу. Одна из старожилок шепчет ей на ухо, что это не кто иной, как старшая надзирательница Фолькенрат, что от нее нужно бежать как от тифа, даже быстрее, но предупреждение запоздало.

Эсэсовка невозмутимо поправляет кичку из белокурых волос, несколько съехавшую на сторону, после чего достает из кобуры пистолет «люгер» и приставляет дуло ей ко лбу. И сопровождает это действие столь бешеным взглядом, какой можно видеть только у брызжущих пеной псов, ставших предметом изучения Пастера²⁵. Заключенная поднимает руки, а ноги ее дрожат с такой силой, что кажется, будто она танцует. Фолькенрат смеется.

Только ей и смешно.

Ледяная трубка пистолета, приставленная к голове, и горячая моча, которая заструилась между ног. Не слишком уважительно – обмочиться перед старшей надзирательницей. Все присутствующие стискивают зубы и готовятся услышать грохот. Некоторые отводят глаза, не желая видеть, как разлетится на кусочки человеческая голова. Между бровями лоб Фолькенрат пересекает морщина, доходящая прямо до корней волос, – столь ярко выраженная и глубокая, что кажется черным шрамом. Костяшки пальцев руки, сжимающей пистолет, – белые от ярости. С гневным бешенством вдавливая она дуло пистолета в лоб женщины, которая плачет и мочится, все сразу. Наконец надзирательница отводит пистолет. У заключенной на лбу остается красный кружок. Движением подбородка Фолькенрат отправляет ее на место в строю.

– Нет, этого одолжения я тебе не окажу, сука жидовская. Сегодня не твой день.

И выпускает безумный хохоток, словно ножовку пустили в дело.

Женщина с белыми волосами с самого рассвета оплакивает умершую дочь. Причину смерти она не знает. Утром она встала на колени позади барака и принялась голыми руками ковырять землю в стремлении выкопать для дочери могилу. К вечеру ей удалось сделать углубление, но совсем небольшое – воробей и тот не поместится. Женщина валится в грязь, ее соседка по нарам подходит к ней, чтобы утешить.

– Что, никто не поможет мне похоронить дочь? – кричит лежащая ниц женщина.

²⁵ Луи Пастер (1822–1895) – французский микробиолог и химик, основоположник иммунологии.

Сил остается совсем немного, и никому не кажется разумным тратить их на то, помочь чему уже все равно нельзя. Несмотря на это, несколько женщин все же вызываются помочь и начинают копать землю. Но почва слишком жесткая, и исхудалые женские руки вскоре уже разодраны в кровь. Женщины, уставшие, страдающие от боли, прекращают работу, хотя все, чего они добились, – это вынуть пару горстей земли.

Подруга уговаривает мать отнести тело в братскую могилу.

– Эта могила... Видела я ее. Нет, пожалуйста, только не туда. Это оскорбление Господа...

– Она будет там вместе с другими невинно убиенными. Там ей не будет одиноко, – уговаривают ее.

Женщина долго не соглашается. Ничто не способно ее утешить.

Лагерь смердит. Земля усеяна следами кишечных извержений больных дизентерией, у которых едва хватает сил опереться о стенку барака, а если не хватает – они падают на землю прямо в собственные испражнения, и никто не приходит на помощь. Если у покойника есть родственники или друзья, его относят в братскую могилу. Если нет – труп так и остается посреди земляных улиц и переулков лагеря, пока какой-нибудь эсэсовец не вытащит из кобуры пистолет и не прикажет первым попавшимся на глаза узникам оттащить его.

Три женщины медленно проходят сквозь лагерь, но пейзаж одинаково удручающ во всех его углах. Дита одной рукой берет руку Маргит, другой – мамину. Мамина рука дрожит – то ли от лихорадки, то ли от ужаса. Отличить болезнь от деградации уже невозможно.

Возвращаются в барак, но там еще хуже. Горький запах болезней, стелания, вздохи, монотонные звуки молитв. Многие больные уже не могут встать со своей койки. Как правило, это означает, что ходят они под себя, и смрад стоит неимоверный.

Изнутри барак весьма напоминает приют для неизлечимо больных. На самом деле так оно и есть. Дита всматривается в удручающий сумрак рядов коек. Возле некоторых родные и друзья пытаются облегчить участь заболевших. Но большей частью больные в одиночестве страдают, в одиночестве агонизируют, в одиночестве умирают.

Дита с матерью решают выйти из барака. Наступил апрель, но в Германии все еще стоит по-зимнему холодная погода, тот холод, от которого болят зубы, скрючиваются пальцы и немеют носы. Обычная реакция человека, оставшегося под открытым небом, – дрожь.

– Лучше умереть от холода, чем от тошноты, – говорит Дита матери.

– Не будь грубиянкой, Эдита.

Немалое количество и других заключенных предпочитают, как и они, остаться на свежем воздухе. Лизль и двум девушкам удалось найти свободное место у стены барака, на которую можно облокотиться, и там они и устроились, завернувшись в одеяла, к которым лучше не присматриваться. Лагерь закрыт – никто в него не входит и не выходит, и только немногочисленные охранники с автоматами поглядывают вниз со смотровых вышек. Они могли бы попытаться бежать – если поймают, то умрут они, по крайней мере, быстрой смертью. Но сил не осталось даже на попытку. Ничего не осталось.

По мере того как проходит день за днем, все разваливается. Патрули эсэсовских охранников перестали заходить в лагерь, который превратился в клоаку. Никакой еды нет уже несколько дней, к тому же закончилась вся вода. Некоторые пьют из лужи, и вскоре их уже крутят судороги, а дальше – смерть от холеры. Дита оглядывается вокруг и закрывает глаза, чтобы больше не видеть, как непристойно, у всех на виду, гниет жизнь. С каждым днем становится теплее, и трупы разлагаются с большей скоростью. Рук, чтобы хотя бы вынести трупы, нет.

Почти никто не поднимается со своего места. Много таких, кто не поднимется уже никогда. Некоторые еще пытаются, но у них подгибаются тонкие, словно провололочные, ноги, и несчастные падают на землю, покрытую нечистотами. Кто-то с шумом падает на какой-нибудь труп. Различить живых и мертвых очень трудно.

Взрывы и грохот боев с каждым днем все ближе, все слышнее. Выстрелы все звонче, от разрывов бомб щекотно в стопах, единственная их надежда – что этот ад в свое время закончится. Однако смерть на своем собственном фронте оказывается, судя по всему, гораздо более проворной и результативной.

Дита обнимает маму. Переводит взгляд на Маргит, сидящую с закрытыми глазами, и решает, что дальше бороться не будет. И тоже опускает веки: занавес упал. Когда-то она пообещала Фреди Хиршу, что выстоит. Сама Дита не сдалась, но вот ее тело – да. В любом случае, не кто иной, как Фреди Хирш, в конце концов ушел сам... Или нет? Уже неважно.

Когда закрываются глаза, сразу же исчезает ужас Берген-Бельзена и Дита переносится в санаторий Берггоф из «Волшебной горы». Ей даже кажется, что кожу овеивает холодный, кристально-чистый альпийский ветер.

Слабость тела питает слабость разума, и вот замки отмыкаются, двери воспоминаний открываются, и все они начинают наползать друг на друга, беспорядочно смешиваясь в ее голове. Путаются времена, места и персонажи, которых Дита знала в реальной жизни, и другие, почерпнутые из книг, и она уже не способна отличить свои реальные воспоминания от тех, что были вылеплены из теста ее фантазии.

И она уже не знает, кто же был более настоящим: высокомерный доктор Беренс из Берггофа – тот, что занимался здоровьем Ганса Касторпа, или доктор Менгеле; в какой-то момент она видит их обоих гуляющими по дорожкам санаторского парка. Беседа протекает весьма оживленно. Вдруг она оказывается в некой столовой, где за столом, уставленным великолепнейшими яствами, видит аристократичного доктора Мансона из «Цитадели», красавца Эдмона Дантеса в его распахнутой на груди блузе моряка и мадам Шоша, элегантную, весьма соблазнительного вида даму. Она присматривается и замечает, что во главе стола сидит не кто иной, как доктор Пастер, который вместо того, чтобы резать на порции сочного, только что снятого с огня гуся ножом, разделяет его на части при помощи скальпеля. Тут же появляется пани Кризкова, которую сама она всегда называла «пани Лишайкой», упрекая в чем-то официанта, пытающегося от нее улизнуть. Лицо официанта – лицо Лихтенштерна. Другой официант, гораздо более упитанный, приближается к столу с подносом в руках, на котором покоится вкуснейший мясной пирог, но тут же, с какой-то неслыханной неловкостью, спотыкается, и блюдо с громким треском летит на стол, обрызгивая каплями жира сотрапезников, которые взирают на него с нескрываемым упреком. Официант покаянно извиняется за свою оплошность, склоняя голову с выражением величайшего смирения и в то же время проворно собирая на поднос развалившийся на куски пирог. Наконец Дита узнает его: это же пройдоха Швейк выкинул один из своих фирменных номеров! Ни малейшего сомнения: вернувшись в кухню с этим пирогом, он закатит настоящую пирушку для поварят.

Ее сознание размягчается, как сливочное масло. Ну и хорошо, так лучше. Она постепенно уходит от реальности и отдает себе в этом отчет. И ей все равно. Она чувствует себя счастливой, как когда-то в детстве, когда после того, как захлопывалась дверь в ее комнату, весь мир оставался за ней и ничто уже не могло причинить девочке ни малейшего вреда. Голова кружится, мир скрывается в густом тумане и начинает растворяться. Ее глаза видят вход в туннель.

Вдруг в голове начинают звучать голоса – странные, потусторонние. Она чувствует, что уже перешла границу и находится по ту сторону, в некоем месте, где звучат громкие мужские голоса, говорящие на непонятном ей языке. Слышна какая-то загадочная галиматья, которую могли бы расшифровать только избранные. Она никогда не задумывалась о том, на каком языке говорят на небе. Или в чистилище. Или в аду. Язык, которого она не понимает.

Также до нее доносятся истеричные крики. Но этот визг, такой пронзительный... слишком много эмоций, тем светом это быть не может. Этот визг точно принадлежит этому омерзительному миру. Значит, она еще не совсем умерла. Дита открывает глаза и видит, как встают

узницы и начинают кричать как безумные, впадая в какую-то внезапную истерию. Народ кричит, бормочет, что-то шумит, звучат свистки и слышен четкий ритм шагов. Она так ошарашена, что ничего не понимает.

– Все сошли с ума, – шепчет про себя Дита. – Лагерь превратился в сумасшедший дом.

Маргит тоже открывает глаза и испуганно глядит на подругу, как будто они еще способны чего-то пугаться. Дита касается руки матери, и та тоже открывает глаза.

Теперь они видят: в лагерь входят солдаты. С оружием, но это не немцы. Форма у них какого-то светло-коричневого цвета, совсем не похожа на ту черную, которую они видели до сих пор. Солдаты сначала наводят во все стороны свои винтовки, но почти сразу же их опускают, а некоторые закидывают их за плечо и хватаются руками за голову.

– *Oh, my God!* ²⁶

– Кто это, мама?

– Англичане, Эдита.

– Англичане...

Дита с Маргит так же широко открывают от удивления рты, как и глаза.

– Англичане?

Юный унтер-офицер забирается на пустой деревянный ящик, складывает руки в рупор и на примитивном немецком объявляет:

– Именем Соединенного королевства Великобритании и ее союзников этот лагерь объявляется свободным. Вы свободны!

Дита локтем толкает Маргит. Ее подружку словно парализовало, она не может говорить. И хотя только что она думала, что сил у нее совсем не осталось, Дите удастся встать на ноги и положить одну руку на плечо Маргит, а второй опереться на мать, которая тоже выглядит оглушенной. И произносит фразу, которую все свое детство надеялась иметь возможность произнести.

– Война кончилась.

И тут библиотекаря блока 31 начинает плакать. Она плачет обо всех тех, кто не смог дожить до этого момента и увидеть все своими глазами: о своих бабушке и отце, Фреди Хирше, Мириам Эдельштейн, профессоре Моргенштерне... Обо всех тех, кого нет сейчас рядом с ней и кто не может этого видеть. Горькая радость.

Один из солдат подходит к выжившим узницам женского лагеря и кричит им по-немецки с валлийским акцентом, что лагерь освобожден, что они свободны.

– Свободны! Свободны!

Какая-то женщина подползает к нему и обнимает ногу солдата. Он, улыбаясь, склоняется, готовясь принять благодарность освобожденных. Но похожая на скелет женщина говорит ему с горьким упреком:

– Что же вы так долго не приходили?

Британские солдаты ожидали, что их встретят радостные, восторженные люди. Они ожидали улыбок и грома аплодисментов. Чего они совсем не ожидали, так это встретить прием, состоящий из жалоб, вздохов и хрипов, прием людей, которые плачут, мешая в одно радость спасения и глубочайшую скорбь о потерянных мужьях, детях, братьях и сестрах, дядях и тетях, кузенах и кузинах, друзьях, соседях... о тех многих, очень многих, кто не дожил до освобождения.

На каких-то солдатских лицах видно сочувствие, на других – недоверие, на очень многих – омерзение. Они никогда не думали, что концентрационный лагерь для евреев может быть этим скопищем тел, в котором не разберешь, кто живой, а кто мертвый, потому что в топкой грязи одни лежат поверх других. И живые еще больше похожи на скелеты, чем мертвые.

²⁶ О боже! (англ.)

Англичане думали, что им предстоит освободить лагерь военнопленных, но на его месте обнаружили кладбище.

Голоса, способные скромно, но все же выразить радость по поводу услышанной новости, тем не менее находятся. Хотя большинству тех, кто еще жив, сил хватает лишь на то, чтобы с недоверием наблюдать за происходящим.

Еще с большим недоверием – когда мимо проходит взвод арестованных. Дите пришлось взглянуть на это дважды, чтобы поверить. В первый раз за всю ее сознательную жизнь арестованными были не евреи. А во главе взвода, сопровождаемого с двух сторон вооруженными британскими солдатами, с высоко поднятой головой шагает Элизабет Фолькенрат со своей кичкой, пряди из которой падают ей на лицо.

31

Первые дни свободы оказались странными. Перед глазами разворачивались сцены, которые Дита никогда в жизни, даже призвав на помощь самую безбрежную фантазию, не могла бы вообразить: надзирательницы-нацистки своими собственными руками уносят трупы; старшая надзирательница Фолькенрат, всегда выглядевшая безукоризненно, теперь – в грязной форме и с салными волосами – таскает тела до братской могилы. Британцы поставили доктора Клине спускать в могилу трупы, которые ему подавали охранники СС, ставшие заключенными – их приговорили к исправительным работам особой интенсивности.

Пришла свобода, но радоваться в Берген-Бельзене нечему. Смерть продолжает пожирать обильную жатву. Очень скоро британцы понимают, что обращаться с покойными так уважительно, как бы им хотелось, они не могут, поскольку болезни распространяются с головокружительной скоростью. В конце концов они приказывают эсэсовцам складировать трупы, а потом бульдозер сталкивает штабеля тел в подготовленный ров. У мирного времени свои требования: ему как можно быстрее нужно стереть следы войны.

Маргит стоит в очереди за обеденным пайком, и вдруг на ее плечо опускается рука. Мало-значительный жест. Но есть в нем что-то такое, что внезапно раздвигает границы ее жизни. И еще не обернувшись, она уже знает, что это рука ее отца.

Дита и Лизль страшно рады за Маргит. Они счастливы видеть ее счастливой. И когда Маргит сообщает им, что англичане уже выделили для ее отца место в поезде до Праги и что ему удалось устроить так, что она едет вместе с ним, мать с дочерью от души желают ей в новой жизни удачи. Все вокруг меняется с такой скоростью, что кружится голова.

Маргит становится очень серьезной и смотрит им в глаза.

– Мой дом станет вашим домом.

И это не просто вежливость. Дита знает, что эти слова – признание в сестринской любви. Отец Маргит пишет им на листке бумаги адрес своих чешских друзей, не евреев, которые, как он полагает, благополучно пережили войну и смогут приютить их в Праге на первое время.

– Увидимся в Праге! – говорит подруге Дита, пока они, на прощанье, держатся за руки.

На этот раз речь идет о прощании с большим основанием надеяться на встречу.

О прощании, при котором слова «До скорого!» наконец-то обретают смысл.

Неразбериха первых дней огромна. Англичане натренированы стрелять из окопов, а не оказывать помощь сотням тысяч растерянных людей без документов, многие из которых крайне истощены или больны. Английский батальон открыл офис по вопросам репатриации заключенных, но он не справляется с наплывом людей, к тому же оформление временных документов на практике оказывается невыносимо долгим делом. По меньшей мере, люди стали получать питание, им были выданы чистые одеяла, а для тысяч больных были развернуты полевые госпитали.

Дита не захотела омрачать радостный для Маргит день отъезда сообщением о своем беспокойстве: мама плохо себя чувствует. Несмотря на то что питание наладилось, она не прибавила ни грамма веса, к тому же у нее поднялась температура. Ничего не остается, как положить ее в госпиталь. А это означает, что с отъездом им придется подождать.

Полевой госпиталь, развернутый союзниками на месте бывшей санчасти лагеря с целью оказания медицинской помощи выжившим заключенным Берген-Бельзена, похоже, не в курсе того, что война окончена. Германские войска сдались, Гитлер покончил жизнь самоубийством в собственном бункере, офицеры СС превратились в задержанных, ожидающих суда, или же скрываются, будучи вне закона. Но в госпиталях война упорно не желает сдавать позиции. Подписание мирного договора не помогает отрастить калекам ампутированные конечности, не

снимает боли раненых, не искореняет тиф, не вытаскивает из агонии умирающих и не возвращает с того света тех, кто уже ушел. Мир не залечивает все, по крайней мере, не так быстро.

Лизль Адлерова, зеленой тростинкой сопротивлявшаяся всем невзгодам, трагедиям и мерзостям этих лет, с наступлением мира серьезно заболевает. Дита не может поверить, что после всего того, что мама перенесла, она не преодолеет этот последний барьер, который остается на пути их возвращения к спокойной мирной жизни. Это несправедливо.

Женщина лежит на раскладушке, но, по крайней мере, на чистых простынях. Или ей они кажутся чистыми – по сравнению со всем тем, что прикасалось к ее телу в последние годы. Дита берет маму за руку и нашептывает ей на ухо подбадривающие слова. Мама сейчас под действием успокоительных.

С течением времени медработники свыкаются с неизменным присутствием этой чешской девочки с лицом лукавого ангела, которая ни на шаг не отходит от койки матери. Насколько возможно, они стараются подлечить и Диту: следят за тем, чтобы она съедала свою порцию и выходила время от времени погулять из госпитальной палатки, чтобы не сидела там сиднем часами и надевала маску, приближаясь к матери.

В один из таких вечеров она застаёт медбрата, парня с веснушками на круглом лице по имени Фрэнсис, за чтением романа. Она подходит к книге и с жадностью смотрит на обложку. Это роман-вестерн, на обложке красуется индейский вождь с броским плюмажем на голове, с боевой раскраской на скулах и винтовкой в руке. Медбрат, почувствовав на себе пристальный взгляд, поднимает глаза от книги и спрашивает ее, нравятся ли ей вестерны. Дите приходилось читать роман Карла Мая, и ей пришлось по душе смельчак Олд Шаттерхенд вместе с его другом апачем Виннету²⁷, чьи приключения в бескрайних саваннах Северной Америки она так живо себе представляла. Дита подходит, касается пальчиком книжки и, словно лаская ее, медленно ведет им по корешку: вверх и вниз. Медбрат, слегка ошарашенный, не сводит с нее глаз. И думает, что у этой девицы, по всей видимости, с головой не все в порядке. Что никого не удивит – после пребывания в этом аду все может быть.

– Фрэнсис...

Дита показывает на книгу, а потом – на себя. Он понимает, что она хочет, чтобы он дал ей книжку. Медбрат улыбается. Он встает и достает из заднего кармана брюк еще два романа того же карманного формата: маленькие гибкие томики с желтоватыми страницами и яркими обложками. Одна книжка – еще один вестерн, а другая – детектив. Он протягивает обе книги Дите, и та с книжками в руках идет на свое место. Тут медбрата приходит в голову мысль, и он громко окликает ее.

– *Hey, sweetie! They're in English!* – И тут же сам довольно неуклюже переводит на немецкий: – Эй, малышка! Они же на английском!

Дита оглядывается и, не поворачивая назад, только улыбается в ответ. Она, конечно же, знает, что эти книги на английском и что она ничего не сможет понять. Но это для нее неважно. Пока мама спит, она сядет на пустую койку и будет вдыхать запах книжных страниц, быстро проводить большим пальцем по срезу, слушая звук карточной колоды, и улыбаться. Она поворачивает страницу, та издает хруст. Еще раз проводит пальцем по корешку и прощупывает места приклейки обложки. Ей нравятся имена авторов – английские имена, для нее они звучат экзотично. То, что она вновь держит в руках книги, означает, что жизнь начинает входить в свое обычное русло, что кусочки пазла, который кто-то растоптал сапогом, понемногу начинают становиться на свое место.

Но есть кусочек пазла, который завернулся и не хочет вставать на место: маме не становится лучше. День идет за днем, и с каждым сутками она все больше слабеет: ее пожирает

²⁷ Олд Шаттерхенд и Виннету – персонажи серии книг Карла Мая.

лихорадка, а тело становится все прозрачнее. Мамин лечащий врач не говорит по-немецки, но по его жестам Дита прекрасно понимает, как обстоят дела: не слишком хорошо.

Однажды ночью Лизль становится хуже: дыхание сделалось прерывистым, и она беспокойно замоталась в постели. Тогда Дита решает предпринять последнюю попытку, использовать свой последний патрон: пан или пропал. Она выбегает на улицу и отходит от госпитальной палатки подальше, туда, куда не достает мерцающий свет госпитального генератора. Она ищет темноты и находит ее на открытой площадке на удалении в несколько сотен метров. Оставшись в абсолютном одиночестве, она поднимает лицо к покрытому тучами ночному небу, на котором нет ни звезд, ни луны. Падает на колени и молит Бога, чтобы он спас маму. После всего, что с ними произошло, нельзя, невозможно, чтобы она умерла, даже не увидев снова Прагу, умерла именно теперь, когда единственное, что требуется, – это сесть в поезд и уехать. Он не может сотворить с ней такое. Он ей должен. Эта женщина ни разу в жизни не причинила никому никакого вреда, она никогда никого не обидела и не побеспокоила, ни у кого не взяла ни крошки хлеба. За что он так жестоко карает ее? Она упрекает его, просит его, униженно умоляет Бога не допустить, чтобы мама умерла. Дает самые разные зарок в обмен на ее спасение: стать самой набожной из всех набожных, совершить паломничество в Иерусалим, посвятить всю свою жизнь прославлению его бесконечного величия и щедрости.

Когда она возвращается, то видит в освещенном проеме входа в палатку высокую худую фигуру. Кто-то всматривается в ночь. Это Фрэнсис, медбрат. Он ждет ее. Очень серьезный, он делает ей навстречу шаг и ласково кладет руку на плечо. Тяжелую руку. Он смотрит ей в лицо и медленно поводит головой из стороны в сторону, говоря, что нет, что этого не могло быть.

Она бросается к постели матери, возле которой доктор закрывает свой саквояж. Ее мамы больше нет. Остался только ее хрупкий человеческий каркас – тело маленькой птички. И больше ничего.

В полном опустошении опускается Дита на какую-то койку. К ней подходит веснушчатый медбрат.

– *Are you OK?* – И поднимает вверх большой палец, чтобы она поняла, что он спрашивает, все ли с ней в порядке.

Как может она быть в порядке? Судьба, или Бог, или дьявол, или кто там еще, не избавили ее маму ни от минуты страданий шести лет войны и при этом не позволили ей насладиться ни одним днем мира. Медбрат продолжает смотреть на нее, словно ожидая ответа.

– Дерьмо, – говорит она в ответ.

Лицо медбрата принимает то комичное выражение, которое всегда появляется у англичан, когда они чего-то не понимают: вытянутая вверх шея и сильно поднятые брови.

– *Shit...* Дерьмо, – произносит Дита, успевшая освоить это английское слово за последние дни.

Теперь он понимающе кивает.

– *Shit*, – повторяет он. И молча садится рядом.

У Диты остается одно утешение: ее мама сделала свой последний вздох, будучи свободной. Хотя это утешение кажется ей чересчур маленьким для такой огромной боли.

Но она все же поворачивается к медбрату, глядящему на нее с явным беспокойством, и показывает ему поднятый вверх большой палец, чтобы сказать, что она в порядке. Юный медбрат немного оживляется и встает подать воды больной, которая с дальней койки просит пить.

«И почему же я сказала этому парню, что я в порядке, хотя мне ужасно, так плохо, что хуже и быть не может?» – спрашивает она себя. И ответ приходит еще до того, как она закончила формулировать вопрос: потому что он – мой друг и я не хочу его тревожить.

Начинаю вести себя так же, как мама...

Как будто приняла эстафету.

На следующий день доктор говорит ей, что они постараются побыстрее оформить все документы, чтобы она могла немедленно вернуться домой. Он ждал, что ее обрадует это известие, но Дита выслушала его, словно во сне.

«Вернуться? – думает она. – Куда?»

У нее нет родителей, нет дома, в довершение всего нет даже документа, удостоверяющего личность. Так есть ли где-нибудь такое место, куда ей можно вернуться?

32

В витрине универмага «Хедва», расположенного на улице На Пршикопе, отражается незнакомка: юная особа в длинном платье из синего сукна и скромной серой фетровой шляпке с лентой вокруг тульи. Дита внимательно ее разглядывает, но все еще не узнает. Пока что не может принять, что эта незнакомка – она сама, что это ее собственное отражение в витринном стекле.

В тот день, когда немцы вошли в Прагу, она была девятилетней девочкой, шагавшей по улице, уцепившись за мамину руку, а теперь она – одинокая девушка шестнадцати лет. Воспоминания о том, как гудела и дрожала земля Праги, когда через город шли немецкие танки, до сих пор вызывают содрогание. Все закончилось, но только не в ее голове. И не закончится никогда.

Послевоенная реальность, пришедшая вслед за шумно отпразднованными победой и завершением войны, вслед за балами, организованными союзническими войсками, вслед за помпезными речами, предстает ровно такой, какова она есть: немая, жесткая, без звуков фанфар. Духовые оркестры уехали, парады прошли, громкие речи отзвучали. Правда наступившего мира для нее – это страна, лежащая в руинах, где у нее нет ни родителей, ни братьев и сестер, ни дома, ни образования, ни собственности, за исключением выданных ей в пункте социальной помощи носильных вещей, ни какого бы то ни было иного способа выживания, кроме продовольственных карточек, которые она смогла получить после утомительного и запутанного бумажного разбирательства. Эту ночь, первую свою ночь в Праге, она проведет в приюте для репатриантов.

Единственное, что у нее осталось, – это листок бумаги с нацарапанным на нем адресом. Она уже столько раз смотрела на него, что выучила наизусть. Война меняет все. Мир – тоже. Что теперь, после того как все закончилось, может оставаться от их с Маргит сестринства, зародившегося в концлагерях? Ведь тогда они думали, что сядут с мамой на поезд через день-два, но из-за маминой болезни отъезд был отложен на недели. За это время у Маргит могли появиться новые подруги, и, возможно, единственная ее цель сегодня – забыть обо всем произошедшем. Как Рене, которая поздоровалась с ней издалека, на ходу, будто желая как можно дальше отойти от любого контакта с собственным прошлым.

Адрес, написанный отцом Маргит, – это адрес каких-то их друзей не из евреев, с которыми у них уже много лет не было никаких связей. На самом деле, когда она с отцом уезжала из Берген-Бельзена, оба они тоже не слишком хорошо знали, куда едут, где и как будут жить в своей новой жизни. Они даже не знали, проживают ли их друзья по прежнему адресу после стольких лет войны и захотят ли о них вспомнить. Листочек все больше сминается в ее ладони, а строчка с адресом становится нечитаемой.

Дита бродит по северной части города в поисках записанного на бумажке адреса, спрашивая прохожих и стараясь следовать полученным от них указаниям, шагая по улицам, совершенно для нее незнакомым. Она уже не может ориентироваться в Праге. Город кажется ей огромным и запутанным, как лабиринт. Мир оказывается бескрайним, когда чувствуешь себя маленькой.

Наконец Дита оказывается на площади с тремя ломаными скамейками, о которой ей и говорили. Недалеко от нее находится дом под номером 16 по улице, название которой записано на бумажке. Она входит в парадную и звонит в квартиру «В» на первом этаже. Дверь открывает довольно грузная пани со светлыми волосами. Не еврейка; толстые еврейки – это теперь исчезнувшая раса.

– Прошу прощения, пани. Здесь живет пан Барнаш с дочерью Маргит?

– Нет, они здесь не живут. Они уехали из Праги, и довольно далеко.

Дита кивает. Ей не в чем их упрекнуть. Они, наверное, подождали ее несколько дней, но она так долго не ехала, что стало слишком поздно. Должно быть, начали новую жизнь где-то в другом месте. После всего того, что произошло, не только что страницу перевернуть, лучше всего – захлопнуть одну книгу и открыть другую.

– Да не стой ты в дверях, – говорит ей женщина, – проходи, угощу тебя пирогом – только что испекла.

– Нет, спасибо, не беспокойтесь. Меня ждут, правда. Семейные обязательства, знаете ли. Я пойду. Как-нибудь в другой раз...

Она разворачивается, собираясь как можно быстрее уйти и тоже начать все сначала. Но женщина окликает ее.

– Ты ведь Эдита... Эдита Адлерова.

Она останавливается, несмотря на уже поставленную на лестницу ногу.

– Вы знаете мое имя?

Та кивает.

– Я ждала тебя. У меня для тебя кое-что есть.

Женщина представляет девушку своему мужу, синеглазому мужчине с седыми волосами, все еще красивому в своем преклонном возрасте. Пани приносит гостю огромный кусок черничного пирога и конверт, на котором стоит ее имя.

Супруги так любезны, что Дита не стесняется открыть конверт в их присутствии. Внутри – адрес в городе Теплице, два билета на поезд и записка от Маргит, написанная аккуратным школьным почерком:

«Дорогая Дитинка, мы ждем вас в Теплице. Приезжайте немедленно. Крепкий поцелуй от твоей сестры... Маргит».

Кто-то, кто где-то тебя ждет, – это спичка, что загорается ночью посреди поля. Она, быть может, и не разгонит всей тьмы, но покажет дорогу, ведущую к дому.

Пока Дита ест пирог, супруги рассказывают, что пан Барнаш нашел работу в Теплице и перебрался туда вместе с дочерью. А еще говорят, что Маргит целыми вечерами рассказывала им о ней.

Прежде чем выехать в Теплице, Дите нужно выправить бумаги, как ей объяснили в Еврейском совете. Поэтому с утра пораньше она встает в длинную очередь, которая выстроилась к офису выдачи документов, удостоверяющих личность.

Часы ожидания, опять очередь. Но эта – не как в Аушвице, потому что здесь люди, ожидая, пока она подойдет, строят планы. И здесь тоже есть такие, кто сердится, даже гневается, как и в тех, других очередях, когда стояли по щиколотку в снегу с единственной целью – получить половник жидкой похлебки или хлебную корку. Люди раздражаются из-за того, что очередь движется слишком медленно, или из-за того, что им не все понятно разъяснили, или из-за большого числа документов, которые нужно заполнить. Дита про себя только улыбается. Когда люди начинают раздражаться по мелочам – это означает, что жизнь возвращается в свое русло.

Кто-то подходит к очереди и встает прямо за ней. Искоса заглянув за свое плечо, она понимает, что лицо этого человека ей знакомо. Один из молодых преподавателей семейного лагеря. Он, кажется, тоже не ожидал встретить ее здесь.

– Библиотекарша с тонкими ножками! – восклицает он.

Это Ота Келлер, молодой учитель, о котором говорили, что он коммунист, и который сочинял для своих учеников истории о Галилее. Она тут же узнает его ироничный и очень умный взгляд, который всегда немного ее пугал.

Сейчас же она, напротив, замечает во взгляде молодого педагога какую-то особую теплоту. Как будто бы он внезапно ее признал. Как будто он не только помнит, что она была его товарищем в тот критический момент их жизни, но и обнаруживает в ней некую нить, которая их соединяет. В блоке 31 им практически не приходилось разговаривать. В общем-то, никто их

так друг другу и не представил, так что они – два человека, которые формально друг с другом не знакомы. Но когда они случайно встретились в Праге, возникло ощущение, что воссоединились старые друзья.

Ота смотрит на нее и улыбается. Его живые и немного плутовские глаза как бы говорят: я рад, что ты жива, и я рад, что снова тебя встретил. Она тоже улыбается ему, хотя и сама не знает почему. Это нить. Та нить, что связывает некоторых людей. Которая потом превращается в клубок.

И он тотчас же заражает ее своим хорошим настроением.

– Я нашел работу – разносить счета на одной фабрике – и скромненькое жилье... Ну, если вспомнить о том, откуда мы пришли, так это просто дворец!

Дита улыбается.

– Но я уже рассчитываю даже на нечто лучшее. Мне предложили работу – переводчиком с английского.

Очередь длинная, но для Диты она становится короткой. Разговоры, разговоры – без остановок, без обременительных пауз, доверительные, как между старыми боевыми товарищами. Ота рассказывает ей о своем отце, крупном предпринимателе, который на самом деле хотел быть певцом.

– У него был потрясающий голос, – говорит Ота с гордой улыбкой. – В 1941-м у него отняли фабрику, даже в тюрьму посадили. Потом нас всех отправили в Терезин. А уж оттуда – в семейный лагерь. А во время селекции в июле 44-го, после которой лагерь ВПb был расформирован, он не прошел отбор.

Ота, такой легкий и на дела, и на слова, чувствует, что эти последние вдруг застревают у него в горле, но он вовсе не стыдится того, что Дита замечает слезы в его глазах.

– Иногда по ночам мне кажется, что я слышу, как он поет.

Доходит до того, что, когда один из них отводит взгляд в сторону, вспоминая особенно тяжелый или болезненный момент этих страшных лет, другой тоже направляет свой взгляд к той же точке – точке схождения, куда обычно мы допускаем только самых близких людей, кому полностью доверяем, тех, кто видел, как мы смеемся и как плачем. Они перебирают все те моменты, которые навсегда оставили на них свои отметины. Оба так молоды, что рассказать о своих последних годах – все равно что рассказать о всей жизни.

– Интересно, что случилось с Менгеле? Его повесили? – задается вопросом Дита.

– Еще нет, но его разыскивают.

– Найдут ли?

– Конечно же, найдут! Не меньше полудюжины армий разыскивает его. Его арестуют и будут судить.

– Да пусть его просто повесят, он – преступник!

– Нет, Дита. Его нужно судить.

– Да зачем терять время на эти формальности?

– Просто мы лучше их.

– Так же говорил и Фреди Хирш!

– Хирш...

– Как же его не хватает.

Подходит их очередь, и оба решают свои проблемы с документами. Готово. Они не перестают быть двумя незнакомцами, настает момент пожелать друг другу удачи и распрощаться. Но он спрашивает, куда она пойдет потом. Она говорит, что в офис Еврейской общины; хочет узнать, верно ли то, что ей сказали: что она как сирота может претендовать на небольшое пособие.

Ота говорит, что, если она не против, он проводит ее до офиса Еврейской общины.

– Мне как раз по пути, – заявляет он с такой серьезностью, что она и не знает, верить его словам или не верить.

Это некий предлог, чтобы побыть с ней подольше, но не ложь. Направление, в котором пойдет Дита, – теперь и его дорога.

Спустя пару дней в Теплице, в нескольких километрах от столицы, Маргит Барнаш метет полы в парадной дома перед дверью в квартиру. Отрешившись от окружающего мира, она сосредоточенно работает метлой, думая об одном парне, который развозит покупки на велосипеде и каждый раз радостно трезвонит, проезжая мимо нее. Думает, что, пожалуй, пора начать лучше причесываться по утрам и подвязать волосы новой лентой. И вдруг краем глаза замечает некую тень, скользнувшую в парадную.

– Что-то ты растолстела, девушка! – слышит она обращенные к себе слова.

Ее первое побуждение – брякнуть в ответ какую-нибудь гадость соседке-грубиянке. Но спустя мгновение у нее чуть метла из рук не вываливается.

Это же голос Диты.

Из них двоих старшая – Маргит, но с Дитой она всегда чувствовала себя младшей сестрой. И она бросается в объятия Диты точно так, как это делают маленькие дети, – не рассчитывая силы броска и ничего не опасаясь.

– Мы же сейчас на пол свалимся! – выдыхает Дита в паузе между двумя раскатами счастливого смеха.

– И что с того – раз уж теперь мы вместе!

И это правда. Наконец хоть что-то оказывается правдой. Ее ждали.

Эпилог

Ота был ее особым другом, приехавшим на поезде в те дни, которые она освобождала от своей временной – то там, то здесь – работы, которую удавалось найти. Эта временная занятость совмещалась с учебой в городской школе, в которой она вместе с Маргит старалась как-то наверстать упущенное. Если это было возможно.

Теплице – старинный город-курорт, знаменитый своими целебными водами. Так что Дита нашла здесь свой Берггоф. Здесь нет Альпийских гор, как в «Волшебной горе», но рядом – возвышенности Богемии. Ей нравилось гулять по мощенным прямоугольной брусчаткой улицам, хотя война нанесла довольно серьезный урон этому прекрасному городу с его аристократическими особняками. Порой Дита спрашивала себя, что случилось с загадочной мадам Шоша, которая покинула санаторий в поисках новых горизонтов. Она с удовольствием спросила бы у нее совета относительно того, что ей делать со своей собственной жизнью.

Красивейшая синагога погибла в пожаре, и ее покрытые черной сажей развалины явственно напоминали об ужасах всех последних опаленных огнем лет. По субботам Диту на этих прогулках сопровождал Ота. Он говорил ей о тысячах самых разных вещей. Это был молодой человек с ненасытным любопытством, его интересовало все на свете. Иногда он немного жаловался на необходимость сложным образом комбинировать поезд и автобус, чтобы преодолеть восемьдесят километров, отделявших Теплице от Праги. Скорее, даже не жаловался, а по-кошачьи мурлыкал.

Это были месяцы приятных блужданий по бульварам и площадям, которые постепенно восстанавливали свои цветочные клумбы и рабатки, возвращая Теплице его кокетливый облик курортного города с термальными водами. За время своих прогулок Дита и Ота оказались прочно оплетены той самой нитью. Через год после их встречи в очереди перед паспортным столом Ота произнесет те слова, что изменят все:

– А почему бы тебе не приехать в Прагу? Не могу я любить тебя на расстоянии!

За долгие вечера совместных прогулок они уже успели рассказать друг другу свои жизни от начала и до конца. Настал момент вернуться к нулевой отметке и начать новый цикл.

Ота и Дита поженились в Праге. В 1949 году родился их первый ребенок.

После прохождения долгих и трудных формальностей Ота смог восстановить право собственности на фабрику дамского белья, принадлежавшую его отцу, и взял на себя руководство с целью возродить ее к жизни. Это дело внушало ему особые надежды по следующей причине: занимаясь им, он некоторым образом мог повернуть время вспять. Невозможно полностью восстановить потери или заставить исчезнуть полученные шрамы, но по крайней мере это был некий способ вернуться в Прагу 1939 года, символом которой и был для него семейный бизнес. Ота вовсе не был уверен в том, что хочет стать предпринимателем. С ним происходило примерно то, что и с его отцом, который предпочитал иметь дело с оперными партитурами, а не с бухгалтерскими отчетами. Сын тоже оказывал явное предпочтение языку поэтов перед языком стряпчих.

Но для того чтобы разочароваться в бизнесе, времени ему не хватило. На улицах Праги не успели остыть следы сапог нацистов, когда появились советские сапоги, топча все подряд. С мелочным упрямством истории, склонной к повторениям, у них вновь конфисковали фабрику. На этот раз – именем не Третьего Рейха, а коммунистической партии.

И снова они остались ни с чем. Кто угодно на его месте впал бы в отчаяние. Но Ота не сдался. Как и Дита. Они были рождены, чтобы плыть против течения. Благодаря владению английским языком и своим познаниям в области литературы молодой человек получил место в министерстве культуры. Его работа состояла в отслеживании издательских новинок и поиске того, что представляло достаточный интерес и ценность, чтобы быть переведенным на чеш-

ский язык. Он оказался единственным служащим соответствующего уровня, который не был аффилирован с коммунистической партией. В то время слова очень многих были пропитаны ленинизмом. Но ему никто не смел читать на эти темы лекции, поскольку Ота знал о марксизме больше любого из них. Он один прочел об этом гораздо больше, чем все они вместе взятые. Он лучше, чем кто бы то ни было, знал, что коммунизм – это очень красивая тропа, ведущая к пропасти.

Против него начались интриги, обвинения во враждебности к партии, обстановка становилась все более опасной. В 1949 году Ота и Дита решили эмигрировать в Израиль и начать там с нуля. В конце концов они собрались воплотить в жизнь мечту Фреди Хирша.

В Израиле они работали в киббуце ²⁸, что оказалось совсем не легким делом; кроме того, Дита завершила там свое образование. Именно там, в Израиле, они встретили еще одного знакомого по блоку 31, преподавателя Ави Офира, которому удавалось превращать скромный барак для детей-заключенных в веселый хор, поющий а капелла. Именно он посодействовал тому, что супруги начали работать в школе «Хадасим», неподалеку от города Нетания. Ота и Дита стали работать преподавателями английского языка и воспитателями в одном из наиболее известных образовательных центров Израиля, в котором обучались многие дети, прибывшие в страну на волне массовой миграции после завершения Второй мировой войны. Позже школа стала специализироваться на детях из трудных семей и учениках с высоким риском социальной изоляции. В штате школы всегда было несколько преподавателей, которые являлись специалистами по данным проблемам, но едва ли можно было найти кого-то столь же чуткого к человеческому страданию, как Ота и Дита.

В их семье было трое детей и четверо внуков. Ота, великий сочинитель историй в блоке 31, написал несколько книг. Одна из них, «Разрисованная стена» ²⁹, языком художественного вымысла говорит о переживаниях целого ряда персонажей в семейном лагере ВПб. Дита и Ота прожили вместе пятьдесят пять лет, преодолевая превратности судьбы и подводные камни жизни. И ни на один день не покидала их любовь и взаимная поддержка. На двоих они делили всё: книги, нерушимое чувство юмора и целую жизнь.

И вместе состарились. Их стальной союз, выкованный в самые ужасные времена, которые только выпадали на долю человеку, смогла разрушить только смерть.

²⁸ Сельскохозяйственная коммуна в Израиле.

²⁹ The Painted Wall (англ.).

Заключение

Остается еще несколько немаловажных вещей, которые следует рассказать о библиотекарше блока 31 и о Фреді Хирше.

В основу повествования легли реальные события, объединенные в роман цементом художественного вымысла. Настоящее имя библиотекарши блока 31, чья жизнь вдохновила автора на создание этих страниц, было – в девичестве – Дита Полахова, а образ преподавателя Ота Келлера в романе навеян тем человеком, кто стал ее мужем, преподавателем Ота Краусом.

Беглое упоминание в «Ночной библиотеке» Альберто Мангеля о том, что в концлагере действовала микроскопическая библиотека, стало зацепкой для начала журналистского расследования, которое и привело к созданию этой книги.

Наверняка найдутся те, кто не разделит восхищения тем фактом, что были некие люди, рисковавшие жизнью ради того, чтобы в Аушвице-Биркенау продолжали действовать тайная школа и подпольная библиотека. Найдутся те, кто подумает, что это проявление никому не нужного мужества в лагере смерти, где есть другие, гораздо более неотложные заботы: книги не излечивают больных и не могут быть использованы как оружие против палачей, они не наполнят желудок и не утолят жажду. Все это верно: не культура необходима для выживания человека, всего лишь хлеб и вода. Это правда: если есть хлеб, чтобы есть, и вода, чтобы пить, человек выживет, но только на хлебе и воде все человечество умрет. Если человек не реагирует на красоту, если не использует фантазию, закрывая глаза, если он не способен задавать вопросы и нащупывать границы собственного незнания, то он – мужчина или женщина, но не личность; он ничем не отличается от лосося, зебры или овцебыка.

В интернете обнаруживаются тонны информации об Аушвице, но вся она говорит только о самом месте. Если ты хочешь, чтобы место заговорило с тобой, тебе придется поехать туда и пробыть там до тех пор, пока не услышишь того, о чем оно должно тебе рассказать. С целью найти хоть какое-то свидетельство существования семейного лагеря или след, который мог бы привести к такому свидетельству, я поехал в Аушвиц. Нужны были не только разного рода статистические данные и даты – мне потребовалось ощутить импульсы этого проклятого места.

Я прилетел в Краков, а оттуда поехал на поезде в Освенцим. Ничто в этом небольшом и мирном городке не наводит на мысль о том кошмаре, который творился в его окрестностях. Все в нем так безмятежно, что к дверям концлагеря можно доехать на городском автобусе.

Аушвиц I располагает паркингом для экскурсионных автобусов и входом на территорию музейного вида. Когда-то эти строения были казармами польских вооруженных сил, и приятного вида прямоугольные здания из кирпича, разделенные широкими мощеными проспектами, по которым прыгают птички, с первого взгляда совсем не воспринимаются как символы террора. Есть здесь и несколько павильонов, в которые можно зайти. Один из них оборудован как океанариум: идешь по темному коридору, а по обеим сторонам расположены огромные подсвеченные аквариумы. То, что они содержат, это рваная обувь – горы, тысячи пар обуви. И две тонны человеческих волос, образующих сумрачное море. И отстегнутые протезы, похожие на сломанные игрушки. И тысячи разбитых очков, почти все – круглые, как у профессора Моргенштерна.

В Аушвице II-Биркенау, в трех километрах отсюда, был сооружен семейный лагерь ВІІЬ. До сих пор сохранилась фантазмагорическая наблюдательная вышка у входа в лагерь с тоннелем в ее основании: начиная с 1944 года поезд мог прямиком въезжать на территорию лагеря. Оригинальные бараки после войны сгорели. Теперь несколько бараков восстановлены, и в них можно войти: не более чем конюшни. Даже будучи чистыми и хорошо проветренными, они темные и мрачные. За первой линией бараков, которые относились к карантинному лагерю, открывается обширный пустырь, где раньше располагались остальные лагеря. Чтобы увидеть

то место, где располагался в свое время лагерь ВПб, нужно отклониться от обычного экскурсионного маршрута, который предполагает посещение только копий бараков первой линии, и обойти весь периметр. Нужно остаться одному. Гулять в одиночку по Аушвицу-Биркенау означает подставлять грудь под пронизывающе холодный ветер, который доносит отзвуки голосов тех, кто остался здесь навсегда, кто теперь – земля под твоими ногами. От ВПб остались только металлические входные ворота и безбрежная пустошь, где растут лишь чахлые кустики. Остались только камни, ветер и тишина. Место умиротворенное или – космическое. Зависит от того, что знают глаза, которые на него смотрят.

Из этой поездки я привез с собой множество вопросов и практически ни одного ответа, только некие впечатления о том, что такое Холокост, которые ни одна историческая книга не смогла мне дать, и – по чистой случайности – экземпляр очень важной книги: «*Je me suis évadé d'Auschwitz*»³⁰, перевод на французский язык воспоминаний Рудольфа Розенберга («*I Cannot Forgive*»³¹), который попался мне в руки в книжном магазине «Музея Шоа» в Кракове.

Была и еще одна книга, чрезвычайно меня интересовавшая, поиски которой я начал же сразу по возвращении. Это был роман некоего Ота Б. Крауса под названием «Разрисованная стена», и его действие разворачивалось в семейном лагере. На некой интернет-странице³² имеется информация об этой книге и о возможности получить ее на условиях предварительной оплаты. Но страница оказалась не слишком профессионально сделанной, и осуществить оплату картой Visa было невозможно, однако был дан контактный адрес. Я по этому адресу написал, спрашивая о технической возможности купить книгу, о том, куда и как нужно перевести оплату. В ответ я получил электронное письмо – из тех, что неопровержимо доказывают, что жизнь – это перекресток дорог. В ответном письме, очень вежливом, мне сообщали, что деньги можно перевести через Western Union. В адресе для перевода значился город Нетания (Израиль), а подписано оно было так: Д. Краус.

Настолько деликатно, насколько это было возможно, я поинтересовался, является ли автор письма Дитой Краус, той самой девочкой, которая находилась в заключении в семейном лагере Аушвица-Биркенау. Это была она. Библиотекарша блока 31 была жива и переписывалась со мной по электронной почте! Жизнь никогда не перестает удивлять, но иногда она просто шокирует.

Дита уже не была столь юна, ей было за восемьдесят, но она по-прежнему оставалась таким же равнодушным человеком и борцом, что и раньше. Теперь она боролась за то, чтобы книги ее мужа не оказались забыты.

Начиная с этого момента мы стали переписываться. Ее чрезвычайная любезность позволяла нам понимать друг друга, несмотря на мой далеко не блестящий английский. Наконец мы договорились о личной встрече в Праге, где она каждый год проводит несколько недель. Кроме того, она меня свозила на экскурсию в гетто Терезина.

Оказалось, что эта женщина вовсе не принадлежит к типу «старушка – божий одуванчик». Дита – это настоящий смерч, расточающий любезность: она тотчас же нашла мне жилье неподалеку от собственной квартиры и все организовала. Когда я приехал в отель «Триска», она уже была там и ждала меня, устроившись в холле на диване. Она оказалась точно такой, какой я ее себе и представлял: худая, нервная, энергичная, серьезная и в то же время улыбающаяся – в общем, в высшей степени очаровательная.

Жизнь ее не была легкой ни во время войны, ни после нее. Они с Ота были очень близки до самой его смерти в 2000 году. У них было два сына и дочка; девочка умерла в возрасте

³⁰ «Я сбежал из Аушвица» (фр.)

³¹ «Не могу забыть» (англ.)

³² URL: www.ottobkraus.com

восемнадцати лет после продолжительной болезни. Но она не сломалась под жестокими ударами судьбы: этого никогда не было в ее прошлом и никогда не будет в будущем.

Удивительно, как только человек, на долю которого выпало столько страданий, способен не разучиться улыбаться. «Это единственное, что мне остается», – говорит она мне. Но ей остается гораздо большее: ее энергия, ее достоинство борца против всего и всех. Все то, что делает ее восьмидесятилетней дамой с негибаемой осанкой и искрометным взглядом. Она противится тому, чтобы мы взяли такси, и я не решаюсь выступить против ее стремления к экономии, свойственного тем, кому пришлось пережить трудные времена. Мы едем на метро, в вагоне поезда она стоит. Есть свободные места, но она не садится. Нет никого, кто мог бы сломить такую женщину. Весь Третий Рейх не смог этого добиться.

Неутомимая, или утомленная, но никогда не сдающаяся, она просит меня немного помочь ей, потому что намеревается привезти пятьдесят экземпляров «Разрисованной стены» в магазин сувениров Терезина, поскольку предыдущая партия уже разошлась. Мы даже не берем такси, она уговаривает меня ехать на автобусе. И вот мы проделываем ровно тот же путь, которым прошла она сама семьдесят лет назад, только сейчас она тянет за собой чемодан, набитый книгами. У меня были опасения, что на нее, возможно, произведет чрезмерное впечатление это путешествие во времени, но женщина она сильная. В данный момент ее главная забота – доставить книги в книжный магазин гетто.

Терезин является моим глазам в виде мирных рядов квадратных в плане зданий, перемежаемых зелеными группами деревьев, весь затопленный ярким майским солнцем. Дита не только оставляет в магазине книги, но и, применив свои обычные бойцовские качества, добывает мне бесплатный входной билет для посещения постоянной экспозиции музея.

Этот день оказался полон очень эмоциональных моментов. Среди картин, выполненных заключенными гетто, есть и та, которую написала Дита, – сумрачный пейзаж в темных тонах, на котором город предстает далеко не таким светящимся, как тот, по которому мы идем. Есть там и комната с именами детей, которые прошли через Терезин. Дита пробегает глазами имена и улыбается, вспоминая некоторых из них. Почти все уже ушли из жизни.

На несколько мониторов выведены воспоминания выживших, повествующие об их жизни в Терезине. И вот на одном из четырех экранов появляется преклонных лет мужчина с низким голосом: это Ота Краус, ее муж. Он говорит по-чешски, и, хотя субтитрами дается перевод на английский, я не очень концентрируюсь на содержании – так меня загипнотизировал его голос. В нем столько высокого чувства, что не послушать его невозможно. Дита слушает молча. Лицо ее серьезно, но не видно ни слезинки. Мы выходим, и она говорит, что теперь мы пойдем туда, где она жила. Эта железная женщина. Или такой кажется. Я спрашиваю, не слишком ли тяжело это для нее. «Да, так и есть», – отвечает она, но, не останавливаясь, продолжает идти вперед в очень неплохом темпе. Мне никогда прежде не встречалась женщина такого исключительного мужества, проявляемого на всех фронтах жизни.

Прежний блок, где она жила во время пребывания в гетто, теперь являет собой совершенно безобидный многоквартирный дом. Она поднимает глаза к окнам третьего этажа. Говорит мне, что ее кузен, плотник по профессии, сделал для нее полочку. Рассказывает и о многом другом, пока мы идем дальше, к еще одному зданию, где для музея одно помещение сохраняется в том виде, который оно имело во время войны: квартира, заставленная многоэтажными нарами. Наводящее тоску место, слишком тесное для такого количества коек. Есть там и фаянсовая лоханка, которая служила общей ночной вазой.

– Представляешь себе запах? – спрашивает она.

Нет, не представляю.

Входим в еще одно помещение, где сидит смотрительница, а на стенах развешаны картины и постеры военных лет. В зале звучит опера в исполнении Виктора Ульмана, знаменитого пианиста и композитора, который стал одним из самых активных деятелей культуры, пропа-

гандирующих музей Терезина. Дита останавливается посреди пустого зала, в котором скучает работница музея, и мягко подхватывает оперную партию. Ее голос – это голос детей Терезина, который зазвучал этим утром для очень ограниченной, но от этого не менее пораженной публики. Нечего и говорить, что зрительница не решается даже пикнуть, чтобы прервать пение. Еще одно из тех мгновений, когда время идет вспять и Дита снова становится Дитинкой, которая исполняет арию из оперы «Брундибар»³³ в своих шерстяных чулочках и со своим мечтательным взором.

На обратном пути из Терезина в Прагу Дита решительно требует у водителя автобуса, чтобы он открыл люк в крыше машины, иначе пассажирам грозит смерть от удушья в салоне, не оснащенном нормальными окошками. Так как водитель не обращает на это требование никакого внимания, она сама пытается подергать за ручку, потом подключаюсь я. Вдвоем мы справляемся.

Именно когда мы ехали в автобусе, в нашем разговоре возникла тема, уже несколько месяцев занимавшая мои мысли: что произошло вечером 8 марта, когда Фреди Хирш отправился раздумывать над предложением Сопротивления возглавить восстание в лагере перед лицом неизбежного истребления в газовых камерах всего сентябрьского транспорта. Почему покончил с собой, приняв чрезмерную дозу «Люминала», такой уравновешенный человек, как Фреди Хирш?

Дита глядит мне в глаза – и в ее взоре открывается целый мир. И я начинаю понимать. Читаю в ее глазах то, что уже прочел на страницах книги, написанной Ота, но что я принял за художественный вымысел или же авторскую гипотезу. Разве «Разрисованная стена» – не беллетристика? Или книга была заявлена как таковая только для того, чтобы замаскировать некоторые вещи, которые, будучи поставлены Ота в другой контекст, могли бы повлечь за собой серьезные проблемы для автора?

Дита предупредила меня о конфиденциальности того, что мне расскажет, поскольку полагала, что эти сведения могут быть чреваты большими неприятностями лично для нее.

По этой причине вместо того, чтобы передать ее рассказ, я воспроизведу здесь то, что написал Ота Б. Краус и опубликовал в своем романе «Разрисованная стена», посвященном семейному лагерю. Одним из немногих персонажей этой книги, кто фигурирует под своим настоящим именем, является инструктор блока 31, Фреди Хирш. Вот что сказано в романе о том ключевом моменте, когда уже после перевода сентябрьского транспорта в карантинный лагерь Сопротивление обращается к Хиршу с просьбой возглавить восстание, а тот просит немного времени, чтобы все обдумать:

Через час Хирш встал с койки и пошел к одному из врачей.

– Я принял решение, – сказал он. – Как только стемнеет, я отдам приказ.

Но мне нужна таблетка, чтобы немного успокоить нервы.

[...]

Мятеж против немцев – безумие, подумал доктор; верная смерть для всех: для уже обреченного транспорта, для узников семейного лагеря и даже для персонала госпиталя, обозначенного в списке Менгеле и затребованного им назад. Этот парень сошел с ума, он явно не в своем уме, и, если его не остановить, еврейские врачи погибнут вместе со всеми остальными узниками.

– Пожалуй, дам я тебе успокоительное, – сказал ему врач и повернулся к фармацевту.

В лекарствах они всегда были ограничены, но небольшой запас успокоительных у них имелся. Фармацевт протянул доктору бутылочку со

³³ «Брундибар» – детская опера еврейского чешского композитора Ганса Краса с либретто Адольфа Хоффмайстера, наиболее известная благодаря выступлениям детей концлагеря Терезиенштадт.

снотворным. Доктор перевернул его и быстро прикрыл рукой. В кружке у него оставался холодный чай, в который он высыпал все таблетки и тщательно размешал. Получилась мутная жидкость.

В Уголовном кодексе имеется формулировка, в точности описывающая то, что произошло с Фреди Хиршем в мартовский вечер 1944 года. Порой за художественным вымыслом романа скрыто нечто, что никаким другим способом описать невозможно.

Есть и другие свидетельства, все больше подрывающие доверие к версии самоубийства, которую можно видеть в официальной информации об этом человеке. Михаэль Хонай, один из оставшихся в живых узников семейного лагеря, служивший посыльным медицинского штата, ставит под сомнение свидетельство Розенберга о случившемся 8 марта 1944 года, о чем можно прочесть в его книге воспоминаний: «*He was given an overdose of Luminalets when he asked for a pill because of a headache*» («Ему дали слишком высокую дозу “Люминала”, когда он обратился с просьбой о лекарстве от головной боли»).

Пусть эта книга также послужит привлечению внимания к фигуре Фреди Хирша, оправданию его доброго имени и восстановлению его образа, несколько запятнанного ложной идеей о том, что этот человек добровольно ушел из жизни. Из-за этой идеи в течение долгих лет под сомнение ставилась его храбрость в тот решительный момент. Фреди Хирш не покончил с собой. Он бы никогда не оставил на произвол судьбы своих детей. Он был капитаном и пошел бы ко дну вместе со своим кораблем. И вспоминать о нем должно как о человеке и борце беспримерного мужества.

И, без всякого сомнения, эта книга – дань уважения Дите, у которой я столь многому научился.

Наша библиотекаря блока 31 по-прежнему живет в Нетании и раз в год на несколько дней приезжает в Прагу, в свою маленькую квартирку. И будет продолжать делать это, пока ей позволяет здоровье. Эта женщина до сих пор отличается любопытством, даром предвидения, любезностью и мужеством, причем эти ее качества превосходят все вообразимые пределы. До настоящего момента в героев я не верил, но теперь я знаю, что они есть: Дита – одна из них.